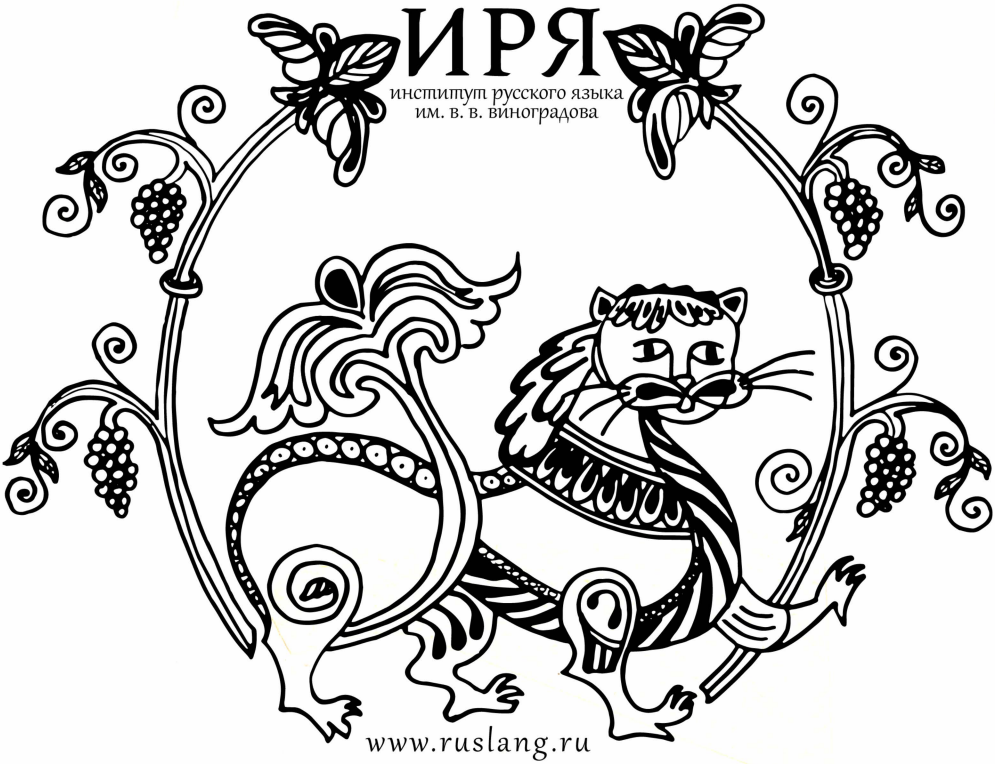
4
О-16

ОБЛИК СЛОВА



Сборник статей памяти
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ШМЕЛЕВА

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

88427

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт русского языка
им. В.В.Виноградова

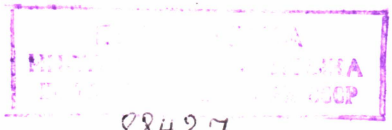
ОБЛИК СЛОВА

Сборник статей

Москва
1997

4
С-16

ББК 81
О 17



88427

Составитель и ответственный редактор Л. П. Крысин
Утверждено на заседании Ученого совета Института русского языка РАН 14 мая 1996 года
Рецензенты: И.М.Богуславский, Н.А.Фатеева
Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 96-04-16231)

О17 **Облик** слова. Сб. статей. / РАН. Ин-т рус. яз. — М.: 1997. — 384 с. — ISBN 5-89216-025-4.

Сборник посвящается памяти выдающегося русиста академика Дмитрия Николаевича Шмелева (1926-1993). Он содержит статьи по актуальным проблемам современного русского языка и его истории, написанные с ориентацией на основной круг научных интересов Д.Н.Шмелева. Книга состоит из следующих разделов: «Лексикология. Семантика. Лексикография»; «Синтаксис»; «Стилистика. Анализ художественного текста»; «Язык и культура». Среди авторов — как маститые ученые: академики Ю.Д.Апресян, В.Н.Топоров, член-корреспондент РАН Н.Д.Арутюнова, профессора Ю.А.Бельчиков, Т.В.Булыгина, В.П.Григорьев, О.П.Ермакова, Е.А.Земская, Г.А.Золотова, М.М.Копыленко, О.А.Лаптева, Т.М.Николаева, В.В.Лопатин, Е.В.Падучева, Г.Я.Солганик, В.А.Успенский и др., так и молодые исследователи.

Сборник адресуется русистам и языковедам других специальностей, а также аспирантам и студентам филологических факультетов университетов и педагогических институтов.

ББК 81

ISBN 5-89216-025-4

© Институт русского языка РАН, 1997
© «Русские словари», оригинал-макет, 1997

Посвящается памяти
академика
Дмитрия Николаевича
Шмелева



ОТ РЕДАКТОРА

Академик Дмитрий Николаевич Шмелев (1926-1993) оставил глубокий след в отечественном языкознании. Без его работ невозможно представить себе современную лексикологию и семантику. Его оригинальные идеи находят развитие в синтаксической теории, функциональной стилистике, в исследованиях русского языка под социальным углом зрения.

Книги Дмитрия Николаевича — такие, как «Очерки по семасиологии русского языка» (1964), «Принципы семантического анализа лексики» (1973), «Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке» (1976), «Русский язык в его функциональных разновидностях» (1977) и другие, многочисленные статьи в научных журналах и сборниках — внесли значительный вклад в науку о русском языке, в теорию языкознания. Его учебник «Современный русский язык. Лексика» (1977) является одним из лучших учебных пособий для студентов филологических специальностей, поскольку высокий научный уровень, глубина освещения проблем современной лексикологии и семантики сочетаются здесь со всесторонне продуманной методикой подачи учебного материала.

Д.Н.Шмелева-исследователя отличала необычайная широта интересов и терпимость к иным точкам зрения на объект изучения. Высказывая собственные мысли относительно тех или иных явлений и процессов, характерных для русского языка и для языка вообще, он всегда был внимателен к взглядам других исследователей, в том числе и таким, которые противоречили его научной концепции.

В языковедческих построениях он любил придерживаться фактов, не стремясь втиснуть их разнообразие в прокрустово ложе какой-либо (сколь угодно стройной) теории. Он был и блестящим аналитиком и интерпретатором фактов, умевшим видеть за внешне малоприметными явлениями ростки новых тенденций языкового развития. Это счастливое сочетание свойств эмпирика и теоретика определило содержательные достоинства работ Д.Н.Шмелева и их непреходящую научную ценность: точность наблюдений сочетается в них с глубиной лингвистической интерпретации.

Сборник, который вы держите в руках, посвящен семидесятилетию со дня рождения Д.Н.Шмелева. Составляя эту книгу, я старался отразить в ее содержании основной круг научных интересов Дмитрия Николаевича. Главной его любовью были лексикология и семантика, и соответствующий раздел сборника — самый большой и разнообразный по вошедшим в этот раздел статьям. Во втором разделе сборника помещены статьи о современном русском синтаксисе, проблематика которого также была весьма близка лингвистическим интересам юбиляра. В третьем разделе — статьи, посвященные стилистике и анализу языка художественных произведений. Как известно, Дмитрий Николаевич посвятил этой проблематике несколько своих работ (см., в частности, его давнюю небольшую книжку «Слово и образ» (1964), содержащую массу интересных наблюдений над языком прозы и поэзии). Четвертый, заключительный раздел — «Язык и культура» — содержит статьи, исследующие язык в связи с явлениями социального и культурного характера. И этой стороне изучения русского языка Д.Н.Шмелев уделял внимание: в его работах, посвященных семантическим изменениям в русском языке XX века (см.: «Русский язык и советское общество», 1968, кн. I, статьи в сборниках серии «Развитие современного русского языка»), анализ языковых явлений ведется с учетом широкого спектра социальных и культурных факторов. Кроме того, в течение двадцати с лишним лет возглавляя Отдел современного русского языка Института русского языка АН СССР (в последние два года — Российской Академии наук), он был инициатором и руководителем ряда коллективных трудов этого Отдела, имеющих по преимуществу социолингвистическую и функционально-стилистическую направленность: см. вышедшие с участием Дмитрия Николаевича как научного редактора такие работы, как «Социально-лингвистические исследования» (1976), «Способы номинации в современном русском языке» (1982), «Городское просторечие» (1984), «Разновидности городской устной речи» (1988), два тома книги «Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект» (1989 и 1991), «Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект» (1993), «Русский язык в его функционировании. Уровни языка» (1996) и др.

Хотелось бы надеяться, что предлагаемый читателю сборник научных работ окажется достойным памяти замечательного ученого и прекрасного человека Дмитрия Николаевича Шмелева.

Л.П.Крысин.
Январь 1996 г.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЕМАНТИКА. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Ю. Д. Апресян

В КАКОЙ МЕРЕ МОЖНО ФОРМАЛИЗОВАТЬ ПОНЯТИЕ СИНОНИМИИ?

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Синонимами обычно считаются слова с совпадающими или близкими значениями. По-видимому, есть задачи (такие, например, как преподавание основ лингвистики в школе), для которых указанное определение можно признать удовлетворительным. Однако лексикограф, который захотел бы воспользоваться им как реальным инструментом систематизации лексики при составлении словаря синонимов, тут же обнаружил бы его полную несостоятельность.

В самом деле, почему, например, слова *брехня* и *вранье* считаются достаточно близкими по значению, чтобы быть синонимами, а *брехня* и *россказни* — нет? В чем вещественно проявляется бóльшая близость значений в первом случае по сравнению со вторым?

По-видимому, ответы на эти и другие подобные вопросы, далеко не схоластические, поскольку они возникают на каждом шагу в практике составления словарей синонимов, существуют. Недаром наши интуитивные оценки нисколько не расходятся со словарными данными. Однако само понятие «близости значений» имеет чисто обиходный характер и ключа к убедительному теоретическому решению проблемы не дает.

В данной работе делается попытка продвинуться хотя бы на шаг в понимании того, можно ли вложить более строгий смысл в интуитивное понятие синонимии, и если да, то в какой степени. Теоретически я буду опираться на концепцию, изложенную в «Лексической семантике», хотя, естественно, я попытаюсь ее уточнить с учетом позднейших исследований, в особенности результатов работы над «Новым объяснительным словарем синонимов русского языка», который составляется сейчас в Секторе теоретической семантики Института русского языка РАН[1]. Несколько забегая вперед, скажу, что для большей части лексем, которые в авторитетных словарях русского или других языков признаются синонимичными, нельзя предложить строгого определения, точно эксплицирующего интуицию лексикографа. Можно лишь наметить стратегию его конструирования.

Необходимым условием продвижения в этом направлении является принятие двух тезисов, первый из которых касается метаязыка описания, а второй — толкования языковых единиц.

1) Все содержательные единицы языка, в первую очередь, конечно, лексемы, должны быть истолкованы на едином семантическом метаязыке. Его можно мыслить как подъязык языка-объекта. Он состоит из ограниченного словаря, сводимого к небольшому набору семантических примитивов, и набора простейших грамматических форм и синтаксических конструкций. Семантические примитивы, или неопределяемые понятия, — это простейшие слова-смыслы, не представимые через какие-либо другие слова внутри данного языка. В метаязыке соблюдается, с некоторыми оговорками, условие взаимооднозначного соответствия между смыслами и их именами: каждому смыслу должно соответствовать ровно одно имя, а каждому имени — ровно один смысл.

Ясно, зачем нужен такой метаязык: мера сходств и различий между толкованиями, оцениваемая числом совпадающих и не совпадающих смысловых компонентов в их составе, и будет мерой синонимичности сравниваемых языковых объектов. Очевидно, что и другие лингвистические понятия, для определения которых необходим контроль значений (антонимия, полисемия, омонимия, дериват, фразеологическая единица и т.п.), не могут всерьез обсуждаться вне такого метаязыка и жестко построенных толкований.

2) Толкования строятся с соблюдением требований полноты, неизбыточности, ступенчатости и эксплицитности. Последнее значит, что в них должны быть в явном виде представлены все смысловые компоненты, обращения к которым могут требовать правила взаимодействия значений. Входом толкования в общем случае является сентенциальная форма, отражающая актантную структуру толкуемой единицы. Сами толкования (и, следовательно, эксплицируемые ими языковые значения) представляют собою в общем случае многослойные объекты со сложной логической структурой, в которой выделяются по крайней мере следующие слои смысла: пресуппозиции, ассерции, мотивировки, модальные рамки, рамки наблюдения. Все названные части толкований — это словосочетания или предложения, в каждом из которых есть вершинный смысл. Им является синтаксически главное слово соответствующего словосочетания или предложения.

Все эти понятия понадобятся нам в дальнейшем. Как будет показано ниже, для квалификации каких-то лексем как синонимов далеко не безразлично, к какому логическому слою смысла относятся совпадающие компоненты их толкований и какую синтаксическую позицию в составе толкования они занимают.

В качестве материала я буду пользоваться парами или группами лексем, которые признаются синонимичными в словарях современного

русского языка. Иными словами, я буду исходить из уже лексикографированной лингвистической интуиции.

Каждый аспект проблемы будет вводиться с помощью одного-двух ключевых примеров, которые представляют целый класс явлений и имеют, следовательно, общий смысл.

2. ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНОНИМИИ.

2.1. Точные синонимы.

Глаголы *попасть* и *влететь* имеют значение 'получить выговор или быть наказанным кем-л.', в котором они являются вполне точными по смыслу синонимами, хотя несколько отличаются друг от друга стилистически; ср. *Ему попало <влетело> от отца за опоздание.* Они взаимозаменимы во всех контекстах, за исключением, разумеется, метаязыковых, в которых они сами составляют предмет высказывания; ср. *Синхронически в слове «попасть» уже не выделяется приставка «по-».*

Точная синонимия особенно хорошо представлена терминологической и терминообразной лексикой (ср. *лингвистика — языкознание, китаистика — синология*), словами в переносных, лексико-функциональных и других фразеологически связанных значениях (*Победа досталась дорого — дорогой ценой, Дождь прекращается — перестает*), экспрессивной лексикой (ср. экспрессивные частицы *куда* и *где* во фразах *Куда тебе с ним тягаться! — Где тебе с ним тягаться!*).

Ситуация точной синонимии — наиболее удобная для лексикографа, поскольку она не требует никакой особой методики отбора синонимов. Если бы все синонимы были точными, дать им общее определение не составило бы труда: синонимичными следовало бы считать лексемы, толкования которых полностью совпадают и которые обладают способностью заменять друг друга во всех контекстах, за исключением метаязыковых.

Однако на самом деле такая ситуация редка. Как очень хорошо известно, основную массу лексического материала, помещаемого в словари синонимов, составляют так называемые квазисинонимы — лексемы, толкования которых существенно пересекаются, но не совпадают полностью. Нельзя ли ввиду этого ослабить оба условия и считать, как это не раз предлагалось в литературе, что синонимы — это лексемы с хотя бы частично совпадающими толкованиями, семантические различия между которыми нейтрализуются в строго определенных условиях (критерий частичной взаимозаменимости в контекстах нейтрализации)? Рассмотрим эту возможность.

2.2. Нейтрализуемые различия с взаимозаменами.

В толкованиях *советовать* и *рекомендовать*[2] есть большая общая часть, которую можно сформулировать следующим образом: 'считая,

что Y-а интересует мнение X-а о том, что Y-у лучше всего сделать в данной ситуации, X говорит, что, по его мнению, лучше всего для Y-а сделать P'. Ср. — *А кого б ты в соавторы взял? — Еще не знаю, — сказал Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта* (А. и Б. Стругацкие, Улитка на склоне). Тем не менее, в значениях этих лексем заложена возможность противопоставления по следующим смысловым признакам.

1) Основание для сообщения: чтобы *советовать,* достаточно иметь мнение по данному поводу; чтобы *рекомендовать,* обычно требуется знание, опора на прецедент и т.п. Совета обычно просят у человека, которого считают опытнее, умнее, мудрее; ср. *Кроме того, это — человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь* (Б.Пастернак, Доктор Живаго). Рекомендацию обычно получают от профессионала, специалиста, эксперта. Обращаясь к врачу, педагогу, театральному критику, естественно спросить: *Какую диету вы мне порекомендуете?; Какие книги вы порекомендуете для мальчика десяти лет?; На какую постановку вы рекомендуете пойти?*

2) Предмет (тема) и содержание сообщения. *Советовать* что-л. можно по любым вопросам, в том числе и по самым важным, от решения которых зависит судьба и даже жизнь адресата, причем совет может иметь в виду не столько непосредственную пользу, сколько конечное благо адресата. Ср. *Советую не беспокоиться; Советую попробовать это варенье, а то хозяйка обидится; Я советую тебе уехать — оставаясь в Москве, ты рискуешь жизнью.* Предметом *рекомендовать* являются обычно какие-то практические ситуации, а содержанием — указание конкретного действия, которое ведет к решению стоящей перед адресатом задачи, приносит ему непосредственную пользу и т.п. Поэтому в приведенных выше примерах *рекомендовать* было бы менее уместно или вовсе неуместно. Действительно, в случае **Рекомендую не беспокоиться* не называется никакое конкретное действие. В случае *?Рекомендую попробовать это варенье, а то хозяйка обидится* выполнение действия не приносит адресату непосредственной пользы. Наконец, в случае *?Я рекомендую тебе уехать — оставаясь в Москве, ты рискуешь жизнью* повод чересчур серьезен для простой рекомендации.

3) Степень категоричности высказывания. Поскольку в норме совет опирается всего лишь на мнение, а рекомендация — на знание, в случае *рекомендовать* высказывание в целом более категорично, уверенно, безапелляционно, чем в случае *советовать,* а содержащееся в нем указание воспринимается как более обязательное к исполнению. Более того, в позиции независимого инфинитива или при наличии определенных прагматических условий в форму рекомендации может облекаться приказ. Такое употребление *рекомендовать* особенно характерно для недавней практики партийных решений, когда абсолютно жест-

кое предписание оформлялось в виде невинной рекомендации, хотя неповиновение или хотя бы непонимание грозило адресату карой. Ср. *рекомендовать освободить Иванова от занимаемой должности; Райком рекомендовал Ученому совету Института языкознания пересмотреть свое решение.*

4) Отношения между субъектом и адресатом. *Советуют* обычно конкретному человеку, часто связанному узами близости с субъектом, в благополучии которого субъект лично заинтересован. Ср. *Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать* (Б.Пастернак, Доктор Живаго). Именно поэтому в ситуации совета субъект, сопереживая адресату, часто мысленно ставит себя на его место и говорит ему, как бы он сам поступил в данной ситуации. *Рекомендовать* можно человеку вообще; рекомендация является рецептом для любого человека, находящегося в определенной ситуации, сопереживать ему вовсе не обязательно. Это присущее *рекомендовать* свойство некоторой отчужденности, взгляда со стороны отчетливо проявляется в типичной для него форме СТРАД: *В таких случаях рекомендуется сделать пострадавшему искусственное дыхание «рот в рот»; Если на вас лает собака, рекомендуется стоять неподвижно.* Для *советовать* такие употребления нехарактерны, а в форме СТРАД совсем невозможны.

5) Ментальное состояние адресата. Для *советовать* наиболее типична ситуация, когда адресат находится в затруднении, когда он не в состоянии сам решить свою проблему: *Посоветуй, как мне быть <какое предложение принять, за кого из них выйти замуж>.* Поэтому совет часто рассматривается как вид интеллектуальной помощи. Для *рекомендовать* наиболее типична ситуация, когда адресат не располагает достаточной информацией для действия, так что рекомендация может оказаться видом справки или инструкции (см. примеры выше).

6) Возможность оценочного употребления слова. Речевое действие *советовать,* в отличие от *рекомендовать,* может оцениваться неодобрительно, если совет трудно или невозможно выполнить или если субъект ограничивается советом в ситуации, когда требуется более действенная помощь. Ср. *Советовать легко <просто>, а ты сам попробуй не обращать на него внимания* [совет плох, потому что его трудно выполнить]; *Ты все только советуешь* [совет противопоставляется делу как пустые слова]. Ср. также *Африканский доктор советовал не платить. А я это очень хорошо знаю, проще нет ничего, как советовать* (А.Ремизов, Учитель музыки). *Рекомендовать* не допускает таких употреблений; ср., в частности, сомнительность *?Рекомендовать легко <просто>* и невозможность **Ты все только рекомендуешь.*

Казалось бы, различия между *советовать* и *рекомендовать* чересчур многочисленны и глубоки, чтобы поддаваться нейтрализации. На самом деле существуют условия, в которых синонимы сближаются

настолько, что допускают взаимозамены. Это особенно характерно для трех типов контекстов:

а) Для формы СОВ, которая смягчает императивность рекомендации; ср. *Врач посоветовал <порекомендовал> ему принимать хвойные ванны.*

б) Для перформативных употреблений в форме 1-Л, ЕД, НАСТ в собственной иллокутивной функции. В этих условиях автором рекомендации оказывается говорящий, а говорящий, в силу прагматического принципа скромности, не может подавать себя в качестве эксперта; ср. *Советую <рекомендую> зайти через час, билеты наверняка будут.*

в) Для перформативных употреблений в несобственной иллокутивной функции предупреждения или предостережения; ср. — *Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть* (М.Булгаков, Мастер и Маргарита; ср. *на сей раз рекомендую вам быть поблагоразумнее*); *Советую* <или *рекомендую*> *прекратить эту глупую игру, дальнейшее запирательство вам только повредит.*

2.3. Нейтрализуемые различия без взаимозамен.

Очевидно, однако, что нейтрализация семантических различий между синонимами тоже не является их обязательным свойством. Нейтрализуемые различия характеризуют гораздо меньшую часть материала, чем различия, которые не нейтрализуются ни при каких обстоятельствах. Достаточно вспомнить синонимы с банальнейшим типом различий по признаку интенсивности свойства, состояния, процесса, действия. Ср. *бедный — нищий, удивляться — изумляться, бросать — швырять* и т.п.

Более того, даже если семантические различия между какими-то лексемами полностью или частично нейтрализуются, это вовсе не всегда приводит к возможности взаимозамен в «одном и том же контексте». Формальные признаки контекстов, в которых употребляются синонимы, могут быть настолько различны, что от понятия «одного и того же контекста» почти ничего не остается.

Рассмотрим лексемы *сам 1* и *лично,* которые в другой связи я уже имел случай обсуждать. Первой из них в МАС'е дается следующее пояснение: «Употребляется, чтобы подчеркнуть важность, значительность какого-либо лица, события», с примером: *Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал* (М.Горький). Наречие *лично* толкуется отсылкой к местоимению *сам* (*сама, сами*), т.е. рассматривается как его синоним, со следующим примером из Достоевского: *Я сам, лично к нему побегу.*

Разумеется, эта синонимия неточная. Не входя в детальное обсуждение весьма тонких семантических различий между *сам* и *лично,* приведу типичные контексты их максимального противопоставления: *Сам*

Наполеон побоялся бы принять бой в такой ситуации (невозможно *лично*) и *Наполеон решил лично повести войска в бой* (невозможно *сам*). В других лексико-семантических условиях *сам* и *лично* сближаются настолько, что становятся как будто взаимозаменимыми без заметных различий по смыслу; ср. *Сам Хрущев посетил выставку* и *Хрущев лично посетил выставку*. В действительности их способность к взаимозаменам в точном смысле слова исчезающе мала, потому что они используются в принципиально разных контекстах.

а) *Сам* всегда выполняет функцию прииненного определения, а *лично* может быть либо прииненным атрибутом, либо приглагольным обстоятельством. Ср. *К телефону вызывали лично Хрущева,* где *лично* относится к имени, и *Он был большой охотник лично присутствовать при разборе персональных дел,* где *лично* относится к глаголу.

б) *Сам* всегда предшествует своему синтаксическому хозяину (во фразах типа *Хрущев сам* представлено другое *сам*), а *лично* может и следовать за ним (*лично Хрущев — Хрущев лично*).

в) В сочетании с предложно-именными группами, по общим правилам для прилагательных и наречий, *сам* помещается между предлогом и именем, а *лично* предшествует предлогу; ср. *говорил с самим Хрущевым — говорил лично с Хрущевым.*

г) *Сам* никогда не несет главного фразового ударения, но индуцирует его на своем синтаксическом хозяине; ср. *Сам* ˈ*Хрущев посетил выставку.* Между тем *лично* почти всегда, особенно в постпозиции, несет главное фразовое ударение, оставляя своего синтаксического хозяина фразово безударным; ср. *Хрущев* ˈ*лично посетил выставку.*

Если «суммировать» все названные контекстуальные различия, то окажется, что почти нет контекстов, в которых могли бы осмысленно фигурировать оба синонима.

Этот пример показывает, что и от условия взаимозаменимости, даже частичной, необходимо отказаться.

2.4. Числовая мера близости значений.

Коль скоро ни одно из названных выше условий не выполняется, остается единственная возможность для дальнейших поисков — попытаться формализовать понятие «близости толкований», или, что то же самое, попытаться выработать числовую меру допустимых семантических различий между синонимами.

Теоретически это вполне возможно. Первый шаг к формализации, с учетом существующей практики синонимических словарей, мог бы выглядеть следующим образом: две лексемы признаются синонимичными, если совпадающая часть их толкований превышает сумму их различий.

Этого, однако, мало. Существуют ситуации, когда совпадающая часть двух толкований превышает сумму различий, но последние семантически настолько важны, что перевешивают сходства.

Значения глаголов *посылать* и *командировать* имеют весьма бол шую общую часть, которую можно сформулировать так: 'человек выражает волю, чтобы человек В переместился из места X в место Y сделал в этом месте работу Р, которую А считает нужной для какой-т более общей цели'. Совпадают, таким образом, по крайней мере четы ре крупных компонента: выражение воли, перемещение, работа, цел Различия гораздо меньше и сводятся, в сущности, к двум особенностя *командировать*: во-первых, это идея власти, которой облечен коман дирующий; во-вторых, это идея срока, в течение которого команди руемый должен выполнить порученную ему работу.

Несмотря на то, что совпадающая часть толкований вдвое превы шает сумму различий, в объяснительном словаре синонимов под ре дакцией А.П.Евгеньевой пары *посылать — командировать* нет, т.е. необходимой близости значений между ними не усматривается. Попы таемся найти формальное объяснение этой интуиции. Для этого надо ответить на вопрос, как в принципе два компонента могут оказаться важнее четырех. Очевидно, это возможно в ситуации, когда совокуп ный вес двух компонентов больше или равен совокупному весу четы рех.

Из сказанного следует, что для более точной оценки степени сино нимичности языковых единиц должны быть введены не просто число вые, а взвешенные меры семантических сходств и различий. В качестве таких мер я предлагаю использовать семантическую содержательность и семантическую ценность различных компонентов в составе их тол кований.

Чтобы ввести количественное представление о семантической со держательности и семантической ценности, не перегружая изложение техническими деталями, мы несколько упростим задачу. Освободим толкования от внутреннего синтаксиса и зададим их перечнем входя щих в них смысловых компонентов. Для толкований *посылать* и *ко мандировать* это будут такие компоненты, как 'выражать волю', 'пере мещаться', 'цель', 'власть', 'срок' и т.д. Каждый из них имеет двоякую природу.

С одной стороны, в него входят какие-то более элементарные смысловые компоненты, которые в конечном счете сводятся к самым элементарным смыслам — семантическим примитивам. 'Цель', напри мер, сводится к таким семантическим примитивам, как 'хотеть' (чтобы возникла некая ситуация), 'считать' (что это возможно), 'знать' (как это сделать), 'делать' (что-то, без чего она не может возникнуть) и т.п. Аналогичным образом, т.е. через семантические примитивы, можно было бы представить 'выражение воли', 'перемещение', 'срок' и все остальные компоненты в составе толкований *советовать* и *рекомендо вать*.

С другой стороны, каждый такой компонент входит в состав более сложных единиц языка-объекта. Так, компонент 'перемещение' входит

в состав сотен, если не тысяч лексических значений глаголов, существительных, прилагательных, наречий и предлогов.

Следовательно, каждый компонент количественно может быть охарактеризован двумя числами: числом семантических примитивов, которые входят в него, и числом единиц языка-объекта, в которые входит он сам. Назовем первое число его семантической содержательностью, а второе — его семантической ценностью. Семантическая содержательность данного компонента прямо пропорциональна числу элементарных смыслов, которые входят в его состав. Напротив, его семантическая ценность обратно пропорциональна числу лексических значений, в которые входит он сам. Чем чаще он встречается, тем он тривиальней. Именно редкость компонента сообщает ему повышенную семантическую ценность.

Применим эти соображения к нашему примеру. Как было сказано выше, *командировать* отличается от *посылать* двумя основными смысловыми компонентами — 'власть' и 'срок'.

'Власть' — исключительно содержательный смысловой компонент, заключающий в себе не менее десятка примитивов, которые обнаруживаются на достаточно глубоком уровне семантической редукции. Приведу в качестве примера следующую цепочку толкований: *власть* = 'право приказывать и наличие средств для того, чтобы принуждать адресата выполнять приказания'; *право* = 'гарантированная законом свобода'; *свобода* = 'возможность делать то, что человек хочет'. Здесь мы достигли уровня примитивов, но только для части одного из компонентов лексемы *власть*. Проделав аналогичную работу для всех остальных частей и компонентов ('гарантировать', 'закон', 'приказывать', 'средство', 'принуждать', 'выполнять'), мы убедимся, что 'власть' действительно очень содержательный смысловой компонент в значении *командировать*.

Гораздо менее содержателен компонент 'срок' в толковании *командировать*. 'Срок' естественно интерпретировать как 'отрезок времени, за который нечто должно быть сделано', а 'отрезок', 'время', 'должен' и 'делать' — либо семантические примитивы, либо сводятся к ним в один шаг.

Следовательно, если компонент 'срок' в толковании *командировать* и обладает каким-то весом, то этот вес определяется не столько его семантической содержательностью, сколько его семантической ценностью. Семантическая ценность компонента, как было сказано выше, обратно пропорциональна числу лексических значений, которые его содержат. Число лексических значений, в которые входит представление о сроке, крайне невелико. Мне известны три небольших класса слов такого рода: слова со значением приобретения чего-л. на время или во временное пользование (*арендовать, снимать, сдавать, одалживать, занимать, вербовать* и их семантические производные); слова со значением перерыва в какой-то деятельности (*перерыв, перебой,*

8427

www.ruslang.ru

перемена, перекур, перемирие и т.п.); и предлоги типа *на* (*на два года*). В связи с этим компонент 'срок' приобретает весьма высокую ценность.

Итак, определять меру семантической близости между лексемами просто отношением числа совпадающих компонентов к сумме различных компонентов нельзя. Необходимо учитывать еще вес совпадающих и различных компонентов, который определяется, с одной стороны, числом входящих в них элементарных смыслов (единиц метаязыка), а с другой — числом лексических значений (единиц языка-объекта), в которые входит он сам. Вес данного смыслового компонента тем больше, чем больше первое число и чем меньше второе. Для нашего примера совокупный вес различий в толкованиях *посылать* и *командировать,* по-видимому, превышает вес их совпадающей части (взвешенное сходство), что и дает основания не считать их синонимами. У синонимов вес общей части толкований должен быть строго больше суммарного веса различий.

На этом, однако, трудности не кончаются.

Во-первых, разный вес имеют не только неэлементарные семантические компоненты, но и семантические примитивы; ср., например, примитив 'делать' и гораздо более весомые (семантически более ценные) примитивы 'хотеть', 'считать' или 'знать'.

Во-вторых, по-разному следует оценивать совпадение компонентов в ассертивной части толкования по сравнению с совпадением компонентов в пресуппозициях и других неассертивных слоях значений: первое, как будет показано ниже, более важно, чем второе.

В-третьих, для точности измерений необходимо принимать во внимание не только состав компонентов, но и их синтаксическую организацию, от которой мы для простоты решили отвлечься.

Учет всех этих тонкостей неизмеримо усложняет и без того непростую задачу. Теоретическая возможность построить совершенно формальное определение неточной синонимии все равно сохраняется. Очевидно, однако, что для ее практической реализации необходимо сначала построить достаточно полный словарь языка особого типа. В нем все лексические единицы должны быть, во-первых, истолкованы с соблюдением изложенных выше принципов и, во-вторых, взвешены по параметрам семантической содержательности и семантической ценности.

Вместе с тем уже сейчас можно предложить ряд уточнений, которые следовало бы внести в традиционное определение лексической синонимии. Они касаются актантной структуры лексем, ассертивных компонентов значения, их синтаксической организации и их логической природы.

2.5. Формальное уточнение понятия «близости значений».

2.5.1. Тождество актантных структур.

Рассмотренные в 2.1. глаголы *попасть* и *влететь* в значении 'получить выговор или быть наказанным кем-либо', к которым можно добавить еще глаголы *достаться* и *нагореть*, очевидным образом близки по смыслу к глаголам и фраземам типа *отругать, отчитать, пробрать, всы́пать, устроить <задать> головомойку* и т.п. Ср. перифразы (быть может, не вполне точные) *Ему попало <влетело, досталось, нагорело> от отца за опоздание / Отец отругал <отчитал, пробрал> его за опоздание, Отец всыпал ему за опоздание, Отец устроил <задал> ему головомойку за опоздание* и т.п.

Однако пары типа *попасть — отчитать, влететь — всы́пать* и др. под. синонимами обычно не считаются. Такие лексемы связаны не отношениями синонимии, а отношениями (неточной) конверсивности. Действительно, их актантные структуры прямо обратны друг другу: имя, заполняющее первую валентность *попасть* <или *влететь*>, перемещается у *отругать <всы́пать>* на второе место, и наоборот. Ср. *X-у попало от Y-а / Y отругал X-а, X-у влетело от Y-а / Y всы́пал X-у.*

Из сказанного следует, что у синонимов должны быть одинаковые актантные структуры по крайней мере в пределах первых двух актантов.

2.5.2. Сходство ассерций.

Рассмотрим теперь глаголы *появиться* и *вынырнуть* во фразах типа *Неожиданно на пороге появился милиционер, Он вынырнул из толпы с плакатом в руках.* В их толкованиях имеется немалая общая часть — идея перемещения какого-то объекта и идея его вхождения в поле зрения наблюдателя в результате перемещения. Однако в словарях З.Е.Александровой и А.П.Евгеньевой такого синонимического ряда нет. Эту лексикографическую интуицию можно объяснить тем, что у *появиться* ассерции принадлежит только смысл 'войти в поле зрения', а смысл 'переместиться' образует пресуппозицию. Между тем у *вынырнуть* смысл 'переместиться' (из внутреннего пространства объекта на его периферию) образует ассерцию, а смысл 'войти в поле зрения' является прагматическим следствием из нее. Поскольку основополагающий смысл 'переместиться' у *появиться* и *вынырнуть* находится в логически разных частях толкования, между этими лексемами не возникает отношений синонимии.

Не станем разбирать случаев, когда совпадающие смысловые компоненты размещаются в других неассертивных частях толкования — модальных рамках, рамках наблюдения и т.п. Приведенного примера достаточно для признания, что у настоящих синонимов совпадающие смысловые компоненты должны быть частью ассерции[3].

2.5.3. Совпадение вершины ассерции.

Перейдем к вопросу о синтаксической организации ассерции. Не входя во все детали этой чрезвычайно сложной проблемы, отметим лишь то, что лежит на поверхности. Пример *посылать — командировать* иллюстрирует случай, когда важность компонента определяется его собственными свойствами (важность de naturae). Однако важность компонента может определяться и тем положением, которое он занимает в толковании (важность de positione).

Если исходить из практики существующих синонимических словарей, надо будет признать, что даже ассертивные компоненты значений синонимов могут различаться. Ср. пару *остыть — охладиться,* в которой первый синоним толкуется (в МАС'е) как 'стать холодным' (ср. *Печка остыла*), а второй — как 'стать холодным или более холодным' (ср. *ремонтировать печь, не дожидаясь, пока она охладится*).

В связи с этим необходимо выделить такие ключевые позиции ассерции, семантический материал которых должен совпадать в обязательном порядке. К их числу безусловно относится семантическая вершина ассерции, или ее синтаксически главный компонент. Иногда он соответствует тому, что в традиционной логике и теории определений называется genus proximum. Это требование позволяет исключить из числа синонимов, например, такие группы лексем, как *хвастаться, гордиться* и *рисоваться.* У них есть большая общая часть: во всех трех случаях субъект думает, что имеет или сделал нечто хорошее и что поэтому он должен нравиться людям (≈ люди должны хорошо о нем думать). Несмотря на столь большую смысловую общность, *хвастаться, гордиться* и *рисоваться* не могут быть признаны синонимами. Объясняется это тем , что в вершинах их ассертивных частей стоят разные семантические компоненты, а именно, 'говорить' (у *хвастаться*), 'чувствовать' (у *гордиться*) и 'вести себя' (у *рисоваться*).

Серии лексем, в которых противопоставлены вершинные смыслы 'акт речи' — 'внутреннее состояние' — 'поведение', а остальные смыслы совпадают или очень похожи, не изолированное явление в русском языке. Ср. *хвалить — одобрять — поощрять, ругать — осуждать — наказывать, отречься — отказаться* (*от этого намерения*) — *отступиться, каяться — сожалеть, предсказывать — предвидеть* и т.п.

2.5.4. Осложнения, связанные с операторными смыслами.

Отметим, наконец, что если вершиной ассерции является не настоящий предикат (обозначение действия, деятельности, процесса, состояния, свойства или отношения), а операторный смысл типа 'начинать', 'переставать', 'быть причиной', 'пытаться', 'мочь', 'не' и т.п., то должна совпадать не только вершина ассерции, но и непосредственно подчиненный ей предикат: *закричать* и *заорать* образуют синонимическую пару, а *закричать* и *заголосить* — нет.

2.6. Выводы.

Итак, традиционное качественное представление о синонимах предлагается уточнить следующим образом:

1) Синонимичные лексемы A и B должны иметь одинаковую актантную структуру по крайней мере в пределах первых двух актантов.

2) Общая часть их толкований, при условии, что они сформулированы на специальном метаязыке, должна быть больше суммы их различий.

3) В эту общую часть должно входить большинство семантических компонентов, составляющих ассертивную часть значений соответствующих лексем.

4) В нее в обязательном порядке входит главный семантический компонент ассерции, или ее синтаксическая вершина (в частном случае — genus proximum).

5) Если главный семантический компонент ассерции является операторным смыслом, то должен совпадать и подчиненный ему предикат.

Эти пять условий необходимы, но недостаточны для формального определения лексических синонимов. Подчеркнем еще раз, что пытаться построить полное формальное и реально работающее определение этого понятия, адекватное тому представлению о синонимах, которое отражено в синонимических словарях русского и других языков, при нынешнем уровне наших знаний было бы преждевременно.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]См.: Ю.Д.Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974; он же, Новый словарь синонимов: концепция и типы информации // Ю.Д.Апресян, О.Ю.Богуславская, И.Б.Левонтина, Е.В.Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

[2]Пример заимствован из синонимического ряда, разработанного автором совместно с М.Я.Гловинской для Нового объяснительного словаря синонимов русского языка (см. выше сноску 1).

[3]Заметим, между прочим, что отношение антонимии тоже требует того, чтобы и совпадающие, и антонимообразующие смысловые компоненты входили в состав ассерции. Существительные *великан* и *карлик* — антонимы, а частицы *аж* и *всего* — нет, хотя различия внутри этих пар сводимы в конечном счете к одной и той же оппозиции 'больше' — 'меньше'. Дело в том, что в паре *великан — карлик* антонимообразующие компоненты 'большой' и 'маленький' относятся к ассертивной части толкований, что, в отсутствие других семантических различий, и порождает отношение антонимии. Рассмотрим теперь частицы *аж* и *всего* во фразах типа *Он привез аж пять чемоданов — Он привез всего пять чемоданов*. Первая фраза представляет его багаж как большой, а вторая — как маленький. Однако это не реальные различия в объеме багажа, а только различия в оценках, которые дает говорящий одному и тому же фактическому количеству вещей. Следовательно, антонимичные компоненты 'много' и 'мало' относятся не к ассертивным частям толкований *аж* и *всего*, которых у этих частиц попросту нет, а к их модальным рамкам: *Аж P* = 'P; говорящий считает, что это много', *Всего P* = 'P; говорящий считает, что это мало' (вариант: 'это больше того, что ожидал говорящий' — 'это меньше того, что ожидал говорящий').

Н. Д. Арутюнова

МОДАЛЬНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ[1]

У нас все мечта и призрак,
все *мнится* и *кажется* и *чудится*, все только *будто бы, как бы, нечто, что-то*...
(*В.Кюхельбекер*).

Предложение в норме должно быть максимально адаптировано к тому, что оно обозначает. Это касается двух его аспектов: выбора номинаций по их соответствию предмету мысли и выбора модальности по ее соответствию знаниям говорящего о положении дел. Соответствие имени денотату обеспечивает правильную идентификацию предмета речи. Это область преимущественно темы сообщения. Соответствие значения слова свойствам денотата обеспечивает адекватность выражения суждения. Это область предиката (ремы). Она тесно связана с модальными значениями, выражающими истинность суждения. Не случайно вместо того, чтобы сказать «Она не была прекрасна», говорят «*Никто б не мог ее прекрасною назвать*» (Пушкин). Нас будет интересовать более всего взаимодействие модального значения с семантикой предиката.

Истинность поляризована. Она не знает градаций. Суждение может быть либо истинным, либо ложным: Да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого человека. Но человек не всеведущ. Он не всегда может делать истинные утверждения. Он высказывает лишь предположение или догадку. Неуверенность в истинности суждения маркируется модальными операторами (МО): наклонением глагола, вводными словами или глаголами пропозиционального отношения. Модальный оператор формирует истинностное значение предложения. Область его действия — связка, эксплицитная или имплицитная. Связка устанавливает отношение между субъектом и предикатом. Напомним слова Аристотеля: «... в самом основном смысле сущее — это истинное и ложное, что имеет место у вещей через связывание или разъединение,

[1] Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 96-04-06230).

так что истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное — связанным, а ложное — тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит с вещами» (Аристотель, 1976, 250; подробнее о связке см. [Арутюнова 1988, 153-161]).

Наличие МО, корректирующих истинностное значение, нисколько не противоречит его поляризованности: операторов полуправды в языке нет, но семантический оператор (СО) половинчатости существует, и с его помощью можно создать номинацию соответствующего явления: *полуправда, полуложь*. Модальный же оператор сигнализирует не о полуправде, а о достаточности или недостаточности оснований для утверждения истины. Он градуирует имеющуюся у говорящего информацию, а не признаки, характеризующие субъект. Когда говорят «Я сомневаюсь, что Петр умен», МО сомнения указывает на недостаточность оснований для признания Петра умным человеком, но не на дефицит ума. Если бы мы сказали «Петр не очень умен», то прибегли бы к СО, вносящему корректив в семантику предиката. Если область действия МО — связка, то сфера действия СО — семантика предиката. Если МО заботится об истинности суждения, то дело СО подготовить для этого почву, обеспечив максимальную точность номинаций, употребленных в предикате.

Языки располагают множеством СО. В их число входят элементы, принадлежащие разным уровням языка: префиксы (*квази-, полу-, супер-, суб-, недо-, пере-* и др.), выражения типа *в полном (лучшем, строгом, собственном) смысле слова,* прилагательные *настоящий, подлинный, сущий, чистый* и др., интенсификаторы и градуирующие слова, знаки приблизительности, разные виды сравнений и многие другие способы адаптации слова к десигнату. Это необходимо подчеркнуть, поскольку СО как целостная изофункциональная категория не привлекали к себе должного внимания. В академических грамматиках многие модальные и семантические операторы объединены под рубрикой субъективной модальности: *Дождь! Кажется, дождь; Ну конечно, дождь; Ну и дождь! Уж и дождь!* и др. (Русская грамматика, 1980, 215).

Проблема семантических модификаций слова (предиката) была рассмотрена Дж.Лакоффом в связи с так называемой логикой размытых концептов (the logic of fuzzy concepts), предложенной Л.Заде в середине 60-ых гг. (Lakoff 1975; Zadeh 1965). Дж.Лакофф называет модификаторы, увеличивающие или уменьшающие неопределенность понятия, термином hedges (hedge букв. 'ограждение', 'страховка от потерь', 'уклонение от обязательств'). К этой категории относятся такие слова, как a sort of, a kind of 'нечто вроде', more or less 'более или менее', relatively 'относительно' и др. (см. Lakoff 1975, 235). Сравнительные конструкции им специально не рассматриваются, хотя в указанный список включен суффикс -like, образующий прилагательные со значением подобия.

Различия между МО и СО удобно показать на примере отрицания. Областью действия отрицания является логическая связка: отрицание аннулирует отнесенность предиката к субъекту, снимает связь. Оно, таким образом, выполняет функцию модального оператора. Это очевидно, когда констатируются факты: *Я не читал этой книги; Петр не был вчера в Институте.* Такие предложения лишены коммуникативных импликатур. Иначе обстоит дело, когда в предикате стоят размытые, особенно градуированные, концепты: *Петр не был глуп* (*умен, красив, доверчив, разговорчив*). Такие утверждения семантически не всегда достаточны. В них отрицается присущность субъекту крайней степени скалярного признака, ограниченного с двух сторон антонимами: *умен — глуп, красив — уродлив, доверчив — подозрителен, разговорчив — молчалив.* Между тем речь идет о некотором параметре, необходимо присущем человеку. Естественно, что в фокусе коммуникативного интереса находится не столько *отсутствие* экстремальной степени признака, сколько *мера его присутствия.* Поэтому за отрицанием признака нередко следует уточнение: *Она не была хороша собой, но у нее были прекрасные глаза; Петр не был умен, но хорошо умел соблюдать свои интересы.* Коммуникативная конвенция рекомендует выводить из отрицания градуированного предиката некую «серединную» характеристику субъекта: *не быть глупым* локализуется при этом чуть ближе к позитивному краю шкалы, а *не быть умным* — к негативному. Тот, кто не умен, глупее того, кто не глуп. Таким образом, отрицание градуированного признака стремится занять некоторое место на градационной шкале. Оно постепенно передвигает свой фокус с логической связки на семантику предиката. Частица *не* становится префиксом: *Петр был неумен* (*неглуп, некрасив, недоверчив*). Тем самым модальный оператор преобразуется в семантический, а коммуникативная конвенция закрепляется за значением слова. Антонимы и их отрицательные формы располагаются на упорядоченной градационной шкале: *умен — неглуп — неумен — глуп.* Став СО, отрицание вносит в семантику предиката оппозитивный принцип, свойственный истинностному значению. Вместе с тем, соединившись с градационным значением, оно вводит поляризацию в рамки скалярности.

Итак, размытые концепты притягивают к себе семантические операторы, а фактивные — модальные. Это легко понять. Нестабильные предикаты нуждаются в доопределении, фактивные — в модальных уточнениях, функция которых состоит в том, чтобы правильно соотнести имеющуюся информацию с истинностным значением суждения. СО уменьшают приблизительность номинации признака, МО уточняет истинностное значение. Такова общая тенденция. Она может нарушаться. Если СО соединяется со значением фактического типа, он его размывает. Если же концепт уже расшатан, то СО, напротив, его стабилизирует. Такова функция СО типа *подлинный, истинный, настоящий, натуральный* и др. (Крейдлин 1993).

Таким образом, различаясь областью действия, модальные и семантические операторы располагают также областью взаимодействия.

* * * *

Ниже тема взаимодействия модальных и семантических операторов будет рассмотрена на примере модальных частиц *как будто* и *как бы*. Обе эти частицы восходят к сравнению. Тем самым в наше поле зрения вводится новая проблема — проблема сравнения (Черемисина 1976; в книге содержится большая библиография по теме).

Важным свойством сравнения, известным нам со времен Аристотеля, является его склонность к сокращению. Термин сравнения имеет тенденцию продвигаться в позицию предиката, вытесняя основание для сравнения: *У него такое печальное лицо, как будто он чем-то огорчен / Он как будто чем-то огорчен; За морозными стеклами пробежала тень, как будто мелькнула чья-то фигура / За морозными стеклами как будто мелькнула чья-то фигура; Маша не ответила на мой вопрос, как будто его не слышала / Маша как будто не слышала моего вопроса.* Нас будет интересовать в первую очередь сокращенное сравнение (это явление в другом плане рассмотрено в Тулина 1973, а применительно к градуированному сравнению в Саввина 1988).

Когда модализованное (недостоверное) сравнение, предполагающее сближение двух ситуаций, сокращается до одной, меняется статус *как будто*. Из союзного слова *как будто* становится МО — вводным словом или модальной частицей: *Ты как будто расстроен; Маша как будто меня не замечала; За дверью как будто кто-то стоял.* Как показывают приведенные примеры, *как будто,* подобно другим знакам недостоверного сравнения (*будто, точно, словно*), выражает модальность кажимости (*к*-модальность): *Ты как будто недоволен; Ты кажешься недовольным; Кажется* (*создается впечатление*), *что ты недоволен; За дверью как будто кто-то стоит; Казалось, что за дверью кто-то стоит.* Значение кажимости свойственно также частице *как бы: Я застал его как бы пьяного; первые пять минут по крайней мере я думал, что он пьян* (Достоевский); ср. *Первые пять минут мне казалось, что он пьян.*

К-модальность вырастает из сравнения. Это естественно. Акт недостоверного сравнения осуществляется in absentia: один из терминов сравнения присутствует лишь в воображении говорящего. Задана только одна ситуация. Сквозь нее внутренним взором или слухом говорящий воспринимает нечто другое — «партнера», остающегося за кадром. *К*-модальность маркирует то, что не видно, а привиделось, не слышно, а послышалось. Для нее характерен ситуативный антураж сумерек и тумана, снов и видений. Сравнение осуществляется не столько путем *со*-положения, сколько методом *на*-ложения образов, улавливания одного в другом, отсутствующего в том, что находится in

praesentia. Точно так мы узнаем человека, которого не видели годá: сквозь его актуальный облик мерещится нам образ прошлых лет. Если индивидные признаки совпадают, значит идентификация была произведена правильно.

Контекст неясного восприятия вводит модальные и семантические операторы в тесное взаимодействие со знаками неопределенности: *И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но почему-то забытое слово* (Достоевский); ... *ему стало чрезвычайно неприятно: кто-то как будто поймал его в чем-нибудь* (Он же).

МО *как будто* (мы пока будем говорить только о нем) регулярно входит в контекст кажимости. Например: *Ему вдруг показалось, что как будто он никогда и не забывал этого, ... что как будто каждое воспоминание тянуло за собою сотни других* (Достоевский). *Ему мечталось слышать стенания, выходящие как будто из могилы* (Жуковский). *Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту* (Достоевский); *Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам ... Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял руку и как будто приставил палец ко лбу* (Он же).

Кажимость вариативна, но у вариантов есть общие признаки. Основной из них — двуплановость, своего рода «двойное бытие», совмещение реального и кажущегося. Другой признак состоит в том, что кажимость предполагает наличие наблюдателя, не исключая при этом самонаблюдения. Третий признак заключается в том, что наблюдатель воспринимает ситуацию чувственно. Она дана ему в ощущениях, образах, впечатлениях, воспоминаниях. Отправным пунктом кажимости являются sense-data. *К*-модальность в принципе оставляет вопрос об истинностном значении предложения открытым: образ присутствует лишь в субъективном восприятии наблюдателя. На суде показания очевидца считаются надежнее гипотез. *К*-модальность, напротив, советует не доверять чувственному восприятию. Глагол *казаться* и МО кажимости обычно интерпретируются как показатели ложности, сомнительности или недостоверности сообщения. Обманывают все чувства, кроме «шестого». Поэтому в контекстах, отсылающих к интуиции или проницанию иных миров, *к*-модальность как бы объективирует субъективное восприятие, выносит ему вотум доверия и даже указывает на некие «сверхистины», суждения о которых остаются неопределенными. Д.Н.Шмелев писал: «С первого взгляда может показаться парадоксальным, что, успешно познавая многие тайны Вселенной, проникнув в космос, зарегистрировав неуловимое нейтрино, человек оказался, в общем, беспомощным в определении глубинной природы процессов, происходящих в его собственном сознании. Как только мы сосредоточиваем внимание на том, «как мы думаем», бессознательный «поток мыслей» неизбежно прерывается. Происходит нечто аналогичное тому, что наблюдается при измерении

координат и импульса частицы: для определения координат требуется неподвижный при взаимодействии прибор, но импульс частицы при взаимодействии с прибором изменяется; прибор же, точно регистрируя импульс прохождения частицы через диафрагму, позволяет судить о положении частицы уже только неопределенно» (Шмелев 1977, 62).

Итак, *к*-модальность зарождается в сфере непосредственного восприятия мира. То, что находится «за кадром», проникает в человека через ощущения, через еще не притупившееся «шестое чувство», а не через новые формы разума, которым, казалось бы, легче, чем зрению, преодолеть тьму. Характерно, что даже философскую «картину мира» принято называть миро-*воззрением*, миро-*восприятием*, миро-*ощущением*, миро-*чувствием*, миро-*видением* (но не миро-*ведением*) и лишь редко миро-*пониманием*. Акцент в приведенных словах поставлен на непосредственный чувственный опыт, а не на его анализ.

Речь идет о некотором Als ob (так Кант называл априорные суждения), своего рода фикциях — культурных, этических, эвристических, религиозных и даже математических, сложившихся в результате чувственно-символического познания (Vaihinger 1911). Со всеми ними Г.Файхингер ассоциировал проблему кажимости (Scheinproblem).

Кажимость, как отмечалось, не предполагает достоверности. Отношения между двумя планами субъективны. Однако недостоверность может изменить свой характер. Ненадежность чувственного восприятия уступает место эпистемической недостаточности: *к*-оператор получает вероятностное значение: *Петр, кажется, еще не вернулся; Петр как будто еще не вернулся.* Кажимость эволюционирует в сторону предположения, но ее следы ощутимы. В терминах кажимости часто говорят в ситуации смутного воспоминания: *Петр как будто мне об этом говорил, не помню точно. Он мне звонил. Кажется, это было вчера.*

Эпистемическое значение дает наиболее чистый случай употребления *как будто* в функции МО. Об этом свидетельствует его сочетаемость с предикатами фактивного значения.

Нас, однако, интересует прежде всего *к*-модальность и характерные для нее контексты. Одним из них является интерпретация симптомов, обнаруживающих внутреннего человека — состояния его сознания, его сущность. Внутренний человек скрыт от наблюдателя, в поле зрения которого попадают лишь некоторые его проявления — конвенциональные и естественные, неконтролируемые. Первые могут быть фальсифицированы, вторые — нет. По ним наблюдатель с большой долей допущения реконструирует внутренний мир «другого». Через модус кажимости познается и прозревается не только то, что лежит по ту сторону видимого мира, так познается человек. М.Хайдеггер определял человека семиотически, через апелляцию к значению — «Я есть то, что я говорю». Человек представляет собой существо не только говорящее (homo loquens), но и з ачащее (homo significans). «Из того, что

мои действия меня проецируют во вне и осмысливаются другими, следует, что я есть язык», писал Ж.-П.Сартр (Sartre, 1943, 440). Характерная для *к*-модальности двуплановость распределена между внешними симптомами и некоторым психологическим содержанием. Когда говорят «Ты как будто чем-то раздражен (сердишься, недоволен)», о внутреннем состоянии судят по его наружным проявлениям — выражению лица, интонации, поведению. Например: *Она потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями* (Карамзин); *Она воротилась через минуту со взглядом, как будто просившим прощение за что-то* (Достоевский); *Но в другое время ... она сама, как будто в каком-то отчаянии, судорожно обнимала меня, как будто искала моего участия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уже понимала ее, как будто мы страдали с ней вместе, но между нами все-таки оставалась тайна* (Он же). В такого рода примерах сополагаются (или налагаются друг на друга) объекты принципиально разной природы — знаки и их значения, означающие и означаемые. Кажимость, имеющая своим источником сравнение, делает шаг в сторону семиотики человеческого общения и поведения.

Семиотика человека обладает некоторыми особенностями. Сам симптом далеко не всегда может быть четко выделен и описан. Во многих случаях он слагается из ряда мелких штрихов. В тексте они часто обозначаются неопределенным местоимением *что-то: В лице его было что-то лукавое и вместе веселое* (Достоевский); *По глазам его видно было, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было в лице его и улыбке* (Он же); ... *что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел в его ясные, светлые глаза* (Он же). *Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось на его лице* (Он же).

Симптомы чрезвычайно многозначны. Поэтому, даже тогда, когда они прямо названы в тексте, их сопровождает указание на причину их появления: *вздрогнуть от неожиданности, удивления, испуга; глаза его заблестели от радости, восхищения, вдохновения, негодования* и т.д. Отношения между симптомом и его психологическим субстратом в этом случае интерпретируются как каузальные. Но они могут быть поняты и собственно семиотически. Это хорошо видно из следующего примера: *В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало ... Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с острогом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве* (Достоевский). Многозначность характеризует не только симптомы, но и жесты. Вот что пишет об этом Гоголь. Узнав о внезапном отъезде Чичикова из города NN, «Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень

медленно вышел из комнаты ... и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком ... Или жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом близ печи ... Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесывание в затылке» (Гоголь, т.5, 1952, с. 308-309).

Итак, паралингвистические сигналы не всегда могут быть точно описаны и достоверно интерпретированы. Глаза, например, называют зеркалом души, и они действительно могут выражать многое — любовь и ненависть, гнев и возмущение, радость и печаль. В них можно прочесть даже мысли. По глазам судят о человеке. Между тем описать оппозиции взглядов и выражений глаз в терминах дифференциальных признаков невозможно. Офтальмологи утверждают, что выражение глаз сосредоточено не в самом глазе, а вокруг него — в движении век и бровей. Поэтому симптомы идентифицируются через означаемое, которое, однако, может ставиться наблюдателем под сомнение, и он выбирает для сообщения модальность кажимости. Например: *Девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто бы желая выразить, что ей совестно сидеть с господами* (Бестужев). *Он смотрел прямо в глаза Тихону, как будто ожидая от него же ответа* (Достоевский). *Гаврила Ардальонович меж тем как будто что-то припоминал* (Он же); *Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие* (Он же). *Он* (Раскольников) *смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно* (Он же). *Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных* (Он же). В текстах, написанных с позиций наблюдателя, интерпретативное *как будто* встречается достаточно часто.

Область действия *как будто* неустойчива. В нее может входить истинностное значение, связка (*Он как будто огорчился*). В этом случае *как будто* занимает позицию, близкую к вводной. Но *как будто* может относиться и только к предикату (его рематической части): *Во взгляде его светилось как будто безумие.* В последнем случае *как будто* выполняет функцию семантического оператора и может считаться синонимом (или квазисинонимом) частицы *как бы,* к рассмотрению которой мы сейчас перейдем. Наконец, *как будто* употребительно в функции сравнительного союза, в область действия которого входит придаточное предложение в полном или сокращенном виде (см. примеры выше).

* * * *

В современной русской речи частица *как бы* очень популярна. Ее повсеместное присутствие беспокоит не столько филологов, сколько журналистов. Так, в «Независимой газете» недавно была опубликована заметка под заголовком «Как бы на самом деле». Вот ее начало: «Кажется, наиболее употребительное сегодня в интеллигентской среде выражение — *как бы.* Студент-первокурсник и известный журналист, знаменитый кинорежиссер и крупный государственный чиновник просто фразы сказать не могут без того, чтобы не уснастить ее этим самым как бы необходимым паразитом». Далее автор заметки объясняет частое употребление *как бы* склонностью, возможно бессознательной, к обману или самообману (НГ от 7.02.1996, автор заметки — Е.Сагаловский). И уже совсем недавно — 15.04.1997 г. — «Аргументы и факты» откликнулись на «повальное и всенародное распространение *как бы*» заметкой «Наше как бы время» (автор — М. Мурзина).

Между тем, еще несколько лет назад популярность частицы *как бы* не была столь очевидна.

Одним из первых писателей, в текстах которого употребление *как бы* высоко частотно и функционально нагружено, был Достоевский (Арутюнова 1996). В язык поэзии *как бы* было введено Тютчевым. Это блестяще показал В.Н.Топоров в своем исследовании глубинных схождений в восприятии мира, а также в принципах познания и самопознания между Тютчевым и Шеллингом (Топоров 1990, с. 101-106).

Интересно отметить, что в ранних произведениях Достоевского *как бы* встречается редко, *как будто,* напротив, очень часто. Так, в «Неточке Незвановой» (объем повести — 126 стр.) *как будто* встречается 189 раз, а *как бы* всего 11. Есть фрагменты, для которых *к*-модальность является ключевой. Так, на стр. 226 *как будто* зарегистрировано 15 раз, а на стр. 225-237 — 81 раз (Достоевский 1972). В «Белых ночах» (объем 40 стр.) *как будто* встречается 27 раз, а *как бы* всего один, причем в нетипичном контексте: *Зачем мы не так, как бы братья с братьями.* В «Маленьком герое» (объем — 28 стр.) *как будто* употреблено 30 раз, а *как бы* — 2 раза, причем в 11 случаях *как будто* заменимо на *как бы.* В «Дядюшкином сне» (101 стр.) *как будто* отмечено 41 раз, а *как бы* — 3.

Такое распределение нельзя полностью отнести за счет романтического стиля. Аналогичную картину дает текст «Записок из Мертвого дома» (объем — 226 стр.), в котором *как будто* употреблено 112 раз, а *как бы* — 19. В этих произведениях есть контексты, в которых более естественно видеть *как бы,* а не *как будто.* Например: *Всякий каторжник чувствует, что он не* **у себя дома,** *а как будто в гостях* (ср. *как бы в гостях*); *Все рассмеялись, но как-то тоже лениво, как будто нехотя* (ср. в «Преступлении и наказании»: *Это доказано, — отвечал Разуми-*

хин, нахмурясь и как бы нехотя); ... (*эти умники*) *на работах являлись как будто распорядителями* (ср. *как бы распорядителями*).

В этих и других примерах частица осуществляет скорее операцию над смыслом последующего слова, чем над истинностным значением предложения. Об этом свидетельствует, в частности, положение *как бы* непосредственно перед тем словом, в семантику которого эта частица вносит коррективы: *Многое еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен; ... в общем виде Петра Петровича поражало нечто как бы оправдывающее название «жениха»*. Об этом же свидетельствует употребление *как бы* в сочетании с оборотом *так сказать: Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса* (Достоевский), *А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства?* (Он же). В последнем примере *как бы* изофункционально *так сказать*, от которого оно отделено запятой. Достоевский ввел *как бы* в активное употребление в своих последних романах, в которых наметилось разделение функций модальных и семантических операторов и, возможно даже, наблюдается известная экспансия СО. Уже в повести «Вечный муж» (ее объем — 108 стр.) *как бы* отмечено 59 раз, а *как будто* — всего — 26. В первых шести книгах «Братьев Карамазовых» (370 стр.) *как бы* встречается 155 раз, а *как будто* — 32, то есть почти в пять раз реже. Для сравнения приведем следующие данные: в первых двух частях «Войны и мира» Л. Толстого (345 стр.) *как будто* встречается 70 раз, а *как бы* — 15. Здесь мы не можем подробно развертывать эту тему. Обратим лишь внимание на то, что в положении перед образными словами Достоевский отдает предпочтение *как бы* сравнительно с *как будто*. Например: *Ум его как бы померкал мгновениями; Что-то как бы сотряслось в его мозгу; Он как бы впился глазами в Алешу; Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее.* Тем самым акцент переносится с истинностного значения, с кажимости и даже с образа в сферу семантики. Достоевский использует *как бы* также и при недостоверном сравнении: *Как, вы здесь? — начал он ... таким тоном, как бы век был знаком; Было все равно, как бы я сам поднял.* Между тем эти контексты характерны для *как будто*. Кроме того, *как бы* начинает активно употребляться в интерпретативной функции. Например: *С тех пор Алеша заметил, что брат Иван ... даже как бы невзлюбил его; Молодой человек ... в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. — Странно, в высшей степени странно! — произнес Миусов, и не то что с горячностью, а как бы с затаенным каким-то негодованием: — Вы не сердитесь на меня за что-нибудь? — спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза.* В этих примерах акцент перенесен с идеи предположительности интерпретации (ср.: *Вы как будто чем-то*

опечалены) на приблизительность номинации внутреннего состояния человека: *как бы невзлюбить* квазисинонимично глаголу *невзлюбить*. СО *как бы* воздействует на значение, сдвигая его в сторону неядерных, периферийных признаков: *как бы нелюбовь* не столь остра и определенна как *нелюбовь*, а *как бы ненависть* менее опасна для ее жертвы, чем просто *ненависть*, *как бы обещание* (*ручательство*) менее надежно, чем просто *обещание* (*ручательство*), *как бы извинение* может не быть принято адресатом, *как бы муж* несет по отношению к своей *как бы жене* меньше обязательств и имеет меньше прав, чем даже плохой муж. Например: *Я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь* (Достоевский).

Итак, *как бы* может быть отнесено к числу операторов, вносящих в значение слова приблизительность. Речь не идет, однако, о количественной приблизительности. Частица *как бы* не сочетается ни с количественными значениями, ни с параметрическими предикатами, ни даже с неопределенными количествами. Нельзя побывать в Риме *как бы два раза* или *как бы несколько раз*. Нельзя сказать о человеке, что он *как бы высок* или *низок ростом*. Улица не может быть *как бы широкой*, но о натуре человека так сказать можно.

Дестабилизирующая функция *как бы* препятствует сочетаемости этой частицы со словами, обладающими четким понятийным содержанием. Утверждения о фактах отталкивают *как бы*. Нельзя *как бы родить ребенка* или *как бы перейти на другую сторону улицы*.

Однако и достаточно четкие концепты далеко не всегда устойчивы. Это касается прежде всего понятий, регулирующих социальную жизнь, межличностные отношения, а также понятий, относящихся к сфере культуры и внутреннему миру человека, состояниям его сознания (не случайно они бывают *пограничными*, т.е. двойственными), его эмоциям, мыслям и пр. Приведем несколько примеров: *Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров, Бердяев, Франк и я* (Б.Зайцев); *Государство как бы гарантировало бесплатное медицинское обслуживание* (из прессы); *Я вам сейчас как бы спою как бы песню* (А. Свиридова, пример из заметки М. Мурзиной, см. выше).

Можно быть *как бы друзьями* (*соперниками, коллегами, врагами, русскими, учеными*), можно *как бы работать* (не получая зарплаты), можно быть *как бы замужем* (*женатым, одиноким*) и т.д., и т.п. Жизнь, особенно в социально неупорядоченных обществах, полна неклассических ситуаций. Неклассические ситуации встречаются также в природе. Так, курицу можно назвать *как бы птицей*, а кита — *как бы рыбой*. Частица *как бы* является показателем семантического сдвига, и ее функция может быть названа *деклассирующей*. Есть и другие способы сделать концепт менее жестким. Этой цели служат выражения типа *друг не друг, помощник не помощник*, а также показатели подобия

(*похоже, вроде*). Например: *Мы условились утром быть уже у Белого, — секунданты не секунданты, а вроде того* (Б.Зайцев).

Возникает вопрос о пределе семантического сдвига. Может ли СО инвертировать истинностное значение, и если может, то не становится ли тогда *как бы* модальным оператором, воздействующим только на связку?

Есть случай, когда *как бы,* действительно, функционально сближается с отрицанием. Речь идет о театрализованных действиях, совершая которые, агенс вводит адресата (или просто зрителя) в заблуждение, обычно выдавая намеренную акцию за нечаянное, непроизвольное действие. Намеренность (контролируемость) действия является нормой. Она в общем случае никак не отмечается. Неумышленность действия квалифицируется как отклонение от нормы. Она маркируется серией наречий: *нечаянно, ненамеренно, невзначай, непроизвольно, неумышленно, ненароком, невольно, необдуманно, непреднамеренно, неосознанно, несознательно, нехотя.* Заметим, что все они включают отрицание. Когда эти наречия занимают позицию ремы, перед ними могут употребляться оба оператора — *как будто* и *как бы: Он дотронулся до ее руки как бы* (*как будто*) *нечаянно; Он сказал это как бы* (*как будто*) *невзначай; Тут он как бы* (*как будто*) *ненамеренно разбил стакан. Как будто* сигнализирует о впечатлении (кажимости), *как бы* — об умысле. Операторы антонимизируют семантику наречия, исключая из нее отрицание: *Тут он намеренно разбил стакан.* Семантическая инверсия ведет к инверсии истинностного значения. Этот процесс обратен лексикализации отрицания, при которой инверсия истинностного значения влечет за собой антонимизацию значения слова. В приведенных примерах эти два явления соположены: отрицательные наречия возникли вследствие превращения модального оператора в семантический, сочетания с частицами можно было бы считать результатом преобразования СО в модальный. В этом случае областью действия частиц следовало бы признать только логическую связку. Мы, однако, не склонны так думать. Оба оператора воздействуют на семантику слова: «сделать что-либо как бы (как будто) нечаянно» значит не только «совершить действие намеренно», но еще и «намеренно создать иллюзию ненамеренности». Таким образом, более естественно считать *как бы* и *как будто* в приведенных контекстах семантическими операторами. Их воздействие на значение слова имеет модальный эффект. Последний не вполне регулярен. Так, частица *как будто* может иметь значение *к*-модальности, оставляя вопрос об истинностном значении открытым. В этом случае она выделяется интонационно: *Он задел меня как будто нечаянно = Мне кажется, что он задел меня нечаянно.*

Частица *как бы* однозначно указывает на «намеренную ненамеренность», за исключением сочетаний с наречием *нехотя* (см. примеры выше).

* * * *

Теперь рассмотрим частицы *как будто* и *как бы* sub specie comparationis. Это естественно, поскольку обе они имеют в качестве своей отправной точки сравнительный союз *как,* и первичным для них можно считать значение модализованного сравнения.

Сравнения, как отмечалось, имеют тенденцию к компрессии. Но сам процесс сокращения и его результаты не всегда одинаковы. Существует по крайней мере два вида редукции сравнительных придаточных: формальный и содержательный. В первом случае функция сравнения остается прежней, во втором может меняться. Первый случай представлен *как*-сравнением, второй — сравнительными частицами *как бы* и *как будто.*

На первый взгляд все три элемента равно входят в редуцированные сравнения; ср.: *Петр был как безумный, Петр был как бы безумный* и *Петр был как будто безумный.* Может создаться впечатление, что они построены по одной синтаксической модели. Знаки сравнения (*как, как будто, как бы*) во всех случаях стоят непосредственно перед предикативами и могут быть удалены без потерь для синтаксической правильности предложения: *Петр был* (*как, как бы, как будто*) *безумный.* (Вопроса истинности мы пока не касаемся). Однако приведенные предложения различны не только по смыслу, но и по своему синтаксическому строению.

Начнем с *как*-сравнения. В предложениях типа *Петр был как безумный* (*пьяный, мертвый, потерянный, сумасшедший, невменяемый, бешеный, блаженный, молодой*) прилагательное употреблено атрибутивно, а не предикативно. Оно выполняет определительную функцию при нулевом имени: *Петр был как безумец* (*как безумный человек*). Это видно уже по тому, что после *как* возможна только полная, но никак не краткая форма прилагательного: **Петр был как безумен* (*пьян, потерян, мертв*). После *как* не могут стоять неатрибутивные формы определений: **Петр был как не в себе* (*вне себя от радости*); ср.: *Петр был как бы* (*как будто*) *вне себя от радости.* Но если предложная форма имени допускает атрибутивное употребление, *как*-сравнение возможно: *Ты совсем как без рук* (ср. «*Человек без свойств*» — название романа Р.Музиля).

Из приведенных примеров явствует, что в предложениях типа *Петр был как безумный* прилагательное стоит в субстантивной позиции. Ее действительно занимают большей частью имена: *Петр был как дитя* (*огурчик, овца*), *Петр был нам как отец.* Имена указывают на термин сравнения. Он не совпадает с подлежащим предложения. Очевидно поэтому, что прилагательное не может быть с ним непосредственно связано. Оно относится к субъекту сокращенного придаточного: ср. *Петр был нам как родной* и *Петр был нам как отец родной; Петр был*

как безумный означает «Петр был таким, каким бывает безумный человек». В сокращенном придаточном речь идет об условном лице, представляющем некоторый тип поведения.

Образование таких предложений обычно ограничено некоторым набором шаблонов. В фокусе сравнения находится не только субъект редуцированного придаточного, но и его действия, проявления, реакции. Поэтому для сравнения привлекаются имена (или субстантивированные прилагательные), способные иметь поведенческие импликации. Когда говорят «Ты совсем как маленький», имеют в виду не внешний облик, а только ребяческие выходки или реакции человека. Основание для сравнения обычно не уточняется. Речь может идти о целом наборе поведенческих симптомов.

Таким образом, в предложении *Петр был как безумный — как* служит рубежом, разделяющим две предикативные конструкции — главную и придаточную. Последняя редуцирована. Устранение *как* переводит сложное предложение в разряд простых. Вводя сокращенное придаточное, *как* выполняет союзную функцию (Краткая русская грамматика 1989, 528-531). Ситуация еще более очевидна, когда сказуемое в главном предложении выражено полнозначным глаголом: *Петр вел себя как безумный.* При сокращении придаточного обычно устраняется глагол, который, как правило, совпадает с глаголом-сказуемым главного предложения, а сохраняется один (или несколько) зависимых от него членов (кроме наречия): *Ты говоришь со мной, как с ребенком; Птицы щебетали, как всегда по весне.*

Рассмотрим теперь редукцию модализованных сравнений с элементами *как бы* и *как будто.*

В современном языке *как бы* практически утратило союзную функцию (Черемисина 1976, 128). В XIX в. оно в этой функции встречалось чаще: *Вы здесь? — начал он с недоумением, таким тоном, как бы век был знаком* (Достоевский), *Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать*: «*Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь*» (Тургенев), *И сладкий трепет, как струя, По жилам пробежал природы, Как бы горячих ног ея Коснулись ключевые воды* (Тютчев), *Все стихло в чуткой темноте — Как бы таинственное дело Решалось там — на высоте* (Тютчев). Частица *как бы* стала использоваться в простом или усложненном предложении, особенно часто перед деепричастиями. В предложениях со связочным глаголом *как бы*, в отличие от *как*, не только может предварять краткую форму прилагательного, но даже отдает ей предпочтение: *Петр был как бы невменяем.* Выполняя роль семантического оператора, *как бы* стремится занять место перед своим партнером, даже если для этого нужно вклиниться между определением и определяемым; ср.: *как бы некоторая странность* и *некоторая как бы странность, как бы какое-то предопределение* и *какое-то как бы предопределение, как бы немного резко* и *немного как бы резко.*

Для того, чтобы перенести область действия союза *как бы* с придаточного на компонент простого предложения, нужно его высвободить из синтаксических «тисков», создаваемых главной и придаточной частями.

Рассмотрим некоторые механизмы, ведущие к изменению синтаксического статуса *как бы* и, соответственно, его функции:

1. Устранение или редукция главного предложения; ср.: *Тихон смотрел на него так, как бы (как будто) вовсе его не узнавал* и *Тихон как бы его не узнавал.* Когда дается психологическая интерпретация внешних симптомов, последние обычно не нуждаются в экспликации (см. выше). Поэтому предложения о психологических состояниях обычно лишены описательной части: *Тихон вдруг как бы рассердился.* Поскольку симптомы допускают ошибочную или неточную интерпретацию, а с другой стороны — сами психологические состояния гораздо более тонко нюансированы, чем может выразить соответствующая им языковая таксономия, сообщения о внутреннем мире человека создают благоприятный контекст для *к*-модальности и СО, в частности для *как бы* (см. примеры выше). Интересно отметить, что употребление *как бы* перед словами со значением физических симптомов переводит их в психологический план или, по крайней мере, дает повод для психологической их интерпретации; например: *Первые шаги он* (Иван) *прошел бодро, но вдруг как бы стал шататься* (Достоевский). Речь идет о внутреннем «шатании» Ивана, отразившемся на его походке; см. подробнее [Арутюнова 1996]. Предложения типа *Он как бы весь дрожал, Он вдруг как бы заторопился, Лицо его было как бы болезненным* содержат намек на некие особые психологические причины физического явления. Нельзя *как бы торопиться* от недостатка времени, а *как бы дрожать* от повышенной температуры. СО *как бы* указывает на некие особые, чрезвычайные обстоятельства, вызвавшие физический симптом. Этим, кстати, объясняется склонность Достоевского к такого рода употреблению; например: — *Она это наверно сказала? — спросил он и голос его как бы дрогнул; Он боялся, что выпустит и уронит топор. ... вдруг голова его как бы закружилась.* В таких примерах *как бы* не ущемляет полноценность значения предиката, а, напротив того, его обогащает, придавая симптому семиотичность, некоторое дополнительное значение.

2. Замена придаточного деепричастным оборотом; ср.: *Тихон смотрел на него так, как бы не испытывал никакого смущения* и *Тихон смотрел на него, как бы не испытывая никакого смущения; Он ... смотрел на дочь, как бы не узнавая.*

3. Замена сложноподчиненного предложения сложносочиненным или последовательностью личных форм глагола: *Тихон посмотрел на него и как бы вовсе не оробел; Иван молча глядел на него. У него как бы отнялся язык* (ср.: *Иван молча глядел на него, как будто у него отнялся язык*).

4. Объединение главного и придаточного, перенос предиката придаточного в главное: *Тихон посмотрел на него как бы без всякого интереса* (ср.: *Тихон посмотрел на него так, как будто не испытывал к нему никакого интереса*).

5. Сведéние придаточного к обособленному обороту: *Тихон, как бы пораженный чем-то, поднял на него глаза* (ср.: *Тихон поднял на него глаза, как будто его что-то поразило*).

Проводя параллели между присловной и союзной функцией (в ней *как бы* употребляется, как отмечалось, редко; поэтому мы его заменяли союзом *как будто*), мы имели в виду продемонстрировать постепенный переход *как бы* от модального значения к функции семантического оператора, вносимого в придаточные частицей *бы*.

Подведем некоторые итоги. Элементы *как* и *как бы* принципиально различны: *как* принадлежит сложному предложению, *как бы* — простому или усложненному; *как* — союз, *как бы* — частица; *как* вводит придаточное сравнения, *как бы* примыкает к слову (словоформе) — предикату или его части; *как* предваряет аналогию, *как бы* осуществляет семантическую коррекцию; *как* предпочитает фигуральные значения, *как бы* — прямые; *как* сближает две разные ситуации, *как бы* стремится свести их к одной. В первом случае действует принцип соположения ситуаций, во втором — их совмещения. *Как* не может быть изъято из предложения. Устранение *как* делает предложение либо ложным, либо неправильным; ср.: *Он был как безумный* и *Он был безумный, Он относился к нам как к детям* и **Он относился к нам к детям.* (Исключение составляет метафоризация образных имен).

Устранение *как бы* таких последствий не имеет. Оно не влияет на синтаксическую правильность предложения; ср.: *Он как бы задумался* и *Он задумался, Он был как бы в восторге* и *Он был в восторге.* Опущение *как бы* лишает предложение смысловых нюансов, но лишь в редких случаях делает его ложным (см. выше).

Таким образом, *как* — оператор сравнения. Область его действия — предложение. Сравнение может приблизить к истине и стать приблизительностью. Не случайно в ряде европейских языков функцию СО получили сравнительные союзы и наречия (англ. like, исп. como, ит. come, фр. comme), и именно они чаще всего используются при переводе *как бы.*

Итак, *как бы* — оператор приблизительности. Область его действия — слово (предикат или рема). Связь с предикатом придает *как бы* модализованность, сближая с модальным оператором *как будто,* к рассмотрению которого мы хотим вернуться.

Синтаксический статус проанализированных операторов — *как* и *как бы* — определился, достаточно стабильны и их семантические функции. Иначе обстоит дело с *как будто* — другим модализованным преемником *как*-сравнения. *Как будто* ведет себя синтаксически неод-

нородно. Оно сохранило функцию сравнительного союза и приобрело две производные функции — семантического оператора, действующего на значении слова, и модального оператора, действующего на истинностном значении предложения. В роли СО *как будто* занимает присловную позицию и изофункционально *как бы;* в роли МО *как будто* аналогично словам, выражающим *к*-модальность или модальность предположения.

В следующем предложении *как будто* занимает союзную позицию: *Он взглянул на меня до того презрительно-высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким глупеньким мальчиком* (Достоевский). Модальность не слишком важна для сравнения. Модализованные и немодализованные сравнения могут иметь одинаковый (или близкий) смысл. Это особенно заметно при сокращении сравнений: *Я бросился в казармы и два часа был как без памяти* (Достоевский). Сравнение может быть интерпретировано «отстраненно» (как человек, потерявший память) и «личностно» (как будто я лишился памяти). Практически эти интерпретации эквивалентны; ср. также: *Он закричал как ужаленный (ошпаренный), Он застыл как громом пораженный.* «Отстраненная» интерпретация (именно ей соответствует приведенная структура) не требует модализации, поскольку сравнение апеллирует к некоторой прототипической ситуации. Поэтому модальность стремится освободиться от сравнения и соединиться либо с семантикой предиката, либо с истинностным значением автономного предложения.

Как будто ведет сравнение к *к*-модальности. Оно естественно употребляется после глаголов кажимости (см. выше). *Как бы,* ведущее сравнение к семантической приблизительности, избегает слов кажимости: *?Ему показалось, что его как бы окликнули; ?Кажется, что кто-то как бы стучится в дверь. Как будто* может выражать также модальность предположительности: *Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. Белый как будто ни с кем не ссорился* (Б.Зайцев). В первом предложении *как будто* выражает *к*-модальность, во втором — предположение, основанное на не вполне надежных сведениях. Оба вида модальности недостоверны. Например: *Как будто начинали сбываться давнишние его мечты — учение о «соборности» ... но именно только «как будто»* (Б.Зайцев). В этом предложении как бы синтезированы оба вида модальности: неподтвердившееся суждение вынесено и на основе некоторых впечатлений и, возможно, с чужих слов. Т.В.Булыгина и А.Д.Шмелев отметили, что «сообщения, полученные от других лиц, трактуются языком как перцептуальная информация» (Человеческий фактор в языке 1992, 133). Этим объясняется возможность объединения в *как будто* значений кажимости и предположения, основанного на некоторой информации. Если речь идет о действии, не входящем в поле наблюдения, то *как будто* может отсылать только к недостоверной информации: *Он как будто уже уехал.* Недостоверная информация может быть прове-

рена, а суждение, вынесенное на ее основе, подтверждено или опровергнуто. Кажимость далеко не всегда допускает верификацию. Например: *Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер* (Гоголь). Такие суждения не выходят из круга *к*-модальности.

Стабилизация функции МО укрепляет связь *как будто* с предложением, т.е. личной формой глагола. В XIX в. *как будто* часто употреблялось перед деепричастием: *— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья* (Л.Толстой), *Князь Андрей остановился, как будто ожидая чего-то неприятного* (Л.Толстой). *Он глядел уже весело, как будто освободясь от какого-то ужасного бремени* (Достоевский). Сейчас естественней употребить в таких случаях личную форму, либо заменить *как будто* на *как бы: как будто собиралась, как бы собираясь.*

Употребление *как будто* в функции семантического оператора, активное в XIX в., в современном языке постепенно отступает перед *как бы.* Так, в следующем предложении контекст поиска более точной номинации явления побудил бы в современном языке отдать предпочтение *как бы: Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им; минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам* (Достоевский); ср. также: *Во взгляде его светилась как будто даже восторженность, но в то же время мелькало как будто и безумие* (Достоевский). Есть примеры параллельного употребления *как будто* и *как бы: И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений* (Достоевский), *Но, казалось, на лице ее отражалось подчас так много ... как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение* (Он же). Параллелизм *как будто* и *как бы* в суждениях о внутреннем мире человека, вынесенных с позиций наблюдателя, объясняется тем, что значение приблизительности в идентификации психологического феномена (*как бы*) и значение неуверенности в интерпретации симптома (*как будто*) близки друг другу.

В заключение мы хотим отметить, что *как* — оператор сравнения, *как бы* — семантический оператор и *как будто* — оператор модальности и модализованного сравнения имеют между собой точки соприкосновения и в ряде контекстов употребляются параллельно. Некоторые из таких контекстов были отмечены выше. Однако нам казалось более важным подчеркнуть их различия, намек на которые сохраняется даже в контекстах неразличения.

ЛИТЕРАТУРА

Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.1. М. 1976.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М. 1988.
Арутюнова Н.Д. Стиль Достоевского в рамке русской картины мира. // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М. 1996.
Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений в пяти томах. АН СССР, М., 1951-1952.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 тт. Л. 1972-1990 гг.
Краткая русская грамматика. М. 1989.
Крейдлин Г.Е. Таксономия и аксиология в языке и тексте (Предложения таксономической характеризации) // Логический анализ языка. Ментальные действия. М. 1993.
Русская грамматика М. 1980.
Саввина Е.Н. Синтаксический и семантический эллипсис в русских сравнительных конструкциях. АКД. М. 1988.
Топоров В.Н. Заметки о поэзии Тютчева. (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством) // Тютчевский сборник. Таллин. 1990.
Тулина Т.А. О способах эксплицитного и имплицитного выражения сравнения в русском языке. НДВШ. Филологические науки. 1973. № 1.
Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М. 1992.
Черемисина М.И. Сравнительные конструкции русского языка. М. 1976.
Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М. 1977.
Lakoff G. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. // Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Dordrecht. Boston. 1975.
Sartre J.P. L'Être et le Nèant. Paris. 1943.
Vaihinger H. Die Philosophie des Als ob. Leipzig. 1911.
Zadeh L. Fuzzy sets // Information and control. № 8. 1965.

Ю. А. Бельчиков, Г. Я. Солганик

О ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ АДРЕСНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Говоря о новых типах словарей, ориентированных на «лексикографические интересы» той или иной группы потребителей словарей, целесообразно хотя бы схематично наметить соответствующую группировку словарей, которые объединяются запросами читателей лексикографических изданий. Такой подход поможет определить и актуальность новых типов словарей, и новые модификации традиционных словарей и справочников.

Для решения данной задачи важно выяснить, какая именно информация о языковых единицах нужна потребителям словарей.

Выделяются три основных группы пользователей словарями: носители языка (среди них особое место занимают учащиеся); изучающие неродной язык; лингвисты (исследователи конкретного языка).

Рассмотрим типовые ситуации обращения к словарям в первой группе.

1. Возникающая в процессе речевой коммуникации необходимость узнать, уточнить: а) значение конкретного слова (обращаются к толковым словарям и к словарям иностранных слов); б) написание слова (обращаются к орфографическому словарю); в) произношение (в том числе ударение) слова (обращаются к орфоэпическим словарям и справочникам, а также к «словарям трудностей»).

2. Учебные цели при изучении школьниками родного языка.

Это блок словарей «первой лексикографической помощи».

Второй блок словарей связан с необходимостью получить информацию о парадигматических связях слов. Такая необходимость возникает у тех, кто занимается чтением текстов с разными целями (литературный редактор, учащийся, учитель-словесник, исследователь-филолог). Сюда относятся словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.

Третий блок связан с информацией о синтаксических связях слов. Это наименее разработанный в русской лексикографии тип словарей. Частично потребность в такой информации могут удовлетворить «Словарь сочетаемости русского языка» под ред. П.Н.Денисова и В.В.Морковкина, «Словарь эпитетов русского литературного языка»

К.С.Горбачевича и Е.Б.Хабло, «Словарь паронимов современного русского языка» Ю.А.Бельчикова и М.С.Панюшевой, справочники по управлению, «словари трудностей».

Сведения о сочетаемости слов актуальны в первую очередь для тех, кто работает над **созданием** текстов (от составителя рекламного объявления до создателя литературного произведения) и их редактированием.

Четвертый блок — ортологические словари и справочники. Они составляются с позиций «правильности» речи, соблюдения действующих литературных норм. Основная задача такого рода изданий — «лингвистическое воспитание» носителей данного языка.

Можно говорить еще об одном блоке словарей, который практически только складывается, — о словарях, посвященных выяснению идеографических связей: см. «Словарь ассоциативных норм русского языка» под ред. А.А.Леонтьева, «Ассоциативный тезаурус русского языка (машинная версия)», подготовленный под руководством Ю.Н.Караулова и Е.Ф.Тарасова. Впрочем, данный аспект слова более актуален для изучающих неродной язык и для исследовательских целей.

Среди потребителей лексикографических изданий — носителей языка выделяется достаточно репрезентативная группа читателей словарей, которые по тем или иным поводам являются создателями текстов (писатели, журналисты, переводчики, составители официальных документов, деловых бумаг, рекламных объявлений, ученые-исследователи, учащиеся — от школьников до аспирантов — и т.п.) или занимаются «критикой текста» (литературные редакторы, филологи, учителя-словесники).

Профессиональные и творческие потребности перечисленных потребителей словарей, в частности журналистов и редакционно-издательских работников, диктуют необходимость, с одной стороны, в таком новом типе лексикографического издания, из которого можно было бы получить информацию о стилистическом статусе слова, о его функционально-экспрессивной характеристике, о степени распространенности и сфере распространения в современной речевой коммуникации. С другой стороны, остро необходим такой тип словаря, в котором содержалась бы **многоаспектная комплексная** информация о слове, актуальная для журналиста, литредактора при создании текста и при работе над готовым текстом с целью его редактирования.

Для такого типа словаря целесообразно разработать словник с ориентацией на потребности в первую очередь журналиста и литературного редактора и такую структуру словарной статьи, которая дала бы возможность представить **в комплексе** основные параметры слова как единицы лексикографического описания и как субъекта речевой коммуникации.

Это должен быть словарь толковый, нормативный, стилистический. В нем будут представлены, наряду с семантической стороной, основные парадигматические, синтагматические, словообразовательные (ближайшие) связи заголовочного слова (ЗС), его привативные и эквиполентные оппозиции, функционально-стилистические и функционально-экспрессивные характеристики, нормативный статус ЗС, отмечены его морфологические (в том числе раритетные) и орфоэпические особенности.

Предпосылки для такой комплексной презентации слова во многом подготовлены толковыми, «частными» и учебными словарями. При этом остается целый ряд проблем оптимального лексикографического описания. Так, весьма актуальна задача дальнейшей разработки и обоснования дифференцированной системы стилистических помет. Не менее существен вопрос о максимальной «лексикографичности» представления системных связей и стилистической характеристики ЗС.

На профессиональные интересы работников печати ориентирован целый ряд лексикографических изданий, прежде всего неоднократно переиздавшиеся «Словарь трудностей русского языка» Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой, «Трудности русского языка» под ред. Л.И.Рахмановой и др. Полезны журналистам и литредакторам «Правильность русской речи» Л.П.Крысина и Л.И.Скворцова, «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» под ред. К.С.Горбачевича, упомянутый словарь Ю.А.Бельчикова и М.С.Панюшевой.

Все эти и подобные словари способствуют укреплению литературных норм, рассматривают трудные случаи слово- и формоупотребления, развивают языковое чутье носителей языка. Однако новые условия языковой жизни современного общества требуют новых лексикографических изданий.

В связи с теми коренными преобразования, которые происходят в современном русском языке в последнее десятилетие и которые инициируют интенсивные процессы в повседневной речевой коммуникации, в сфере словарного состава русского языка и словоупотребления, в частности — в сфере неологии, особенно в связи с большим наплывом иноязычных заимствований, созрела настоятельная необходимость в новом типе словаря иностранных слов (СИС), максимально рассчитанного на всех, кто связан с работой по созданию текста (на журналистов, литературных редакторов и др.).

В современной речевой коммуникации, прежде всего в средствах массовой информации, включая рекламу, в журнальной прозе, вообще — в литературных текстах, особенно на темы внутренней и внешней политики, рыночной экономики, межнациональных отношений, научно-технического прогресса, экологии, культуры и т.д., наблюдается активное и широкое использование иноязычных заимствований, возврат к прежним, «забытым» контекстам употребления давних заим-

ствований, преимущественно финансово-коммерческого назначения, сложившихся к I-ой четверти XX в., и расширение сферы использования специальных терминов (в большинстве своем — иноязычных) из того же тематического разряда. Немало слов при этом изменяет свои коннотации, экспрессивные свойства, сочетательные возможности и т.п.

Новый СИС как оперативное отражение в лексикографии новых заимствованных лексических единиц и нового употребления давних заимствований должен быть словарем нормативно-стилистического типа, в котором, наряду с актуальной семантикой единицы лексикографического описания, находят отражение ее сочетаемость, ближайшие словообразовательные связи, общая стилистическая характеристика и, по возможности, сфера распространения.

Единицы описания нового словаря — неологизмы и давние заимствования, получившие новые значения или новые сферы употребления, слова, модифицировавшие свою сочетаемость, в том числе лексико-семантические явления, еще не зафиксированные лексикографически.

В новый СИС включаются также неологизмы, созданные на «русской почве» на базе основ, корней и аффиксов давно заимствованных и освоенных русским языком слов (в большинстве своем — интернациональных морфем, напр.: *декоммунизация, деидеологизация* и т.п.).

Вместе с тем слова, традиционно включаемые в СИС, как, напр., из общенаучной лексики (*принцип, доктрина, концепция*), названия традиционных наук и областей познания (*биология, эстетика, философия*), сложившихся отраслей промышленности, экономики (*авиация, металлургия, индустрия*) и под., не рассматриваются. Таким образом, речь идет о заимствованных словах актуального или актуализированного употребления в современной речевой коммуникации.

Словарная статья, наряду с традиционными для СИС компонентами, содержит некоторые новые компоненты и модификации постоянных частей.

В зоне ЗС в «стилистической характеристике» дается стилистическая помета и указание на терминологическую сферу преимущественного распространения (*фин., коммерч., полит.* и т.п.), на степень употребительности или на принадлежность к просторечию, к жаргонной речи. Для слов, возникших «на русской почве» на базе заимствованных морфем, вводится помета «собств.». В толкующей части представлена только актуализированная в настоящее время семантика ЗС, т.е. те значения, которые стали актуальны для современного употребления. Расширена справочная часть словарной статьи (по сравнению с традиционным СИС): во-первых, представлены основные линии сочетаемости ЗС (под значком •); во-вторых, дается (если есть) фразеология, в том числе терминологические сочетания ЗС; в-третьих (и это принципиальное новшество), предлагаются сведения о «живых» значе-

ниях ЗС, «отодвинутых» современным узусом на второй план, а также об «устаревших» значениях ЗС, как, напр., для слова **аудитор**: 'в дореволюц. России — должность в военно-судебных учреждениях'. (В качестве иллюстрации такого рода «справки» — отмечено звездочкой — см. статью **Интервенция**: ИНТЕРВЕНЦИЯ, -и, ж. (лат. **interventio** — «приход», «вмешательство», «наступление») — **фин.** Выбрасывание валютной массы на валютной бирже. **Валютная и. И. Центрального банка. Рублевая и.** // Проникновение инвалютной массы на национальный рынок (***малоупотр.***).

- **Валютная, долларовая, рублевая**... **и.**
  И. (чья) **банка, доллара, инвалюты**...
  И. (чья, чего-л.) **в страну, на свободный рынок, на валютную биржу**...

***полит.** Агрессивное вмешательство одного или нескольких государств, преимущественно вооруженное, во внутренние дела какой-л. страны);

в-четвертых, указываются синонимы и антонимы (если они есть); в-пятых, даются основные и наиболее актуальные производные слова, как правило, с речениями, демонстрирующими их сочетаемость.

Предлагаемый словарь — лексикографическое издание **активного** типа, поскольку содержит сведения о синтагматических, парадигматических, словообразовательных связях и основную стилистическую характеристику единиц лексикографического описания.

Это обстоятельство тем более важно подчеркнуть, что обычно «активизирующие» читателя компоненты словарной статьи принято вводить в учебные словари для изучающих неродной язык.

Неосвоенной, пустой нишей в русской лексикографии представляется область употребления. Толковые словари русского языка, при всей их важности и ценности, ориентированы на понимание значения слова во всей гамме его оттенков. Но они обеспечивают лишь пассивное владение языком — понимание текстов, не отвечают на вопросы — как употребить то или иное слово в речи, как построить высказывание с толкуемым словом.

Употребление слова — это особая обширная область, требующая специальных лексикографических решений. Основная особенность Стилистического словаря — его ориентация на **употребление слова,** на речь, на активное владение языком. Он должен представить слово в его реальном функционировании, во всем разнообразии его синтагматических связей. Поэтому главная задача словаря — зафиксировать по возможности все речевые контексты употребления слова, прежде всего типизированные, затем менее и слабо типизированные и, наконец, свободные, ограниченные лишь закономерностями сочетания.

Отсюда вторая важная задача Стилистического словаря: тщательная разработка сочетаемости слова. Словарная статья должна представить по возможности исчерпывающий список лексем, с которыми

сочетается лексикографируемое слово, или (если это экономнее) указать лексемы, с которыми данное слово не сочетается. В этот круг проблем входит и проблема стилистической сочетаемости, а также нормативности употребления слова.

Стилистический словарь — словарь образцового употребления. Он призван учить культуре русского слова не только на ошибках, неправильностях, но и на высоких образцах. Он призван наиболее полно отразить все разнообразие средств выражения. Поэтому естественно включение в словарь фразеологии, синонимов, антонимов, выразительных средств; фиксируются не только языковые, но и удачные индивидуальные метафоры, раскрывающие экспрессивные ресурсы слова. Приводятся нормативные сведения об употреблении слова.

Стилистический словарь предназначен прежде всего для журналистов. Однако, так как проблема употребления актуальна для всех носителей языка, то он может стать массовым изданием.

Подготовка Стилистического словаря русского языка — дело масштабное и весьма трудоемкое. Созданию такого фундаментального словаря должна предшествовать разработка стилистических словарей основных функциональных разновидностей литературного языка — речи разговорной, деловой, научной, публицистической, художественной.

Стилистический словарь русского языка может быть создан в результате синтеза стилистических словарей функциональных разновидностей языка. Поэтому целесообразно на данном этапе разработать стилистические словари функциональных разновидностей литературного языка.

В качестве примера можно привести подготовленный к печати (составитель Г.Я.Солганик) «Стилистический словарь публицистики» (75 авторских листов). Он составлен в соответствии с описанными выше принципами. Охватывает XX век. Источники словаря — образцовая публицистика (книги, газеты, журналы). Словарь содержит 5600 словарных статей.

Словарная статья имеет следующую структуру:

1. Толкование значения (по возможности краткое). Толкуются лишь те значения, которые употребляются в публицистике. Если для нее актуально только переносное значение, то вначале дается толкование прямого значения (без иллюстраций), а затем — переносного. Это полезно для более полного восприятия переносного значения, сопоставления его с прямым.

2. После толкования характеризуется (по возможности полно) лексическая и синтаксическая сочетаемость — дается список наиболее типичных словосочетаний и предложений, минимальных типизированных контекстов употребления слова.

3. Цитатный материал — документируемые примеры из книг, газет, журналов. Для значений, впервые фиксируемых Словарем (их довольно много), количество примеров увеличивается.

4. Синонимы и антонимы.

5. Фразеологизмы и любые устойчивые обороты — типизированные сравнения, крылатые слова и т.п. — сопровождаются толкованием значения, списком синонимов и антонимов, примерами.

6. В конце словарной статьи — краткие указания о нерекомендуемом употреблении, о типичных ошибках.

Если в слове выделено несколько актуальных для публицистики значений, то каждое из них разрабатывается по той же схеме, что и самостоятельная словарная статья.

В зависимости от характера слова типовая структура статьи меняется: те или иные разделы могут отсутствовать (не всегда есть синонимы или антонимы, не везде нужны указания о нерекомендуемом употреблении).

Как очевидно, предложенные здесь типы словарей отвечают «лексикографическим интересам» журналистов, литературных редакторов, учителей-словесников, школьников, студентов-филологов, преподавателей филологических вузов, лингвистов, переводчиков, преподавателей иностранных языков, лиц, изучающих неродной язык на достаточно хорошо продвинутых этапах, а также составителей текстов служебного, делового, рекламного назначения.

В силу этого обстоятельства, а также в связи с тем, что словарные издания такого прикладного назначения имеют своей целью максимально всестороннюю характеристику системных связей и функционально-коммуникативных свойств слова, предлагаемые новые типы словарей вписываются в общую концепцию перспективной разработки русской лексикографии.

О. П. Ермакова

ОБ ИРОНИИ И МЕТАФОРЕ

В широкий круг научных интересов Д.Н.Шмелева прежде всего входило разноаспектное изучение семантики. Одну из своих ранних работ он посвятил экспрессивно-ироническому выражению отрицания в высказывании (Шмелев, 1958). В этой работе, в частности, затронут вопрос о возможностях некоторых типов слов выражать экспрессивно-иронические значения.

В нашей работе мы обращаемся к проблеме иронии как способу порождения значений в слове.

В настоящее время разноаспектному изучению иронии посвящено множество философских, лингвистических и литературоведческих исследований. Существует даже термин «иронология» (см. Kaufer, 1986, с. 315). Иронию рассматривают как категорию эстетическую, как один из видов речевых жанров юмора, как художественный прием и т.д.

Ирония, как это не раз отмечалось, может быть свойственна всему высказыванию. Примеры таких высказываний общеизвестны. Приведем лишь некоторые.

... Вы умрете другой смертью. —

— *Может быть, вы знаете, какой именно?* —

— с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз ... (М.Булгаков, Мастер и Маргарита); Впервые слышу об этом (о том, что злых людей нет на свете — О.Е.), — сказал Пилат, усмехнувшись, — *но, может быть, я мало знаю жизнь?* (М.Булгаков, Мастер и Маргарита).

Нас в этой работе будут интересовать те иронические контексты, в которых ирония локализована: иронически употребляется слово. Ср., например: *Добрые* люди бросались на него (Крысобоя), как собаки на медведя (М.Булгаков, Мастер и Маргарита). Правда, надо заметить, что чаще всего носители иронии — слова предикатные, и, значит, они сообщают иронию всему высказыванию, но опирается ирония все-таки на небуквальное употребление с л о в а .

Сюда относятся самые разные случаи иронического употребления слова, в том числе и самые банальные примеры «бытовой» иронии (Чубарян, 1994, с. 182), которые регулярно встречаются в разговорной

речи: *Чудная* погода! (об отвратительной погоде); *Гениальное* заключение (о глупом суждении) и т.п.

В задачу нашего исследования входит выявление типов слов, «подверженных» иронии, и типов значений, порождаемых ироническим употреблением этих слов.

ИРОНИЯ И ОЦЕНКА

В различных лингвистических и энциклопедических отечественных словарях, а также во многих зарубежных исследованиях ирония определяется как насмешка (или порицание, осуждение) под видом одобрения или похвалы (Малая советская энциклопедия, 1931, т. 3, с. 515, Советский энциклопедический словарь, 1980, с. 511, Толковый словарь русского языка, 1934, т. 1, с. 1224, Ахманова, 1966, с. 185, 1986, с. 307 и др.).

Уже из определений иронии следует, что ирония имеет дело с оценочными словами. При этом можно полагать, что со словами, содержащими в оценке знак плюс. Действительно, случаи иронического употребления слов такой семантики очень часты. Ср. *Прелесть! Чудный! Божественный! Потрясающий! Изумительный!* и другие слова, выражающие общую положительную оценку, или частно-оценочные слова: *умный, добрый, щедрый* (о глупце, злом, скареде) и т.д.

Однако ироническому переосмыслению могут подвергаться характеристики, которые сами по себе не содержат знаков плюс или минус, хотя в определенных ситуациях каждая из них может быть как положительной, так и отрицательной, а может и не содержать знаков плюс или минус. Это релятивы, обозначающие признаки относительно точки отсчета и, следовательно, не лишенные субъективности; в частности, слова типа: *сильный — слабый, дорогой — дешевый, близкий — далекий, толстый — худой, горячий — холодный, жирный — постный, быстрый — медленный, поздний — ранний, высокий — низкий* и т.п.

Отметим, что в этих антонимических парах слов каждое может быть употреблено иронически.

Так, во французском фильме «Беглецы» один из героев, выражая сомнение в том, что тщедушный человек мог взять в заложники верзилу и физически сильного грабителя (Люка; его играет Ж.Депардье), говорит: Конечно, разве можно в этом сомневаться: *он ведь такой слабый,* наш Люка! Аналогично может быть употреблено и слово *сильный,* если речь идет о тщедушном человеке: *С ним не справиться, он же такой сильный!* Глядя на неподвижно и молча весь вечер сидящего человека, один из гостей спрашивает: «Он всегда по вечерам в таком *игривом* настроении?» И т.д.

Среди антонимов, содержащих в своих значениях компоненты *хороший-плохой,* ироническому переосмыслению, как правило, подвер-

гаются слова со знаком плюс. У антонимов других типов члены антонимической пары в этом отношении обладают одинаковыми возможностями.

Но и те и другие характеристики стремятся выразить высокую степень оценки: *Великолепно! Прелесть! Гениально!* и т.п. Если высокая степень оценки не заложена в самом слове, в тексте употребляются интенсификаторы: *Какой он вежливый*; (о грубияне); *он ведь такой добрый! До чего мило себя ведет! Чудо как хорош!* и т.п. Ср.: *Самый веселый* для хозяев момент наступает тогда, когда они получают счета за переговоры, по сумме своей мало чем уступающие стоимости самой квартиры («Аргументы и факты», 48 [737], 1994).

В то же время бывает так называемая ирония сознательного преуменьшения степени признака. Если речь идет о субъекте, известном своими «выдающимися» пороками, то утверждение, что он «не очень хорош» (в разных аспектах позитивности), несомненно, звучит иронически. Ср.: Иван Грозный был *не очень душевным человеком*; Сталин был *не совсем ангелом.*

Преуменьшение не только мнимых добродетелей, но и явных пороков человека или степень весьма неприятных состояний, ситуаций также может быть выражением иронии. Например: Яго был *немножко завистлив* и *чуточку склонен к интригам;* А.: Я надеюсь, мы не собираемся уморить себя голодом? Б.: Это, я думаю, было бы *не очень приятно;* А.: Конечно, я рассказываю об этом жулике не для того, чтобы дети усвоили воровские приемы. Это с моей стороны было бы *чуточку неразумно.*

Ироническим может быть и прямое отрицание того факта, что субъект обладает в высшей степени положительными качествами, если известно, что у него их нет даже в минимальной степени: Квазимодо был *не красавец.* Ср.: Квазимодо *был некрасивый.* Хотя известно, что Квазимодо был уродлив и безобразен, второе высказывание не представляется ироничным. Оно только «не дотягивает» до точной оценки внешности субъекта.

В ироническом употреблении нередко могут оказаться слова, вне иронических контекстов не содержащие оценочных компонентов. Это, в частности, названия профессий, должностей, социальных статусов лиц.

Так, в пьесе А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» Федор в гневе кричит Борису Годунову — «Я царь или не царь?!». На что следует ироническая реплика Бориса — «*Ты — царь*».

В.В.Виноградов отмечал, что способность предметных значений слов становиться выражением эмоционального смысла — характерная особенность разговорной речи (Виноградов, 1955, с. 79).

Выражая сомнение в соответствии лица его профессии или занимаемой должности (а часто уверенность в несоответствии), говорящий может иронически употребить в такой позиции многие функциональ-

ные имена с добавлением семантических компонентов «сомнительный», «плохой».

Ироническое употребление функциональных имен нередко порождает смысл: 'о человеке, который мнит себя специалистом в какой-то области, не будучи таковым'. Ср.: — Ну, ясно, по-твоему, Глазунов выше Малевича, *ты ведь искусствовед! — Он же у нас пианист* (о юноше, который кончил три класса музыкальной школы), ему только и судить об игре Рихтера.

В некоторых случаях сигналом отрицательной оценки у функциональных слов может быть препозитивное употребление прилагательного *хорош.* Экспрессивно-ироническое употребление этого прилагательного в разговорной речи отметил Д.Н.Шмелев. Ср. его пример: *Хороша чиновница!* Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую в исходящие (Чехов, Женское счастье) (Шмелев, 1958, с. 68).

ПЕРЕАДРЕСОВКА ИРОНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Ироническое употребление слов с негативной оценкой лица или ситуации может быть связано с переадресовкой иронии.

Это, например, наблюдается в насмешливой поддержке осуждения, высказанного одним из собеседников, когда «поддерживающий» вовсе не считает, что осуждение правильно. Ср.: А. (с возмущением): Он (докладчик) так быстро говорил, что я ничего не поняла, а ведь я читаю по-польски. Б (иронически): *Мерзавец!*

Своим высказыванием Б. насмешливо поддерживает возмущение А., давая оценку как бы от ее лица. Неискренность такой преувеличенной солидарности направляет насмешку на А, недостаточно знающую язык, чтобы понимать беглую речь, а не на докладчика. Ср. еще: в рассказе Чехова «Тоска» извозчик, погруженный в свою печаль, то и дело сталкивается в сумерках с кем-то. Его седок иронизирует по этому поводу: «*Какие все подлецы!* — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились». Считая виноватым извозчика Иону, а вовсе не прохожих или других извозчиков, седок, обругивая их, издевается над Ионой. В обоих приведенных примерах говорящий своей неискренней оценкой «присоединяется» к той оценке, которую он как бы читает в мыслях собеседника, а на самом деле приписывает ему. Происходит переадресовка насмешки с ее объекта на собеседника.

Переадресовка иронии может наблюдаться и при предикате, заключающем положительную оценку (преимущественно гипертрофированную). Ср.: Я бы пошел (на похороны), — сказал Альтмяэ, — но я чересчур впечатлительный. И вообще покойников не уважаю. — А ты? — *Покойники — моя страсть,* говорю (С.Довлатов, Компромисс). В

данном случае очевидно, что скрытым смыслом является сарказм по адресу собеседника.

ИРОНИЯ И АНТОНИМИЯ

Исследователи иронии не раз отмечали, что вербализованная ирония является источником порождения значения, антонимичного выраженному «на поверхности» высказывания. Ср., например, работу Давида С.Кауфера, который рассматривает иронию прежде всего как порождение противоположности значений в тексте (Kaufer, 1986, с. 317).

Как показывают наблюдения (в том числе и приведенные в начале этой статьи), противоположные значения порождаются ироническим употреблением слов из антонимических пар.

В то же время очевидно, что не все имена, имеющие антонимы, могут встречаться в иронических контекстах. Это относится к названиям противоположностей, которые не могут быть опровергнуты: *предок — потомок, старший — младший, первенец — последыш* и т.п.

Однако не каждое ироническое употребление оценочных слов непременно содержит антонимический смысл. *Гениально!* — вовсе не обязательно значит 'глупо' (отмечено C.Kerbat-Orecchioni, с. 303), хотя и может это значить. Пример «*Я — гений!*», приведенный C.Kerbat-Orecchioni, действительно, может не выражать смысла 'я глупец', но может и значить 'я полный идиот' — все зависит от ситуации, по отношению к которой иронически оценивается субъект. Например:

1. *Я* (*он*) *гений* может быть ироническим одобрением, где ирония относится только к преувеличению одобрения в столь сильном выражении, но одобрение — чистосердечно, если человек высказал хорошую мысль, нашел неплохой выход из положения и т.д.

2. Это может быть издевательским одобрением, если решение, суждение субъекта представляется говорящему полным идиотизмом.

Не обязательно порождает противоположный смысл и ироническое употребление некоторых типов антонимов, не заключающих в себе качественную характеристику. Так, иронически могут употребляться и глаголы разнонаправленного действия (типа *уехать — приехать, нагрузить — разгрузить*), составляющие другой тип антонимов по сравнению с качественными прилагательными (о типах антонимии см. Апресян, 1974,с. 288-302). Но при этом употребление одного из глаголов не подразумевает в тексте его антоним, а только отрицание факта совершения названного действия, выражение сомнения в его совершаемости. Ср.: А.: Я велел ему немедленно уехать. Б.: *И он, конечно, уехал! Как же!* Глагол *уехать* находится в антонимической связи с глаголом *приехать*. Отрицание действия 'уехать', заключенное в ироническом высказывании Б., не предполагает имплицитно выраженного

значения 'приехать'. Аналогично — ироническое сообщение, что машину разгрузили, вовсе не содержит утверждения, что ее нагрузили.

Семантика сомнения в истинности обозначения (не только оценки), в факте совершения чего-то, семантика отрицания того, что якобы утверждается, очень часто сопутствует ироническому употреблению слов, не входящих в определенные антонимические пары. Ср., например: ... а простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?

— *Волшебные!* — явно иронически сказал кто-то в темном зале. — Так точно, волшебные, — робко ответил Никанор Иванович, — ... нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил (М.Булгаков, Мастер и Маргарита).

Таким образом, ироническое употребление слова может 1) порождать имплицитную антонимию, а может 2) быть только выражением заведомо ложной положительной оценки без порождения определенного противоположного смысла. Приведем некоторые примеры первого и второго типа.

1) Спешу вас уверить, что чесноку я даже в погребе не держу, и когда однажды ко мне приехал с визитом доктор, от которого пахло чесноком, то я попросила его взять свою шляпу и ехать *благоухать* в другом месте (Чехов, Тина).

Первый раз в жизни наскочил на такое чудовище! Не красотой берет, не умом, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмом. ... Наглостью, цинизмом... *Как это чистоплотно!* (Чехов, Тина). Сатана у режиссера оказывается милым застенчивым юношей из провинции, который не прочь и ребенка прикончить, и чужую невесту изнасиловать. *Душевный такой паренек* («Комсомольская правда», 11.06.94).

2) Конечно, где нам, мужикам! — злорадствовал акцизный... — Мы тюлени, уездные медведи! А она *царица бала* (Чехов, Муж). Сам кругом виноват, и я же погубил, а? Скажите, *какой невинный барашек* (Чехов, Житейская мелочь).

Совершенно особый тип значения порождает ироническое употребление функциональных имен лиц. Такое употребление регулярно содержит скрытые смыслы «сомнительный специалист», «неумелый работник» (художник, пианист, врач и т.д.).

Значение этого типа отмечается словарями при метафорическом употреблении некоторых функциональных имен, например, *мясник* — 'о плохом хирурге', *сапожник* — 'о неумелом работнике'. Тем самым ироническое употребление функциональных имен явно «перекликается» с метафорическим.

ИРОНИЯ И МЕТАФОРА

В исследованиях, посвященных иронии, как уже отмечалось, иронию нередко рассматривают как один из видов тропов. В словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой ирония получает такое определение: «Троп, состоящий в употреблении слова в смысле, обратном буквальному, с целью тонкой или скрытой насмешки. Насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления» (Ахманова, 1966, с. 185).

В отечественном языкознании, или точнее, — в отечественной филологии, толкование иронии как тропа восходит к Ломоносову (Ломоносов, 1952, с. 256). Об отношении иронии к тропам написано немало; не останавливаясь на этом вопросе подробно, приведу лишь одно из толкований «тропического» характера иронии, предложенное К.Кербат-Ореччиони: «Ирония — это вид тропа семантично-прагматичного» (Kerbat-Orecchioni, 1986, с. 291)[1]. Данное определение представляется нам вполне отражающим специфику иронии.

Несомненно, с разными видами тропов иронию роднит небуквальность значения. Из всех видов тропов ирония ближе всего к метафоре. Не случайно И.Бродский, по свидетельству С.Довлатова, назвал иронию «нисходящей метафорой»[2]. Подобно метафоре, она совмещает в себе небуквальность, образность и оценочность. В то же время эти два тропа могут совмещаться, поскольку сама метафора тоже может употребляться иронически.

М.В.Ломоносов, причисляя иронию к тропам, приводит примеры иронического употребления метафор — имен собственных (сам Ломоносов не называет метафорой переносное употребление собственных имен — нам оно представляется именно таковым): «Ирония состоит иногда в одном слове, когда малого человека Атлантом или гигантом, бессильного Сампсоном, скаредного Авессаломом или Иосифом называем, и посему надлежит она до тропов речений» (Ломоносов, 1952, с. 256).

А.А.Потебня писал, что ирония как фигура может «обходиться вовсе без тропов», а «может заключать в себе троп ... В частности, ирония может заключить в себе другие тропы, например, ироническую антономасию, аллюзию» (Потебня, 1990, с. 275).

Повторим, что иронически могут употребляться разнообразные языковые и индивидуальные метафоры, совсем не только имена собственные. Ср.: *газель* (о толстой неуклюжей женщине), *лев, сокол* (о трусливом человеке), *монах* (о развратнике) и т.п. В данном случае нас будет интересовать вопрос: каковы возможности метафоры в ироническом преобразовании смысла и связанные с этим более частные вопросы?

Метафора оценочна и, очевидно, способна к ироническому употреблению, так же, как и любое оценочное слово, но возможности

иронического употребления у метафоры несколько более ограничены. Метафоры с негативным компонентом ироническому переосмыслению чаще всего не поддаются. Так, в группе языковых метафор, характеризующих внешность человека, иронически переосмысливаться могут прежде всего такие, как *купидон, Венера, Аполлон, Афродита, Адонис, Газель, тополь, цветочек, мадонна, херувим, ангелочек, картинка, куколка,* но не — *корова, бегемот, медведь, обезьяна, кикимора, скелет* (последнее возможно — о толстом человеке) и т.п. Метафоры, характеризующие размер, габариты человека или предмета, тоже способны к ироническому переосмыслению.

В иронических контекстах употребляются образные характеристики и больших, и малых объектов. Так, иронически употребляются метафоры *колосс, великан, исполин, небоскреб, гора* (о лицах, предметах небольшого роста или размера), *крошка* (об очень высоком человеке), *ручка, ножка, пальчики, головка* (об очень больших руках, ногах, пальцах) и т.д.

Из метафор, характеризующих человека по внутренним свойствам, ироническому преобразованию смысла подвержены только положительные характеристики разных типов: *лев, сокол, орел, титан, ангел, ласточка, соловей, герой, рыцарь* и т.д., но не *свинья, уж, змея, заяц, волк* и т.п.

Метафорические характеристики сплошь и рядом не образуют чистых антонимических пар (Скляревская, 1991, с. 13), поэтому не всегда можно говорить о том, какой из антонимов иронически употребляется, а какой — нет. Но преобразование смысла на основе иронии у метафоры также рождает антонимическое значение, которое и оказывается своеобразным восполнением отсутствующего звена в антонимической паре.

С учетом возможностей иронического употребления метафоры у слов с метафорическими значениями можно видеть две метафоры с противоположным смыслом: одну реальную, другую потенциальную. Ср.: *Монах* — 1) Человек, принявший постриг; 2) *перен.* О целомудренном, аскетически воздержанном человеке; 3) *перен. ирон.* О развратном, распущенном человеке; *Лев* — 1) Животное из семейства кошачьих; 2) *перен.* О смелом, отважном человеке; 3) *перен. ирон.* О трусливом, робком человеке (*разг.*).

Поскольку многие метафоры регулярно получают в разговорной речи ироническое употребление (иные — преимущественно ироническое), было бы целесообразно, на наш взгляд, отражать эти употребления в словарях. Это могло бы дать реальную картину функционирования метафор разного типа в естественной речи.

Некоторые словарные статьи в толковых словарях уже представляют образцы таких толкований слов. Ср.: *Перл.* — 1. Устар. Жемчужина; 2. перен.; чего. Лучший образец, наиболее яркое выражение, проявление чего-л. 3. О ком-, чем-л. редком, выдающемся по своим

отрицательным качествам (Словарь русского языка в 4-х томах, М., 1984, т. III; с. 110).

Но при этом у слова *сокровище,* например, ироническое употребление не отмечено, хотя оно у него явно есть.

Ироническая метафора (или метафорическая ирония), так же, как и неметафорическая, не обязательно рождает преобразование смысла в чистые антонимы.

Так, ироническое употребление метафоры *рыцарь* может заключать в себе отрицательную характеристику: 'о человеке, лишенном благородства и великодушия', но добродушная ирония может присутствовать в названии рыцарем лица, неумело пытающегося проявить рыцарство. Соответственно, у слов этого типа может быть три метафорических употребления, из которых два — иронические метафоры.

То, что в определенных случаях у слова могут быть разные сигнификаты, не представляется полной аномалией, поскольку это сигнификаты разных значений.

Ироническая метафора, как и неироническая, может быть единственным узуальным значением только у производного слова, содержащего в своей словообразовательной структуре потенциальное прямое значение. Выразительный пример иронической метафоры, заложенный в словообразовательную структуру слова, отмечен Х.Касаресом в испанском языке: *arrancapinos* — 'коротышка'. Буквально — 'тот, кто вырывает сосны'. Комментируя пример, Х.Касарес пишет: «Его значащие элементы дают ясное представление о человеке, наделенном исключительной физической силой. Но поскольку это существительное было образовано для обозначения физически хилого и малодушного человека и употребляется только в этом смысле, ирония заложена в самом слове и определяет его стилистический характер» (Касарес, 1958, с. 128).

В русском языке ироническая метафора в словообразовательной структуре слова наблюдается в слове *душещипательный,* но, очевидно, это нельзя считать распространенным явлением. Неироническая метафора в структуре производного слова как его единственное узуальное значение при потенциальном прямом представлена в русском языке приблизительно 30 словами: Ср. *молокосос, лизоблюд, буквоед, головомойка, сногсшибательный* и т.д. (Ермакова, 1975, с. 202).

Напротив, иронические значения, не «отягощенные» метафорой, отмечаются толковыми словарями в качестве единственных значений слов не так уж редко. Некоторые примеры.

Так, в «Словаре русского языка С.И.Ожегова» (из. 22-е) с пометой *ирон.* приводятся слова *душеспасительный, благодетель, миловаться, смиренник* и др. (в данном случае мы обходим вопрос о том, всегда ли словарные пометы соответствуют восприятию слова носителем языка).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Различие между этими двумя сторонами иронии определяются автором так: с точки зрения семантики ирония содержит явно позитивное содержание, которое отсылает к скрытому негативному. В прагматическом отношении — это осуждение, которое имеет форму похвалы (C.Kerbat-Orecchioni, 1986, с. 307).

[2] «Помню, Иосиф Бродский высказался следующим образом:

— Ирония есть нисходящая метафора, я удивился:

— Что это значит — нисходящая метафора?

— Объясняю, — сказал Иосиф, — вот послушайте: «Ее глаза как бирюза» — это восходящая метафора. А «ее глаза как тормоза» — это нисходящая метафора» (С.Довлатов, Записные книжки).

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов, М., 1966.

Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. // ВЯ, 1955, № 1.

Ермакова О.П. Соотнесение формальной и смысловой членимости у некоторых типов производных слов, имеющих только переносное значение. // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М., 1975.

Касарес Х. Введение в современную лексикографию. М., 1958.

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию. // М.В.Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. VII. Труды по филологии, М.-Л. 1952.

Малая советская энциклопедия, М., «Советская энциклопедия», 1928-1931.

Потебня А.А. Из записок по теории словесности. // А.А.Потебня. Теоретическая поэтика, М., Высшая школа, 1990.

Скляревская Г.Н. Структура личности сквозь призму языковой метафоры // Russistik (Русистика). — Научный журнал актуальных проблем и преподавания русского языка. 1991. № 2.

Советский энциклопедический словарь, М., 1980.

Толковый словарь русского языка под ред. проф. Д.Н.Ушакова, М. — 1935-1940.

Чубарян Т.Ю. Семантика и прагматика речевых жанров юмора. КД. М., 1994.

Шмелев Д.Н. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке. // ВЯ, 1958, № 6.

Kaufer D.S. Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia // Pamiętnik Literacki LXXVII, 1986, z. 1.

Kerbat-Orecchioni, c. Ironia jako trop // Pamiętnik Literacki LXXVII, 1986, z. 1, PL ISS № 0031-0514.

С.И.Камелова

О МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Когда мы встречаем незнакомые нам предметы, то можем заметить отдельные признаки, которые чем-то напоминают уже известные явления. В соответствии с этим название ранее известного предмета переходит на вновь появившийся в поле нашего внимания объект. В результате слово к своему исходному значению добавляет новое.

Такого рода переносы названий с одного объекта на другие могут быть регулярными, характеризующими не отдельные слова, а целые лексические классы. В современных исследованиях по лексикологии проблема регулярной многозначности занимает важное место. Идея регулярной многозначности позволяет не только фиксировать слова с несколькими значениями, но и дает возможность определить, как от степени семантической связанности слов зависит развитие сходных переносных значений, а также помогает понять внутренний механизм формирования нового значения.

Большой интерес с этой точки зрения представляет анализ отдельных лексико-семантических групп (ЛСГ). Рассмотрим одну из таких групп — слова, называющие деятеля. Эта группа является функционально и коммуникативно значимой: названия деятелей весьма частотны в речи и имеют достаточно сложные парадигматические и синтагматические связи со словами других тематических групп. Между тем, семантические и функциональные свойства слов — имен деятеля изучены недостаточно.

Под термином «деятель» мы понимаем не просто лицо как биологическое существо, а действующее лицо — субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Словами со значением действующего лица (далее — имена деятеля) мы считаем слова, которые имеют в словарях следующие дефиниции:

1. тот, кто профессионально выполняет действие (*актер, егерь, высотник, декоратор*);

2. тот, кто специализируется в чем-либо, является специалистом в чем-либо (*лакировщик, тактик, акустик*);

3. тот, кто делает что-либо, производит временное или актуальное действие (*подпевала, заводила, певец*).

Именам деятеля свойственно явление полисемии. Как известно, отдельные значения могут по-разному объединяться в структуре многозначного слова. В лексикографической литературе существуют различные подходы к анализу семантической структуры многозначного слова (ср. Арнольд, 1966, с. 7, Шмелев, 1973, с. 16).

В лингвистике закрепилось мнение, что значения многозначного слова объединяются в семантическое единство на основе общих семантических ассоциаций (метафора, метонимия, синекдоха, функциональная общность), и существование подобных отношений между лексико-семантическими вариантами многозначного слова свидетельствует об их иерархии, об определенной структурной организации семантического содержания слова (Шмелев, 1964, с. 85).

В смысловой структуре многозначных имен деятеля объединяются первичные (исходные) и вторичные, семантически производные, переносные значения. Частным случаем таких вторичных значений являются переносные о ц е н о ч н ы е значения.

Это слова, которые, помимо своей номинативной функции, используются для характеристики человека путем видоизменения номинативной функции в номинативно-коннотативную, характеризующую.

Образование таких значений осуществляется на основе метафорического переноса по модели: от собственного безоценочного обозначения имени деятеля — к характеристике человека («лицо» — «лицо»): *звонарь, деспот, сапожник.*

Такой перенос может происходить:

а) без внесения оценки, например, **ТАКТИК.**

1. Специалист по тактике.
2. перен. Человек, умело выбирающий нужную линию поведения;

б) с внесением оценочного компонента: **КОНОВАЛ:**

Знахарь, лечащий лошадей.

// Разг. пренебр. О п л о х о м, н е в е ж е с т в е н н о м враче.

(Здесь и далее толкования имен деятеля даются по «Словарю русского языка» в 4-х томах [1985-1988 г.г.]; в некоторых случаях они дополнены толкованиями из других источников).

В обоих случаях характеризуется человек. В слове **ТАКТИК** подчеркивается предприимчивость человека без явно выраженной оценки. В слове **КОНОВАЛ** компоненты 'плохой', 'невежественный', имеющиеся в толковании, позволяют считать характеристику человека отрицательной. Ниже мы будем рассматривать такие имена деятеля, у которых переносные значения содержат отрицательную оценку.

Надо отметить, что механизм возникновения переносных значений у многозначных имен деятеля неоднороден. Так, у одних имен деятеля переносные значения возникают в результате перегруппировки компонентов. В этом случае компонент, входящий в толкование прямого

номинативного значения, становится ведущим в переносном оценочном значении. Например, **ИНКВИЗИТОР**:

1. Судья инквизиции.

2. перен. Тот, кто с крайней жестокостью выпытывает у кого-либо что-либо.

Инквизиция — 1. Особый церковный суд по делам еретиков, учрежденный католической церковью в 13 веке, действовавший с крайней жестокостью.

2. перен. Мучение, пытка.

У других имен деятеля нередко в такого рода переносе нет эксплицитно выраженной семантической мотивации, когда бы вторичное значение развивалось из каких-либо смысловых компонентов собственно номинативного значения. Действительно, если обратиться к дефинициям прямого и переносного значений таких слов, как *ремесленник, лицедей, философ,* то мы не найдем в них общих, объединяющих эти значения компонентов.

ЛИЦЕДЕЙ	**ФИЛОСОФ**
1. устар. Актер.	1. Специалист по философии.
2. Притворщик.	2. перен. Человек, который разумно, рассудительно и спокойно относится ко всем явлениям жизни, к ее невзгодам (разг.).

Тем не менее связь между значениями существует, «но она основана на ассоциативных, или репрезентативных, признаках, связанных со словом в его основном значении» (Шмелев, 1973, с. 231).

По этому поводу Ю.Д.Апресян замечает: «Сложнее обстоит дело с такими метафорически мотивированными значениями, словарное толкование которых не обнаруживает даже частичного сходства со словарным толкованием исходного значения; это случай уподобления на основе семантических ассоциаций, или коннотаций» (Апресян, 1974, с. 178).

Рассмотрим слово **РЕМЕСЛЕННИК**:

1. Лицо, знающее какое-либо ремесло и занимающееся по заказу потребителя изготовлением изделий кустарным способом, собственными орудиями труда.
2. перен. Тот, кто работает, выполняет свои обязанности без творческой инициативы, по шаблону.

Связь между значениями осуществляется на базе ассоциативного представления о работнике, занятом каким-либо ремеслом, которое требует специальных навыков по изготовлению изделий по заказу, примитивными приемами, не имеет творческого характера.

К у с т а р н ы й — прил. к кустарь — 1) тот, кто занимается производством на дому; ремесленник;

2) производимый примитивными способами.

Коннотации: 'шаблонность', 'отсутствие творческого начала'. Ср.: Вообще это был тип ученого-**ремесленника**. У него не было творческого воображения (К.Паустовский. «Колхида»).

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — **РЕМЕСЛЕННИК!** У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке... Лепит деревянной лопатой... (К.Паустовский. «Дым Отечества»).

В современной лингвистике термин «коннотация» понимается как «семантическая сущность, узуально или окказионально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное или стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект» (Телия, 1986, с. 5). Ю.Д.Апресян называет коннотациями «те элементы прагматики, которые отражают связанные со словом культурные представления и традиции, господствующую в данном обществе практику использования соответствующей вещи и многие другие внеязыковые факторы» (Апресян, 1974, с. 67). Л.Н.Иорданская и И.А.Мельчук выделяют коннотацию как «некоторую характеристику, которую *a* [лексическая единица] приписывает своему референту и которая не входит в ее толкование. Лексические коннотации должны обязательно подтверждаться чисто языковыми фактами. Постулировать лексическую коннотацию С для данной лексической единицы *a* можно тогда, когда в данном языке существует такая лексическая единица a_1, в толковании которой имеется компонент, полностью или частично совпадающий с этой гипотетической коннотацией» (Iordanskaja, Melčuk, 1980, с. 193).

Подтвердим эту мысль примером:

ЛАПОТНИК

Тот, кто ходит в лаптях, крестьянин.

Коннотации: 'отсталость', 'невежество' выявляется на базе ассоциации человека с тем, кто живет в деревне, ходит в лаптях, далек от культуры, просвещения и т.д. Отсюда и переносное значение:

// Пренебр. О н е в е ж е с т в е н н о м , о т с т а л о м человеке.

Итак, мы можем представить схему возникновения переносного оценочного значения в многозначных именах деятеля следующим образом:

а) путем перегруппировки компонентов в семантической структуре слова;

б) на основе коннотаций.

Рассмотрим семантическую структуру еще некоторых имен деятеля: *лакировщик, маляр, мясник, живодер, ремесленник, сапожник,* которые составляют ядро ЛСГ «лицо, занятое физическим трудом».

ЛАКИРОВЩИК

1. Специалист по лакировке.

2. О том, кто приукрашивает что-либо, представляя в идеализированном виде.

Связь между значениями можно объяснить, истолковав компонент «лакировка». Лакировка — (от лакировать) — 1. Покрывать лаком.

2. перен. Приукрашивать, представляя в идеализированном виде что-либо.

Лак — «специальный раствор, которым покрывают поверхность предметов для придания блеска». Все дело в лаке как способе покрыть что-то, сделав блестящим, привлекательным. И именно этот компонент является базой переносного оценочного значения. Ср.: Если бы наши потомки стали судить о нашем поколении по книгам писателей-лакировщиков, то каким скучным и ничтожным показалось бы оно им (К.Паустовский. «Большие надежды»).

МАЛЯР

1. Рабочий, занимающийся окраской, побелкой.

2. О плохом живописце, художнике.

Переносное оценочное значение возникает на основе ассоциативного представления о маляре, который по сравнению с художником выполняет грубую работу, не связанную с творческим началом.

Коннотации: 'трафаретность', 'отсутствие творчества'.

Ср.: Мне не смешно, когда **маляр** негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля. (Пушкин. «Моцарт и Сальери).

МЯСНИК

Продавец мяса, торговец мясом.

// перен. О кровожадном, жестоком человеке.

// перен. О плохом хирурге.

Переносные оценочные значения данного слова возникают на базе ассоциативного представления о мяснике, который имеет дело с кровью, вытекающей из тела убитого животного. С мясом убитого животного обращаются как с неодушевленным предметом, орудуя топором, делая резкие деформирующие движения и т.д. Живой организм, да еще при этом человеческий, такого обращения не допускает. Сравнивая мясника с теми, кто имеет дело с живыми людьми, мы выявляем коннотации: 'жестокость', 'грубость', которые становятся основой для оценочных значений.

Сходная картина — в соотношении прямого и переносного значений — у слова **КОНОВАЛ:**

Знахарь, лечащий лошадей.

// О плохом, невежественном враче.

Знахарь лечит животных, не имея специального образования, а врач — людей. Главное, что с людьми нельзя обращаться так же, как с животными. Коннотации: 'невежество', 'отсутствие необходимых профессиональных знаний', 'грубость'. Ср.: Не врач, а **коновал**, такой грубый.

ЖИВОДЕР

Прост. 1. Тот, кто профессионально занимается убоем животных и сдирает с них шкуру.

2. О жестоком человеке, мучителе.

Обратимся к внутренней форме данного слова. Живодер — тот, кто сдирает шкуру с живого. Отсюда и выявляется коннотация: 'крайняя степень жестокости', которая становится базой для переносного оценочного значения.

САПОЖНИК

1. Мастер по шитью и починке обуви.

2. Прост. пренебр. О неумелом, неискусном в каким-либо деле человеке.

Возникновение переносного оценочного значения у данного слова представляет большой интерес. Вместе с тем причины такого переноса не вполне ясны. Можно полагать, что связь между значениями объясняется коннотацией 'неискусный'. Но откуда она берется? Вероятно, все дело в характере работы сапожника, которая выполняется по определенному образцу, без творческого воображения.

Остановимся на словосочетании 'холодный сапожник'. В Словаре Ушакова дается следующее толкование: работающий на улице с примитивными приспособлениями (примитивный — «простой, несложный по устройству, невысокий по технике исполнения, неискусно и **грубо** сделанный»). Возможно, отмеченные компоненты явились основой для выявления коннотации: 'неискусный', 'неумения делать то дело, которым он профессионально занимается'. Ср.: На экране бабочка проектируется большим прыгающим пятном... Вдруг лента обрывается. Ребятишки начинают кричать: **Сапожники**! (В.Полторацкий. В родных краях).

Итак, рассмотрение семантической структуры многозначных имен деятеля позволяет прийти к следующим выводам. Имена деятеля широко используются в языке для оценочной характеристики человека. Они обладают способностью к метафорическому переносу, который осуществляется по модели: от собственно безоценочного имени деяте-

ля к отрицательной характеристике человека ('лицо' → 'лицо': *сапожник, маляр*).

В своих оценочных значениях анализируемые слова объединяются в следующие группы:

а) плохой работник (*сапожник, ремесленник, маляр, лакировщик, коновал, мясник* [3-е значение]).

б) безжалостный человек (*живодер, мясник* [2-е значение]).

Переносные оценочные значения многозначных имен деятеля позволяют использовать слова этой группы без конкретизации самой сферы деятельности, т.е. сапожником можно назвать и киномеханика, и литератора, плохо относящихся к работе; лакировщиком и ремесленником можно назвать и писателя-конъюнктурщика, и бездарного, но старательного художника.

Для имен деятеля с переносными оценочными значениями характерно, что они выполняют и номинативную, и коннотативную функции, но здесь важно стремление носителя языка к яркой коннотации. Слова в таком значении становятся формами оценки определенных качеств людей.

Как показал анализ, для выявления механизма возникновения переносных значений необходимо обращаться к полным (синтаксически организованным) толкованиям слов. На фоне полных толкований возможно выделение отдельных компонентов, а также коннотаций, что необходимо для анализа формирования переносных значений слова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
2. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. Л., 1966.
3. Иорданская Л.Д., Мельчук И.А. Коннотация в лингвистической семантике. — Wiener stawistischer Almanach. Wien. 1980. Bd 6. S. 191-210/
4. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1973.
5. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
6. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
7. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
8. Словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1985-1988 г.г. (МАС).

Л. П. Крысин

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО СЛОВА: ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ[1]

1. В работах [Крысин 1988, 1989, 1990] был предложен новый тип словаря иностранных слов. По замыслу автора, этот словарь должен стать по преимуществу лингвистическим справочником, с элементами энциклопедической информации (в то время как ныне «действующий» «Словарь иностранных слов», при всех его несомненных достоинствах, является, по существу, фрагментом энциклопедии).

Словарная статья предлагаемого словаря состоит из нескольких зон[1], каждая из которых содержит определенный вид лингвистической или энциклопедической информации. Этих зон одиннадцать:

(1) заглавие: слово в его исходной форме;

(2) сведения о произношении слова;

(3) грамматическая информация о слове;

(4) зона этимологии;

(5) помета о сфере преимущественного употребления слова (термина); стилистические пометы;

(6) толкование;

(7) примеры употребления слова (в виде кратких речений);

(8) словообразовательные производные;

(9) устойчивые, в том числе терминологические, обороты;

(10) зона энциклопедических сведений о реалии, обозначенной данным словом;

(11) зона аналогов — слов, близких к данному по смыслу.

Сведения о грамматических характеристиках иноязычного слова составляют обязательную (заполняемую всегда) зону словарной статьи и являются важной основой для формирования у пользователя словаря правильного представления о морфологических показателях слова и о его синтаксическом поведении.

---

[1] Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российским гуманитарным научным фондом проекта № 95-06-17333 «Толковый словарь иноязычных слов».

В настоящее время автор закончил составление указанного словаря и на основании уже описанного лексикографического материала имеет возможность обозреть разные типы грамматической информации об иноязычном слове и прокомментировать каждый из типов в собственно лингвистическом и коммуникативном аспектах. Это и является целью данной статьи.

2. Зона грамматической информации содержит два основных типа сведений: о словоизменении и о морфологических и синтаксических свойствах слова. Сведения о словоизменении даются в словарных статьях существительных, прилагательных и глаголов; словарные статьи наречий и междометий содержат лишь указание на часть речи.

2.1. Сведения о словоизменении существительных (составляющих более 80% всей заимствованной лексики) различаются в зависимости от их склоняемости/несклоняемости. При несклоняемом существительном дается помета «нескл.» (плюс помета о роде — см. ниже), например: КАРА́Т, *нескл.;* ПАРИ́, *нескл.*

При склоняемом существительном указываются:

а) флексии родительного падежа единственного числа — для существительных, употребляющихся в ед. и множ. числах: АМЁБА, ы; ГАРА́Ж, ажа́[2], и для существительных, употребляющихся только в ед. числе: ОСТРАКИ́ЗМ, а;

б) флексии только родительного падежа множ. числа — для существительных pluralia tantum, например: БРИ́ДЖИ, ей; при совпадении формы род. пад. множ. числа с основой эта словоформа приводится полностью: КОЛГО́ТКИ, колго́ток. Если слово употребляется преимущественно во множ. числе, но форма единственного числа у него все же есть, то принят следующий вид записи: ГЛА́НДЫ, гланд, *ед.* гла́нда, ы, *ж.*

Формы других падежей указываются в тех случаях, когда они в том или ином отношении специфичны (для данного слова или слов этого морфологического типа): ПОРТ, а, в порту́, — или же когда наблюдается вариативность этих форм, как это достаточно часто имеет место при образовании формы именительного множественного от существительных мужского рода с основой на согласный: ЛИ́ХТЕР, а, *мн.* лихтера́, о́в *и* ли́хтеры, ов; ПЕ́ЛЕНГ, а, *мн.* пе́ленги, ов *и проф.* пеленга́, о́в.

Если в падежной парадигме существительного имеются морфологические модификации конца основы, этот факт отражается в соответствующей записи: приводится не только падежное окончание родительного падежа единственного числа, но и предшествующая ему часть слова, в которой наблюдаются указанные модификации, например: АХТЕРШТЁВЕНЬ, вня.

2.2. Сведения о словоизменении прилагательных различаются в зависимости от их изменяемости/неизменяемости: при неизменяемом прилагательном дается помета «неизм.», а при изменяемых указы-

ваются флексии именит. падежа ед. числа женского и среднего родов, а у качественных склоняемых прилагательных даются, кроме того, финали кратких форм муж. и жен. родов; например: ХА́КИ, неизм.; АЛИФАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое; ГЛОБА́ЛЬНЫЙ, ая, ое, лен, льна.

2.3. Сведения о словоизменении г л а г о л о в заключаются в указании финалей форм 1-го и 3-го лица ед. числа (форма 3-го лица приводится как индикатор типа спряжения глагола), например: ПИЛОТИ́РОВАТЬ, рую, рует; КАНТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ет, ФА́БРИТЬ, рю, рит; при этом в состав финали входит как собственно флексия соответствующей личной формы, так и непосредственно предшествующий флексии согласный, что позволяет отразить модификацию основы, имеющую место при словоизменении глаголов на *-овать* (*-ировать, -изировать, -изовать*); ср.: ТРАКТОВА́ТЬ, ту́ю, ту́ет; МАНКИ́РОВАТЬ, рую, рует; ОРГАНИЗОВА́ТЬ, зу́ю, зу́ет; ДРАМАТИЗИ́РОВАТЬ, рую, рует[3].

В целом сведения о словоизменительных характеристиках слова мало чем отличаются от подобных сведений в толковых словарях; исключение составляет лишь указание формы именительного множественного (в толковых словарях сведения об этой словоформе, как правило, отсутствуют), что продиктовано необходимостью учесть вариативные (с *-и* (*-ы*) и с *-а́* (*-я́*)) способы образования этого падежа у заимствованных существительных мужского рода и дать им нормативно-стилистическую оценку[4].

3. Сведения о морфологических и синтаксических свойствах иноязычного слова наряду с традиционно указываемой в толковых словарях информацией — о роде существительных, их несклоняемости, видовых характеристиках глаголов, неизменяемости прилагательных и нек. др. — содержат указания и на такие свойства слов, которые в толковых словарях обычно не фигурируют (или описываются непоследовательно). Здесь имеет смысл первые просто назвать, не давая сколько-нибудь подробных комментариев, а вторые прокомментировать, иллюстрируя примерами содержательную сущность морфологических и синтаксических признаков.

3.1. У с у щ е с т в и т е л ь н ы х указываются следующие признаки: род; возможность/невозможность/затруднительность образования форм множественного или единственного чисел; синтаксическая одушевленность («одуш.»); отнесенность к собственным именам. Указание на принадлежность к части речи «имя существительное» (так же, как и отнесение слова к категории прилагательных) дается лишь в тех достаточно редких случаях, когда в одной словарной статье объединено описание данного слова и как существительного, и как неизменяемого прилагательного или наречия (например: МОДЁРН — 1. *сущ., м. Нынче все гоняются за модерном.* 2. *прил. неизм. Мебель м.;* ПИЦЦИКА́ТО — 1. *нареч. Это место исполняется п.* 2. *сущ., нескл., с. Виртуозное п.*).

3.1.1. Первый из перечисленных признаков — род — имеет три значения: мужской, женский, средний. При каждом иноязычном существительном, как правило, указывается только одно из этих значений. В случаях неоднозначного отнесения того или иного существительного к одному из трех родов при таком существительном делается соответствующая запись, а именно:

м., ж. (то есть: мужской род, женский род — при существительных, которые могут обозначать особь как мужского, так и женского пола: ЗЕБУ, *нескл., м., ж.* — ср.: взрослый, взрослая зебу;

м. и *ж.; м.* и *с.; ж.* и *с.* (то есть: мужской и женский род, мужской и средний, женский и средний) — при существительных, имеющих вариативное употребление по грамматическому роду (это касается главным образом несклоняемых имен существительных): НАРГИЛЕ́, *нескл., м.* и с. — ср.: этот наргиле — это наргиле.

В редких случаях несклоняемое существительное может характеризоваться еще одним типом грамматической неопределенности: оно согласуется с определением или со сказуемым либо в одном из трех родов (обычно — в среднем), либо во множественном числе: новое жалюзи — новые жалюзи; слово *жалюзи* имеет в своей словарной статье помету: *с.* и *мн.*

Вариативность по роду может встречаться и у склоняемых иноязычных существительных; в этом случае она фиксируется в заголовочной зоне, с указанием соответствующих флексий родит. падежа и с пометой о роде, например: АБА́К, а, *м.* и АБА́КА, и, *ж.*

3.1.2. Определенный лингвистический интерес представляют пометы, указывающие на ограничения в образовании или употреблении форм множественного числа (или единственного — если исходной (заглавной) формой в словарной статье является слово во множ. числе).

В описываемом словаре принята помета «мн. нет», хотя автор отдает себе отчет в том, что эта помета обозначает достаточно разнородные случаи — от полной невозможности образовать форму множ. числа до ее неупотребительности в литературном языке. Ср., с одной стороны, существительные типа *абсентеизм, азот, терапия,* не имеющие форм множ. числа, а с другой, существительные типа *вазелин, диагностика, формализм,* форма множ. числа которых употребительна в профессиональных языках, обозначая как множество объектов (*формализмы*), так и сорта, разновидности вещества (*вазелины*), типы процессов или действий (*диагностики*). Поскольку, однако, подобные формы множ. числа не характерны для литературного словоупотребления (а описываемый словарь является справочником нормативно-литературным), то существительные типа *вазелин, диагностика, формализм* должны снабжаться пометой «мн. нет».

Еще одной пометой, касающейся грамматического числа: «ед. неупотр.» — снабжаются существительные, которые, употребляясь в

форме множ. числа, имеют малоупотребительную форму числа единственного, например: ПИМЫ́, о́в, *ед.* (пим, пи́ма и пима́) *неупотр., м.*; НОТА́БЛИ, ей, *ед.* (нота́бль, я) *неупотр., м.* Указание малоупотребительных, но возможных форм единственного числа имеет значение также для идентификации того или иного существительного по роду (поскольку форма множ. числа с этой точки зрения не обладает достаточной различительной силой).

3.1.3. При существительных может также даваться помета о синтаксической одушевленности («одуш.»)[5], то есть о совпадении формы винительного падежа единственного и множественного числа (у существительных мужского рода) и винительного падежа множ. числа (у существительных женского рода) с формой родительного падежа, например: А́ВТОР, а, *м., одуш.* (ср.: *ни одного автора — пригласили автора*); АГА́МА, ы, *ж., одуш.* (ср.: *В этом зоопарке нет агам. — Поймали двух агам* — не **две агамы*). Эта помета приписывается и несклоняемым существительным, которые в винительном падеже согласуются с определениями по типу синтаксически одушевленных склоняемых существительных, например: РЕ́ФЕРИ, *нескл., м., одуш.* (ср.: *Первый раз вижу этого рефери. — Повесьте это драпри*); ЛЕ́ДИ, *нескл., ж., одуш.* (ср.: *Он весело приветствовал двух молодых леди,* не **две молодые леди*).

Признак «одуш.» приписывается и собственным именам существительным женского рода (типа *Венера, Паллада*): несмотря на то, что они обозначают уникальные объекты и, следовательно, употребляются, как правило, в форме единственного числа, — язык позволяет употребить и название уникального объекта во множ. числе (ср.: *Увидел сразу трех Паллад*).

Некоторые существительные могут употребляться и как синтаксически одушевленные, и как синтаксически неодушевленные (то есть иметь форму винительного падежа, совпадающую и с формой родительного, и с формой именительного падежей). Это может зависеть от значения, в котором употребляется слово; ср.: *ел анчоусы,* но *ловил анчоусов,* — или же отражать присущую современному литературному языку вариативность; ср.: *Толстой любил свои персонажи / своих персонажей*. Существительные типа *анчоус* и *персонаж* снабжаются в словаре двойной пометой: *одуш.* и *неодуш.*

3.1.4. При собственных именах существительных дается помета: «с прописной буквы»[6]. Она является, по существу, признаком не грамматическим, а орфографическим: он указывает, что данное слово должно писаться с прописной буквы. Необходимость введения его обусловлена, во-первых, тем, что поскольку все заглавное слово словарной статьи по традиции набирается прописными буквами, то по написанию нарицательные и собственные имена не различаются, и, во-вторых, тем, что одно и то же слово в одних своих значениях является именем

собственным, а в других — нарицательным. Например, ГЕРКУЛЕС в значении 'герой древнеримской мифологии' пишется с прописной буквы, а в значениях 'человек, обладающий громадной силой' и 'сорт овсяной крупы' — со строчной (ср.: *Могучий Геркулес известен своими подвигами. Он такой сильный — прямо геркулес; Ты любишь кашу из геркулеса?*).

3.2. Неизменяемые прилагательные типа *апаш, модерн, хаки, эпонж* снабжаются признаком «неизм.». При таких прилагательных, кроме того, делается запись об их роли в предложении: «в роли несогласованного определения», «в роли именной части сказуемого»; *Мебель модерн стоит дорого; Вся стоявшая в комнате мебель была модерн*).

3.3. При глаголах указывается вид: несов. и сов. (заметим в скобках, что подавляющее большинство иноязычных глаголов — двувидовые) и управление — в форме местоимений, как это принято в толковых словарях: АККОМПАНИ́РОВАТЬ, рую, рует, *несов., кому-чему;* АННУЛИ́РОВАТЬ, рую, рует, *несов.* и *сов., что;* ИНКРИМИНИ́РОВАТЬ, рую, рует, *несов.* и *сов., что кому.*

3.4. У наречий и междометий иноязычного происхождения (заимствованные наречия сравнительно немногочисленны, а междометия единичны) типа *вибрато, кантабиле; алло, ату! фас!* дается лишь указание на часть речи: *нареч.; междом.* (тем самым подразумеваются их неизменяемость и все синтаксические свойства, присущие в русском языке наречиям и междометиям)[7].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Зонный принцип построения словарной статьи впервые был предложен авторами «Толково-комбинаторного словаря русского языка» (Вена, 1984).

[2] Чтобы не «потерять» знак ударения при типографическом наборе, при словах, которые в косвенных падежах имеют ударение на флексии, целесообразно указывать не только окончание, но и весь отрезок слова, начиная с той гласной, которая стоит под ударением в исходной форме (в именительном падеже).

[3] Морфонологические чередования в конце основы типа *крут-ить — кручу, езд-ить — езж-у, заст-ить — защ-у, граб-ить — грабл-ю, терп-еть — терпл-ю* и под. в иноязычных глаголах если и представлены, то редко и, по-видимому, лишь в достаточно давних заимствованиях, вполне ассимилировавшихся с грамматической системой русского языка (ср. *потрафить — потрафлю*), или же в глаголах, образованных от соответствующего имени существительного (такие производные глаголы в словник обсуждаемого здесь словаря не включаются): ср. *графить — графлю.*

[4] Как показывают наблюдения, вариативные способы образования форм именительного множественного наиболее активны как раз среди иноязычных существительных мужского рода (при этом формы на *-а́* (*-я́*) нередко имеют стилистически или социально обусловленные ограничения в их функционировании: ср.

словоформы типа *прожектора́, шофера́, компаса́, торта́, дросселя́, штабеля́* и под.).

[5] Подробнее о понятии синтаксического признака и, в частности, признака «одуш.» см. [Апресян 1983, 1986, 1990]. Как показано в этих работах, в русском языке имеются достаточно многочисленные случаи и даже целые классы слов, характеризующиеся расхождением между семантикой и синтаксической одушевленностью (хрестоматийный пример — слово *покойник*, которое по смыслу обозначает неодушевленный предмет, а синтаксически ведет себя как одушевленное имя существительное: *понесли покойника* — не **понесли покойник;* ср.: *понесли труп*).

К тем группам слов, которые описаны в указанных работах (а также в работах других авторов на эту тему): названиям шахматных фигур (*ферзь, конь, слон*), игральных карт (*туз, валет, король: имел на руках валета <туза, короля>*), блюд из птицы и рыбы (*съел рябчика, подали карпа*) и нек. др., — добавлю довольно большую группу иноязычных антропологических и палеонтологических терминов, которые обозначают ископаемых животных: *австралопитек, питекантроп, плиопитек, синантроп* и др.; *динозавр, игуанодон, ихтиозавр, карнозавр* и под. (при семантической неодушевленности все эти слова обладают синтаксическим признаком «одуш.»).

[6] Вопрос о правомерности включения в словарь лингвистического типа собственных имен заслуживает отдельного обсуждения (ср. отсутствие подобных имен в обычных толковых словарях). Не ставя себе здесь такую задачу, отмечу лишь, что наличие собственных имен в словнике «Словаря иностранных слов» отчасти объясняется тем, что по жанру этот словарь издавна является некоей эксцерпцией из словаря энциклопедического (взяты все статьи, содержащие сведения о реалиях, понятиях, существах и т.п., имеющих иноязычные обозначения), отчасти же тем, что многие иноязычные имена собственные дали переносные значения — либо с сохранением статуса «собственности», либо с переходом в разряд имен нарицательных (ср. слова типа *мегера, нарцисс, муза* и под.).

Вторая причина, как кажется, служит достаточным основанием для сохранения в словнике словаря иноязычных слов имен богов, мифологических существ, уникальных реалий древности и современности (ср. Акрополь, Пентагон и т.п.).

[7] Некоторые из рассмотренных здесь вопросов, связанные с подачей грамматических сведений о слове в словаре иноязычных слов, автор обсуждал с Н.А.Еськовой, которой выражает искреннюю признательность за ценные замечания и советы.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю.Д. Синтаксические признаки атрибутивных конструкций с обязательным зависимым при атрибуте // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 11. Wien. 1983, с. 25-59.

Апресян Ю.Д. Синтаксическая информация для толкового словаря // Linguistische Arbeitsberichte. Leipzig. 1986, № 54-55, с. 88-116.

Апресян Ю.Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний // Вопросы языкознания, 1990, № 6.

Крысин Л.П. О новом типе словаря иностранных слов // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии. М. 1988, с. 111-112.

Крысин Л.П. Лексикографическое описание иноязычного слова // Анализ текста. Лексика и лексикография. М. 1989, с. 87-96.

Крысин Л.П. Энциклопедический или филологический? (О принципах составления словаря иностранных слов) // Русское языкознание. Киев. 1990. Вып. 21, с. 9-17.

В. В. Лопатин

О НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Являясь членом Орфографической комиссии при Отделении литературы и языка РАН, а в последние годы жизни (1989-1993) будучи ее председателем, Д.Н.Шмелев живо интересовался многими конкретными вопросами русского правописания, усовершенствования орфографических правил и словарей. В частности, он обращал внимание на различные проявления стилистически обусловленной орфографической вариантности — например, говорил о необходимости отразить в своде орфографических правил возможность (преимущественно в художественной речи) написаний с флексией *-и* типа *в молчаньи, в сомненьи.* Пусть нижеследующие заметки будут откликом на это направление научных интересов Дмитрия Николаевича.

* * *

Орфографический словарь — словарь нормативный, но нормативистская направленность его — особая, специфическая. Он включает лексику самых различных стилистических пластов, причем, в отличие, например, от толковых словарей, не ставит самодовлеющей задачи как-либо ее квалифицировать. Нормативно-стилистическая оценка сама по себе — не дело орфографического словаря. Его задача — дать правильное написание любых слов и форм, в том числе даже и неправильных с точки зрения литературно-языковой нормы, находящихся за ее пределами. Речь идет о словарных единицах просторечного, жаргонного, областного характера — в той мере, в какой они представлены в литературных текстах, в толковых словарях современного литературного языка. Разумеется, степень представленности подобных слов и форм зависит от объема словаря, от того, кому он предназначен; во всяком случае, в словаре академического типа такие единицы не могут не быть отражены.

Характеристикой сферы употребления слова, его экспрессивной окраски и т.п. орфографический словарь специально не занимается. Однако это не означает, что стилистические характеристики вовсе изгоняются из орфографического словаря. Напротив, они обязательны

(в виде стилистических помет) во всех тех случаях, когда они служат орфографии — либо непосредственно, либо (чаще) как отражение фонетико-фонологической или морфологической вариантности слов и форм.

В сложившейся практике составления орфографических словарей эти соображения традиционно учитываются. В новом «Русском орфографическом словаре», подготовленном к печати в Институте русского языка им. В.В.Виноградова РАН, даются без каких бы то ни было стилистических помет, с одной стороны, такие, например, слова, представляющие разные сниженные пласты современной лексики, как *пэтэушный, кагэбэшник, телик, мурыжить, возвернуть, пырять, петрить, выпивон, обалденный, фигня, кореш, дембель, опер, кранты, лопухнуться, пахан, мент, обещалкин, сюр,* сочетания *не замай, за так, не хухры-мухры, с понтом, до фига, на шухере* (*стоять*), а с другой стороны, точнее, с другого края стилистического спектра — такие, как *зерцало, зиждительный, богодухновенный, чадородие, сошествие, ниже* (союз), сочетания *святая святых,* (*мертвые сраму*) *не имут, на круги своя* и т.п. Еще один пример: в указанном словаре стилистически никак не квалифицируются сформировавшиеся в современной разговорной речи существительные *загород, зарубеж;* их орфографическое отличие от соотносительных предложно-падежных сочетаний комментируется типичными конструкциями: *летом предпочитаю загород,* но *выехать за город; работать на зарубеж,* но *уехать за рубеж.*

В то же время для разработки в словаре однокоренных слов и морфологических форм, представляющих собой варианты (фонетические, морфологические, словообразовательные), не только уместны, но и необходимы пометы, указывающие на сферу употребления. Таковы, например, в рассматриваемом словаре следующие случаи применения стилистических помет (в нижеприведенных примерах грамматическая характеристика слов и форм, как правило, опускается).

С пометой «устар.»: *калиф* (устар. к *халиф;* но *калиф на час*), *пукли* (устар. к *букли*), *физиогномика* (устар. к *физиономика*), *стернь* (устар. к *стерня*), *середи* и *середь* (устар. к *среди* и *средь*), *посереди* и *посередь* (устар. к *посреди*), *позадь* (устар. к *позади*), *обнимать* — *обнимаю* и (устар.) *объемлю.*

С пометой «устар.» в сочетании с другими пометами: *кофей* (устар. и прост. к *кофе*); *болесть* (устар. и обл. к *болезнь*), *нонешний* (устар. и обл. к *нынешний*), *по́мочь* (устар. и обл. к *помощь;* но *Бог по́мочь*); *судия* (устар. и высок. к *судья*), *матерь* (устар. и высок. к *мать*); *нощь* (устар. высок. к *ночь*), *росс* (устар. высок. к *россиянин*); *гишпанский* (устар. и шутл. к *испанский*).

С пометой «прост.»: *про́дыхнуть* (прост. к *продохнуть*) (но для сочетания *без про́дыху* эта помета не требуется), *повылазить* (прост. к *повылезать*), *езжай* (прост. к *поезжай*), *жисть* и сочетание *ни в жисть*

(прост. к *жизнь* и *ни в жизнь*), *дитё* (прост. к *дитя*), *рупь* (прост. к *рубль*), *немочь* (прост. к *немощь;* но *бледная немочь*), *пущать, выпущать,* частица *пущай* (прост. к *пускать, выпускать, пускай*), *не трожь* (прост. к *не трогай*), *хошь* (прост. к *хочешь*), *должóн* (прост. к *дóлжен*), *ихний* (прост. к *их* — притяж. местоимению).

С пометой «прост.» в сочетании с другими пометами: *ндрав* (прост. шутл. к *нрав*), *комедь* (прост. шутл. к *комедия*); *Расея* и *расейский* (нарочито-сниженное и прост. к *Россия, российский*); *дело* — род. мн. *дел* и (нарочито-сниж. и прост.) *делов: только и делов, всего-то и делов; даден* (нарочито-сниж. и прост. к *дан* — кр. ф. причастия).

В условиях приведения в рассматриваемом словаре слов, пишущихся с прописной буквы, и разграничения написаний с прописной и строчной букв уместны и такие разработки словарных статей, как, например: *Ирод* (царь Иудеи, библ.) и *ирод* (мучитель, изверг; бран.); *Иуда* (имя, библ.) и *иуда* (предатель, бран.); *Антихрист* (в христианском вероучении: главный противник Христа) и *антихрист* (бран.); *Зевс* и (устар. поэт.) *Зевес; Афган* (прост. к *Афганистан;* о войне 1979 — 1989 в Афганистане); *овен* (баран, устар.) и *Овен* (созвездие и знак зодиака); *кутафья* (безобразно толстая женщина, устар.) и *Кутафья башня* (в московском Кремле); *люба* (возлюбленная, нар.-поэт.); *Пирке: реакция* (*проба*) *Пирке* и *пирке* (результат применения пробы Пирке, разг.); *Сбербанк* (как сокращение официального названия учреждения) и *сбербанк* (как обиходное название его местного отделения).

Хотя для сплошного применения функционально-стилистических помет в орфографическом словаре, как уже сказано выше, нет места, может обсуждаться вопрос о целесообразности указаний на сферу функционирования слов, относящихся к специальной терминологии (на отрасль науки, техники, искусства). Во всяком случае, в большом, претендующем на «тезаурусность», орфографическом словаре регулярное применение такого рода помет, несомненно, было бы полезным для ориентации пользователей во всем многообразии словника. В рассматриваемом же словаре подобные пометы (как и краткие толкования) обычно применяются лишь в случаях паронимического столкновения слов и форм, например: *диатез* (мед.) и *диатеза* (лингв.), *антология* (подборка литературных произведений) и *онтология* (филос.), *ростр* (таран корабля) и *ростра* (архит.).

* * *

Остановимся теперь на некоторых случаях орфографической вариантности, заслуживающих отражения в орфографическом словаре. Вариантность написания рассматриваемых далее слов отчасти отражает их фонетическую вариантность, отчасти же является чисто орфографической, но так или иначе связана с функционально-стилистическими различиями.

www.ruslang.ru

Слово *тысяча* имеет орфографический вариант *тыща,* что ранее орфографическими словарями не отмечалось. Как этот вариант квалифицировать? Он, несомненно, отражает наиболее распространенный произносительный вариант слова, характерный для беглой разговорной речи. Распространенность этого произносительного варианта подтверждается экспрессивно-оценочным производным словом *тысчонка,* которое, однако, закрепилось на письме не с буквой *щ,* а с буквосочетанием *сч.* Написание *тыща* оправданно в контекстах, ориентированных на передачу произношения, на разговорную речь. Еще одна сфера применения этого орфографического варианта — поэтические тексты, где нередко в силу стихотворного размера иное написание невозможно, например: «Это женское уменье, // словно тыщу лет назад, // странно и одновременно // ждать, молить и ускользать» (Р.Рождественский); «Раздайте себя немедля, Даруя или простивши, Единственный рубль имея — Отдайте другому тыщу!» (Евг. Рощина). Итак, полная словарная орфографическая разработка этого слова выглядит следующим образом: «**ты́сяча**, *-и,* тв. *-ей* и *-чью,* мн. *-и, ты́сяч* и (при передаче разг. произношения, в поэзии) **ты́ща**, *-и,* тв. *-ей,* мн. *-и, тыщ*». Очевидно, что аналогичная орфографическая вариантность характерна для слова *полтысячи — полтыщи.*

Употребителен и орфографический вариант слова *здравствуйте — здрасте* или *здрасьте,* несущий ту же функцию и выступающий в тех же сферах, что и *тыща.* Например, у Б.Окуджавы: «Арбатского романса знакомое шитье, // к прогулкам в одиночестве пристрастье, // из чашки запотевшей счастливое питье // и женщины рассеянное "здрасьте"» (другой вопрос — нужна ли в этом варианте буква *ь,* которая представляется нам излишней).

Подобным же образом ведут себя слова *миллион, миллиард* и (по крайней мере с недавнего времени, обусловившего бóльшую употребительность этого слова) *триллион:* все они имеют (или допускают) орфографические варианты, отражающие разговорный вариант произношения и более короткие на один слог: *мильон, мильярд, трильон;* то же касается прилагательных *миллионный* (*мильонный*), *миллиардный* (*мильярдный*) и *триллионный* (*трильонный*). В поэзии орфографическая форма *мильон* довольно обычна: достаточно вспомнить *мильон терзаний* Грибоедова (вошедший в качестве устойчивого сочетания в языковой узус) и «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы» Блока. Новая словарная разработка этого слова такова: «**миллио́н**, *-а* и (при передаче разг. произношения, в поэзии) **мильо́н**, *-а; мильон терзаний*». Аналогично разрабатываются в новом орфографическом словаре другие перечисленные слова, а для слова *миллиончик — мильончик* (экспрессивно-оценочного) оба варианта признаются равноправными. Заметим, что подобная орфографическая равновариантность была закреплена в прежнем «Орфографическом словаре русского языка»

для слов *квадриллион* и *квадрильон, квинтиллион* и *квинтильон, секстиллион* и *секстильон,* что, по-видимому, обусловлено большей длиной и малоупотребительностью этих слов, произносительная вариантность которых не подвержена нормативным оценкам. Давно закреплены как равноправные и орфографические варианты *бриллиант — брильянт,* аналогично все производные слова того же корня (*бриллиантовый, бриллиантик, бриллиантщик, бриллиантин*) — случай, также основанный на произносительной вариантности. Таким же образом должны расцениваться и варианты *пиявка — пьявка* (запрет на вариант *пьявка,* содержащийся в орфоэпическом словаре, не выглядит убедительным).

Орфографическая вариантность, сводящаяся к отсутствию в одном из вариантов гласного *и,* характеризует также слово *материал — матерьял* и производное *материальный — матерьяльный.* Картина, казалось бы, аналогична той, что наблюдается в предыдущих словах, и, кстати, более короткий по числу слогов вариант нередко используется в поэзии, например: «Оно не звук окостенелый, Не просто некий матерьял, — Нет, слово — это тоже дело...» (Твардовский); «и бросили на произвол теней // в домарксовом, нематерьяльном мире» (Ахмадулина). Однако, в отличие от ситуации со словами *тысяча, миллион* и т.п., здесь за орфографическими вариантами не стоит вариантность произносительная: судя по данным орфоэпического и толковых словарей, у слов *материал* и *материальный* произношение [рья] — единственное. Таким образом, в этих словах мы имеем дело с достаточно редким (в том, что касается употребления букв) случаем чисто орфографической вариантности, в котором написание с буквой *и* является традиционным, написание же с *ь* отражает произношение, причем традиционное написание поддерживается однокоренными словами *материя, материализм, материализовать* и др., где произношение и написание с *и* не имеет вариантов. В новом орфографическом словаре слово *материал* разработано так: «**материа́л**, *-а* и (при передаче произношения, в поэзии) **матерья́л**, *-а*»; так же разработано слово *материальный,* а в экспрессивно-оценочных образованиях *материальчик — матерьяльчик* и *материалец — матерьялец* орфографические варианты признаются равноправными. Ср. равноправность орфографических вариантов *фортепиано — фортепьяно, фортепианный — фортепьянный* при единственном произношении [*пья*] (см. орфоэпический словарь)[1].

В связи с описанными вариантами с безударным гласным *и* (в позиции перед гласным) и без него заслуживает внимания тот факт, что в поэзии это явление вообще нередкое: ср. еще *революцьонный* (у Блока, Пастернака), *революцьонер, пролетарьят, орьентаций, визьонер* (у Пастернака), *молнья* (у Блока, Цветаевой), *комедьянт* (у Цветаевой) и др. Но здесь мы уже вступаем в область неузуальной, индивидуально-авторской орфографии и фонетики — прежде всего, конечно, фонетики (ср. хотя бы пастернаковские четырехстопные ямбы: *Амуниционный*

шорох роты или *С их блюдечек и физиономий,* где опущение гласного *и* орфографически не зафиксировано).

Отметим, наконец, еще один, узуальный и достаточно массовый, типизированный, случай орфографической вариантности, где один из вариантов отражает строгую литературную норму, а другой — разговорно-произносительную. Речь идет об отчествах типа *Степанович — Степаныч, Олегович — Олегыч, Васильевич — Васильич, Андреевич — Андреич, Николаевна — Николавна, Алексеевна — Алексевна.* Второй вариант написания подобных отчеств широко употребителен не только в стихотворных текстах (ср. хотя бы «Горе от ума» Грибоедова)[2], но и в прозаических — особенно в прямой речи персонажей. На написание безударного, содержащего сильно редуцированный гласный звук, суффикса в подобных мужских отчествах должно быть специально обращено внимание в своде орфографических правил[3], а в полном орфографическом словаре должна быть найдена форма подачи соответствующих произносительно-орфографических вариантов.

Как видим, нормативно-стилистический аспект в орфографическом словаре (как и в своде орфографических правил) не теряет своей актуальности, но приобретает специфические черты, будучи тесно связанным с явлениями вариантности — как собственно орфографической, так и основанной на вариантах фонетического и морфологического уровней языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Заметим, что для самого слова *вариант* написание *варьянт* отражает устарелую орфографическую норму, как и устарелое произношение, и потому в орфографическом словаре не приводится.

[2] Любопытна в этой связи заметка Вл. Глоцера «Заколдованная строчка» (Книжное обозрение, 1995, № 20), где отмечено упорно сохраняемое в разных изданиях ошибочное написание *Николаевна* в стихе Н.Олейникова: «Глебова Татьяна Николавна! Вы Не выходите у нас из головы».

[3] См. также: *Лопатин В.В.* Русские суффиксы: фонематический состав и орфография.//Филологический сборник (К 100-летию со дня рождения В.В.Виноградова). М., 1995.

И. И. Макеева

ГЛАГОЛЫ С ПРЕФИКСОМ ПО- В ДРЕВНЕЙШИХ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ[1]

История Иудейской войны Иосифа Флавия наряду с Пчелой и Житием Андрея Юродивого является, как полагают, восточнославянским (древнерусским) переводом [Соболевский 1980, 36, 139-140]. Поэтому вполне понятно неоднократное обращение исследователей к этому памятнику [Истрин 1934, Мещерский 1958, 1958 а].

По отношению к предполагаемому греческому оригиналу особенностью этого текста является, во-первых, наличие дополнений (вставок); во-вторых, пропуски и свободный перевод, изложение отдельных эпизодов. Внимание исследователей привлекала и лингвистическая, и содержательная сторона этого произведения — характер вставок, названных В.М.Истриным христологическими и нехристологическими. В своей частично сохранившейся работе В.М.Истрин рассматривал следующие вопросы: лексикология славянского перевода Истории: сложные слова. Фразеология славянского перевода: степени сравнения, управление глаголов; образные, воинские и библейские выражения; описательные славянские и греческие выражения; рифмованная речь. Фонетические и морфологические явления перевода: полногласие, префикс вы-, глаголы с суффиксами -ова-, -ива-; смена отъ-оу и др.[1] Впоследствии тех же вопросов касался Н.А.Мещерский в своем исследовании, предшествовавшем изданию памятника по одному из списков.

Поскольку История является одним из древнейших переводных памятников (перевод был сделан, как полагают, в XII в.), ее изучение представляет интерес для характеристики русского литературного языка древнейшей поры, принципов древнейших восточнославянских переводов. Существенные добавления могут быть внесены также в описание языковых особенностей собственно древнерусского текста Истории, которые были отмечены В.М.Истриным и Н.А.Мещерским.

[1] Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 95-06-17082).

Исследование языка памятника может проходить в различных направлениях: изучение лексики, морфологии, синтаксиса, словообразования, с одной стороны; с другой стороны, анализ отдельных групп или классов лексики, выделенных по тем или иным принципам.

В русской лексике (как в настоящее время, так и в древнерусский период) особое место занимает глагол[2]. Входящие в данный лексический класс слова, содержащиеся в древнерусском переводе Истории Иудейской войны Иосифа Флавия, могут быть рассмотрены в разных аспектах: приставочные глаголы и их семантика; синонимия глагольных префиксов; хронологическое распределение приставок; вариативность глаголов по спискам Истории и установление круга слов, принадлежащих к архетипу перевода; глагольная лексика, подтверждающая древнерусское происхождение перевода.

А.И.Соболевский, говоря об особенностях русских переводов домонгольского периода, в качестве критерия для различения южнославянских и восточнославянских текстов указывает 3 группы лексики [Соболевский 1980, 136-137]:

1. Общеславянские слова, означавшие названия должностных лиц, монет, мер веса и расстояния, судов и т.п. (**посадникъ, гривна, насадъ**), которые в южнославянских по происхождению текстах или не встречались вообще, или имели иное значение.

2. Русские заимствования из других языков (**шелкъ, женчугъ**), также неизвестные в южнославянских текстах или известные в других значениях.

3. Названия городов, народов, употребляемые русскими и неизвестные или малоизвестные южным славянам[3].

Помимо лексико-семантического критерия в качестве показателя принадлежности лексики и, следовательно, перевода к восточнославянской территории могут быть использованы отдельные словообразовательные форманты, например, глагольный суффикс -ива-/-ыва-, префикс вы-.

Изучавший соотношение книжно-славянских и народно-разговорных элементов в древнерусском литературном языке XI-XVII вв. Г.И.Белозерцев пришел к выводу о преобладании в Истории и Пчеле (в большем или меньшем объеме) лексем с префиксом вы-. При этом он подчеркивал следующее: «Ни один из древнерусских памятников не знает такого разнообразия основ с приставкой вы-, как История Иудейской войны Иосифа Флавия. Поразительны характерные для этого памятника количественные соотношения наиболее распространенных из выделительных глаголов... Переводчик Истории Иудейской войны, не будучи скован требованием следовать книжно-славянскому образцу, постоянно обращался к лексическим запасам народно-разговорного языка. Здесь обширен круг довольно редких основ с приставкой вы- (для большинства из них в языке Истории... не удается обнаружить соответствующий эквивалент с из-)...» [Белозерцев 1966, 21-22].

Приставочные глаголы по целому ряду причин заслуживают особого внимания.

В Истории иногда обращает на себя внимание предпочтительное употребление глаголов с определенной приставкой. Такое употребление может быть объяснено хронологическими и семантическими причинами. Одно и то же глагольное значение в разные периоды истории языка может быть выражено разными приставками. Например, '*подготовить что-л. заранее*' в древнерусском языке передавалось при помощи префикса при-, а в языке XVIII в. — приставкой за- [Аминова 1976, 223].

В Истории Иудейской войны глагол **помирити ся** с приставкой по- не представлен, поскольку он отмечается в русских памятниках с XV в. В более раннее время ему соответствовал **умирити ся**, который и употребляется в этом источнике. Данный глагол фиксируется в памятниках с XI в., встречается в оригинальных и переводных произведениях, включая южнославянские переводы.

В древнерусском тексте Истории представлены три однокоренных приставочных глагола: **въсадити, посадити, насадити**. У каждого из них есть значения неповторяющиеся и общие с каким-либо другим глаголом из трех указанных. **Въсадити** встречается в значениях '*воткнуть, вонзить*' (в конецьж его всажено железо велико — 616)[4], '*посадить, поместить во что-л.*' (всади я в лодия — 609), '*заключить, подвергнуть заключению*' (всади в темницю — 703 об.). У глагола **посадити** последнее значение фиксируется с XII-XIV вв., а '*посадить, поместить где-либо, во что-либо*' — с XI в. Благодаря приставке по- глагол приобретает дистрибутивный оттенок (избити сторожю яже посади гавании по всемъ городомъ — 516 об.), указание на иное пространственное размещение — не внутри, а вокруг чего-л. (окрсть гроба его посадиша стражи — 660). Помимо указанных глагол **посадити** имеет значение '*поселить*' (вда имъ землю добропладну и посади а ту — 540 об.), '*поставить на высокую должность, облечь властью*' (посадиша антигона на црскомъ столѣ — 525 об.). У глагола **насадити** значение '*поселить*' отмечается лишь в XVI в., а '*поставить на высокую должность...*' — в XVII в. В Истории **насадити** имеет значение '*засадить*' (земля... всѣми садми добропладными насажена — 611) и '*посадить (растение)*' (всякое древо добровонное насади въ немь — 541), которое у **посадити** отмечается с конца XV в. Таким образом, у однокоренных глаголов с разными префиксами одни и те же значения могут фиксироваться в разное время, что обусловливает употребление в Истории сразу трех глаголов с разными приставками.

Кроме того, глагол **посадити** зафиксирован в выражении **посадити на дани**, '*обязать платить дань*', которое является аналогом более позднего русского **посадити на оброкъ**.

глаголы / значения	въсадити	посадити	насадити
воткнуть, вонзить	+		
посадить, поместить куда-л., во что-л.	+	+ с дистрибутивным значением	
подвергнуть заключению	+	— (с XIII-XIV вв.)	
поселить		+	— (с XVI в.)
поставить на высокую должность...		+	— (в XVII в.)
засадить (растениями)			+
посадить (растение)		— (с к. XV в.)	+

Помимо семантического и хронологического распределения приставок наблюдается их синонимия:

въ-/по-[5] **въслѣдовати — послѣдовати** *'отправиться вслед за кем-л.'*: въслѣдоваша^{ж} по ни^{х} пропов^{д}ѣници архелаеви; и мнози о^{т} наро^{д} послѣдоваху по не^{м} и ученіа его внимааху (576);

из-/по- **иссѣчи — посѣчи** *'убить, зарубить, в том числе многих'*: иссѣкы вы вся аще не приимѣте цесарева образа (576); иро^{д} же пославъ нощию и посѣче я вся (533);

из-/у- **избити — убити** *'убить, умертвить'*: бив ся изби их $\overline{\text{ѕ}}$ (512 об.); и убилъ о^{т} ни^{х} ѕ̄и (525 об.).

В разных списках Истории представлены расхождения, касающиеся как отдельных словообразовательных формантов (приставок, суффиксов) и форм слов, так и собственно лексем.

История Иудейской войны Иосифа Флавия известна в нескольких списках XV-XVII вв., которые принадлежат к двум редакциям — Отдельной и Хронографической (в терминологии Н. А. Мещерского). Входящие в состав Хронографов и принадлежащие Хронографической редакции списки содержат полностью весь текст. Это Архивский список XV в. и Виленский XVI в. Списки другой редакции не имеют первых 25 глав или параграфов Истории, начинаясь сразу с 26 главы.

В Виленском и Архивском списках проведено, например, следующее строгое различие: употребление в первом лексем **послы, цесарь**, а во втором — **слы, кесарь.**

На фоне подобных последовательно проведенных расхождений другие встречающиеся в списках различия могут иметь более или менее спорадический характер. Глагольные варианты в Архивском и Виленском списках могут быть объединены в несколько групп. Отметим некоторые из них:

а) собственно лексические различия, когда в двух списках друг другу соответствуют разные лексемы:

прогнанъ (504 об.) — прогнѣванъ (346 б)
распудив ся (528 об.) — растудив ся (358 в)
тщашеть...ся (526 об.) — потъскывашеть (357 в)
приⁱ̈де (530) — приступи (359 б)
вознимати (533) — взяти (361 в)
минути (506 об.) — ити (347 в) и др.

б) варианты представляют собой разные формы одного и того же глагола:

устремив ся (505) — устрѣми ся (346 г)
имѣ (506) — имѣя (347 а)
раᶻумѣваше (530) — разумѣвши (359 б)
видѣ (541) — видѣвъ (366 г), видѣ (529) — видя (358 г)
рекоша (530) — рѣша (359 в) и др.

в) вариантами являются однокоренные глаголы с разными суффиксами:

побѣже (505) — побѣжаше (346 в)
пристроивает ся (521) — пристроит ся (355 а)
раᶻдрѣшати (523 об.) — раздрѣшити (356 б) и др.

г) вариантами являются однокоренные глаголы с разными приставками или приставочный и бесприставочный глагол:

пронесоша (512 об.) — принесоша (350 г)
объумрѣ (523) — умре (356 а)
переставъ (508) — преставъ (348 б)
пришедъ из (526 об.) — прешедъ на (357 г)
влѣзти (531 об.) — лѣсти (360 б)
строи (540 об.) — пристрои (366 в)
вынидуть (528) — внидуть (358 б) и др.

Встречающиеся в Виленском и Архивском списках глагольные текстологические различия иногда таковы, что смысл меняется на противоположный или вообще становится неясным. В таких случаях восстановлению правильного чтения способствует греческий текст, если не имеет места вставка или свободный перевод. Например, в приведенных выше парах верным чтением является **прогнанъ** (ἀπελαυθεὶς), но не **прогнѣванъ**; **растудив ся** (αἰδούμενος), но не **распудив ся; вынидуть** (ἐξελθεῖν), но не **внидуть; видя** (ὁρῶν), но не **видѣ** и др.

Изучение вариативности лексики по разным спискам в сопоставлении с греческим оригиналом позволит поставить и решить вопрос о первичности той или иной лексемы, ее наличии в протографе перевода Истории Иудейской войны Иосифа Флавия. Для определения принципов древнерусских переводов необходимо установить, какие лексемы

принадлежали архетипу, какие появились в процессе копирования текста.

Особо следует рассматривать имеющиеся в Виленском и Архивском списках различия приставок въ-/у-:

въспѣша (514) — успѣша (351 в)

удариша (530) — вдариша въ ребра (359 в)

В языке этих списков Истории представлена мена начальных в/у, в том числе в предлоге и приставке, например, **въмоленъ** (343 г) вместо **умоленъ.** Она является отражением особого характера [в], свойственного западу древнерусской территории. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо решать, имеет ли место употребление той или иной приставки или отражение диалектной фонетической черты.

Перечисленные проблемы лишь очерчивают круг возможных направлений исследования глагольной лексики в Истории Иудейской войны Иосифа Флавия. В данной статье будут рассмотрены глаголы с префиксом по-.

Приставка по- неоднократно привлекала внимание исследователей. Ее первоначальным значениям в славянских языках, их утрате и изменениям посвящена статья И.Немца [Немец 1954]. В ряде работ рассматривались выражаемые этой приставкой способы глагольного действия [Дмитриева 1988, Сигалов 1975, Сигалов 1977], ее чистовидовой характер [Тихонов 1962].

При всем многообразии и большом количестве исследований, посвященных изучению глаголов с префиксом по- в русском языке, в основном они касаются одной проблемы — выражаемых ею способов глагольного действия. В современном русском языке у по- выделяют локальное значение (полить), начинательное (пойти), ограничительное (посидеть), дистрибутивное (похватать), чистовидовое, грамматическое (подарить).

Эти значения в истории русского языка формировались в разное время на базе разных глаголов. Так, например, дистрибутивная семантика появилась прежде всего у глаголов конкретного физического действия. Среди них наиболее значительную часть составляли, как и в современном русском языке, глаголы деструктивной семантики (типа потравить, подрать, погромить) [Дмитриева 1988, 98-101]. Ядром для формирования ограничительного способа действия в истории русского языка старшего периода послужили глаголы состояния. Под их влиянием это значение распространилось среди глаголов ненаправленного движения, глаголов со значением звука и т.д. [Сигалов 1975, 180].

В древнерусском тексте Истории Иудейской войны большая часть глаголов с префиксом по- имеет результативное значение: **мыслити — помыслити, гибнути — погибнути** и т.д. У некоторых отмечено обусловленное приставкой дистрибутивное или начинательное значение. При этом производящий глагол имеет, как правило, несовершенный вид, а производный — совершенный[6]. Имперфективами являются

вторичные образования в парах типа **повелѣти — повелѣвати, поносити — поношати, послати — посылати, погрузити — погружати** и др. По сравнению с имперфективами на -а/ти/ глаголы несовершенного вида с суффиксом -ива-/-ыва- встречаются реже: **погубливати, покладывати** и др. Именно они, являющиеся собственно русскими образованиями, а также глаголы с дистрибутивным значением будут рассмотрены подробно.

У ряда глаголов, как перфективов, так и имперфективов, у приставочного члена пары отмечаются значения, отсутствующие у производящего слова, и наоборот. Таковы, например, глагольные пары **носити — поносити** '*оскорблять, порочить, поносить*', '*клеветать, наговаривать*'; **казати** '*говорить, сказать*' — **показати; вѣдѣти** и **вѣсти** '*мочь*' — **повѣдѣти** и **повѣсти** '*сообщить, сказать, рассказать*' и другие, связанные с речевым актом; **мьнити — помьнити** '*держать в памяти, не забывать*'.

Большая часть глаголов с префиксом по-, отмечаемых в Истории, характерна для разных памятников письменности — переводных, в том числе южнославянских, и оригинальных. У небольшой группы глаголов отмечены значения, не засвидетельствованные в южнославянских языках. Эти лексемы могут служить доказательством восточнославянского (древнерусского) происхождения перевода и подробно рассматриваются ниже.

С текстологической точки зрения различна надежность анализируемого материала. Как уже сказано, в разных списках Истории Иудейской войны иногда могут быть употреблены глагол с приставкой и бесприставочный, слова с разными префиксами. То же самое касается и глагольных лексем с по-:

потоптати (529 об.) — топтати (359 а)
приающа (519) — поприяюща (354 а)
повлекоша (530) — волокоша (359 б)
истя (530 об.) — потя (359 г) и др.

Если в списках Хронографической редакции — Виленском и Архивском — имеет место подобное расхождение, то целесообразно обращение к спискам иной редакции, которые могут подтвердить то или иное чтение. Оно и должно было бы быть первоначальным. Подобный пример можно считать надежным. Если же случай употребления глагола с по- приходится на первые 25 глав или параграфов Истории, которые отсутствуют в Отдельной редакции, то пример не может быть подтвержден другими списками и является менее надежным.

Значения глагольного префикса по- в славянских языках одинаковы: постепенность, последовательность действия, его распространение на некое множество объектов (дистрибутивное значение); заполнение, поражение поверхности объекта действием (локальное значение);

ограниченность действия (делимитативное); начало действия (начинательное) и некоторые др. [Конечны 1973, 187-188].

В то же время на протяжении веков эта приставка претерпела значительные изменения, утратив некоторые прежние значения (некогда она одновременно выражала отделение, удаление и приближение) и приобретя новые. К древнейшим относится сохранившееся локальное значение по-, когда глагол с этой приставкой означал полное поражение, покрытие объекта действием. Такие глаголы были в старославянском языке **(позлатити, посьрєбрити, поливати)**; они есть в древнерусском, современном русском и других славянских языках. Прерывистосмягчительные глаголы в старославянском языке не засвидетельствованы; в русском языке они фиксируются с XV-XVII вв. [Сигалов 1977, 151, 152]. Делимитативное значение относится, по мнению П.С.Сигалова, к праславянской или даже балтославянской эпохе, но в русском языке оно не было унаследовано, его формирование началось в историческую эпоху. В старославянском и древнерусском языках ограничительное значение — если вообще было — находилось в зачаточном состоянии [Сигалов 1975, 146, 180-181].

Судя по данным русской письменности, ограничительное (делимитативное) значение фиксируется достаточно рано — в XI-XIII вв. в южнославянских переводах:

постояти: и постоявъ мало Агапии видѣ... Усп. сб. 469 [СлРЯ XI-XVII, 17, 252];

посѣдѣти: и сѣде при пути и посѣдѣвь мало и узьрѣ... Усп. сб. 468 [СлРЯ XI-XVII, 17, 158];

пожидати: сего дьля мало пожидаю, да прьминеть знои... Патерик Син. 291 [СлРЯ XI-XVII, 16, 100].

Позднее случаев его фиксации становится больше, включая и русские памятники.

Глаголы с префиксом по- с дистрибутивной семантикой в старославянском языке не были представлены. Процесс становления этого значения в истории русского языка был, видимо, достаточно длительным. Раньше всего оно фиксируется у частотных, сложных с точки зрения семантической структуры глаголов, некоторые из которых были известны еще в старославянском языке:

поковати '*заковать в оковы* (*многих*)': Олег же... изоима ростовци и белоозерци и суздалци и покова. Радзив. лет. 136 [СлРЯ XI-XVII, 16, 163];

пометати '*оставить, покинуть* (*все или многое*)': лодкы пометавъше. Новг. 1 лет. 65 [СлРЯ XI-XVII, 17, 15];

посажати '*построить, основать* (*многое, в разных местах*)': И прибыло деревень и съ тѣми, что ихъ посажалъ староста Ивашко, пять. Кн. пер. Дерев. пят. 1, 227, ок. 1495 г. [СлРЯ XI-XVII, 17, 154];

посѣчи '*умертвить* (*холодным оружием*); *казнить, обезглавить* (*тж. многих*)': И елико ихъ есть не хрщно... и да посѣчени будуть мечи своими. Лавр. лет. 48 [СлРЯ XI-XVII, 17, 164];

поставляти '*строить, воздвигать, возводить* (*тж. многое*)': Повелѣ (Владимир) рубити цркви и поставляти по мѣстомъ, идеже стояху кумири. Лавр. лет. 118 [СлРЯ XI-XVII, 17, 231].

Глаголы с дистрибутивным значением сначала были представлены преимущественно в летописях — Лаврентьевской, Новгородской первой, Радзивиловской, а затем и более поздних — Никоновской, Воскресенской **(поѣсти, позябнути).** Для относительно ранних источников следует говорить не о чистом дистрибутивном значении, а, скорее, о результативном с оттенком дистрибутивности. Более ярко дистрибутивное значение представлено у глагола **покупити,** где имеет место его эксплицитное выражение — местоимение весь:

покупити '*накупить, скупить многое, у разных людей, в разное время*':

> ...покупивъ все, иже на потребу стому Николѣ... Ч.Николы, IV, 22; ...и покупи Иосиф всю землю египетьскую фараонови. Палея Толк.[2], 136 [СлРЯ XI-XVII, 16, 186].

Оба памятника можно считать русскими: чудо о ковре св. Николая Мирликийского, полагают, составлено на Руси [Словарь книжников 1987, 169]. По мнению Соболевского, эта редакция чудес (XI в., список XIV в.) является русской [Соболевский 1980, 141]. Толковая Палея (XIII в., список 1477 г.) — компилятивный источник.

В XVII в. дистрибутивное значение отмечается уже у относительно большого количества глаголов (**поржавѣти, порубити, помокнути** и др.) в собственно русских источниках.

Особо следует отметить наличие такого значения у глаголов с двумя префиксами, где по- является вторичной приставкой. Такие глаголы являются собственно русскими образованиями:

повы-: повывезти, повымерѣти, повыпадати и др.

поза-: позабрати, позавалитися, позавладѣти и др.

поиз-: поизломати, поизрушити и др.

поо-, пооб-: пообити, поогнити, пообломатися и др.

пос-, посо-: посвести, посвозити, посломати, посметати, поснести, посносити, посняти, поснимати, посослати, посорвати, поспросити, посседати, посскати и др.

В Истории Иудейской войны Иосифа Флавия представлено несколько префиксальных глаголов с по- с дистрибутивным значением. Некоторые из них засвидетельствованы в старославянском языке и южнославянских переводах, но без дистрибутивности:

погнити '*сгнить* (*о многом*)': не погниша ли таиная удеса их и утробы (669 об.);

подаровати '*подарить что-л., наделить чем-л.* (*всех, многих*)': жито же всѣ^{м} требующим подарова (541 об.);

полечи '*пасть на поле боя, погибнуть* (*о многих*)': мня же яко ту быша полѣгли вси иссѣчени (667);

поморити '*уморить, довести до смерти, погубить* (*многих*)': поморилъ ны еси гладомъ (527);

посадити '*поместить, разместить где-л. в каком-л. количестве*': избити сторожю, яже посади гавании по всемъ городомъ (516 об);

посѣчи/посѣщи '*убить, умертвить* (*холодным оружием*) (*многих*)': иро^{д} же послав ъ нощию и посѣче я вся (533).

Как и у приведенных выше глаголов из других древнерусских памятников письменности, для данных глаголов лучше говорить не о чистом дистрибутивном значении, а о результативном с оттенком дистрибутивности, поскольку в данный период истории русского языка оно только зарождалось.

Приставочные глаголы с по- в большинстве случаев еще в старославянском языке имели результативное значение: **попалити** '*сжечь*', **подавити** '*заглушить, подавить*', **постоѭти** '*встать, подняться*', **посѣщи** '*вырубить, срубить*', **посѫдити** '*рассудить, решить*' и др. [Цейтлин 1994]. При этом производящий глагол имел несовершенный вид, а производный с по- — совершенный. То же имело место и в древнерусском языке. Образования с по- от глаголов совершенного вида немногочисленны: старосл. **повръщи, подати, подвигнѫти, потъкнѫти, поплѣнити, посѣсти, попоустити;** в памятниках русской письменности к указанным добавляются **повернути, поворотити, поглянути, погренути, покупити, пометнути, покивнути, покинути, потиснути** и др. У ряда глаголов благодаря префиксу по- конкретизируется вид (**подати, поплѣнити**); у части происходит семантическая дифференциация приставочного и бесприставочного глагола, например, **минути — поминути, лечи — полечи** [СлРЯ XI-XVII, 9, 164; 17, 23; 8, 223; 16, 213-214].

В Истории Иудейской войны Иосифа Флавия представлено несколько образований с префиксом по- от глаголов совершенного вида: **полечи, поминути, поступити, послучитися, подаровати, потяти** (у двух последних производящий глагол двувидовой).

В памятнике употребляются вторичные имперфективы с по- (типа **поставляти** из **поставити**), среди которых заслуживает внимания глагол **попадати** '*хватать*': ового^{ж} за руку попадаа (620 об.). Не учитывается другой случай употребления слова, демонстрирующий по спискам разные значения: переносное к указанному (гла имъ что языкъ его попадаше — 532 об.) или '*оказываться, попадáть*' (гла имъ что языкомъ его попадаше — 361 об.). У префиксального перфектива по-

пасти, который отмечен в русских оригинальных источниках, уже представлено сужение семантики по отношению к **пасти**[7]. У имперфектива **попадати** зафиксировано значение '*хватать*' [СлРЯ XI-XVII, 17, 77]; соответствующее имеется у **попасти.** Таким образом, имеет место не только семантическая дифференциация производящего и производного глагола, а иногда, возможно, и лексикализация последнего.

Некоторые глаголы с префиксом по-, засвидетельствованные в Истории, употребляются в качестве военных терминов, характерных именно для русских памятников письменности:

полѣзти '*подступить, приступить, подойти*': и си новыя стѣны не тверды быша зане но и ово създани быша но обаче не смѣаше никтоже полѣзти явлено бо смрть предлежаше поченшим (681). Глагол **лѣзти** с другими приставками **(излѣзти, налѣзти)** упоминается среди русской военной терминологии со значением '*нападения, наступления*' [Сороколетов 1970, 343];

полечи '*пасть на поле боя, погибнуть (о многих)*': ту быша полѣгли вси ис҃ сѣчени (667). Данный глагол среди прочих военных терминов со значением результатов боя приводит Ф.П.Сороколетов [Сороколетов 1970, 343];

поступити '*выступить против кого-л., напасть*': горы҃ не дадя҃т имъ поступити на ратныя (605). Конструкция глагол движения + предлог *на* и существительное или местоимение в соответствующем падеже была очень активной в истории русского языка; глагол при этом приобретал типично военное значение. Синонимический ряд с общим значением '*подготовки или начала военной борьбы против кого-л.*' богато представлен в письменности [Сороколетов 1970, 313, 345];

побѣчи '*обратиться в бегство с поля боя, беспорядочно и поспешно отступить*': и побѣгоша иродови вои (524 об.). Ф.П.Сороколетов называет данный глагол среди русских военных терминов со значением '*отступления, бегства*' [Сороколетов 1970, 344].

Помимо слов, известных в качестве русских военных терминов, в Истории Иудейской войны Иосифа Флавия употреблено несколько глаголов с префиксом по-, семантика которых существенна для подтверждения древнерусского происхождения перевода:

подумати '*подумать, посчитать*': бе[3] нея҃ подумавъ яко неправо есть убити такая цря (532); '*собраться сделать что-л.*': июдѣи подумаше побѣгну҃т҇и в нутрьняя стены (664 об.); '*умыслить, решить сделать что-л. плохое*': на цря подумавша (547 об.); '*посоветоваться, посовещаться; сговориться*': строители... подумаша съ грамотеими и няти и҃х и погубити и҃х (586 об.). Производный от глагола **думати,** который отсутствовал в старославянском языке [Цейтлин 1994, 199]; в других

славянских языках у него не отмечено значение '*(по)совещаться, (по)советоваться*' [ЭССЯ 5, 154-156; Соболевский 1980, 137];

познатися '*познакомиться, близко сойтись*': позна же ся и съ кесаремъ сѣкостомъ (γνώριμος; 354 в; в Вил. сп. позна же ся и цесаремь... 520 об.). Производный от глагола **знатися** '*быть знакомым*', русский характер которого отрицает А.М.Молдован [Молдован 1994, 26]. В приведенном им примере из старославянского языка употреблен глагол в страдательном залоге, а не возвратный;

помѣнити '*пообещать*': и умири ся с нима и помени има ·ѯа· талантъ (524). Производный от глагола **мѣнити,** который известен в старославянском и церковнославянском языке [Цейтлин 1994, 340]; в других славянских языках у него не представлено значение '*обещать*' [ЭССЯ 18, 174]. В Истории употреблен также глагол **помѣняти** '*обещать*';

потяти '*убить, обезглавить*': тако и ты потятъ будеши серпомъ нбᶜнымъ (387 б; в Вил. сп. пожяᵀ, где *ж* кажется исправленным из *т*; 573 об.); производный от глагола **тяти** [Срезневский 2 (2), 1106]. Это слово отличается от предыдущих: глагол, как кажется, отсутствует в южнославянских языках [Фасмер 1987, 4, 66]. Показательным для доказательства древнерусского происхождения перевода его считал А.И.Соболевский [Соболевский 1980, 140].

Еще одну группу глаголов с префиксом по-, которая может свидетельствовать в пользу восточнославянского (древнерусского) перевода Истории Иудейской войны, образуют имперфективы с суффиксом -ива-/-ыва-. Этот суффикс является собственно древнерусским; первые глаголы с -ива-/-ыва- отмечены в XII в., причем все они были префиксальными, в том числе с приставкой по-. По материалам КСДР XI-XIV вв. к XII в. относится 8 глаголов [Историческая грамматика 1982, 175, 260]. По отношению к этому количеству в Истории зафиксировано значительное число глаголов с суффиксом -ива-/-ыва-. Некоторые имеют дистрибутивный оттенок:

побѣживати '*побеждать*': поневᵏ ономᵘ побѣживати то како азъ могу възвратити ся к нему не побѣдивъ (623 об.);

погубливати '*губить*': тѣмь клеветаниемъ погубливахуть (546 об.);

покладывати '*укладывать спать*': трие быша каженници у цря чᶜтни служаше... третии покладывашеть и (546); '*класть, выкладывать (многое, многим)*': и хлѣбодѣи хлѣбы покладывають иᴹ по рядᵘ (570);

поостривати '*побуждать, подстрекать*': поостриваше я да бы ю кто убилъ (Фл.П, 158);

потоптывати '*топтать, давить*': мнози сами ся потоптываху (534). Возможно, этот глагол имеет оттенок дистрибутивности.

Образованные при помощи префикса по- глаголы были свойственны как южнославянским переводам, так и восточнославянским переводным и оригинальным произведениям. Некоторые приставочные глаголы, употребленные в Истории Иудейской войны Иосифа Флавия, могут служить доказательством древнерусского происхождения перевода. Таковыми являются, во-первых, слова с русским словообразовательным формантом — суффиксом -ива-/-ыва-; во-вторых, имевшие значения, не представленные в южнославянских языках; в-третьих, приобретавшие благодаря приставке по- дистрибутивное значение.

Дальнейшее изучение префиксальных глаголов и — шире — всех приставочных образований позволит выявить словообразовательно-семантические особенности древнейших восточнославянских переводов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Архив АН СССР, ф. 332, оп. 1. Сохранились главы VII, IX, X, XI, XIII и Введение. Утрачены главы I, II, III, IV, V, VI, VIII, XII, в основном касающиеся соотношения греческого и славянского текста, греческих и других редакций.

[2] О глаголе как доминанте русской лексики, его особенностях см. работы Н.Ю.Шведовой, в частности, одну из последних: Шведова Н.Ю. Глагол как доминанта в системе русской лексики // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения акад. В.В.Виноградова). М., 1995. С. 409-414.

[3] О критических замечаниях по поводу некоторых приведенных А.И.Соболевским слов см. [Молдован 1994, 6].

[4] Иллюстративный материал приводится в упрощенной орфографии по двум спискам — Виленскому и Архивскому. С сокращением Фл.П цитата дана по Волоколамскому списку по изданию В.М.Истрина [Истрин 1934].

[5] П.С.Кузнецов приводит представленное в летописи (Лавр. лет., л. 3) древнейшее значение приставки по- — пространственное (движение от некоего исходного пункта). Он сопоставляет глаголы **потечеть** и **вътечеть**, в котором префикс въ- выражает направление этого движения [Кузнецов 1959, 186].

[6] По мнению П.С.Кузнецова, в эпоху древнейших памятников русской письменности «еще не все приставки утвердились в своем видовом значении». Приставка по- имела пространственное и временное значение. И уже на основе различных временных значений появилось наиболее общее значение лишь границы во времени, которое соответствует значению совершенного вида [Кузнецов 1959, 185-186, 184].

[7] Глагол **пасти** имеет 18 значений: '*упасть (падать)...*', '*лечь тяжким, внезапным бременем*', '*выпасть при метании жребия, достаться*', '*пасть (падать) мертвым...*' и др. [СлРЯ XI-XVII, 14, 162-164]. У **попасти** их отмечено 6: '*схватить, захватить кого-л., что-л.*', '*очутиться где-л., попасть куда-л.*', '*оказаться в каких-л. обстоятельствах*', '*случиться, встретиться*', '*попасть во что-л.*', '*пасть, погибнуть (о скоте)*' [СлРЯ XI-XVII, 17, 78-79].

ЛИТЕРАТУРА

Аминова 1976 — Аминова А.А Из наблюдений над развитием приставочной синонимии // Именное словообразование русского языка. Казань, 1976

Белозерцев 1966 — Белозерцев Г.И. Соотношение книжно-славянских и народно-разговорных элементов в древнерусском литературном языке XI-XVII вв. АКД. М., 1966

Дмитриева 1988 — Дмитриева О.И. Сочетаемость производящих глагольных основ с приставкой по- при образовании глаголов дистрибутивной семантики в русском языке // Взаимодействие социальных и структурных факторов в языке и речи. Саратов, 1988

Историческая грамматика 1982 — Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., Наука, 1982

Истрин 1934 — La prise de Jérusalem de Josephe de Juif. Par V.Istrin. Paris, 1934. V. 1-2

Копечны 1973 — Kopečný F. Etymologický slovnik slovanských jazyků. Praha, 1973. Svazek 1

Кузнецов 1959 — Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1959

Мещерский 1958 — Мещерский Н.А История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958

Мещерский 1958 а — Мещерский Н.А. Значение древнеславянских переводов для восстановления их архетипов (На материале древнерусского перевода «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия). М.: Изд-во АН СССР, 1958

Молдован 1994 — Молдован А.М. Лексика древнерусского перевода в региональном аспекте. М., 1994

Немец 1954 — Němec J. O slavanské předponě po- slovesně // Slavia. Praha, 1954. Roč. XXIII. Seš. 1

Сигалов 1975 — Сигалов П.С. История русских ограничительных глаголов // Уч. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1975. Вып. 347

Сигалов 1977 — Сигалов П.С. История русских прерывисто-смягчительных глаголов// Уч. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1977. Вып. 433.

Словарь книжников 1987 — Словарь книжников и книжности Древней Руси (XI-первая половина XIV в.). Л.: Наука, 1987. Вып. 1

СлРЯ XI-XVII вв. — Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука. Вып. 8, 1981. Вып. 9, 1982. Вып. 14, 1988. Вып. 16, 1990. Вып. 17, 1991

Соболевский 1980 — Соболевский А.И. История русского литературного языка. Л.: Наука, 1980

Сороколетов 1970 — Сороколетов Ф.П. История военной лексики в русском языке (XI-XVII вв.). Л.: Наука, 1970

Срезневский 2 (2) — Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М.: Книга, 1989. Т. 2. Вып. 2

Тихонов 1962 — Тихонов А.Н. Чистовидовой префикс по- в русском языке // Труды Самаркандского ун-та, Новая серия. 1962. Вып. 118

Фасмер 1987 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1987. Т. 4

Цейтлин 1994 — Старославянский словарь / Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. М.: Русский язык, 1994

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н.Трубачева. М.: Наука. Вып. 5, 1978. Вып. 18, 1993. Вып. 20, 1994

О. Н. Селиверстова

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ СЛОВ *У* И *РЯДОМ*)

Много лет тому назад в споре с В. А. Звегинцевым Д. Н. Шмелев выступал против гипотезы о том, что «в одном слове не может одновременно происходить несколько разных обобщений», и следовательно, слово должно иметь только одно значение [Шмелев 1977, 81-82]. В настоящее время спор об организации семантической структуры слова[1] сохраняет свою актуальность. В частности, довольно широко распространена гипотеза, согласно которой семантические структуры предлогов и наречий, описанные в словарях как полисемантические, могут быть сведены к одному «идеальному» значению, распадающемуся на несколько типовых употреблений [например, Herskovits, 1985]. Против этой гипотезы высказываются возражения, например, в [Coventry and Ludwig, 1991].

В предлагаемой статье будут проанализированы фрагменты семантической структуры предлога *у* и наречно-предложного слова *рядом*[2], на материале которых будут рассмотрены отдельные возможности построения структуры многозначного слова. Берутся только случаи употребления, соответствующие следующей ситуации: X, т. е. референт, объект, пространственное положение которого устанавливается, либо непосредственно примыкает к Y-у, т. е. к релятуму[3], ориентиру, либо находится на расстоянии от Y-а. В предыдущих публикациях [Маляр, Селиверстова 1992, 1993] уже указывалось, что слова *у, рядом, около, возле, поблизости, by, beside* и некоторые другие не прямо устанавливают отношение между X-ом и Y-ом, а вводят пространство s, в котором находится X, или позицию s, которую он занимает, причем s охарактеризовано прежде всего по степени дальности или близости от Y-а (частным случаем близости можно считать нулевое расстояние между Y-ом и s: какая-либо из сторон Y-а выступает при этом в качестве стороны примыкающего к нему пространства). По признаку пространственности перечисленные слова отличаются от чисто «дистанционных» наречий *близко, далеко.* В указанных публикациях отмечалось также, что в семантических системах русского и английского языков отображены два основных способа вычленения s из общего

более широкого пространства S, в которое входят и X, и Y. Во-первых, семантика предлога может строиться на представлении об исходной, независимой от Y-а структурированности общего пространства S. Так, было показано, что слово *рядом*$_1$ содержит указание на пространство, заключенное между двумя прямыми параллельными линиями и разделенное по крайней мере на две смежные позиции, обращенные друг к другу боковыми сторонами. Размеры пространства и позиции определяются размерами X-а и Y-а. Заданность позиций независимо от Y-а создает возможность не выбирать его в качестве ориентира (релятума) и определять пространственное положение X-а и Y-а по отношению к заданной пространственной структуре. При этом *рядом*$_1$ вносит информацию о том, что X и Y занимают смежные позиции и обращены друг к другу боковой стороной, если она имеется. В более общем случае можно сказать, что цепочка, создаваемая X-ом и Y-ом, развернута вширь, а не вглубь по отношению к вводимой в контексте точке отсчета.

(1) И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер (Ю. Казаков).

(2) ...Мы поставили рядом чайник и конфеты (Ю. Казаков).

Очевидно, что сформулированная информация вносится самим словом *рядом*, а не контекстом. Ср., например: *рядом со мной сидел какой-то странный молодой человек — около меня сидел...* при замене *рядом* на *около* исчезает указание на то, что X обязательно занимал смежную с Y-ом позицию в ряду.

Рядом$_1$ непосредственно связано с существительным *ряд*. В семантике предложно-наречного слова в качестве членов ряда выступают, однако, не объекты, а позиции, которые при этом могут быть представлены и предметно (например, ряды кресел в театре).

Далеко не во всех условиях употребления слова *рядом* сохраняется информация о нахождении X-а и Y-а в смежных позициях. Например:

(3) Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится -- остолбенел (Булгаков);

(4) Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие горки хорошие (Ю. Казаков).

Информация, передаваемая словом *рядом* в примерах (3-4), очевидно, не подводится под первое значение. По отношению к примерам (3-4) ее можно приблизительно сформулировать следующим образом (ниже будет сделано уточнение): *рядом*$_2$ показывает, что X находится в пространстве s, которое расположено на очень близком расстоянии от Y-а, но отдельно от него и не является его «областью». Под «областью» Y-а понимается такое примыкающее к Y-у пространство (сторона Y-а, к которой примыкает рассматриваемое пространство s, одновременно является стороной s), которое связано с Y-ом «ослабленным» посессивным отношением:

1) вследствие того, что те или иные свойства s формируются Y-ом (например, его геометрические очертания или такие его свойства, как теплота, влажность и т.п. — см. ниже о предлоге *у*); 2) вследствие деления более широкого пространства на подпространства по нескольким центрам, одним из которых является Y, или вследствие того, что X является как бы внешней частью Y-а (например, двор при доме).

Мы говорим здесь об ослабленных, или периферийных, посессивных отношениях, так как в рассматриваемых случаях Y создает лишь отдельные характеристики примыкающего к нему пространства (ср. посессивные отношения, при которой Y является полным «создателем» X-а — например, *моя статья,* т. е. та, которую написал автор речи). Подобно этому отношения, которые можно в исследуемых случаях подвести под понятия «собственности», «части и целого», скорее приближаются к данным понятиям, чем полностью им соответствуют[4].

Слово *рядом* в отличие от *у* (см. ниже) и некоторых других предлогов не указывает на какие-либо посессивные отношения. В пользу сделанного утверждения говорит, прежде всего, употребляемость *рядом* в контекстах, которые не согласуются даже с ослабленной идеей посессивности. Так, это слово встречается при описании ситуаций, в которых Y является одним из подпространств выделяемых внутри общего пространства (например, Y — передняя в квартире), а X принадлежит некоторому другому подпространству Z (например, X — дверь в кабинет, см. (3)). В контекстах подобного типа невозможно заменить *рядом* на *у, около, возле,* см.:

(3а) Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую *около (*возле, *у) передней, и как говорится — остолбенел[5].

Далее, *рядом* не употребляется, если характер общей ситуации таков, что обязательно требует представления s как «области» Y-а. К числу данных случаев относится представление s как «актантного пространства» Y-а (данный термин был введен в [Маляр, Селиверстова 1992]). Это — примыкающее к Y-у пространство, нахождение в котором предполагает осуществление каких-либо действий, конвенционально связанных с использованием Y-а при непосредственном физическом контакте X-а и Y-а. В функции Y-а обычно выступает предмет 'оборудования' в широком смысле этого выражения (станок, штурвал), X же входит в класс 'люди'. Понятно, что позиция агенса подобных действий должна находиться в пространстве Y-а («область» Y-а), а не в другом, отдельном от него, пространстве. Поэтому неупотребляемость слова '*рядом*' в подобных контекстах согласуется с постулируемым значением. Так, например, *рядом*$_2$ не может заменить предлог *возле* в примере (5):

(5) Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов — у них был срочный заказ, а их вторые сутки не пускали спать (А.Солженицын) (* рядом со своими насосами).

Выбор слова *рядом* показывал бы, что вакуумщики не подходили непосредственно к насосам.

Из сказанного выше не следует, что X не может использовать Y или осуществлять действия, направленные на Y, если он находится в другом, отделенном от Y-а пространстве. Это возможно, если либо действие осуществляется на расстоянии (*...стоял рядом, близко и мог наблюдать*), либо использованию Y-а предшествует акт перемещения X-а. Такое перемещение может предполагаться, например, в контексте предложения (6):

(6) В момент взрыва он был рядом с камином, и это спасло ему жизнь.

Особого рассмотрения заслуживают те случаи, когда Y относится к классу 'человек', а X — предмет, который используется или мог бы использоваться в случае необходимости Y-ом. Возможность употребления слова *рядом* здесь, по-видимому, объясняется тем, что использование Y-ом X-а имплицируется, а не утверждается прямо. Например:

(7) Он сидел неподвижно в большом кресле, а рядом с ним стояла недопитая чашка чая.

Ср. напротив сочетания типа *Рулевой у штурвала,* где X представлен именно как находящийся в «рабочей позиции».

Слово *рядом*$_2$ не может также употребляться, если само нахождение X-а в s уже делает его объектом непосредственного воздействия Y-а. Так, нельзя сказать: **Солдаты грелись рядом с кострами.*

Таким образом, можно утверждать, что семантика *рядом*$_2$ не связана с указанием на нахождение X-а в «области Y-а».

Рассмотрим теперь еще один компонент значения *рядом*$_2$. Есть основания считать, что *рядом*$_2$ обозначает «локус» X-а, т. е. тот «кусок» пространства, который непосредственно занимает или мог бы занимать X (о понятии локуса см. [Всеволодова, Владимирский 1982]).

Основанием для введения этого компонента послужили в первую очередь целевые установки высказываний со словом *рядом.*

Прежде чем рассматривать эти установки, скажем несколько слов о наречиях *близко/далеко.* Их исследование показало, что они используются для «чистой» локализации лишь при ограниченном числе условий. Например, нельзя сказать:

(8) *Он много путешествовал, участвовал в морских сражениях, плавал близко от берегов Африки, Азии, Америки.

Это свидетельствует о том, что основной способ локализации объекта требует введения пространства его нахождения, а не указания на расстояние от другого объекта. Если, как я предполагаю, семантика *рядом*$_2$ связана с локусом X-а, а не с «широким» пространством его нахождения, то фактически его пространственное положение опреде-

ляется только по расстоянию от Y-а. Вследствие этого можно ожидать, что будет обнаружено сходство в условиях функционирования *рядом*$_2$ и наречий *близко/далеко*. И действительно *рядом*$_2$ используется для чистой локализации лишь в ограниченном числе случаев. Обобщенно говоря, все эти случаи предполагают введение в рассмотрение дополнительного пространства: это либо «широкое» пространство, в котором заключен локус X-а или X-а и Y-а, либо сам X представляет собой пространство (*рынок рядом с метро*) или X — это крупный объект, регулярно выступающий в качестве ориентира и задающий пространство (памятник, дом). Так, например, странно сказать: **Встретимся рядом с метро,* но можно: *Встретимся в сквере рядом с метро*. См. также:

(9) Я живу рядом с метро (т. е. то место, где я живу, находится рядом с метро).

Напротив, *рядом*$_2$ нельзя употребить в примерах типа (8) или (10).

(10) *Он сидел рядом с теплой печкой и вспоминал все пережитое в этот день (ср. Он сидел у теплой печки и вспоминал все пережитое в этот день)

Слово *рядом* в первом значении не имеет подобных ограничений на употребление, так как там позиция X-а определена в пределах более широкой структуры («позиция в ряду»).

При ограниченности употребления для чистой локализации *рядом*$_2$ регулярно встречается в контекстах, в которых близость расстояния X-а от Y-а рассматривается как условия для каких-то последующих или предыдущих событий. См. пример (6).

Итак, обнаруживается определенное сходство в функционировании *рядом*$_2$ и наречия *близко* (при, конечно, наличии различий — например, нельзя сказать: **так рядом, *очень рядом*). Это сходство свидетельствует в пользу того, что *рядом*$_2$ указывает на локус X-а, а не на широкое пространство, включающее его локус.

Приведем еще один аргумент в пользу выдвинутой гипотезы.

Если *рядом*$_2$ действительно обозначает локус, то это слово не должно употребляться в ситуациях, в которых размеры Y-а и X-а (психологически) не сопоставимы (например, Y — город, а X — место, где происходила встреча, прогулка и т. д.). Напротив, если «маленький» X помещается в какое-то «большое» пространство, появляется возможность определить это пространство по отношению к «большому» Y-у. Сделанный вывод соответствует реальному употреблению. См.:

(11) В ясные летние ночи поднимались они на один из холмов близ Флоренции (Мережковский) (*рядом с Флоренцией).

Возможно, компонент «малое» пространство («локус») определяет и сочетаемость *рядом*$_1$ с усилительной частицей *совсем*. Употребление этой частицы предполагает существование на границе денотативного класса слова такого множества, элементы которого, строго говоря, не

относятся к этому классу, но их свойства приближаются к свойствам членов класса [«Путеводитель» 1993]. Частица *совсем* при этом показывает, что рассматриваемый объект принадлежит денотативному классу, а не пограничной области. Такая информация, как представляется, более согласуется с указанием на место, которое непосредственно занимает X: его положение в общем пространстве более неопределенно, чем положение «больших» пространств и поэтому может уточняться. Таким образом, если развиваемая гипотеза верна, то словосочетание *совсем рядом* показывает, что X занимает то место, которое находится действительно очень близко к Y-у (а не почти, приблизительно очень близко).

Рассмотрим теперь, как соотносятся между собой *рядом*$_1$ и *рядом*$_2$.

Если введенный компонент «малое пространство» действительно верен, то оба значения имеют общий компонент, так как позиция в ряду — это также то пространство, которое непосредственно занимает X. Тогда второе значение отличается от первого тем, что смысловые элементы получают более широкое толкование — понятие позиции уже не ограничивается местом в ряду, а смежность заменяется на более широкое представление о пространственной близости. При этом сохраняются импликативные характеристики. Так, нахождение в смежных позициях предполагает «самостоятельность» пространственного положения и X-а, и Y-а (равноправность). Это отражается и в семантике *рядом*$_2$, которое не показывает, что X находится в «области» Y-а.

Вместе с тем различия в семантике *рядом*$_1$ и *рядом*$_2$ нельзя рассматривать как контекстные варианты. Таким образом, семантическая структура *рядом* подводится под понятия полисемантичности именно в том смысле, как оно определялось в работах Д. Н. Шмелева: ее объединяют смысловые связи и смысловые преобразования, которые служат стержнем семантической структуры[6].

Семантика предлога у.

Здесь будут рассмотрены не все значения этого предлога. Исключаются предложения типа *У меня есть книга, У меня есть сестра* и т. д. Анализируются же такие высказывания, как *Он стоял у шкафа, Сцена у фонтана* и т. д. Инвариантной частью всех исследуемых случаев является следующее: предлог *у* всегда показывает, что 1) X находится в пространстве s, непосредственно примыкающем к Y-у; 2) тот сегмент, в котором находится X, меньше всей окружности; 3) s представлено как «область» Y-а (см. определение этого понятия выше, стр. 93). Ограничения: описываемые значения не реализуются при одушевленном Y-е, а также при его обозначении местоимениями третьего лица или местоимением *который*.

Первое значение предлога *у* связано с «геометрической областью» Y-а. Под геометрической областью мы понимаем такое непосредственно примыкающее к Y-у пространство, очертания которого по

крайней мере частично формируются Y-ом, т. е. линия края Y-а или внешней плоскости Y-а становятся одновременно и стороной пространства s. Приведем аргументы в пользу сделанного утверждения.

Первый аргумент связан еще с одним компонентом первого значения: y_1 употребляется по отношению к объектам и пространствам, размеры которых допускают их визуальное наблюдение. Так, y_1 не употребляется, когда речь идет о больших территориях (бассейны рек, области различных городов и т. п.). Нельзя, например, сказать:

(12) *Мы жили в небольшом городке у Ялты (ср. около Ялты);

(13) *Я люблю отдыхать у Волги (ср. на Волге).

Рассмотренное ограничение в употреблении предлога *у* согласуется с выделенным понятием «геометрической» области: такие крупные объекты, как город, река не имеют единых четких геометрических характеристик.

Употребление y_1 со словами, имеющими значения «река», «город», становится возможным только в том случае, если эти слова используются для обозначения части вместо целого. Так, житель города на Волге может сказать другому: *Я живу у самой Волги.* См. также:

(14) Машина стояла у реки.

В пользу того, что предлог *у* указывает не просто на примыкающее к Y-у пространство, а на «область», формируемую им, свидетельствует и еще одно ограничение в выборе типа Y-а. Для его описания введем понятие конструктивного элемента пространства (КЭ). Под КЭ понимается такой объект, который участвует в организации пространства, т. е. либо задает его границы, либо определяет его внутреннюю структуру, т. е. другими словами, формирует пространственную ячейку внутри общего пространства. Поскольку в рассматриваемых случаях речь идет о геометрическом пространстве, допускающем визуальное наблюдение, то и выделение КЭ связано с геометрическими, а также другими наблюдаемыми физическими параметрами (например, граница между субстанциями «суша / вода»). Между КЭ и объектами, просто находящимися в пространстве, не существует четкой границы. Однако можно выделить некоторые условия, способствующие восприятию Y-а как КЭ.

Первое условие (относится к наиболее типичным КЭ, но не является обязательным): Y не поставлен, не помещен в S, а либо встроен в него (дверь, стена, колонны и т. п.), либо образуется в нем естественно (например, выпуклости — горы, холмы и т. п., впадины — овраги, пропасти и т. п.), либо возникает в результате обработки части поверхности (например, асфальтированная площадка), либо знаменует собой изменения общей формы S (поворот, подъем, расширение и т. д.).

Второе условие: Y не должен быть слишком маленьким. Как правило, Y приблизительно равен человеку или больше его — важен не только вертикальный размер, но общий объем (шкаф, стол, диван,

машина и т. д.). Влияние этого условия может ослабляться, если объект занимает постоянное местоположение (**третье условие**). Так, более мелкие предметы могут участвовать, например, в организации пространства стола.

Хотя возможны различные окказиональные осмысления ситуаций, регулярно предлог *у* употребляется при Y-е, удовлетворяющем по крайней мере одному из трех перечисленных условий (*у двери, у стены, у шкафа* и т. д.).

(15) Там стоял Ахмаков, спиной к нему, у колонны (Б. Зайцев);

(16) Пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана (Булгаков).

При Y-е, не соответствующем перечисленным условиям, использование предлога *у* ненормативно: **У тарелки лежал нож, *Сахарница стояла у чайника, *Я поставил фонарь у ведра* (ср. *около, рядом*).

Понятно, что перечисленные три условия могут влиять на восприятие Y-а как такого объекта, который формирует примыкающее к нему пространство. Так, помещение в S Y-а с четко выраженным вертикальным размером уже как бы высекает некоторый пространственный объем, заключенный между вертикальной плоскостью Y-а и примыкающей к нему поверхностью земли, пола.

Далее, изменение структуры пространства (переход от ровной поверхности к выпуклости, впадине и т. д.) связывается с представлением о пограничной области, которая при этом часто обладает особыми свойствами (например, полоска песка, примыкающего к воде), отличающими ее от окружающего пространства. Постоянность положения Y-а в S (или на S) также способствует возможности увидеть Y как формирующий вокруг себя какую-то пространственную «нишу» (например, лампа на письменном столе).

В пользу того, что Y представлен как формирующий примыкающее к нему пространство s, говорит также следующее: при употреблении *у* требуется, чтобы начало, граница Y-а четко выделялись, что и позволяет увидеть их как задающие очертания s. Так, предлог *у* употребляется со словами, обозначающими площадки, только если у них есть четкая граница.

(17) Она села отдохнуть у теннисного корта (Ср. *Она села отдохнуть у красивой поляны).

Каждый из приведенных аргументов не доказывает однозначно оправданности выделения понятия «геометрической области» Y-а. Однако в своей совокупности они представляются достаточно весомыми.

Таким образом, первое из рассматриваемых значений предлагается толковать так: y_1 показывает, что X находится в «геометрической области» Y-а, причем, s выступает в качестве КЭ (конструктивного элемента) такого пространства, размеры которого позволяют ему стать объектом непосредственного наблюдения[7].

Рассмотрим кратко еще одно значение предлога *у*. Предлагается следующее его толкование.

$У_2$ указывает на ту среду, которая формируется Y-ом в примыкающем к нему пространстве и определяется либо каким-то типом излучения, исходящего от Y-а (светового, теплового), либо потоком вещества (запахи, влага), либо функциональной принадлежностью Y-а (театр, министерство и т. д.), что в свою очередь задает конвенциональное поведение X-а в S. Понятие «среды» при данном значении связано не только с физическими (теплота, влага и т. д.) или функциональными характеристиками, но и с восприятием и/или поведением находящегося в этом пространстве человека.

Таким образом, это — психофизическая или психофункциональная среда. Так, название *У озера* несет в себе информацию не только о том, что действие будет происходить на берегах озера, но и об особых природных условиях, которые в свою очередь могут связываться с эстетическими характеристиками, а также с некоторой конвенциональной деятельностью людей и их восприятием, ощущением среды обитания. Подобно этому название стихотворения Некрасова (*У парадного подъезда*) вносит представление об особой психологической «атмосфере», которая определяется отношениями между обитателями дома и приходящими просителями, принадлежащими к иной социальной группе.

Возможно, $у_2$ сформировалось из особого употребления $у_1$ при существительных, денотаты которых могут ассоциироваться с представлением о создании в примыкающем к ним пространстве особой атмосферы, среды. К числу таких объектов относятся а) водные пространства (река, озеро) и другие «источники» излучения или потоков вещества (телевизор, камин); б) здания и их части с четко определенной функциональной предназначенностью (театр, музей и т. д.); в) объекты, связанные с эстетическими ассоциациями (фонтан, римские развалины). В функции X-а при этом должен выступать человек или событие, участником которого он является.

В современном языке, однако, $у_2$ составляет скорее особое значение. Во-первых, указанные типы объектов могут восприниматься просто как «геометрические тела» и существительные, их обозначающие, при этом могут сочетаться с предлогами *около, возле* и др. В тех же случаях, когда требуется введение информации о нахождении X-а в психофизической и функциональной среде, выбирается только предлог *у*. Так, в приведенных выше названиях было бы неестественно употребить предлог *около* (**Около озера; *Около парадного подъезда*). См. также: *Сцена у фонтана,* а не: **около, возле фонтана.* Во-вторых, сам по себе контекст вообще обычно не показывает, что речь идет о нахождении в определенной среде. Чаще всего он вносит информацию только о прямом воздействии Y-а на X, причем в этих случаях предпочтение отдается не предлогу *у* (например, *Солдаты грелись около*

костров). В-третьих, значение y_2 само может лежать в основе окказиональных употреблений:

(18) Вынул я из кармана тяжелую набитую алюминиевую капсулу, ... , — приоткрывая, показал им скрутки — положил на чайный столик, у печенья, у варенья (Солженицын).

Речь здесь идет о пленках с записанными на них произведениями А.И.Солженицына, которые нужно было переправить за границу. Выбор предлога *у* способствует ощущению драматической противопоставленности Y-а, как связанного с атмосферой дома, тепла, тому страшному, опасному, что таит в себе X.

В-четвертых, в семантику y_2 не входят ограничения на размер «области» Y-а (см. *отдыхать у моря*) (см. примечание 7).

В-пятых, предлог *у* во втором значении может употребляться при существительных, обозначающих относительно маленькие по сравнению с X-ом объекты. Такие объекты не могут создавать достаточно большое «геометрическое» пространство, в котором бы мог находиться X. Такое употребление *у* возможно в тех случаях, когда за Y-ом закреплена прежде всего ритуальная функция, что и предопределяет создание особой «атмосферы». Так, можно сказать: *собрались у елки,* даже если елку представляют отдельные веточки, поставленные на стол. Совершенно нормативно также сочетания *у самовара* (например, *У самовара я и моя Маша*): самовар воспринимается как связанный с особым ритуалом чаепития (ср. неправильные: **у чайника, *у кастрюли*).

Таким образом, можно утверждать, что y_1 и y_2 составляют два разных значения, которые при этом имеют общие указанные выше компоненты (см. стр. 100). Распределение этих значений в текстах частично связано с типом Y-а (т. е. с тем, может ли он в принципе рассматриваться как источник особой среды — см. выше), а частично — с тем денотативным уровнем, к которому он относится. В «чистом» виде значение y_2 реализуется при таком употреблении имени, которое представляется возможным назвать «нереферентным». Этот последний термин неодинаково используется разными лингвистами (см. о нем: Падучева 1985). Мы под «нереферентным» понимаем такое употребление, при котором языковой знак соотнесен с абстрагированным денотатом, т. е. с конструктом. Среди разных форм абстрагирования в рассматриваемых здесь случаях, прежде всего, важно отвлечение от реальных геометрических характеристик и представление Y-а только как носителя того набора свойств, которые и предопределяют создание определенной среды в примыкающем к нему пространстве. Именно такое употребление характерно для заглавий (см. выше). Встречается оно и в других типах речи, причем чаще в этих случаях именная предложная группа не включает в себя определения (*у камина, у самовара, у озера* и т. д.).

(19) Я увезу тебя на край света, будем жить у моря, солнца, путешествовать (Б. Зайцев).

Однако в некоторых контекстах Y одновременно выступает и как конкретный геометрический объект и как «создатель» особой среды, атмосферы.

(20) И хотя Иннокентий был безусловно идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлен..., а сидя на низенькой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как наступает что-то из нехватавшего ему (Солженицын).

В этих контекстах значения y_1 и y_2 совмещаются. Д. Н. Шмелев считал существование подобных контекстов типичным для употребления многозначных слов.

Предлог *у* в рамках анализируемых здесь случаев имеет еще одно значение, связанное с актантным пространством (оно упоминалось выше, см. также [Маляр, Селиверстова, 1993]). Это значение реализуется в сочетаниях типа *у станка, у штурвала, у руля.* По-видимому, оно развилось из контекстных вариантов y_1, причем менее от него обособлено, чем y_2. Путь от контекстного варианта к особому значению, являющийся одним из важных способов формирования многозначности (см. например, [Улуханов, 1970]), вероятно, вообще характерен для предлога *у*.

Говоря о семантической структуре этого предлога в целом, можно утверждать, что ее объединяют два признака: посессивность и пространственность.

Для одних значений компонент «посессивность» является ведущим, «пространственность» же скорее определяет форму представления этих отношений, причем чаще всего соответствует не геометрическому пространству, измеряемому длиной, шириной, высотой, а пространствам, которые можно отнести к системам совсем других координат. В частности, одним из таких пространств служит множество элементов, связанных тем или иным посессивным отношением с Y-ом [Селиверстова, 1973, 1983]. Например, предложение *У нее есть недостатки* указывает на наличие X-а (недостатка) в множестве свойств Y-а[8]. Напротив, в рассмотренных в данной статье случаях центральным компонентом выступает «пространственность». Подразделение на разные типы посессивных отношений и/или разные типы пространств приводит к выделению контекстных вариантов и/или к формированию особых значений, полное семантическое содержание которых уже нельзя вывести из некоторого набора общих признаков плюс информация контекста. Наличие двух общих признаков, значимость которых может при этом быть разной, определяет своеобразие семантической структуры предлога *у* и отличает ее, в частности, от семантической структуры слова *рядом,* которая, судя по проведенному анализу, строится на преобразовании исходной геометрической структуры 'ряда'

(смежных позиций, заключенных между двумя параллельными линиями и обращенных друг к другу боковыми сторонами).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Термин «семантическая структура», вслед за Д. Н. Шмелевым, употребляется здесь для указания на всю совокупность значений полисемантического слова, представленных в их взаимосвязи.

[2] В словарях слово *рядом* обычно определяется только как наречие. Представляется, однако, что сочетание *рядом с* может рассматриваться как сложный предлог. Независимо от окончательного ответа на этот вопрос можно утверждать, судя по проведенному исследованию, что нет лексико-семантического различия между *рядом* и *рядом с*. Поэтому они будут несколько условно рассматриваться здесь как одна единица — *рядом* (*с*), функционирующая как наречие и как предлог.

[3] Термины «референт», «релятум» заимствованы из работы [Miller, Johnson-Laird, 1976].

[4] Понятия «границы», «пограничные явления», чрезвычайно важные для языковой семантики, детально разработаны в [Culioli, 1981].

[5] Оценка предложений как ненормативных определялось опросом информантов. В их число входили научные сотрудники, редакторы, аспиранты (всего 28 человек). Предложение считалось ненормативным, если не менее 85% опрошенных оценивало его как неправильное или неестественное, странное (удельный вес ответов «недопустимо», «неправильно», — с одной стороны, и «странно», «неестественно» — с другой, в данной статье не учитывался).

[6] В данной статье не было рассмотрено еще одно значение слова *рядом*, которое связано с переходом от представления о смежных позициях одного ряда к представлению о смежных рядах.

[7] В данной статье не рассматривался компонент y_1, связанный с размером «области» Y-а. Как правило, y_1 показывает, что X находится в самой ближайшей к Y-у части s.

[8] Применение термина «пространство» по отношению к подобным объектам можно считать метафорическим, хотя частота пространственного осмысления объектов очень разной природы скорее говорит о том, что метафоричность здесь во всяком случае имеет тенденцию к стиранию. Но так или иначе путь преобразования разных видов пространств, по-видимому, характерен для семантики многих языковых единиц (см. об этом также: [Крейдлин, 1994]).

ЛИТЕРАТУРА

Всеволодова М. В., Владимирский Е. Ю. Способы выражения пространственных отношений в русском языке. М., 1982.

Ceventry K. and Ludwig A. Semantics of Prepositions, Research Paper EuCCS/RP-45. Edinburgh, 1991.

Culioli A. Le concept de notion. BULAJ, 8. Université de Besançon, 1981.

Herskovitz A. Semantics and pragmatics of spacial prepositions // Cognitive Science. vol. 9, 1985.

Крейдлин Г. Е. Метафора семантических пространств и значение предлога *среди* //ВЯ, 1994, № 5.

Маляр Т. Н., Селиверстова О. Н. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках // Съпоставително Езикознание, 1992, № 3.

Маляр Т. Н., Селиверстова О. Н. Понятия пространства и расстояния в семантике некоторых русских и английских предлогов и наречий // Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании. Ин-т славяноведения и балканистики РАН, М., 1993.

Miller J. A., Johnson-Laird P. N. Language and Perception. Harvard University Press. Cambridge, 1976.

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Путеводитель 1993 — Баранов А. А., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. Изд. «Помовский и партнеры». М., 1993.

Селиверстова О. Н. Семантический анализ предикативных притяжательных конструкций с глаголом *быть* // ВЯ, 1973, № 5.

Селиверстова О. Н. Понятия «множество» и «пространство» в семантике синтаксиса // Изв. АН СЛЯ, 1983, № 2.

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.

Улуханов И. С. О принципах описания значений словообразовательно мотивированных слов // Изв. АН СЛЯ, 1970, № 1.

EUCCS — Centre for Cognitive Science University of Edinburgh.

И. С. Улуханов

О СОВМЕЩЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ МОРФЕМ

Деление словообразовательных значений на модификационные, транспозиционные и мутационные наиболее полно и убедительно обосновано М.Докулилом (Dokulil, 1962, с. 129-49).

Мы будем исходить из следующей характеристики мотивированных слов, форманты которых имеют данные значения. Слова с модификационными словообразовательными значениями содержат в своей семантике, помимо значения мотивирующего слова, дополнительный модифицирующий признак: *домик* «маленький дом», *превысокий* «очень высокий», *запеть* «начать петь». Слова с транспозиционными словообразовательными значениями тождественны во всех компонентах своей семантики со значением мотивирующего слова, за исключением значения части речи (*смелый — смелость, невежество — невежественный, читать — чтение, ремонт — ремонтировать*). Слова с мутационными словообразовательными значениями называют субстанцию, признак, действие, полностью отличные от того, что названо мотивирующим словом (*чай — чайник, белый -- белеть, жир — жирный*).

Несмотря на то, что данное деление словообразовательных значений получило общее признание, ряд важных вопросов, связанных с этим делением, заслуживает дальнейшего изучения. Так, необходимо детализировать само описание этих значений и соответствующую семантическую классификацию формантов, указать способы словообразования (виды формантов), служащие для выражения каждого из этих трех видов значений. В данной статье будет сделана попытка рассмотреть случаи совмещения в одном аффиксе существительного разных видов значений. Это совмещение имеет место только в сфере суффиксации.

1. Совмещение модификационного значения с другими видами значений.

К числу суффиксов, выражающих модификационное значение одновременно с мутационным или транспозиционным, относится ряд суффиксов, модификационную часть значения которых составляют значения женскости, уменьшительности/экспрессивности, невзрослых

существ, единичности и собирательности. Совмещение значений обычно имеет место у части слов с данными суффиксами, а именно — у слов, являющихся звеном такой неполной деривационной цепочки, в которой имеется пропущенное звено (словообразовательная лакуна), предназначенное для слова, отличающегося от мотивированного слова только модификационным значением.

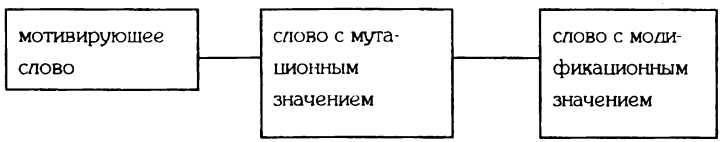
1.1. Совмещение модификационного и мутационного значений.

В деривационной цепочке слова *жеманница,* непосредственно мотивированного прилагательным *жеманный,* отсутствует соотносительное узуальное существительное мужского рода с мутационным значением (**жеманник*), поэтому у суффикса *-иц(а)* в данном слове совмещаются модификационное значение («женскость») и мутационное («носитель признака») — в отличие, например, от того же суффикса в слове *упрямица,* имеющем только модификационное значение женскости и непосредственно мотивированном существительным *упрямец.* Мотивация прилагательным для слова *упрямица* является опосредствованной. Мутационное значение «носитель признака» в слове *упрямец* передается суффиксом *-ец;* ср. деривационные цепочки слов *упрямица* и *жеманница:*

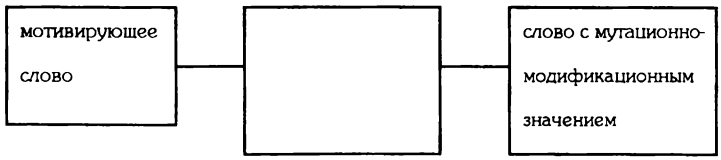
полная цепочка: *упрямый — упрямец — упрямица;*
неполная цепочка: *жеманный — --- — жеманница;*

или в общем виде:

полная цепочка:



неполная цепочка:



Возможность совмещения в значении одного аффикса разных видов словообразовательных значений реализуется тогда, когда имеются причины незаполнения одного из звеньев (ср. внеязыковые причины отсутствия слова **жеманник*). Формант последнего звена неполной

словообразовательной цепочки суммирует значения формантов слов, входящих в соответствующую полную цепочку.

В узуальной лексике реализованы также следующие совмещения модификационного и мутационного значений[1]:

— значения «невзрослое существо» и «кто-л., имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим существительным» совмещаются у отсубстантивных слов с суфф. *-онок/-ат(а)*: *Октябрь — октябренок, двойня — двойнята* «дети-близнецы» (ср. чистую модификацию при мотивации названием взрослого существа: *слон — слоненок*);

— значения «невзрослое существо» и «носитель признака, названного мотивирующим прилагательным» совмещаются у отадъективных слов с суфф. *-онок*: *несмышленый — несмышленок* «несмышленый ребенок» (с совмещением морфов), *-оныш*: *несмышленый — несмышленыш* (также с совмещением морфов), *-енец*: *первый — первенец* «первый ребенок» (ср. чистую модификацию у отсубстантивных слов с теми же суффиксами: указанное выше *слоненок*, а также *змея — змееныш, птица — птенец*);

— значения «единичность» и «носитель признака, названного мотивирующим прилагательным» совмещаются у отадъективных слов с суфф. *-ин(а)*: *шелковый — шелковина* «шелковая нитка», *маковый — маковина* (обл.) «одно маковое зернышко», *-инк(а)*: *седой — сединка* (разг.) «седой волос» (ср. чистую модификацию у отсубстантивных слов с теми же суффиксами: *горох — горошина, икра — икринка*);

— значение собирательности и значение «кто-(что)-либо, связанный(-ое) с тем, что названо мотивирующим существительным» совмещаются у отсубстантивных слов с суфф. *-иан(а)*: *Пушкин — Пушкиниана* «совокупность произведений об А.С.Пушкине», *-аж*: *картон — картонаж* «совокупность изделий из картона», *-н(я)*: *двор — дворня; -няк: жердь — жердняк* «тонкие молодые деревья, годные на жерди» (ср. чистую модификацию у слов с теми же суффиксами при мотивации названием тех предметов, совокупность которых означает мотивированное слово: *лист — листаж, солдат — солдатня, береза — березняк*);

— значения собирательности и «носитель признака, названного мотивирующим прилагательным» совмещаются у отадъективных слов с суфф. *-няк: молодой — молодняк; -/j(о)/: старый — старье; -н(я): родной — родня; -ытьб(а): голый — голытьба; -юзг(а): мелкий — мелюзга; -ежь: молодой — молодежь* (ср. чистую модификацию: *зверь — зверье*, а также слова с некоторыми из этих суффиксов, приведенные в предшествующем абзаце);

---

[1] Статья основана на материалах Рус. гр., 1980 и находящегося в печати «Словаря словообразовательных морфем русского языка» (авторы В.В.Лопатин, И.С.Улуханов).

— значения собирательности и «предмет, являющийся объектом или результатом действия, названного мотивирующим глаголом» совмещаются у слов с суфф. *-нь: рвать — рвань* «рваные вещи», *-няк: выкидывать — выкидняк* (обл. и спец.) «лес, выброшенный на берег»; *-в(а): жрать — жратва* (ср. чистую модификацию у отсубстантивных слов с некоторыми из этих суффиксов: *береза — березняк; лист — листва*);

— значения женскости и «лицо, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим существительным» совмещаются у слов с суфф. *-ш(а): маникюр — маникюрша, педикюр — педикюрша* (ср. чистую модификацию *редактор — редакторша*);

— значение женскости и «лицо, производящее действие» совмещаются у существительных с суфф. *-ej(-а): ворожить — ворожея, жать — жнея, шить — швея.*

1.2. Совмещение модификационного и транспозиционного значений.

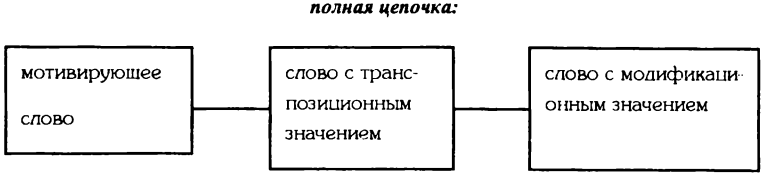
Неполнота словообразовательных цепочек является причиной совмещения модификационного значения и с транспозиционным.

Возможность этого совмещения реализуется теми словами, в словообразовательных цепочках которых отсутствуют слова с чисто транспозиционным значением; в соотносительной полной цепочке слово с этим значением является непосредственно мотивирующим для слова с модификационным значением. Так, в словообразовательных цепочках существительных *хитреца, гнильца* отсутствует слово с чисто транспозиционным значением (*хитрость* и *гниль* являются членами других цепочек того же гнезда). Суффикс *-ец(а)/-ц(а)* выражает в этих словах модификационное уменьшительное значение и транспозиционное значение опредмеченного абстрактного признака. В отсубстантивных существительных, входящих в полные словообразовательные цепочки, этот суффикс имеет лишь значение уменьшительности. Сопоставим, например, полную цепочку слова *хрипотца* и неполную — слова *хитреца:*

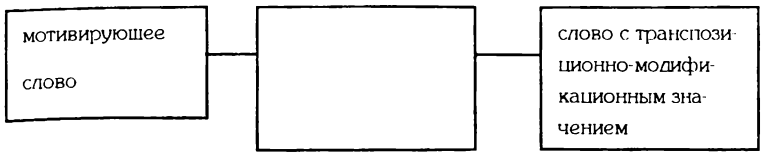
полная цепочка: *хрипеть — хрипота — хрипотца;*

неполная цепочка: *хитрить — ------ — хитреца;*

или в общем виде:



неполная цепочка:



Совмещение транспозиционного значения опредмеченного признака и модификационного значения «интенсивности» имеет место у слов с суфф. *-ынь: теплынь, -ын(я): гордыня.*

Транспозиционное значение опредмеченного действия у ряда суффиксов совмещается с различными модификационными значениями: а) характеризующими это действие: «большая интенсивность»: *-еж: грабеж, скулеж* (прост.) (ср. чистую транспозицию *платить — платеж*), *-ej(-a): толчея, -н(я): суетня;* «сложность, многоактность»: *-ас(ы): выкрутасы* (разг.); «длительность или неоднократность»: *-н(и): блудни;* однократность: *-ок: бросок, кивок;* «небольшая интенсивность»: *-ц(а): трусца, развальца; -ец: развалец, перевалец; -ушк(а): постирать — постирушка;* б) конкретизирующими вид этого действия: «обряд или праздник»: *-ин(ы): крестины; -к(и): поминки;* «болезнь»: *-отк(а): чахотка, сухотка* (устар.); «явление природы»: *-ень: ливень, оползень.*

Приведенные полные и неполные цепочки, завершающиеся словами с одним и тем же аффиксом (напр., цепочки слов *хрипотца* и *хитреца*), показывают, что многие суффиксы совмещают модификационное и иное значение (мутационное или транспозиционное) в части слов, а в других словах те же суффиксы имеют чисто модификационное значение. Лишь очень немногие малопродуктивные или непродуктивные суффиксы совмещают модификационное и иное значение во всех словах с данным суффиксом. Так, суффикс *-иан(а)* свое модификационное значение («совокупность») всегда совмещает с мутационным («произведение о том, кто назван мотивирующим существительным»). Чисто модификационное значение («совокупность») суффикс имел бы в том случае, если бы между мотивирующим существительным со значением лица и существительным со значением «совокупность произведений о данном лице» в цепочке имелось бы мотивированное слово со значением «произведение о данном лице», однако такой цепочки (*Пушкин* — слово со значением «произведение о Пушкине» — *Пушкиниана*) нет ни для одного слова с суффиксом *-иан(а).* Поэтому мутационное значение (наряду с модификационным) присутствует во всех словах с данным суффиксом. Постоянное совмещение разных типов значений (модификационных и мутационных, модификационных и транспозиционных) имеет место также у слов с суфф.

-ынь, -ын(я) (в отадъективных существительных), *-ц(а), -н(я), -ас(ы), -к(и), -н(и), -ок, -ин(ы), -отк(а)* (в отглагольных nomina actionis).

2. Совмещение мутационного и транспозиционного значений.

Эти значения совмещаются у ряда отадъективных существительных с суфф. *-изаци(j-а), -ин(ы), -иад(а).*

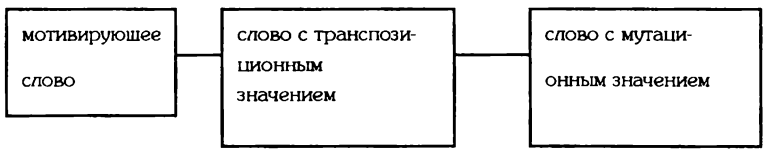
В словах типа *профессионализация, оптимизация,* нов. *африканизация* и т.п. совмещается транспозиционное значение опредмеченного действия и мутационное значение «наделения признаком, названным мотивирующим словом», свойственное глаголам. Совмещение значений, как и у модификационных суффиксов, вызвано словообразовательной лакуной: отсутствием глаголов в неполной словообразовательной цепочке данных слов. Ср. полные и неполные цепочки структурно близких слов на *-изация:*

полная цепочка: *нормальный — нормализовать — нормализация;*

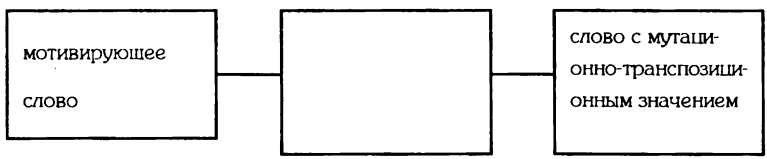
неполная цепочка: *профессиональный — ------ — профессионализация;*

или в общем виде:

полная цепочка:



неполная цепочка:



Транспозиционное значение опредмеченного действия и мутационное значение отношения к тому, что названо словосочетанием, включающим мотивирующее прилагательное, совмещаются у отадъективных слов с суфф. *-ин(ы): сороковой день — сороковины* «поминки по умершему на сороковой день после его смерти»; *-иад(а): Олимпийские игры — Олимпиада.* Слова на *-ин(ы)* и *-иад(а),* в отличие от большинства слов с совмещенными значениями суффиксов, завершают полные цепочки: нет таких цепочек, в которых словам с данным суффиксом предшествовали бы глаголы.

Транспозиционно-мутационное значение «опредмеченное действие, свойственное тому, кто назван мотивирующим существительным», выражено и с помощью ряда суффиксов отсубстантивных су-

ществительных: *-б(а): тать* (устар.) — *татьба; -аж: шпион — шпионаж; -ство: чудак — чудачество; -и/j(а)/: ветеринар — ветеринария; -ур(а): адвокат — адвокатура, -д(а): враг — вражда; -ад(а): клоун — клоунада; -из(а): эксперт — экспертиза* (ср. выражение чистой транспозиции с помощью большинства этих суффиксов: *стрелять — стрельба, массировать — массаж, воровать — воровство, экономить — экономия, режиссировать — режиссура, блокировать — блокада;* лишь суффиксы *-д(а)* и *-из(а),* представленные в единичных словах, выражают только смешанное транспозиционно-мутационное значение).

В приведенных парах «существительное — имя действия», как правило, отсутствует промежуточное звено — глагол; исключение составляют такие пары, как *шпион — шпионаж, чудак — чудачество,* в которых имя действия может непосредственно мотивироваться не только существительным, но и глаголом (*шпионить — шпионаж, чудачить — чудачество*).

Суффиксы со значением опредмеченного непроцессуального признака [*-ость, -ство, -и(j)-/-(j)-, -иц(а), -от(а), -изн(а), -ин(а); -ев(а), -итет*] в узуальных словах мотивируются прилагательными (в окказионализмах — и наречиями) и выражают транспозиционное значение; однако в окказионализмах реализуется возможность расширения частеречной сочетаемости за счет соединения с существительными.

В отсубстантивных окказиональных словах со значением опредмеченного непроцессуального признака некоторые из этих суффиксов (наиболее продуктивные) имеют транспозиционно-мутационное значение; так, в окказ. *торопыгость* сочетается транспозиционное значение опредмеченного признака и мутационное значение «признак, свойственный тому, кто назван мотивирующим существительным»: И ведь могла, думаю, по своей..., грубо говоря, *торопыгости,* разрушить нашу семейную жизнь. Н.Нилин (см. Виноградова, 1992, с. 202). И в данном случае совмещение двух типов значений имеет место у слова, завершающего неполную словообразовательную цепочку, в которой отсутствует прилагательное с мутационным значением, ср.:

полная цепочка: *инвалид — инвалидный — инвалидность;*

неполная цепочка: *торопыга — ------ — торопыгость.*

Теоретически возможное сочетание всех трех типов значений реализуется редко; ср. *картеж* (прост.), в котором суффикс совмещает транспозиционное («опредмеченное действие»), мутационное («действие с использованием того, что названо мотивирующим существительным») и модификационное («интенсивность») значения.

Как ясно из изложенного в разделе 2., мутационные значения, совмещаемые в существительных с транспозиционными, в чистом виде выражаются не существительными, а глаголами или прилагательными; глагольные значения совмещаются с транспозиционными значениями в именах действия (ср. *профессионализация* «наделение признаком, на-

званным мотивирующим прилагательным»), значения прилагательных совмещаются с транспозиционными значениями в словах со значением опредмеченного непроцессуального признака (ср. окказ. *торопыгость* «опредмеченный признак, свойственный тому, кто назван мотивирующим существительным»). Эти глагольные и адъективные значения в полных цепочках выражаются соответственно глаголами и прилагательными.

В статье далеко не исчерпана тема совмещения различных видов словообразовательных значений в значении одного и того же аффикса. Это совмещение наиболее распространено у существительных, но имеет место также у прилагательных, глаголов и наречий.

Совмещение значений аффиксов является частью проблемы семантического совмещения, с наибольшей полнотой и ясностью рассмотренной Д.Н.Шмелевым (Шмелев, 1964). Эта проблема интересна с синхронической и с диахронической точек зрения. Так, совмещение значений одного и того же вида (модификационных), имеющее место у префиксов (ср. Улуханов, 1972), является основным источником развития новых значений префиксов.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградова, 1992 — Виноградова Валентина Н. Стилистика русского словообразования. (Beiträge zur Slavistik), XVII, Frankfurt am Main, 1992.

Рус. гр., 1980 — Русская грамматика, т. 1. М., 1980.

Dokulil, 1962 — Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Praha, 1962.

Улуханов, 1972 — Улуханов И.С. О некоторых промежуточных явлениях в словообразовании (к соотношению синхронии и диахронии) // Актуальные проблемы русского словообразования. 1. Самарканд. 1972.

Шмелев, 1964 — Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.

Е. В. Урысон

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПОЛИСЕМИЯ (ТИПЫ ТОЛКОВАНИЙ С СОЮЗОМ 'ИЛИ')[1]

0. Известно, что между отдельными значениями многозначного слова нет четкой границы. Вследствие этого в конкретном высказывании многозначное слово часто выступает не в том «чистом» значении, которое фиксируется в словарях, а в некоем промежуточном значении, которое объединяет в себе компоненты разных (словарных) значений данного слова. Ср. следующие примеры со словом *сердце: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет* (М.Ю.Лермонтов, Смерть Поэта), *Мое ничтожное сердце рвалось из-под шерстяной гимнастерки: меня! меня! меня назначь!* (А.Солженицын, Архипелаг Гулаг). Слово *сердце* совмещает здесь компоненты двух своих значений: 'центральный орган кровообращения' (ср. *Сердце бьется ровно, Сердце под шерстяной гимнастеркой уже не билось*) и 'представляемый орган чувств и желаний человека' (ср. *пустое сердце, Сердце рвется на родину*).

Наличие у многозначного слова промежуточных значений, не укладывающихся в рамки обычного словарного описания, отмечалось неоднократно (см. [Апресян, 1974, 179-181] и ссылки там). По мнению Д.Н.Шмелева, нечеткость, размытость границы между значениями многозначного слова является характерным свойством полисемии. «Принцип д и ф ф у з н о с т и значений многозначного слова является решающим фактором, определяющим его семантику» [Шмелев, 1973, 95]. Действительно, в результате очень большой семантической общности значений в одном из них часто как бы просвечивает, мерцает другое.

Однако сколь ни велика диффузность при полисемии, каждое значение многозначного слова в норме описывает ровно одну типизированную языком ситуацию (один типизированный объект). Промежуточные значения с этой точки зрения ничем не отличаются от остальных: они являются «неопределенными» лишь относительно данного лексикографического описания, данного «разбиения» слова на значения[2].

В настоящей работе мы попытаемся показать, что возможна гораздо большая слитность, спаянность обозначения разных «вещей», неже-

ли та, которую можно наблюдать при полисемии. Характер этой спаянности таков, что можно говорить о несостоявшейся полисемии внутри слова, о внутренней, скрытой многозначности одного лексического значения. Эта скрытая многозначность может привести к тому, что значение лексемы[3] оказывается не вполне определенным, не вполне детерминированным. Можно говорить, что в некоторых случаях лексема описывает более чем один типизированный объект (более чем одну ситуацию).

1. Рассмотрим слово *небо* в его центральном, пространственном значении. В толковых словарях оно толкуется следующим образом: 'видимое вверху над землей пространство в виде свода, купола' ([Словарь Ушакова]; ср. аналогичные толкования в [МАС] и [БАС]). Это толкование неудовлетворительно, т.к. свод и купол — это особые поверхности, плоскости (ср. *на куполе, под самым сводом*), и получается, что трехмерное пространство имеет вид двухмерной плоскости. А это не соответствует тому, что человек реально видит вверху над землей: его глазу открывается именно пространство, но оно ограничено представляющимся глазу куполом. Этот купол как бы накрывает землю и зрительно воспринимается как местоположение светил, выше которого ничего нет. Существенно, что лексема *небо* обозначает и само воздушное пространство высоко над землей, и тот купол, который зрительно его ограничивает. Ср. следующие примеры: *в небе птицы <самолеты>, Взгляд утонул в бездонном небе* (как в пространстве), но *На небе звезды; Божья коровка, улети на небо* (как на поверхность или на поверхности). Ср. также *пространство неба,* но *Небо покрыто облаками* (как поверхность).

В работе [Урысон, 1991] мы предложили толковать лексему *небо* следующим образом (приводим с незначительными упрощениями): 'воздушное пространство высоко над землей, как бы ограниченное куполом, который накрывает землю и зрительно воспринимается как местоположение светил, выше которого ничего нет'. Небо предстает как трехмерный объект, а обозначения таких объектов естественно сочетаются и с предлогом *в,* и с предлогом *на.* Ср. *в шаре — на шаре, в ящике — на ящике, в камне* (ср. *В этом камне живут камнееды*) — *на камне* (ср. *Не сиди на камне*) и т.д. Правда, небо имеет определенное устройство, как бы состоит из отдельных частей — ср. пространство и купол, его ограничивающий. Но и это как будто ничему не мешает — названия таких объектов тоже нормально сочетаются и с предлогом *в,* и с предлогом *на.* Ср. *в столе — на столе, в постели — на постели, в телевизоре — на телевизоре* и т.п.

Обратим внимание на другой факт. В русском языке существуют особые слова для обозначения «отдельных частей» неба, ср. *небосвод, небосклон* и *поднебесье.* Первые две лексемы обозначают только купол, который, как бы накрывая землю, ограничивает воздушное пространство над ней. Ср. нормальные высказывания *На небосводе зажигались*

первые звезды, На небосклоне показался месяц и недопустимые **В небосводе зажигались звезды, **В небосклоне показался месяц*. К этим двум лексемам примыкают и устойчивые сочетания *небесная твердь, небесный свод* и др. Слово *поднебесье,* напротив, обозначает лишь воздушное пространство под этим куполом. Поэтому нормально высказывание *Воздушный змей был уже высоко в поднебесье,* но недопустимо **Воздушный змей был уже высоко на поднебесье*[4].

Казалось бы, лексема *небо* и в этом отношении ничем не отличается от названий других объектов, состоящих из частей. Ср. *дерево — ствол, крона; стол — столешница, тумбы* (или *ножки*), *ящики; книга — переплет, обложка, страница* и т.д. Однако в норме обозначение целого не бывает синонимично обозначению какой-либо из его частей. Так, лексема *дерево* не синонимична ни лексеме *ствол,* ни лексеме *крона* или *листва;* лексема *ствол* не синонимична ни лексеме *тумба,* ни лексеме *ножка* и т.д.

Парадокс лексемы *небо* состоит в том, что она, обозначая некий объект, синонимична лексемам, обозначающим части этого объекта. Действительно, лексемы *небо, небосвод, небосклон* и *поднебесье* ощущаются как синонимы, причем синонимы очень близкие.

Итак, «части» неба и само небо с точки зрения современного русского языка оказываются равноправными. На наш взгляд, этот факт должен быть отражен в толковании лексемы *небо* — в противном случае останется невыявленной та ее двойственность, благодаря которой имеет место столь странная синонимия.

Поэтому теперь мы предлагаем несколько иное толкование лексемы *небо* (упрощенно): *небо 1* ≅ 'воздушное пространство высоко над землей, ограниченное представляющимся глазу куполом, который как бы накрывает землю и зрительно воспринимается как местоположение светил, выше которого ничего нет, или сам этот купол'.

Схема этого толкования имеет вид: 'пространство или купол'. Что представляет здесь собой связка 'или'? Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как соотносятся между собой части значения 'пространство' и 'купол'.

В некоторых случаях реализуется одна, причем четко указываемая часть толкования, см. примеры выше. В других контекстах такой детерминированности нет. Можно говорить о реализации любой части толкования или обеих его частей (в последнем случае 'или' заменяется на 'и'). Ср. *Он не надел фуражки и шел с непокрытой головой под темным звездным небом* (Б.Зайцев, Студент Бенедиктов), *Под небом места много всем* (М.Ю.Лермонтов), *--- и небо / Свилось, как свиток хартии* (И.А.Бунин).

Тем самым, значение данной лексемы *небо* оказывается не вполне детерминированным, не вполне определенным: в некоторых случаях

может реализоваться любой (неважно — какой) из соединяемых связкой 'или' компонентов значения или оба компонента одновременно.

Идею такой неопределенности выражает русский союз *или* в его центральном значении. Ср. толкование этого слова, данное В.З.Санниковым: *X или Y* ≅ 'возможно X, возможно Y'[5]. Применительно к нашему случаю: *небо 1* ≅ 'возможно, пространство..., возможно, купол...'.

Наше описание отражает парадоксальность представления, связанного с лексемой *небо*. Парадокс внутри лексической системы, разумеется, остается. Действительно, в данном случае нарушается принцип выделения значений, предложенный Е.Куриловичем и развитый У.Вейнрейхом: если существует слово, синонимичное данному слову в одном его употреблении и несинонимичное ему в другом употреблении, то в этих двух употреблениях реализуются разные значения этого слова (см. [Курилович 1962], [Вейнрейх 1981]). В нашем случае получается, что лексема *небо* в одних употреблениях синонимична словам *небосвод* и *небосклон*, а в других употреблениях она синонимична слову *поднебесье*. Между тем, обозначения разных «частей» неба не разошлись по разным лексемам, а сосуществуют (связанные союзом 'или') в пределах одного и того же значения.

Возникает естественный вопрос: почему части этого сложного значения (т.е. 'пространство' и 'купол') не разделились, не стали разными значениями слова?

Обратим внимание на то, что выделенные потенциальные значения слова *небо* состоят из одних и тех же семантических блоков, и, следовательно, различие между ними сводится к семантическим акцентам, к тому, какой именно блок поставлен «во главу угла». Ср. 'пространство, ограниченное куполом' vs. 'купол, ограничивающий пространство'. Можно предположить, что для разделения значений внутри слова такого различия недостаточно: лексемы должны отличаться друг от друга семантическими компонентами. Приведем в связи с этим еще один класс слов: структура их значений аналогична структуре значений лексемы *небо*, и в них столь же неестественно усматривать многозначность.

2. Рассмотрим отглагольные существительные типа *шелестенье, журчанье, щебетанье, пищанье, скрипенье, визжанье, грохотанье, хрустенье, тарахтенье, кудахтанье, карканье, мычанье* и т.п.

Все такие существительные обозначают звук, который бывает в определенной ситуации, ср. *Мы услышали шелестенье листвы и журчанье ручья, Комната наполнилась щебетаньем <пищаньем>, До нас донеслось скрипенье колес <тарахтенье машин, мычанье коров>* и т.п.[6] Однако они могут обозначать еще и ситуацию, предполагающую данный звук, — ту же, которую обозначает исходный глагол, и в этом отношении не отличаются от обычных отглагольных существительных типа *возвращение* (от *возвращаться*), *прощание* (от *прощаться*), *бом-*

бежка (от *бомбить*) и т.д. Ср. *Пищанье <щебетанье> отняло у птенцов последние силы, Вся жизнь ушла на шелестенье.* Действительно, в этих фразах отглагольное существительное не заменимо на соответствующее непроизводное существительное, ср. сомнительные (непонятные) примеры ??*Писк <щебет> отнял у птенцов последние силы,* ??*Вся жизнь ушла на шелест.* Наконец, в целом ряде контекстов эти существительные могут обозначать и ситуацию, предполагающую определенный звук, и сам этот звук; ср. *Шелестенье <щебетанье, тарахтенье> возобновилось <прекратилось>.* Как описать соответствующие факты?

Можно было бы считать отглагольные существительные типа *шелестенье* многозначными: в одном своем значении они обозначают ситуацию, а в другом — соответствующий звук[7]. Но тогда придется выделять у таких существительных еще и третье значение (или, по крайней мере, тип употребления), в котором они обозначают и то и другое. Но такое описание уже совершенно не удовлетворяет интуиции. Остается признать, что слова типа *шелестенье* не следует описывать как многозначные. Обратим внимание на то, что эти два значения отличались бы друг от друга так же, как потенциальные лексемы слова *небо,* т.е. не специфическими семантическими компонентами, а лишь порядком следования семантических блоков. Ср. 'ситуация, предполагающая определенный звук' vs. 'звук, какой бывает в определенной ситуации'.

Предлагаем толковать эти существительные по следующей схеме: 'S_0(P) или соответствующий звук'[8]. Например, *шелестенье* ≅ 'S_0 (шелестеть) или шелест'.

В некоторых случаях реализуется одна, четко указанная часть толкования. Например, в контекстах, указывающих на занятие субъекта, реализуется первая часть (ср. примеры типа *Вся жизнь ушла на щебетанье*), а в контекстах, указывающих на восприятие звука, реализуется вторая часть (ср. *Мы услышали шелестенье листвы*). В остальных контекстах такой детерминированности нет — можно говорить о реализации любой части толкования или обеих его частей. Ср. *Шелестенье <щебетанье, тарахтенье> возобновилось <прекратилось>.* Действительно, было бы неестественным вводить для подобных случаев какие-то жесткие правила. Остается признать, что значение подобных существительных не вполне детерминированно[9].

Отдельную проблему представляет выяснение тех причин, по которым та или иная лексема оказывается не вполне детерминированной. Пока мы решили ее лишь для отглагольных существительных типа *шелестенье* (см. [Урысон 1996]).

3. Попытаемся интерпретировать недетерминированные лексические значения с точки зрения модели «СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ» (см. [Мельчук, 1974]). Начнем с анализа.

При получении семантического представления исходной фразы происходит отождествление каждой словоформы фразы с какой-либо лексической единицей словаря и замена словоформы на толкование соответствующей лексемы. Поскольку толкование лексемы с недетерминированным значением состоит из двух частей, то требуется правило выбора той или иной его части. В некоторых строго оговоренных контекстах (ср., например, контекст пространственного предлога для лексемы *небо*) выбирается одна, четко указанная часть толкования. В остальных контекстах — любая его часть или обе (как уже говорилось, в последнем случае связка 'или' заменяется на 'и').

Для описания синтеза удобно принять расщепление семантического уровня на два подуровня — глубинно-семантический и поверхностно-семантический (см. [Апресян, 1980]). При переходе к поверхностно-семантическому уровню происходит «оформление» смысла по правилам данного языка: смысл подстраивается под словарь и под грамматику — например, достраиваются смыслы граммем, относящихся к обязательным грамматическим категориям. Затем оформленный смысл отождествляется с какой-либо лексической единицей, которая и выбирается из словаря при словесном оформлении семантического представления. Требуется уяснить, как происходит отождествление некоторого смысла с такой лексической единицей, значение которой не вполне детерминировано.

В некоторых контекстах тот смысл, который соответствует лишь какой-либо одной части недетерминированного значения лексемы, не претерпевает никаких существенных изменений. Он отождествляется с данной лексемой (достаточно совпадения с одной частью ее значения), которая и выбирается из словаря. В других контекстах этот же смысл при его словесном оформлении может быть обогащен, дополнен второй частью толкования лексемы. Однако такое достраивание семантики совершенно факультативно.

4. Все приведенные лексемы с несостоявшейся полисемией имеют особую организацию значения: в их толковании есть связка 'или', представляющая собой центральное значение союза *или*. Именно эта связка создает недетерминированность лексического значения, предоставляет (в некоторых случаях) свободу при синтезе соответствующего смысла.

Существует, однако, еще один тип несостоявшейся полисемии, еще один класс лексем, толкование которых тоже обычно строят со связкой 'или'. Но этот союз употребляется здесь в другом своем значении.

К этому классу принадлежат прежде всего лексемы с так называемой включительно-дизъюнктивной организацией значения, описанные Ю.Д.Апресяном ([Апресян, 1974, 85-86]). Ср. *переболеть* (*Все его дети переболели корью, Он переболел всеми болезнями, Его дети переболели всеми детскими болезнями*), *перебраниться* (*Он перебранился со всеми, Все с ним перебранились, ...*), *перебывать, перезнакомиться,*

переиграть (*Он переиграл все роли, Все в театре переиграли эту роль, Актеры давно переиграли все роли*), *перепробовать*, *пересмотреть*, *перечитать* (как *переиграть*) и др. Ср. толкование лексемы *переболеть* (см. [Апресян, 1974, 85][10]): *X переболел Y-ом* ≅ 'X неодновременно болел всеми Y-ами; или все X-ы неодновременно болели Y-ом; или все X-ы неодновременно болели всеми Y-ами'.

Легко видеть, что выбор того или иного (относительно связки 'или') компонента толкования в подобных случаях всегда строго определен контекстом, так что может быть задан самой пропозициональной формой, т.е. входом толкования. Ср. *X переболел* (*всеми*) *Y-ами* vs. (*Все*) *X-ы переболели Y-ом* vs. (*Все*) *X-ы переболели всеми Y-ами.* Союз *или* в толкованиях этого типа имеет иное значение, нежели в описанных нами случаях: здесь он представляет собой строгую дизъюнкцию. Толкования этого типа имеют особый вид: 'или X, или Y, или Z'.

Существенно, что разным частям значения в данном случае соответствуют и разные входы в толкование (пропозициональные формы). Тем не менее, полисемия здесь не состоялась. Причина, по-видимому, состоит в том, что потенциальные лексемы различались бы в данном случае лишь граммемами числа существительных, входящих в соответствующие толкования. А это различие слишком мало[11]. Можно предположить, что лексемы по крайней мере знаменательных частей речи различаются не любыми семантическими компонентами, а достаточно большими блоками.

Резюмируем полученные результаты. Существует некий порог семантических различий между значениями слова. Если этот порог превышен, то перед нами не значения одного слова, а омонимы. Однако семантические различия между какими-либо значениями могут и не достигать этого порога. Тогда внутри лексемы выделяются «потенциальные значения». Наличие у слова таких потенциальных значений мы называем несостоявшейся полисемией. Лексема с несостоявшейся полисемией толкуется с помощью союза 'или'. В зависимости от значения, в котором употреблен этот союз, можно говорить о разных типах несостоявшейся полисемии. При одном из них лексема имеет не вполне детерминированное значение.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Автор благодарит Ю.Д.Апресяна, М.А.Кронгауза и В.З.Санникова за плодотворное обсуждение данной работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (инициативный проект 96-04-06437).

[2] Описание промежуточных значений конкретного многозначного слова представляет собой отдельную лексикографическую задачу. При соответствую-

щем описании промежуточные значения, сохраняя свой особый статус, будут уже вполне определенными. Здесь имеется и теоретическая проблема: требуется выяснить типологию промежуточных значений и описать ограничения на объединение компонентов разных значений слова в рамках одного промежуточного значения. (Ср. [Апресян 1974: 181], а также [Урысон 1995а]).

[3] Термин *лексема* здесь и далее употребляется для обозначения слова, рассматриваемого в одном его значении.

[4] Более тонкие семантические различия между лексемами *небо, небосвод, небосклон* и *поднебесье* описаны нами в [Синонимический словарь, 1995].

[5] Приводится с некоторым упрощением; подробнее см. [Санников 1989: 104].

[6] Такие существительные сближаются с соответствующими однокоренными непроизводными существительными типа *шелест, щебет, писк, скрип, визг, грохот, хруст* и т.д., которые обозначают те же самые звуки (если, конечно, такое непроизводное существительное имеется в данном словообразовательном гнезде). Ср.: *Мы услышали шелест листьев, Комната наполнилась щебетом <писком>* и т.п.

[7] Именно так описано, например, слово *скрипенье* в [Словарь Ушакова].

[8] Мы пользуемся языком лексических функций, см. [Мельчук 1974: 84]. $S_0(P)$ — это отглагольное существительное, совпадающее по смыслу с исходным глаголом P.

[9] Еще один класс лексем с недетерминированным значением описан в работе [Урысон 1995б].

[10] Приводится с незначительной модификацией.

[11] Скорее всего, так называемые грамматические значения (к ним принадлежат и значения граммем числа существительного) не могут различать лексемы внутри неслужебного слова.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян 1974: Ю.Д.Апресян. Лексическая семантика: синонимические средства языка. М., Наука, 1974.

Апресян 1980: Ю.Д.Апресян. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «СМЫСЛ⇔ТЕКСТ» // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 1. Wien, 1980.

БАС: Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-17. М.-Л., 1950-1965.

Вейнрейх 1981: У.Вейнрейх. Опыт семантической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1981.

Е.Курилович 1962. Заметки о значении слова // Е.Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962.

МАС: Словарь русского языка в четырех томах. М., «Русский язык», 1981-1984.

Мельчук 1974: И.А.Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ»: семантика, синтаксис. М., Наука, 1974.

Санников 1989: В.З.Санников. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., Наука, 1989.

Словарь Ушакова: Толковый словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1935-1940.

Синонимический словарь 1997: Ю.Д.Апресян, О.Ю.Богуславская, И.Б.Левонтина, Е.В.Урысон, М.Я.Гловинская, Т.В.Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. I выпуск. Под общим руководством Ю.Д.Апресяна. М., 1997.

Урысон 1991: Е.В.Урысон. Словарные статьи существительных НЕБО, ОБЛАКО, ТУЧА // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.

Урысон 1995а: Е.В.Урысон. Словарная статья местоимения САМ: проблемы описания лексической неоднозначности // Теоретическая лингвистика и лексикография: опыты системного описания лексики. М., 1995.

Урысон 1995б: Е.В.Урысон. Фундаментальные способности человека и наивная «анатомия» // ВЯ, 1995, № 3.

Урысон 1996: Е.В.Урысон. Синтаксическая деривация и наивная картина мира // ВЯ, 1996, № 4.

Шмелев 1973: Д.Н.Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., Наука, 1973.

Е. Н. Филимонова

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В РУССКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ КОРЕИЗМОВ В РУССКОЙ ПЕРЕВОДНОЙ И ОРИГИНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Связи русского и корейского языков практически не изучены. Отношения между Россией и Кореей имеют давние корни, однако новый толчок к развитию взаимодействия двух народов в различных областях дало установление в 1990 г. дипломатических отношений с Республикой Корея (Южная Корея). С расширением контактов между двумя странами интерес к корейскому языку значительно вырос. Это объясняется отчасти тем, что корейцы являются одним из многочисленных народов, проживающих на территории России.

Хотя в русском языке прямых заимствований из корейского языка незначительное количество, нельзя не учитывать тот факт, что в последнее время через газетные и журнальные статьи, очерки, путевые заметки путешественников, художественную литературу на тему о Корее и корейцах, художественные произведения корейских авторов, переведенные на русский язык, проникает достаточно большое число слов и выражений, используемых в текстах при описании жизни, быта, традиций народа Кореи. Как известно, «в лексике в первую очередь (и наиболее непосредственно) отражаются изменения, происходящие в жизни общества» (Шмелев 1977, с. 16). В нашу речь вошло уже определенное количество корейских слов. Среди них: **тхеквондо** «система физических упражнений и боевого искусства, а также соответствующий вид спорта» и связанная с этим понятием лексика; **суджок**-терапия «метод лечения при помощи иглоукалывания»; названия корейских блюд: **бульгоги, баб, чапче** и т.п., а также и ряд имен собственных, среди которых названия корейских фирм: «Самсунг», «Дэу», «Хёндэ» и т.п.

В подавляющем же большинстве случаев корейские лексические элементы, встречающиеся в русскоязычных текстах, представляют собой экзотизмы, употребление которых обусловлено «тематикой, необходимостью описания обрядов, быта, домашней утвари, обычаев, одежды и т.п. того или иного народа, той или иной страны» (Крысин 1968, с. 47). Экзотизмы выполняют в тексте определенную смысловую и стилистическую функцию. Они позволяют создать «эффект присутствия, локализовать описание» (Брагина 1981, с. 82).

Большинство корейских слов обнаруживают устойчивость употребления в целом ряде произведений. Так, для корейских поэтических произведений в жанрах сиджо «шестистишия» и рён-гу «построенные на параллелизмах двустишия» характерно устойчивое употребление таких корейских слов, как **комунго** («корейский шестиструнный щипковый инструмент»), **Чхоллима** («мифологический конь, пробегающий за день тысячу ли») и т.п. В корейских средневековых повестях особенно часто

встречаются слова, относящиеся в современном корейском языке к разряду устаревших: **ван** («государь, правитель»), **хакса** («окончивший высшую конфуцианскую школу»), **кисэн** («певицы и танцовщицы в старой Корее, принадлежащие к низшему сословию "подлых"») и др. В текстах, посвященных истории Кореи, также часто употребляются слова, обозначающие корейские реалии: **янбаны** («дворяне, гражданские и военные чиновники»), **янъины** (крестьяне, ремесленники, торговцы и др.), **чхонины** («крепостные, рабы, шаманы») и др. Для северокорейских поэтических и прозаических произведений, датированных пятидесятыми — семидесятыми годами нашего столетия, характерно устойчивое употребление политических терминов, что обусловлено политической ориентацией страны (напр., **чучхе** «идеология самобытности», **Чхоллима** в значении «быстрые темпы социалистического строительства в КНДР» и т.п.).

Вместе с тем более или менее регулярно употребляемыми кореизмами отмечаются и такие лексические единицы, которые встречаются в изучаемых произведениях редко, от случая к случаю (напр., **тегун** «титул младшего сына, не престолонаследника», **такуан** — «засоленная редька», **саран** — «гостиная, а также комната хозяина; лучшее место в доме» и т.д.). В отличие от корейских слов, которые характеризуются высокой частотностью и повторяемостью и которые выступают одним из стилистических средств художественного текста, слова этого рода, как правило, не образуют какой-либо устойчивой совокупности. Их включение в русскоязычный текст чаще всего объясняется необходимостью назвать тот или иной предмет, который отсутствует в российской действительности. Роль их в структурной схеме русскоязычных текстов незначительна.

В газетных и журнальных статьях на «корейскую» тему, путевых заметках путешественников, этнографической литературе корейские лексические элементы выполняют номинативную функцию, т.е. употребляются как точное наименование описываемого предмета, явления, понятия и т.п. Как правило, они сопровождаются пояснениями типа: «по-корейски это...», «так переводится...», «они назывались по-корейски...», «как их называют в Корее», «так называемыми...» и т.п.

Общеизвестно, что одним из условий, способствующих проникновению иноязычных лексических элементов в русскоязычный текст, а затем их полному лексическому освоению, является наличие или отсутствие однословного эквивалента в заимствующем языке.

В лингвострановедении и теории перевода при сопоставлении двух или нескольких языков выделяются эквивалентные, неполноэквивалентные (или фоновые) и безэквивалентные слова (Верещагин, Костомаров 1990, с. 42-51). Большинство корейских лексических элементов, функционирующих в переводных художественных текстах о Корее и корейцах, является безэквивалентными словами, «план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными понятиями» (Верещагин, Костомаров 1990, с. 42). Это связано с национальной спецификой обозначаемых предметов, понятий, явлений. Значение подобных лексических единиц можно передать лишь описательно. Например, **гиритан** «сосуд для выпаривания риса», **кисэн** «певицы и танцовщицы в старой Корее, принадлежащие к низкому сословию "подлых"», **тубу** «соевый творог», **коккаль** «остроконечная шляпа буддийского монаха» и т.п.

Некоторые корейские слова имеют в русском языке лексические соответствия. Однако семантический объем русских и корейских слов совпадает лишь частично. При этом наблюдаются следующие явления:

1. Семантический объем корейского слова уже русского эквивалента, т.е. корейское слово является разновидностью русского: *чанги — шахматы, сирым — борьба, баб — рис, чхима — юбка* и т.д.

Так, корейское слово **чанги** обозначает «национальную игру в шахматы на доске в 32 клетки», известную только в Корее и Китае, русское же слово **шахматы** обозначает «игру на доске в 64 клетки между белыми и черными фигурами и пешками», популярную во всем мире; корейское слово **сирым,** в отличие от русского **борьба,** употребляется в корейском языке для обозначения только национального вида борьбы; слово **рис** в русском языке может обозначать как «злак с белыми продолговатыми зернами, идущими в пищу, а также зерна его», так и «блюда из этих зерен» (*На второе подали рис*), в корейском же языке слово **баб** обозначает «рисовую пресную рассыпчатую кашу». Для обозначения злака, зерен его, жидкой каши из этих зерен и т.п. в корейском языке имеются другие лексемы. Корейское слово **чхима** имеет более узкое значение по сравнению с русским словом **юбка,** т.к. **чхима** — это «юбка национального покроя».

2. Корейские и русские слова обозначают близкие, но все же отличающиеся друг от друга некоторыми признаками предметы, понятия. Таковы, например, корейское слово **пиба** и русское слово **лютня (пиба** — четырех-пятиструнный музыкальный инструмент типа лютни, ср. лютня — шестиструнный инструмент), русское слово **самовар** и корейское слово **синселло** (синселло — сосуд, похожий на самовар), в отличие от самовара синселло используется для приготовления солянки.

Анализ семантической стороны корейских лексических единиц на материале переводных с корейского языка и оригинальных текстов показывает, что в большинстве случаев происходят изменения семантического характера. Общеизвестно, что иноязычные слова при переходе из одной лексической системы в другую могут сохранять свою семантическую структуру без изменения, либо могут расширить или сузить ее или же вообще претерпеть полное переосмысление значения.

Определенная часть корейских слов, моносемичных в языке-источнике, в изучаемых текстах также функционируют без изменений. Это прежде всего слова-термины: а) названия растений (*тораги, госари, одон, чхольчук* и др.); б) название национальных блюд (*бульгоги, кимчхи, куксу, баб* и др.); в) названия национальной одежды (*ханбок, турумаги, джокки, посон* и др.); г) денежных единиц (*вона, чон*) и т.п.

Незначительное количество полисемичных в корейском языке слов употребляется в русскоязычных текстах во всей совокупности своих значений.

Так, корейское слово **Чхоллима**[1] имеет в языке-источнике два значения: 1. легендарный крылатый конь, пробегающий в день тысячу ли; 2. быстрые темпы социалистического строительства в КНДР. В русскоязычных текстах это слово встречается в обоих значениях.

[1] Здесь и далее значения корейских слов приводятся по Большому корейско-русскому словарю (М., 1976) и Новому словарю корейского языка (Сеул, 1994).

Например:

«Мой добрый конь с обвислыми ушами
Повозку с солью медленно везет.
А разве так уж непременно надо
Быть ***Чхоллима*** *— крылатым скакуном?»*
(Чон Чхоль «О верности» в кн. «Бамбук в снегу», 1978, с. 88)

«Все-таки просто удивительно, что строительство завершилось всего в течение полугода. Вот это называется скоростью "Чхоллима"» (М.Масацугу 1977, с. 11).

Нами зарегистрирован случай употребления корейского слова **Чхоллима** сразу в двух значениях в одном тексте:

«По призыву великого вождя по всей стране началось движение **Чхоллима**. **Чхоллима** — это имя легендарного коня, который способен преодолеть тысячу ли одним прыжком. Вождь призвал наш народ мчаться в будущее именно на таком коне.

Устремимся вперед темпами **Чхоллима**! — таков был лозунг нашего рабочего класса, воспринявшего сердцем призыв партии» (ж. «Кымсугансан» № 8, 1995, с. 45).

Бóльшая же часть полисемичных корейских слов осваивается русским языком с суженным объемом значений. Обычно они употребляются в тех значениях, эквивалент которых отсутствует в заимствующем языке. Так, корейское слово **омом** имеет в языке-источнике три значения: 1) обращение к матери (груб.); 2) прислуга, служанка; 3) обращение женщины, старшей по возрасту или социальному положению, к младшей или стоящей ниже на социальной лестнице. В проанализированных нами текстах это слово встречается в двух последних значениях. Например, «В нашем доме все относились к **омом** не как к работнице, а как к равноправному члену семьи» (Цо Со Хэ 1960, с. 159). — «**Омом, омом!** — плача, звала она служанку. — Иди сюда!» (Ли Ги Ен 1967, с. 263). «**Омом,** закончив работу на кухне, взяла корзину и направилась на огород, чтобы набрать овощей для маринада» (Ли Ги Ен 1967, с. 160). (— **Омом, ...** Где завтрак для работников?.. Почему не отнесли в поле?.. — накинулась Сук Чжа на другую служанку» (Ли Ги Ен 1967, с. 66).

Нами зарегистрирован случай употребления корейского слова **омом** в двух значениях в одном контексте, а также замена кореизма его неполным русским эквивалентом **служанка** во избежание нежелательных повторов. Например: «**Омом** поставила корзинку и сама плюхнулась рядом — она едва держалась на ногах от жары и усталости. — Что, жарко, **омом**?.. — Ходить, барышня, тяжело. Пятки так и припекает! — **Служанка** с жалостью поглядывала на свои обожженные солнцем ноги» (Ли Ги Ен 1967, с. 163).

Корейское слово **чебол** в русскоязычном тексте используется в значении «крупные монополистические объединения, семейно-клановые конгломераты». Например: «Финансовая система, находящаяся под контролем правительства, привела к росту гигантских конгломератов — **чеболов**. Чеболы стали захватывать все новые и новые отрасли промышленности — 30 крупнейших **чеболов** контролируют три четверти экономики страны, — рассказывает директор департамента центра региональных исследований, доктор экономических наук Чжон Е Чен» (ж. «Новое время» № 47 (ноябрь) 1995, с. 34-35).

В корейском языке слово **чебол** имеет еще одно значение: «концерн».

Корейское слово **чанвон** зарегистрировано в Большом корейско-русском словаре в трех значениях: 1. занявший первое место в первом туре экзаменов на государственную должность; 2. первый (лучший) ученик (в частной школе); 3. победитель, выигравший. Это слово в первом значении в современном корейском языке малоупотребительно. Оно зарегистрировано в текстах рассказов и повестей, датированных XIII-XIX вв. В русскоязычных же текстах слово **чанвон**, напротив, встречается лишь в первом значении и неизвестно в двух других.

«Господин Ван громко рассмеялся и сказал: — Разве вам запрещают говорить? Наш Лоян испокон веков славится талантами, и уж если лоянец на экзамене не заслужит степени **чанвона**, то уж **тхамхва** станет непременно» (Ким Ман Чжун 1961, с. 74).

Корейское многозначное слово **чиби**, имеющее в корейском языке семь значений, в русскоязычных текстах употребляется лишь в значении «корейский национальный домик, хижина»:

«В глухой тайге лежит моя
Деревня Музанчён...
Я знаю,
В ней изменилось все давным-давно.
Но время
Не властно над отцовской старой чиби —
Она стоит,
Покрытая соломой,
С бумажными оконцами, и мать
Велит мне строго-настрого —
Не трогать
Окон»
(Ким Кванхен 1982, с. 49).

«Окончательно поссорившись с упрямой матерью, Вал Хи собрала пожитки и снова перебралась в свой старый **чиби**» (Ли Дин Хо «Гроза» в кн. «Тайное письмо», 1960, с. 49).

Иноязычные лексические элементы, являясь гиперо-гипонимическими синонимами (термин Л.А.Новикова — см.: Новиков 1982, с. 241) в языке-источнике, в русскоязычном тексте становятся абсолютными, полными синонимами. Примером могут служить лексемы **чиби** и **фанза**. Слово **чиби** имеет в корейском языке синоним — моносемичное слово **фанза (чиби)**, пришедшее в корейский язык из китайского языка. В корейском языке слова **чиби** и **фанза** находятся в родо-видовых отношениях: лексема **фанза** выступает как гипоним по отношению к лексеме **чиби**. Две лексемы находятся в привативной оппозиции. Сильным членом оппозиции является **фанза**, а слабым **чиби**. В русскоязычном переводном тексте эти две лексемы являются абсолютными (или полными) синонимами, которые характеризуются нулевой оппозицией, эквивалентной (полностью совпадающей) дистрибуцией и соответствующими равнозначными понятиями (Новиков 1982, с. 230). Эти слова обладают полностью эквивалентными значениями, в тексте заменяют друг друга и употребляются для обозначения одного и того же. Такое явление нами зарегистрировано в романе Ким Дюна «Корейская сосна». «Отчаянный ветер вздувает вихрем пыль, и она кружит над низкими **чиби**, над неров-

ной дорогой» (с. 9). «Темнота. Не пробивается свет из той **чиби**, в которой на низком прямоугольном столике тускло горит керосиновая лампа, — окна здесь плотно завешены одеялами» (с. 9). «Как только арбы остановились перед первой в начале улицы **фанзой,** из нее вышла молодая кореянка. Застенчиво поклонившись возчикам, она тут же вернулась в **фанзу** и вышла, неся большой мешок с чумизой» (с. 43).

Интересно отметить, что полисемичное слово **чиби**, в корейском языке обладающее очень широким диапазоном использования, не укоренилось в русском литературном языке, тогда как слово **фанза** было заимствовано русским языком из китайского и активно используется в современном русском языке. Это слово зафиксировано Словарем русского языка под ред. А.П.Евгеньевой (СРЯ). В русском языке слово **фанза** имеет следующее значение: «Китайское или корейское жилище (преимущественно в сельской местности), каменное или саманное, на каркасе из деревянных столбов». (СРЯ 1988, т. 4, с. 551). Ср. следующие примеры из русских текстов:

— «...Мы только хотели спросить, не знаете ли вы что-нибудь о хозяйках этого дома, указал майор на развалины своей **фанзы**». (А.Ким 1980, с. 174). «Сибирский газ обогреет монгольские юрты и корейские **фанзы**, если Сеул поможет его добыть» (г. «Финансовые известия» № 69 от 28.09.1995).

Заслуживают внимания случаи употребления в русскоязычных художественных текстах корейских слов-апеллятивов. В анализируемых текстах нами отмечены случаи употребления как корейских апеллятивов, так и их русских неполных эквивалентов.

Слово **сонсэнним** имеет в корейском языке пять значений: 1) преподаватель, учитель; 2) перен. учитель, опытный человек, специалист в своем деле; 3) господин (вежливая форма обращения к старшим по возрасту); 4) человек, работающий в Сонгюнгване (Сеульском высшем конфуцианском университете); 5) Вы — уважительное обращение. В русскоязычных текстах переводов этот кореизм встречается в первых четырех значениях.

«...растолкав других, к учителю подошел Ген Ир, пионер из второго звена: «**Сонсэнним**, мы на первом месте: на нашем участке больше трехсот помидоров» (Пен Хи Гын «Помидоры» в кн. «Тайное письмо» 1960, с. 10-11). «**Сонсэнним!** — радостно воскликнул Ма Бин. — У нас уже есть кое-какое оружие! — И он вытащил из-за пазухи браунинг и гранату, тщательно завернутую в тряпочку» (Ким Дюн 1971, с. 76). «Потом разговор вернулся к главной теме: — Как вы думаете, Бомдо **сонсэнним,** когда мы сможем выгнать японцев из Кореи?» (Ким Дюн 1971, с. 71). «Оудон была дочерью члена Королевской коллегии литераторов **сонсэна** Пака» (Сон Хён «Порочная Оудон» в кн. «Черепаховый суп» 1970, с. 18).

Иногда переводчики при переводе художественных произведений заменяют кореизм на русский эквивалент, семантика которого более или менее точно совпадает с семантикой корейской лексемы. В таких случаях возникает явление лексической синонимии. В подавляющем большинстве случаев корейское слово и русский эквивалент — неполные синонимы (квазисинонимы). При этом более широким кругом значений может обладать как корейская лексема, так и ее русский эквивалент. Подчас такая замена бывает неоправданной. Например, использованный переводчиком В.Ли русский эквивалент корейского слова *сон-*

сэнним — учитель, совпадает с кореизмом лишь по первому значению. У русскоязычного читателя подобная замена вызывает ассоциацию с профессией учителя. Из текста же произведения понятно, что главные герои рассказа — простые крестьяне. «**Учитель** Тё, не хотите ли почитать книжечку, — лукаво улыбаясь, спросил Пак. Сумасшедший посмотрел в сторону дома. — Этот **учитель** принес. — Он кивнул на меня и, моргнув мне, продолжал: — Дайте ему книжечку, посмотрим, как он читает» (Цой Со Хэ 1960, с. 144).

Более оправданной представляется нам замена кореизма русским эквивалентом, совпадающим по третьему значению — 'господин'. Употребление же лексической пары **сонсэнним — господин** в пределах одного контекста способствует в известной мере решению стилистических задач художественного текста — избежать нежелательных повторов.

«Войдя во двор, Хи Чжун позвал: — **Господин** Пак! — На пороге показался хозяин... Пак Хун вышел из дома так же важно, как выходит монах из дверей храма. — Здравствуйте, **сонсэнним!** — поздоровался Хи Джун» (Ли Ги Ен 1967, с. 258).

Корейское полисемичное слово **омони** в русскоязычных текстах встречается только в значении «уважительное обращение к женщине, имеющей детей». Например, «Молодые люди смутились, встретившись взглядом, но через мгновенье девушка заставила себя обратиться к матери Кукчона: — **Омони,** — и она протянула ей обе руки» (Ким Дюн 1971, с. 23-24). Кореизм **омони** в русскоязычном варианте романа «Испытание» Юн Се Дюна переводчик Д.Усатов заменяет русским словом **мамаша.** Такая замена представляется нам некорректной, так как по стилистической окраске корейское слово — нейтрально, русское же является просторечным. При использовании подобного соответствия «нарушается эквивалентность стилистической характеристики знаков оригинала и перевода» (Комиссаров 1973, с. 104). Употребление в тексте перевода неполного эквивалента корейского слова **омони — мамаша** — с «чисто русской» коннотацией ведет к излишней «русификации» текста (см. Федоров 1953, с. 271). Странно звучит слово «мамаша» в устах главной героини романа — интеллигентной девушки-инженера. «Девушка пригляделась и узнала Ан Сон Не. — **Мамаша!** Вот так сюрприз! Оказывается, и вы здесь! — Сон Дю обрадовалась так, как будто встретила родную мать» (с. 223).

Корейское слово **онни,** по лексикографическим данным, имеет в языке-источнике два значения: 1. старшая сестра; 2. вежливое обращение женщины к старшей по возрасту. В русскоязычном тексте встречается лишь во втором значении. В семантической структуре русского слова **сестра** значение «вежливое обращение женщины к старшей по возрасту» отсутствует. Однако использование русского неполного эквивалента вместо кореизма **онни** не кажется нам неоправданным, хотя он и не совсем точно передает семантику корейского экзотизма. Например: «Ден Ок долго не могла успокоиться, а затем сказала: — **Онни,** действительно, так жить невозможно» (Хван Ген 1960, с. 30). «**Сестра,** — кинулась она к Сон Дю. — Неужели это правда, что ты грозила Дэ Чуну покончить с собой, если он не выгонит жену и не побьет ее?» (Юн Се Дюн 1960, с. 216).

Такие же процессы происходят с корейским словом **хённим,** имеющим значения: «старший брат» и «вежливое и почтительное обращение мужчины к старшему по возрасту лицу мужского пола». В русскоязыч-

ном тексте оно заменяется русским словом **брат**. В семантическую структуру русского слова **брат,** так же как и в семантическую структуру слова **хённим,** входит значение «обращение к мужчине, юноше, мальчику», но, в отличие от корейского апеллятива, это обращение — фамильярное и дружеское. Например: «Ю Сан к началу войны по-прежнему был бригадиром, а его товарищ стал уже мастером, и тем не менее Пак Пон Со всегда называл своего товарища **«хённим»** (Ю Се Дюн 1960, с. 67-68). «Пон Со вместо ответа закурил и рассеянным взглядом посмотрел на начавшего хмелеть Ю Сана. — Кашу, **брат,** большую заварили, а что из этого выйдет, мне еще неясно. Надумали вот еще мартен расширять» (Ю Сен Дюн 1960, с. 67-68). «Ну что,.. **брат,..** закончили ремонт — еле шевеля языком, спрашивал Ман Док. — Наверное, думаете, что я во всем виноват?» (Ю Се Дюн 1960, с. 157).

Некоторые корейские слова выступают в русскоязычных художественных текстах в расширенном объеме значения. Причинами расширения семантического объема слова могут быть: 1) употребление лексемы в стилистически маркированном значении; 2) аналогия с лексемами принимающего языка. Лексема **одон** в лексико-семантической системе корейского языка относится к числу моносемичных. В словарях она зарегистрирована в значении «одна из пород масличных деревьев — павлония». В русскоязычном тексте она получает еще и другое значение — «плод этого дерева». Возможно, причиной расширения значения послужили существующие в русском языке полисемичные существительные, в семантическую структуру которых входят значения: «дерево и плод этого дерева» [ср. вишня (дерево) — вишня (плод); груша (дерево) — груша (плод); слива (дерево) — слива (плод) и т.п.].

«Дождь беспощадно хлещет целый день
*По зеленеющей листве **одона...***
*Зачем, скажи, **одон** широколистный,*
Тебя сажают люди и растят?»
(Ким Санъён в кн. «Бамбук в снегу» 1979, с. 107)

*«Сквозь сень **одона** лунный свет скользнул...»*
(Чон Чхоль 1975, с. 143)

«Прошло пять дней. Приказчик возвратился и приволок с собой такого урода, какого и свет не видал: парень весь зарос волосами и был черен, как **одон**» (Ли Ги Ен 1958, с. 166).

Еще одной причиной расширения значения может стать употребление корейской лексемы в стилистически маркированном значении.

Многозначная корейская лексема **янбан** в русскоязычных текстах широко представлена в значении «представитель высшего сословия, дворянин» и практически неизвестна в других значениях: представители партий «донбан» и «собан»; серьезный, добропорядочный человек; в разговоре о лице или лицах мужского пола, старших по возрасту. Однако нами зарегистрирован случай употребления этой лексемы в стилистически маркированном значении. Причем здесь происходит смешение двух значений: «дворянин», «барин» в переносном значении и употребление в разговоре о лицах мужского пола, старших по возрасту. В анализируемом тексте используется для иронического обозначения пожи-

лых рабочих-заводчан с большим стажем работы. Это и привело в конечном счете к изменению его семантики в русскоязычном тексте.

«Гап Сок как-то сказал ему с сочувствием: — Товарищ Рим, вам нельзя так много работать в цехе... Скоро нам, молодежи, разрешат вести плавки самостоятельно. Вот тогда мы попробуем осуществить все ваши предложения. А этих **янбаней** вы все равно не перевоспитаете, хотя бы находились в цехе круглосуточно» (Юн Се Дюн 1960, с. 16).

Обращают на себя внимание случаи индивидуально-авторского употребления кореизмов в поэтических произведениях. Использованное в определенном микроконтексте корейское слово получает дополнительный оттенок к своему значению.

Так, корейские лексемы **чоктури** со значением «женский головной убор из материи в виде крупного цветка, украшенный бусами» и **соннак** со значением «остроконечная шляпа буддийского монаха» в одном и том же тексте произведения употребляются как в указанных значениях, так и с дополнительными оттенками, в которых содержится скрытый намек на определенные отношения между женщиной, носящей чоктури (обычно не низкого сословия), и мужчиной-монахом.

«Уподобившийся человеку,
Как-то ночь провел со мной монах.
Он моею юбкою прикрылся,
Верхнею одеждой гостя — я.
***Чоктури** под голову он сунул,*
*Подложила я его **соннак;***
До краев наполнились любовью
***Чоктури** мое в стеклянных бусах*
*И его монашеский **соннак!..***
Так, как мы любили с ним друг друга,
Верно, в мире не любил никто».
(*Неизвест. автор в кн. «Бамбук в снегу» 1978, с. 232*)

Итак, кореизмы в русскоязычных текстах демонстрируют общие закономерности, характерные для перехода иноязычных элементов из одной лексической системы в другую: одни могут сохранять свою семантическую структуру, вторые — сужать круг значений до одного, двух-трех (иногда с одновременным развитием нового значения), третьи — расширять семантическую структуру.

ЛИТЕРАТУРА

Брагина А.А. Лексика языка и культура страны. М., 1981
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1990
Комиссаров В.Н. Слово о переводе (Очерк лингв. учений о переводе) М: ИМО, 1973
Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968
Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982
Федоров А.В. Введение в теорию перевода. М.: 1953
«Бамбук в снегу». Корейская лирика XIII-XIX вв. М., 1978. Перевод с корейского А.Жовтиса
Мацумото Масацугу. Путешествие по Корее. Пхеньян, 1977
Цо Со Хэ. Исповедь беглеца. Рассказы. М., 1960. Перевод с корейского В.Ли, А.Хван
Ли Ги Ен. Земля. М., 1958. Перевод с корейского Е Тё и Ю.Карасева.
Ли Ги Ен. Родная сторона. М., 1967. Перевод с корейского А.Хвана и Д.Приемского

Ким Ман Чжун. Облачный сон девяти. М.-Л., 1961. Перевод с корейского А.Артемовой и Г.Рачкова.
Ким Квахен. Цветы зимы. Стихи и поэма. Алма-Ата, 1982. Перевод с корейского А.Жовтиса.
Тайное письмо. Рассказы. М., 1960. Перевод с корейского Е.Тё.
Ким А. Соловьиное эхо. Рассказы и повести. М., 1980.
Черепаховый суп. Корейские рассказы XV-XVII вв. М., 1970. Перевод с корейского Д.Елисеева.
Ким Дюн. Остров в огне. Рассказы. М., 1960. Перевод с корейского Л.В.Журавлевой.
Юн Се Дюн. Испытание. М., 1960. Перевод с корейского Д.Усатова.
Чон Чхоль. Одинокий журавль. Перевод с корейского А.Жовтиса.

Эр. Хан-Пира

ПРОДУКТИВНЫЙ И КОНТРПРОДУКТИВНЫЙ

С недавнего времени замелькало в средствах массовой информации слово *контрпродуктивный.* Его употребляют журналисты-международники, дипломаты, политические обозреватели. Это они познакомили русскую речь с этим заимствованием из английского языка. В русском языке существуют антонимичные пары слов: *продуктивный — непродуктивный, продуктивен — непродуктивен, продуктивно — непродуктивно, продуктивность — непродуктивность. Продуктивный* имеет в современном языке три значения: «1. Производительный, плодотворный. 2. Относящийся к разведению скота для получения продуктов животноводства. *Продуктивное животноводство.* 3. В грамматике: такой, с участием которого образуются новые слова... Продуктивный суффикс» [Ожегов, Шведова 1992, с. 628].

Непродуктивный двузначно: «1. Такой, который не приносит значительной пользы, не дает ощутимых результатов; непроизводительный. 2. Лингв. Не образующий новых слов» [МАС, т.2, с. 472].

В упомянутых антонимичных парах *продуктивный* и *непродуктивный* присутствуют в первом из своих значений. Замечу, что *продуктивный* в 3-ем значении из-за терминологичности этого значения имеет нулевую оценочность, т.е. не со знаком «+» или «—», а в первом значении это прилагательное оценочно (плюсовая оценочность). Поэтому мы не говорим: «Полпотовцы продуктивно уничтожали людей» или «В 20-30-ые годы шла продуктивная ликвидация храмов». Плюсовая оценочность, сема «плюс», «положительное» встроена в само лексическое значение этого слова, как и у его синонима *плодотворный.*

В русском языковом сознании *контрпродуктивный* из-за явно вычленяемой приставки *контр-* неизбежно соотносится с такими словами, как *контрреформация, контрреволюция, контрреволюционный, контрудар, контратака* и др. Приставка *контр-* означает «противодействие, противопоставление, противоположность» [ССИС — 1990, с. 304], а Словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой сообщает, что эта приставка образует существительные, прилагательные и глаголы со значением «направленности против чего-нибудь, противодействия чему-нибудь».

Семы «противопоставленность», «направленность против», «противодействие» присутствуют, как кажется, в лексическом значении слова *контрпродуктивный*. Оно, по-моему, называет не только предел отсутствия продуктивности, не только ее полное отсутствие, нулевую ее степень и даже не только нечто такое, что грозит самой надежде на продуктивность, плодотворность усилий, угрожает результатами, обратными ожидаемым, предполагаемым. Это слово называет свойство, противоположное и противодействующее продуктивности, прямо направленное против нее.

Вот несколько примеров. «Не менее важен отказ Ельцина в какой бы то ни было форме поддержать новые бомбардировки позиций боснийских сербов авиацией НАТО — бомбардировки, уже доказавшие свою контрпродуктивность» (Московские новости, 1995, № 42). А.Козырев в интервью телепрограмме «Сегодня» (НТВ) 18 июля 1995 г. сказал, что применение силы в Боснии «было бы контрпродуктивным». Политический обозреватель «Известий» С.Кондрашов: «Разругаться с НАТО было бы легкомысленнее всего — и контрпродуктивнее. Россия потеряла бы роль одного из участников мирного процесса, ослабив влияние даже у сербов» (Известия, 9.09.95). Он же: «тактически и дипломатически официальный Вашингтон предельно осторожен, считая контрпродуктивной всякую публичную критику российского руководства» (Известия, 3.02.96). В «Известиях» (23.01.96) в связи с событиями в январе 1996 г. в дагестанском селе Первомайском читаем: «Еще труднее прогнозировать быстрое уяснение властями контрпродуктивности борьбы с терроризмом по "первомайскому варианту"». «Эта позиция контрпродуктивна», — сказал в телепрограмме «Итоги» (23.04.95) депутат Госдумы В.Лукин. «Этот акт был бы контрпродуктивным», — заявил Э.Паин в телепрограмме «Подробности» (10.01.96).

Обратимся вновь к антонимичной паре *продуктивный — непродуктивный*. Это тот тип антонимов, который называют контрарным, а также градуальным (*продуктивный — малопродуктивный — непродуктивный*).

Появившись в русской речи, имеющее живую внутреннюю форму слово *контрпродуктивный* втянуто в языковом сознании носителей русского языка силой смысловой соотносительности и корневого родства в семантическое поле микросистемы *продуктивный — непродуктивный*. Вступив в контакт с ней, оно усложнило ее еще одним, параллельным антонимическим рядом: *продуктивный — контрпродуктивный*. Эта пара антонимов представляет уже другой тип антонимов — комплементарный.

Слово *контрпродуктивный* по мере возрастания его частотности может стать образцом и положить начало появлению таких слов, как *контрперспективный, контрэффективный, контррезультативный, контрплодотворный,* производящая основа которых синонимична

слову *продуктивный:* содержит сему «такой, который предполагает или порождает успех». Возникновение этих слов приведет к созданию комплементарных антонимических рядов (*эффективный — контрэффективный, перспективный — контрперспективный* и т.д.), параллельных контрарным (градуальным): *эффективный — неэффективный* и т.п.

Впрочем, есть возможность и иного осмысления случившегося. Не возникает второго, параллельного антонимического ряда (*продуктивный — контрпродуктивный*), а преображается первый — на его краях находятся *продуктивный* и *контрпродуктивный*, а *непродуктивный* занимает место одной из ступеней уменьшения продуктивности: *продуктивный — малопродуктивный — непродуктивный — контрпродуктивный.* Такая интерпретация возможна, если принять, что *непродуктивный* — это «не приносящий значительной пользы, ощутимых результатов» (но хоть ка́кую-то пользу, какой-то результат приносящий).

В любом случае возмущающее действие появления слова *контрпродуктивный* в лексико-семантической микросистеме — лишнее доказательство системной природы лексики. Этому свойству лексики уделял большое внимание Дмитрий Николаевич Шмелев.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992
2. Словарь русского языка в 4-х томах. Т. 2. М., 1981 (МАС)
3. Современный словарь иностранных слов. М., 1990 (ССИС)

СИНТАКСИС

Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев

ВОЗРАЖЕНИЕ ПОД ВИДОМ СОГЛАСИЯ

Я всегда поражался его манере возражать: он как бы соглашается с собеседником, говорит «да-да», а потом, добавив что-нибудь вроде «знаете, только вот что...», начинает говорить нечто совсем противоположное.

Дмитрий Шмелев, «Трактат о вреде пьянства»

В статье речь пойдет о манере спорить, которую можно условно обозначить при помощи этикетки «да, но...». Говорящий как будто соглашается с мыслью, высказанной оппонентом, но тут же приводит соображение, сводящее на нет возможные выводы из этой мысли. Такая манера спора представляется более учтивой, нежели простое возражение: говорящий дает понять, что хотя бы частично готов согласиться с оппонентом или, по крайней мере, принимает во внимание его аргументы. Возражение при этом подается как простое уточнение в общем-то верной мысли. Нам приходилось наблюдать, как в дискуссии на научной конференции каждая реплика спорящих так и начиналась словами *Да. Но*....

Выбор такой тактики спора может быть обусловлен не только правилами вежливости. В некоторых случаях она определяется самою сущностью предмета спора. Так, Н.Д.Арутюнова отметила, что спор о ценностях и вкусах часто предполагает согласие в частных оценках и фактических утверждениях, так что разговор ведется по принципу «то, что вы говорите, верно, но важнее другое», и в результате предметом несогласия оказывается не столько истинность утверждений, сколько иерархия ценностей [ЧФЯ 1992: 54]. Но и во всех остальных случаях, в чем бы ни видеть цель спора: в том, чтобы убедить оппонента в своей правоте, чтобы установить истину, выработать компромиссную точку зрения, — спор оказывается более эффективным, если четко очертить «область согласия», т.е. круг вопросов, по которым собеседники согласны друг с другом, а затем обсуждать лишь то, что относится к «сфере несогласия».

Простое *Да. Но*... позволяет сделать это не в полной мере. *Да* предполагает согласие во всем, что сказано собеседником, и возраже-

ние тогда может сводиться лишь к предостережению от слишком поспешных выводов из сказанного. В случае же, когда речь идет лишь о частичном согласии и когда «область согласия» относительно невелика, *Да. Но...* действительно может представлять собою не более чем «фигуру вежливости». Правила речевого поведения предписывают сопровождать возражения выражением хотя бы частичного согласия с мнением собеседника. Ср. пародийный ответ армянского радио на вопрос: *Правда ли, что Карапетян выиграл в лотерее Мерседес? — Да, правда, но только не в лотерее, а на скачках, и не Карапетян, а Тевосян, и не Мерседес, а три рубля, и не выиграл, а проиграл.*

Интерес представляют специальные языковые средства, которые регулярно используются для того, чтобы выразить «частичное согласие». Сюда относится, напр., слово *действительно*. Основная функция выражения *действительно* состоит в том, чтобы подтвердить, что обсуждаемая ситуация[1] имеет место в действительности. Именно в этом смысле можно говорить, как это часто делается, что *действительно* «выражает согласие».

Однако необходимость «выразить согласие» не возникает сама по себе. В ответ на сообщение надо не «выражать согласие», а просто принять сообщаемую информацию к сведению. Если обсуждается некоторое утверждение *S*, то, с прагматической точки зрения, выражение согласия с *S*, вообще говоря, бывает оправданно в двух случаях: чтобы снять возможные сомнения в истинности *S* или чтобы, согласившись с *S*, сделать какие-то ограничивающие оговорки[2].

В первом из указанных случаев говорящий сначала сомневался в истинности поступившей информации, а затем удостоверился в ней (*Ему говорят: «Не работает». Он попробовал: «Да, действительно, не работает»*). Употребления, связанные со снятием сомнений, рассматриваются в описании единицы *действительно*, приведенном в [Баранов и др. 1993]. Этим употреблениям соответствуют две выделяемые там «модификации»: «Пожалуй... да!» (когда говорящий просто повторяет *S*) и «Аргументы и факты» (когда говорящий обосновывает *S* при помощи некоторого другого высказывания)[3].

В то же время чаще слово *действительно* используется для выражения «согласия с оговорками». Иногда, когда «область согласия» достаточно велика, эта оговорка носит характер простого уточнения (напр., *Так бывает не всегда, но, действительно, чаще всего*). Но более характерно для *действительно* его использование в полемике «да, но...», когда выражается готовность согласиться с общей мыслью оппонента, с тем чтобы сразу же сделать оговорку, сводящую на нет возможные выводы из этой мысли: (1) *Вывод Скворцова о том, что загруженность судей гораздо выше, чем у адвокатов, мягко говоря, некорректен. Адвокатов, д е й с т в и т е л ь н о, несколько больше, н о ведь они не только выступают в суде. В какой-то мере они заняты на*

предварительном следствии. Плюс юридические советы населению, оказание юридической помощи народному хозяйству и многое другое; (2) *Проблема эта д е й с т в и т е л ь н о существует, о д н а к о зачастую не там, куда указывают оппоненты;* (3) *Если верить газете «Глоб энд мейл», Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли золотые медали в парном катании легко и с блеском. Что ж, победа д е й с т в и т е л ь н о блестящая и безоговорочная, н о только сами спортсмены и близкие люди знают, каких трудов она стоила.* Таким образом, *действительно,* казалось бы, предназначенное для выражения согласия, в реальных текстах чаще всего используется для полемики, когда, соглашаясь с какою-то частностью, говорящий возражает против существа мысли оппонента. Характерен пример, в котором непосредственно в тексте противопоставляются *действительно* и *на самом деле*[4]*: На первый взгляд и процессы истечения сыпучих тел и жидкостей через отверстия похожи друг на друга. Действительно, со времени игр в песочнице каждый знает, что песок течет сквозь пальцы, «как вода». Но на самом деле аналогия с водою оказывается далеко не такой полной.*

Текстовая конструкция *действительно ... но* является настолько типичной, что включение в ответную реплику слова *действительно* часто может восприниматься как симптом того, что за этим последует возражение или оговорка. Если в ответ на некоторое утверждение сказать: «Действительно, явление, о котором вы говорите, в каких-то случаях может иметь место», — то с большой долей вероятности можно полагать, что далее последует *Но...* Таким образом, использование слова *действительно* в качестве текстового маркера полемики по принципу «да, но...» близко к конвенциональному[5].

Два типа употребления можно выделить у выражения (*я*) *согласен.* При самостоятельном употреблении эта формула выражает именно согласие, тогда как парентетическое *согласен* лишь вводит «область согласия» и предполагает последующее возражение: ср. *По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ! Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные ... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но ... нет того духу! Духу того в нем нет!* (Чехов). В этом смысле можно сказать, что парентетическое *согласен* представляет собою знак «несогласия».

Интересно, что в русском языке есть практически полностью конвенционализованные средства, маркирующие рассматриваемую тактику полемики. Так, напр., функционирует клишированное выражение *спору нет.* Токования, которые это выражение получает в словарях ('бесспорно, несомненно' или 'конечно, безусловно'), могут ввести в заблуждение, поскольку используемые в толкованиях слова имеют совсем иной режим употребления и обычно не могут быть заменены на *спору нет.* Последнее выражение уместно лишь в тех случаях, когда

говорящий, безоговорочно соглашаясь с некоторой мыслью, одновременно спорит с более сильным утверждением, делает определенную уступку, с тем чтобы на этом остановиться и не уступить в главном. Когда зеркальце в сказке Пушкина на вопрос: «Я ль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?», — отвечает: «Ты прекрасна, спору нет», — то мы уже предвидим, что за этим последует *Но...:* «Но царевна всех милее, всех румяней и белее». Согласие, выраженное в словах *спору нет,* скрывает за собою отрицательный ответ на заданный вопрос. Впрочем, в этой же сказке встречается и устаревшее употребление, когда *спору нет* используется в составе утвердительного ответа: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» — «Ты, царица, спору нет», — однако и здесь ощущается некоторая скрытая полемика, зеркальце соглашается как бы нехотя. В современном языке скрытое возражение в значении выражения *спору нет* можно считать полностью конвенционализованным.

Сходным образом функционирует и выражение *не спорю.* Его «полемичность» нашла отражение в толковании, которое дал Ю.Д.Апресян [1986: 3]: «*Я не спорю, что P* = 'Я согласен с вами, что P; я имею в виду не P, а другие факты (возможно, связанные с P), которые я оцениваю иначе, чем вы'. Ср. *Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность* (Паустовский). В рассмотренных здесь случаях семантические модификации значений перформативных глаголов, возникающие в отрицательном контексте, меняются от глагола к глаголу и должны быть описаны индивидуально для каждого из них».

Вообще говоря, эта формулировка отражает не столько конвенциональное значение выражения *Я не спорю,* функционирующего как свободное сочетание, сколько его речевые импликатуры в некотором типе употреблений. В других типах употреблений могли бы подойти несколько иные формулировки — напр., 'Ты меня не понял: я совсем не спорю, что P, я, напротив хотел тебя поддержать' или же что-то вроде 'я знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал, что Q; я могу сказать только P (сделать более слабое утверждение, чем Q); я говорю это, чтобы ты видел мою лояльность'.

Но для парентетического *не спорю* мысль о «других фактах», по-видимому, конвенционализовалась и перестала быть речевой импликатурой. В этом отношении *не спорю* ведет себя сходно с *согласен* и другими подобными выражениями и представляет собою формулу «спора», т.е. является «самофальсифицируемым».

В рассмотренных случаях речь шла о постепенной конвенционализации речевой импликатуры единиц, выражающих согласие. Необходимость указать, в чем именно мы согласны с собеседником, как правило, возникает в тех случаях, когда это согласие является неполным. Тем самым выражение частичного согласия имплицирует несогласие. Если такое употребление конвенционализуется, соответствующая

информация должна учитываться при лингвистическом описании выражений, передающих эту информацию.

Однако, наряду с этим, русский язык располагает средствами, «изначально» предназначенными для того, чтобы передать «возражение под видом согласия». Речь идет о конструкциях, охарактеризованных Д.Н.Шмелевым [1960] как «уступительно-противительные фразеосхемы». Можно, кажется, сказать, что «уступительно-противительные фразеосхемы» представляют собой почти точный «аналитический аналог» английского глагола concede — ср. толкование А.Вежбицкой 'Я готов согласиться с тобою [«сказать то же, что и ты», по Вежбицкой], но я не готов сказать об X-е все, что ты хочешь, чтобы я сказал'.

Своеобразие указанных конструкций состоит, в частности, в том, что, в отличие от построений, организующим центром которых «является застывшая форма, оторвавшаяся от парадигмы соответствующего слова и в той или иной степени утратившая свои лексические и категориальные значения» [Шведова 1958: 94] (например, форма *чем* в конструкции *Чем не жених?*), к «синтаксическим фразеологизмам» рассматриваемого типа относятся такие конструкции, которые организуются не определенным, индивидуальным словом (в той или иной форме), а определенными грамматическими формами, «отрывающимися» именно в грамматическом плане от соответствующей парадигмы и детерминирующими структуру предложения (например, *Всем молодцам молодец; Без тебя и праздник не в праздник*). Типичным для «уступительно-противительных фразеосхем» является лексический повтор компонентов. Иными словами, фразеосхема допускает почти свободное лексическое наполнение[6], но при этом для заполнения двух синтаксических позиций в схеме предложения должна быть выбрана о д н а и т а ж е лексическая единица. Так, в схеме N_{nom}+(*то*)+N_{instr} в качестве N может быть выбрано едва ли не любое существительное [наряду с клишированным *Дружба дружбой, а служба службой* или *Дружба дружбой, а табачок врозь,* встречаем и такие высказывания, как *Комары комарами, а на пруду по ночам девице одной неудобно* (А.Н.Толстой); *Риск риском, а благодарность все-таки благодарностью* (Куприн)[7] или *Почка почкой, а боли мне не совсем ясны* (Ю.Крелин)[8]], однако важно, что в данной схеме в именительном и в творительном падеже не могут быть р а з н ы е существительные.

Характерным для «уступительно-противительных фразеосхем» является построение, при котором повторяющиеся компоненты, первый из которых представляет собою начальную форму соответствующей лексической единицы, задают «область согласия» и одновременно имплицируют наличие «несогласие». Нельзя согласиться с тем, что «высказывания, построенные по фразеосхеме *знаменат. слово* + (*то*) + *знаменат. слово,* выражают уверенное подтверждение, в составе же двухчастного построения выражается обычно неполное согласие или

делается оговорка» ([Николина 1993: 171] со ссылкой на книгу Н.Ю.Шведовой [1960]). На самом деле «неполное согласие» или «оговорка» присутствует в семантике соответствующего высказывания даже в тех случаях, когда это не выражено посредством двухчастной конструкции. Именно постольку, поскольку «уступительно-противительные» конструкции предполагают последующее возражение, ограничивающее или сводящее на нет непосредственно выраженное в них «согласие», они дают возможность высказать возражение в неявном виде, даже не давая понять, в чем, собственно, оно состоит, что открывает дорогу различным речевым манипуляциям. Характерен пример из повести А.Н.Толстого «Детство Никиты», приводимый в этой связи Д.Н.Шмелевым [1960: 51] и иллюстрирующий восприятие подобной фразеосхемы маленьким героем повести: «А как вы спали, Аркадий Иванович? — *Спать-то я спал хорошо,* — ответил он, улыбаясь непонятно чему в рыжие усы, сел к столу... и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда подмигивал, никогда не говорил прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали». *Он ответил: «Спать-то я спал хорошо», — значит, это нужно понимать: «А* вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий; *а* вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома». Этим схема V_{inf}+(*то*)+V_{fin} отличается от внешне схожей схемы V_{inf}+*не*+V_{fin}, не обязательно предполагающей «оговорку». Ср. примеры, приводимые в упоминавшейся статье Д.Н.Шмелева [1960: 51]: *Что к родным писать? Помочь — они мне не помогут; умру — узнают* (Тургенев); *Она чувствовала, что муж ценит ее молчание и признает за это в ней ум. Бить он ее никогда не бивал, разве только один раз, да и то слегка* (Достоевский)[9].

«Уступительно-противительные фразеосхемы» характеризуются не только сходными прагматическими свойствами, но и целым рядом общих формальных характеристик. К такого рода общим формальным характеристикам относится, напр., отмеченная в цитированной работе Д.Н.Шмелева [1960] невозможность присоединения отрицания к первому из повторяющихся компонентов: ср. *Промолчать он промолчал, но всем своим выразил недовольство* при странности, казалось бы, семантически тождественного *?Не ответить он не ответил, но всем своим видом выразил недовольство.* Характерна реплика Солженицына, направленная против мнения о моральном превосходстве лагерных «придурков» перед «работягами», поскольку «придурки», в отличие от этих последних, «добывающих хлеб свой в поте лица» и тем самым делавших то, что хотело гулаговское начальство, «добывали хлеб не в поте лица»: *В поте-то не в поте, но веления гулаговского начальства исполняли старательно* (*а то на общие!*) *и изощренно, с применением*

специальных знаний (вместо, на первый взгляд, более «логичного» *?Не в поте-то не в поте, но...*).

Сходство в строении различных «уступительно-противительных фразеосхем» не исключает специфических особенностей каждой из них. Указанные особенности могут относиться как к формальным свойствам фразеосхемы, так и к ее семантическим и прагматическим характеристикам. Поэтому, наряду с общим описанием рассматриваемых конструкций, необходимо тщательное и детальное «портретирование» (выражение А. К. Жолковского и Ю.Д.Апресяна) каждой из них.

При выделении различных типов «уступительно-противительных фразеосхем» необходимо прежде всего учитывать, используется ли данная схема для указания на «область согласия» или для того, чтобы сформулировать возражение. Так, среди «конструкций с инфинитивным эхом» (термин из работы [Paillard, Плунгян 1993]) конструкции вида V_{inf}+(*то*)+V_{fin} задают «область согласия», тогда как конструкции с отрицанием (вида V_{inf}+*не*+V_{fin}) указывают на «несогласие»[10]. Каждая из этих конструкций может находиться как в правой, так и в левой части фразеосхемы. В соответствии с этим мы имеем следующие разновидности «уступительно-противительных фразеосхем»: (1) V_{inf}+(*то*)+V_{fin}, *а/но/да...*; (2) ..., *но* V_{inf}+V_{fin}; (3) V_{inf}+*не*+V_{fin}, *а/но/да...*; (4) ..., *а/но* V_{inf}+*не*+V_{fin}.

Схема (1) в наибольшей степени соответствует тактике *Да, но...* В левой части задается «область согласия» — говорящий указывает на то, что ситуация, обозначаемая посредством V, не является предметом спора, а в правой части делается оговорка, сводящая на нет возможные выводы из первой части и одновременно уточняющая «область согласия», как в известном анекдоте, в котором на недоуменный вопрос: *Неужели он вправду столько съест?* — следует ответ: *Съесть-то он съест, да кто ж ему даст* — первая часть указывает на то, что способность слона съесть такое количество пищи не подвергается говорящим сомнению, тогда как вторая уточняет, что речь идет лишь о возможности, но не о ее реализации. Ср. также такие примеры, как *Нашуметь нашумели, а дела не сделали; Знать-то он знает, да не говорит; Понимать я понимаю, а вот объяснить дельно не сумею* (Тихий Дон)[11]; *Пить-то пьет ..., а ум не пропивает* (Ю.Домбровский) и т.п. Как отмечено, в частности, в работе [Шмелев 1960], ту же функцию имеют фразеосхемы, построенные по типу А+*то*+А, *но/только* ... с повтором имени, наречия и т.д.: *Мал-то мал, да удал; А мне можно будет с вами идти? — Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить* (Л.Толстой); *Красив-то красив, только слишком развязен* (А.Н.Толстой); *Хорошо-то хорошо, но не выразительно* (М.Козаков) и т.д.

При инверсии первой и второй части мы имеем дело с типом (2). Если функция схемы (1) — выразить несогласие, несмотря на наличие «области согласия», то схема (2) выражает общее согласие, несмотря на сделанную оговорку. Типичный пример: *Ничего не обещаю, но попытаться попытаюсь;* ср. *Хоть и не надеюсь, а попробовать для тебя попробую* (Лесков).

Схема (3) выражает несогласие с слишком сильным утверждением V; в то же время говорящий выражает готовность согласиться с более слабым утверждением, выраженным во второй части: *Успокоить не успокоила, а все-таки развлекла, развеселила немного* (Островский). Иногда эта схема соединяется со схемою (2) в единое целое: *Читать ее статью я не читал, а посмотреть посмотрел.* Тогда назначение схемы состоит в том, чтобы указать, что несогласие с более сильным утверждением представляет собою не более чем оговорку к более слабому утверждению, составляющему «область согласия».

Схема (4) представляет собою инверсию схемы (3). Ее значение — то, о чем говорится в первой части, могло бы имплицировать наличие ситуации, обозначаемой посредством V; однако, подтверждая истинность первой части, говорящий отвергает истинность V: ср. *Иной раз замахнется палкой, но бить не бьет* (Чехов)[12]. Возможно соединение схемы (4) со схемою (1): *Посмотреть я ее статью посмотрел, а читать не читал; Нарожать нарожала, а научить не научила; Терять — терял, а находить — не находил* (Островский); *Взять венок от вас возьму, но надеть на голову — не надену* (Гоголь).

Фразеосхе́ма вида N_{nom}+(*то*)+N_{instr}, *а/но/да* ... выражает несколько иной вид «уступительно-противительного» значения. Назначение схемы — указать на то, что ситуация, обозначаемая посредством N, не релевантна для обсуждения того, о чем говорится во второй части. Характерные примеры: *Настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы* (А.Н.Толстой); *Связи связями, но надо и совесть иметь* (Шварц). Часто соответствующие высказывания имеют «симметричное» строение — $N1_{nom}$+(*то*)+$N1_{instr}$, *а/но/да* $N2_{nom}$+(*то*)+$N2_{instr}$ (см. [Шмелев 1960: 53]), и тогда высказывание как бы призывает не смешивать соображения, относящиеся к N1 и N2: *Дружба дружбой, а служба службой; Лес лесом, а бес бесом; Геройство геройством, а танки танками* (В.Некрасов) и т.д. Как правило, в высказываниях такого рода вторая часть подается как тимиологически более значимая. Ср., впрочем: *Правда правдой остается, а молва себе — молвой* (Твардовский) — пример препозиции тимиологически более значимого фрагмента с опорою на лексику. Возможно, более адекватным выражением соответствующего смысла было бы что-то вроде: *Молва молвой, а правда остается* (*останется*) *правдой.* И, наконец, возможны случаи, когда «не устанавливается иерархия сопоставляемых ситуаций» [Николина

1993: 179], напр.: *Конечно — песня песнею, а веревка веревкой. Одно другому не мешает* (Пушкин).

Внутренняя форма рассмотренных и других «уступительно-противительных фразеосхем» оказывается мотивированной. Так, инфинитив как нельзя более подходит на роль «введения в рассмотрение» именно в силу своей непредикативности. Ср., напр.: *Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно.* Аналогичную роль могут выполнять и именные (номинативные) формы. Напр., инфинитив *любить* в цитированном тексте коррелирует с именительным падежом существительного *желанья* (*Желанья? Что пользы напрасно и вечно желать* ...). Роль частицы *-то* была («гениально», по выражению Н.А.Николиной) подмечена еще К.С.Аксаковым и с тех пор не раз привлекала внимание исследователей. Упомянем также толкование, которое А.Н.Гвоздев [1955: 284] дал конструкциям с «инфинитивным эхом», — значение конструкции последовательно выводилось из значения составляющих компонентов. В этом смысле подтверждается мысль о том, что национальная специфичность языковых категорий не исключает семантической (или даже онтологической) мотивированности последних.

В то же время, как и в случае лексических фразеологизмов, семантическая мотивированность фразеологического значения не ставит фразеосхемы в один ряд со свободными синтаксическими конструкциями. В отличие от свободных конструкций, значение фразеосхемы может быть о б ъ я с н е н о на основе значения входящих в конструкцию форм, но едва ли может быть п р е д с к а з а н о. Отметим также, что конституирующим свойством фразеосхем является не столько застывшее синтаксическое строение, сколько идиоматичная интерпретация и «связанная» сочетаемость. В частности, «уступительно-противительные» конструкции, которые предполагают последующее возражение, ограничивающее или сводящее на нет непосредственно выраженное в них «согласие», должны быть отнесены к «связанным» синтаксическим конструкциям — наряду с «парадигматической» связанностью, подробно описанной в статье Д.Н.Шмелева [1960], у них имеют место «синтагматическая» и «деривационная» связанность. Напомним, что в соответствии с концепцией фразеологии, развитой в работах Д.Н.Шмелева [1964: 212-40; 1973: 259-73], для описания фразеологических значений существенны именно «парадигматическая», «синтагматическая» и «деривационная» связанность, причем «деривационная» связанность считается решающим признаком.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. используемые в статье [Булыгина, Шмелев 1987] понятия «рассматриваемая ситуация» и «предмет интереса». В ситуации диалога обсуждаемая ситуация, как правило, соответствует содержанию предшествующей реплики.

[2] Кроме того, можно упомянуть некоторые специальные случаи: согласие с только что сделанным предложением (*А действительно, почему бы нам не пойти в кино?; А действительно, стоит попытаться*), случаи, когда рассматриваемая ситуация представляет собою условие или следствие сделанного вопроса (тогда выражается солидарность со спрашивающим: *Через пять-восемь лет на поля района придет днепровская вода. Кто ее будет встречать? Действительно, кто?*).

[3] Кроме того, там выделяется и третья «модификация» — «Подлинное и мнимое», иллюстрируемая примерами типа *Только человек созидающий является действительно личностью.* Представляется, однако, что указанные случаи представляют собою употребления не «дискурсивного слова» *действительно,* а другой единицы — маркера оппозиции «истинность — ложность» некоторой характеристики (об этой оппозиции и ее маркерах см., в частности, [Крейдлин 1993]), т.е. «в значении параметра Ver (истинная номинация)» [Кодзасов 1993: 193]. Соответствующий тип употреблений подробно описан в книге [Яковлева 1994].

[4] Использование выражения *на самом деле* для «опровержения» отмечается в целом ряде работ (ср., напр., формулировку из [Баранов 1993: 101]: (*действительно* и *в самом деле* используются в контекстах подтверждения некоторого высказывания, тогда как *в действительности* и *на самом деле* могут выступать в контекстах опровержения»).

[5] Отметим, что «снятие сомнений» и «согласие с оговорками» различаются интонационно. При «снятии сомнений» имеет место акцентное выделение слова *действительно,* тогда как описание «области согласия» безударно. И это естественно: ведь в рассматриваемом случае «область согласия» соответствует «обсуждаемой ситуации». В то же время при выражении «согласия с оговорками» описание «области согласия» оказывается акцентно выделенным, поскольку именно оно составляет существо сообщения.

[6] Впрочем, не случайно, что, как отметила Н.Д.Арутюнова [1990: 177], в такого рода конструкциях особенно часто используются слова со значением подтверждения (*правда-то оно правда, верно-то верно, так-то оно так, правильно-то правильно,* ср.: *Разве это не правда? — Правда-то правда, да не вся*).

[7] Примеры из работы [Шмелев 1960: 53].

[8] Пример из работы [Николина 1993: 169].

[9] Ср. также похожий пример из Некрасова: *А, слышь, бить — так почти не бивал, разве только под пьяную руку.* Конечно, в этом примере, как и в примере из Достоевского, в каком-то смысле делается «оговорка» (*разве только...*), однако это не полемическая оговорка, а простое уточнение мысли, которое к тому же не является конструктивно и прагматически обязательным.

[10] Напомним, что конструкции вида V_{inf}+*не*+V_{fin} могут употребляться и вне «уступительно-противительных фразеосхем».

[11] Пример из работы [Шмелев 1960: 51].

[12] Пример из работы [Шмелев 1960: 52].

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю.Д. Перформативы в грамматике и словаре // Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз. — 1986. — № 3.

Арутюнова Н.Д. Феномен второй реплики, или о пользе спора // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. — М., 1988.

Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. — М.: Помовский и партнеры, 1993.

Буглак С.И. В самом деле или на самом деле? // Русская речь. — 1994. — № 2.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. О семантике частиц *разве* и *неужели* // НТИ. Сер. 2. — 1987. — № 10.

Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. — М.: Учпедгиз, 1955.

Кодзасов С.В. Интонация предложений с дискурсными словами. Группы: *едва, действительно, вообще, совсем, прямо* // Баранов и др. 1993.

Крейдлин Г.Е. Таксономия и аксиология в языке и тексте: (Предложения таксономической характеризации) // Логический анализ языка. Ментальные действия. — М., 1993.

Николина Н.А. Сложные предложения фразеологизированной структуры с повтором компонентов в первой части // Многоаспектность синтаксических единиц. — М.: Прометей, 1993.

Paillard D., Плунгян В.А. Об одном типе конструкций с повтором глагола в русском языке // Russian linguistics. — 1993. — Vol. 17.

ЧФЯ — Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. — М.: Наука, 1992.

Шведова Н.Ю. О некоторых типах фразеологизованных конструкций в строе русской разговорной речи // Вопросы языкознания. — 1958. — № 2.

Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. — М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Шмелев Д.Н. О «связанных» синтаксических конструкциях в русском языке // Вопросы языкознания. — 1960. — № 5.

Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. — М.: Просвещение, 1964.

Шмелев Д.Н. Проблемы синтаксического анализа лексики. — М.: Наука, 1973.

Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). — М.: Гнозис, 1994.

Г.А.Золотова

О СВЯЗАННЫХ МОДЕЛЯХ РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье обсуждаются

а) принципы систематизации моделей русского предложения;

б) теоретические и практические аспекты понятия синтаксической парадигмы, ее роли в организации системы моделей.

Тема статьи навеяна работой Д.Н.Шмелева [Шмелев, 1960]. Впервые я увидела и услышала Дмитрия Николаевича именно тогда, когда он делал доклад о «связанных» синтаксических конструкциях.

Разграничение свободных и связанных языковых единиц — один из весьма эффективных исследовательских приемов современной лингвистики. Свободные и связанные единицы в самом общем смысле характеризуются в первом случае наличием полного набора некоторых свойств и во втором — неполнотой соответствующих свойств, проявления которых ограничены определенными условиями. В американской лингвистике, например, Блумфилд, Найда различали свободные и связанные морфемы. В.В.Виноградовым выявлены тип связанных фразеологических единиц и связанное значение слова. В статье о синтаксических взглядах А.Х.Востокова он заметил на основе Востоковских наблюдений различие между свободными и связанными предложно-падежными формами; он размежевал свободные и связанные функции глагольных форм наклонения.

Д.Н.Шмелев назвал связанными синтаксические конструкции фразеологического типа, фразеосхемы, с определенными ограничениями в грамматических формах компонентов, порядке слов, интонации, а также в коммуникативных функциях.

Включив свою тему в контекст мировой лингвистической мысли, Д.Н. все же исходил больше из собственных наблюдений и размышлений над явлениями русского языка. В его работах, в его выступлениях, разговорах всегда привлекало его любовное и аналитическое отношение к русскому языку, его статьи и книги насыщены великолепными, коллекционными примерами из русской прозы и поэзии, из устной речи. Д.Н. не был прямым учеником В.В.Виноградова, но их сближало, как прекрасных знатоков и ценителей русской речи, отношение к объекту изучения, умение видеть в языке не столько то, что написали о

нем другие, сколько то, что еще не увидели другие. Любовь к языку — не последний источник его изящной манеры мыслить, остроумия, обаяния в общении. Эту же любовь и зоркость к языковому материалу как к основе исследований я вижу и ценю в лингвистической семье Д.Н.

Предметом моей статьи будут другие конструкции (нежели те, что рассматривались в указанной работе Д.Н.Шмелева); по ходу анализа прояснятся основания называть их связанными.

Одно из таких оснований — их отношение к парадигме предложения. Напомню, что идея перенести из морфологии в синтаксис понятие парадигмы для упорядочения и экономизации синтаксического описания была высказана на конференции в МГУ Е.А.Седельниковым [Седельников, 1961]. На этой идее была построена затем типология простого предложения в академической Грамматике-70. Был установлен образец полной парадигмы из 8 форм предложения, реализующих частные значения времени и модальности, и в арифметическом порядке по убывающей расположены разные виды предложений с неполной парадигмой от 7-членной до одночленной. Сама идея синтаксической парадигмы чрезвычайно плодотворна, но не в таком механическом исполнении. Естественно, возникают вопросы: почему такая пестрота в количестве членов парадигмы, какими свойствами предложения это определяется, как это связано с его семантико-синтаксическим строем? Какие последствия могут иметь такие различия для выявления системных отношений между типами предложений? Эти вопросы в Грамматиках не поднимались, но заслуживают рассмотрения.

Обратимся к примерам.

Сопоставим ряд моделей предложения, похожих по морфологическому оформлению:

I. (1) *Деревня — за рекой, Аптека — за углом, Нож — за голенищем;*

(2) *Татьяна в лес, медведь за нею; Собака за зайцем, а заяц — за волей;*

(3) *Мы — за дочкой, Машина — за доктором, Очередь — за хлебом;*

(4) *Вы вперед, а я за вами.*

Предложения (2, 3, 4) противостоят (1) по отсутствию — наличию грамматической парадигмы. Заметим, что типовым значением (1) является сообщение о местоположении предмета, о статическом локативном признаке. В (2, 3, 4) типовое значение связано с динамикой, движением, в пространстве или во времени.

Где динамика, процесс, там не может не быть времени, движения нет вне времени. И действительно, вдумаемся: *Медведь за Татьяной, Собака за зайцем* — это либо ингрессивная фаза, начало движения, либо продолжение, процессуальный имперфектив. Предложения *Мы за дочкой, Машина за доктором* — скорее, произносятся в конечной фазе движения, в перфективной функции (*Вот мы здесь, чтобы забрать*

дочку; Машина стоит во дворе, чтобы отвезти доктора); *Я за вами* в смысле последовательности движения относит действие в будущее.

Все эти передвижения субъектов и видо-временные характеристики их действий могут быть более эксплицитно названы, и называются, соответствующими глагольными формами (допустим, *Собака мчится, бежит за зайцем, Я войду за вами, Машина пришла за доктором* и под.). Но все эти предложения утрачивают экспрессию лаконизма, энергичности движения или приступа к нему.

Очевидно, что предложения (2, 3, 4), сохраняя структурно-смысловую соотносительность с соответствующей глагольной моделью, отличаются регулярным смысловым, фазисно-экспрессивным приращением.

Если изосемические модели с глагольным предикатом, сообщающие о действии, и модели с локативным предикатом, сообщающие о местонахождении, находятся в ядре, или в центре, синтаксической системы, то неизосемические модели, сообщающие о действии без глагола, и при этом со смысловым довеском, принадлежат периферийным слоям системы, где располагаются экспрессивные и фазисные модификации основных моделей. Большинство моделей с неполной или дефектной парадигмой — как раз периферийные.

Отсутствие или неполнота грамматической парадигмы у подобных предложений объясняется тем, что и движение и время в них выражены, но не глагольными средствами, а конструктивно-синтаксическим способом [Виноградов, 1954, 82].

В другой группе, тоже похожих предложений, — иная картина:

II. (1) *За невестой большое приданое; И подлинно, весь город знает, Что у него ни за собой, Ни за женой* (Крылов);

(2) *За ним должок, За тобой две книги; За мной и так недоимка* (Тургенев);

(3) *За ним грешки, За ней странности, За плечами опыт; Водились и за ним многие предрассудки и предубеждения* (Тургенев).

Прежде всего заметим структурные различия. Если в группе I субъект-носитель признака выражен был синтаксемой именит. падежа, а признак — синтаксемой *за+ Твор. пад.*, чаще от предметного имени, реже от отвлеченного (*заяц — за волей*), здесь синтаксемой *за кем* назван субъект, соответственно занимающий и препозицию, а именительным — предикативный признак: в (1) материализованный, в (2) тоже материализованный, но как бы со знаком минус, в (3) как свойство характера, натуры.

В этой группе моделей в синтаксеме *за+Твор. пад.* сохраняется значение как бы пространственного и временного следования: и приданое, и долги, и странности сопровождают субъекта, как шлейф платья. Приданое следует за невестой с момента перемены жизни, а независимо от этого момента, скорее, говорилось: *Большое приданое у **Маши**, а не у **Зины**.* И большое приданое, и недоимка, и грешки — это все со-

стоявшиеся, перфективные признаки субъекта. Если в повествовательном тексте эти сообщения переносятся в план прошедшего времени, то сами признаки приходят как бы из Plusquamperfekt'a. А если их проецировать в будущее, то, вероятнее, сообщение обойдется без синтаксемы *за+Твор. пад.*: ***У него** будут и долги, и грешки* и т.п.

Ощутим в этих предложениях и особый модальный долженствовательный оттенок, связанный с соблюдением финансовых и этических установлений, обычаев, норм. Не выраженный специальными средствами, он заключен в самой модели. Д.Н.Шмелев писал, что свободные синтаксические конструкции не содержат какой-либо специальной модальной характеристики.

Квалификации субъекта, представляющие оценку, мнение, допускают усложнение конструкции модусным, авторизующим элементом: [Нароков:] ***Вы не признаете** за собой красоты? Нет, вы красавица* (Островский); ***Никто не отрицал** за ним огромного опыта работы* (Залыгин).

Рассмотрим III группу моделей:

III. (1) *Слово за президентом, Выбор за вами, Решение — за судом; Выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет* (Пушкин); *Но первая песня — за нищим, Но первая — за гондольером* (Н.Матвеева); *Ход за мной. Что делать? Надо, Сева!* (В.Высоцкий);

(2) *Победа за нами; Но фермеры уверены, что будущее за ними* (Известия, 1992); *Победа будет за теми, кто строит жизнь* (А.Н.Толстой).

Здесь в модели (1) интересно, что субъектный компонент *за+Твор. пад.* стоит в постпозиции; на первом месте именной предикат в именительном со значением действия, но действия предстоящего, ожидаемого и решающего для данной ситуации. Постпозиция субъекта — рематическая; даже когда в условиях контекста порядок слов изменяется, логическое ударение остается на субъектном компоненте (*А теперь **за тобой** очередь, Яша.* — Тургенев, Певцы): это именно названному лицу предстоит осуществить ответственное действие, согласно его роли, статусу, регламенту, предшествующей договоренности, какой-то обусловленности.

Очевидна модально-темпоральная и экспрессивная нагрузка этой модели. Констатация должествования граничит подчас с призывом, побуждением (*Решение за президентом ~ Президент **должен** принять решение ~ Пусть президент **решит**!*).

Трактовка академической Грамматикой-80 примеров *Слово — ветеранам* и *Слово — за ветеранами* как синонимов (II т., с. 431) недостаточно убедительна: в первом предложении сообщается о наступившей очереди ветеранов говорить, а во втором — об ожидаемых от них решительных действиях.

Что касается модели (2), то слово *победа* оценивает ситуацию, а оценка предполагает некоторую временную дистанцию. Победа — это

перфективное подведение итогов единоборства, битвы, состязания, поэтому темпоральный признак и здесь содержится в конструкции, даже если констатация результата с уверенностью проецируется в будущее. А памятное из текстов военного времени использование одной из форм парадигмы *Победа будет за нами* с ударением на *будет* имело суггестивный, призывный смысл.

Мы пронаблюдали 9 моделей предложений, организующие компоненты которых обладают сходством в (предложно-) падежном оформлении, но различаются по функциям и значениям. Их сходства и различия иллюстрируют омонимичность синтаксем как исходного материала для предложений, и отсюда — различия самих моделей. Ср. еще пример с лексическим совпадением в омонимических моделях: *Владивосток. По-прежнему самые большие очереди — за хлебом* (из газ. 1991 г.) и Пушкинское: *...И мнится, Очередь за мной, Зовет меня мой Дельвиг милый.*

Бесспорной заслугой всех трех академических Грамматик, начиная с 1954 г., было признание полноправности безглагольных предложений, особенно с формами косвенных падежей в предикате, вопреки оживившимся вербоцентрическим концепциям, развенчанным еще в XIX веке. К сожалению, сведя разнообразные предложно-падежные формы имен к единственной несуществующей «форме косвенного падежа», Грамматика закрыла себе путь к их дифференцированному анализу и высказала недостоверное утверждение о восьмичленной парадигме предложений со сказуемым — косвенным падежом имени (§2373 Гр.-80) и о регулярных их реализациях с полузнаменательными глаголами и сравнительными союзами.

Выявление же парадигматических ограничений в грамматических формах моделей позволяет поставить вопрос и об их причинах. По-видимому, те значения времени и модальности, которые обнаруживаются в рассмотренных предложениях не через морфологию глагола, а конструктивно-синтаксическим способом, и делают ненужными, избыточными соответствующие формы в грамматической парадигме предложений. Эта особенность, при своеобразии в структуре и значениях, и соответственно в коммуникативных функциях, каждой из представленных моделей, и дает основание считать их **связанными** синтаксическими конструкциями. Что, в свою очередь, способствует упорядочению системных отношений между моделями, поскольку связанным моделям свойственно занимать периферийное место в системе по отношению к центральным, свободным типам конструкций.

Рамки статьи позволяют представить поднятую проблему лишь на узком материале. Между тем связанных моделей в русском синтаксисе немало, и здесь можно только бегло показать еще некоторые структуры.

Аналогичные факторы обусловливают периферийную позицию, отсутствие или неполноту грамматической парадигмы при синоними-

ческих отношениях с центральной, свободной моделью таких связанных моделей, как *Мать в слезы, Бабы в голос, Дети в крик, в пляс; Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет* (М.Горький). Фазисное значение резкого или неожиданного приступа к действию либо перехода в новое состояние, как реакция на предшествующий стимул, энергичная экспрессивность закрепляет эти модели на одной из парадигматических осей, и грамматических (ср.: *Мать заплакала, Дети закричали, начали, стали кричать*) и функционально-коммуникативных: для действия это аористивная функция, для состояния (*в обиду*) перфективная.

Модальный элемент, содержащийся в конструкции, также ограничивает парадигматические возможности моделей: *Вам выходить!; Не догнать тебе бешеной тройки* (Некрасов); *Зверю — берлога, Страннику — дорога, Мертвому — дроги, Каждому — свое* (М.Цветаева); *У птиц — гнездо, у зверя — темный лог, А посох — нам и нищенства заветы* (М.Волошин).

Темпоральные парадигматические ограничения заложены в семантико-синтаксической структуре таких предложений, как *Он — с поезда, Они — из Дагестана, Жестянка — от патронов, Бутылка — из-под масла,* где предикативный признак связан с прошлым, и в других, прогностическое значение которых обращено в будущее: *Впереди — ночь, Завтра — экзамен; А на очереди — новый кооперативный дом; Показатель этот пока в проекте; Эксперимент лишь в начале пути.*

Развивается и пополняется ряд синтаксем, предикативно представляющих процесс, состояние в одной из его фаз: *в становленье, в развитии, в движении, в расцвете, в росте, в разгаре, на подъеме, на переломе, в упадке, в тупике* и под.: лексико-семантические средства обогащают, а иногда замещают возможности выражения грамматических, фазисных значений. Идет живой процесс взаимодействия лексики и грамматики, к которому так чуток был в своих работах Д.Н.Шмелев.

Это взаимодействие создает все новые синонимические ресурсы, из которых говорящий-пишущий, в соответствии с коммуникативными условиями и намерениями, избирает либо более строгие в смысле грамматических характеристик конструкции, либо более выразительные, экспрессивно-лаконичные, может быть, с неэксплицированными парадигматическими значениями.

Итак, наблюдения, как можно надеяться, показывают, что намеченная Д.Н.Шмелевым линия разграничения свободных и связанных конструкций в русском синтаксисе протягивается и в область нефразеологизованных типов моделей и дает пока предварительные теоретические и практические результаты как для систематизации предложений, так и для изучения грамматической синонимии и выразительных возможностей русского синтаксиса. Линия эта несомненно перспективна и ждет продолжения.

ЛИТЕРАТУРА

Шмелев Д.Н. О «связанных» синтаксических конструкциях в русском языке // Вопросы языкознания, 1960, № 5.
Виноградов В.В. Введение в синтаксис // Грамматика русского языка, т. II, ч. 1, М. 1954.
Седельников Е.А. Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений // Филологические науки, 1961, № 3.
Грамматика современного русского литературного языка, М. 1970.
Русская грамматика, т. II, М. 1980.
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, М. 1982.

О. А. Лаптева

К ОБСУЖДЕНИЮ ТЕОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И МОДЕЛИРОВАНИЮ ЕГО СТРУКТУРЫ

1. В работе 1977 года Д.Н.Шмелев [Шмелев 1977] вслед за своим учителем В.В.Виноградовым обратился к моделированию структуры и состава современного русского литературного языка в его целостности. До него в русистике кру́гом возникающих при этом вопросов занимались преимущественно представители так называемой функциональной стилистики, предметом основного внимания которой были дискретно выделяемые и понимаемые функциональные стили — единицы членения литературного языка (в его письменном воплощении), а аспектом изучения — атомарный подход к выявлению экстралингвистических и языковых особенностей этих единиц.

Работа Д.Н.Шмелева знаменовала наступление нового этапа, ведущим признаком которого стало внимание не только к дифференцирующим, но и к интегрирующим признакам членения литературного языка. Возникает и разрабатывается идея недискретности зон членения литературного языка, осознается необходимость оценки факторов членения с позиций целостности литературного языка, обращается внимание на их неоднородность и отсутствие во многих случаях их специальной прикрепленности к тому или иному стилю (это касается как экстралингвистических, так и лингвистических факторов). Самый термин «функциональный стиль» перестает быть единственной манифестацией идеи функциональности, тем более что он не смог адекватно приспособиться к новым (60-е–70-е годы) исследованиям реально звучащей русской разговорной и вообще устной литературной речи в ее спонтанном проявлении.

Бремя этой задачи возложил на себя Дмитрий Николаевич. Он первым учел в своих построениях результаты изучения русской разговорной речи и теоретические аспекты изучения устной публичной речи (фронтальное исследование материала только начиналось в это время, а соответствующие публикации в силу внешних причин опоздали на 10-15 лет и не завершены до сих пор). Автору этих строк в свое время пришлось подробно проанализировать воззрения книги Д.Н.Шмелева [Лаптева 1979]. Здесь отме́тим лишь, что ему мешала необходимость

оперирования понятиями и терминами функциональной стилистики, которые своей атомарной сущностью и выраженной экстралингвистической направленностью создавали противоречие между его видением устройства русского литературного языка и современными ему представлениями.

И тем не менее результат его исследования оказался способным лечь в основу последующих воззрений и даже вобрать в себя более поздние данные. Это стало возможным благодаря плодотворности центральной идеи книги о выделении трех укрупненных типов современного русского литературного языка (в книге это делается при детальном описании характера употребления категории лица — и авторства — в тексте, что позволяет обратить теорию литературного языка к проблеме соотношения языка и речи, системности и функциональности). Это устно-разговорный, художественный и специальный типы, которые различаются как основным способом организации языковых средств, так и — в какой-то мере — самим набором этих средств. Постулируемые типы в силу своей укрупненности демонстрируют свою оппозиционность (пусть пока еще не бинарную), вбирая в себя более мелкие и менее противопоставленные функциональные стили.

К нашему времени задачи теории русского литературного языка видятся как ее призвание ответить по меньшей мере на три круга еще не решенных (или решенных не до «конца») вопросов:

1. Какова иерархия факторов выделения разновидностей?

2. Какова соотнесенность и сопоставимость устной и письменной литературной речи в общем членении литературного языка?

3. Каким требованиям должна удовлетворять единица членения? Каково само количество разновидностей (оно должно быть оправданным всеми факторами членения) и каков характер их оппозиций?

Из этого перечня явствует, что теория русского литературного языка предстает как наука комплексная, интегрирующая, способная опираться на положения не только русистики, но и общего языкознания. Эти положения относятся прежде всего к теории языковых функций и функционирующего языка, теории соотношения языка и речи, парадигматики и синтагматики, теории текста и речевых регистров, теории триады «система — норма — узус», теории соотношения зон убывания и нарастания признаков и характера пограничных явлений (здесь вспоминается мысль Л.В.Щербы о том, что промежуточные, переходные полосы — самые интересные для понимания языковой структуры) и вопроса о полевой структуре языкового явления и категории, теории механизма языкового изменения, теории соотношения языковых и общественных явлений. Список этот открытый.

Основная трудность разработки первого круга проблем связана с очевидной разнородностью факторов членения русского литературного языка на разновидности, сопровождающейся тем об-

стоятельством, что единицы членения могут быть более или менее крупными, поскольку свой характер отбора и организации языковых средств присущ не только крупной единице с выраженными оппозиональными свойствами, но и вообще любой вплоть до мелкого жанра и даже отдельного текста. Это связано с соотношением в любом тексте свободы и автоматизма в употреблении языкового средства: автоматизм подчиняется нормам организации текста в зависимости от его принадлежности к крупной и более мелкой единице членения, свобода выражает индивидуальность речи, которая присутствует в любом тексте, но в разной степени (так, свобода в деловом или научном тексте может редуцироваться до нуля, но может и присутствовать, свобода же в художественном тексте только одна и может создать писателя, который по определению должен быть глубоко индивидуален). Автоматизм всегда тяготеет к языковой системности и нормативности, свобода — к индивидуальному речепроизводству. Поскольку в тексте они сосуществуют, он оказывается двуединым: в нем воплощены языковые и речевые качества. Квинтэссенция воззрений о соотношении языка и речи, изложенная Б.А.Серебренниковым (Серебренников 1970: 85 и сл.), оказывается, таким образом, фундаментальным положением теории литературного языка. В.М.Лейчик как-то заметил между прочим, что соссюровская дихотомия «язык-речь» с развитием языкознания все более смещается. Это, однако, в функциональной стилистике оставляется без внимания.

Неудовлетворенность теорией функциональных стилей вызывает и то, что в ней понимание функциональности речи не соотносится с понятием языковой функции. Функциональная направленность речи понимается здесь очень близко к ее тематической характеристике. Если же вернуться к основным, исходным языковым функциям, о которых писал и В.В.Виноградов применительно к устройству литературного языка, — информативной, коммуникативной и воздействия (другие лингвисты, например, Р.О.Якобсон говорят о значительно большем числе функций), то окажется, что эту теорию следует специально ориентировать на характер дифференциации литературного языка, иначе она никак не работает при вычленении его разновидностей. По крайней мере надо бы условиться относительно того, есть ли коммуникация без информации и наоборот или воздействие без прямого контакта, так же как и коммуникация без него (например, в публицистической речи и вообще при чтении). В методике обучения иностранным языкам, именуемой коммуникативной, любой вид речевой деятельности (говорение, письмо, слушание, чтение) считается выражением коммуникации. Но в этом случае говорить об оппозициях не приходится.

Тематическая же характеристика речи как бы задается в функциональной стилистике как изначальная основа членения (и соответственно выделяются научный, деловой, публицистический, художественный

и разговорный «стили речи» — а почему не языка? — *О.Л.*), однако на отбор и организацию языковых средств она влияет далеко не стопроцентно. В научных и деловых текстах, а также в текстах юридических и официальных газетных используется практически один и тот же набор языковых средств, составляющих книжную речь, что и позволило Д.Н.Шмелеву применить к ним общий термин «специальная речь».

Теория языковых (речевых) регистров, которую использовал и Д.Н.Шмелев (скорее интуитивно-исследовательски), позволяет определить собственно стилистическую характеристику речи (М.В.Всеволодова в своей книге «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса», еще не вышедшей из печати, на стр. 522 вслед за Г.А.Золотовой дает хорошую их схему): информативный (информативно-повествовательный, информативно-описательный, информативно-логический), изобразительный (изобразительно-повествовательный, изобразительно-описательный) и генеративный (оценочно-квалифицирующий, обобщающе-логический), а также волюнтативный (просьба, приказ, инструкция) регистры. Ясно, что это очень близко к трем типам русского литературного языка по Д.Н.Шмелеву (специальный, художественный и устно-разговорный типы). При этом регистры хотя и выделяются достаточно четко, однако проницаемы, и, например, даже в информативном регистре научного способа изложения заметны признаки иных регистров [Макеева 1995]. Стилистический момент в речевых регистрах прослеживается в противопоставлении книжности и разговорности (бинарном), хотя третий член осложняет четкость картины.

Тем не менее бинарная четкость проявляется вновь при обращении к форме речи — письменной (которая хотя и не первична в истории возникновения речи, однако в своей нормативности эталонна) и устной. Их различие сказывается на всех уровнях языка в его устройстве и организации, однако наиболее ярко выражено в синтаксисе (и отчасти в фонетике), где наблюдаются принципиально разные способы организации речевой последовательности. Они связаны прежде всего со свойством спонтанности / подготовленности речи. При этом обеим формам речи присущ диалогический или монологический вид (термин О.Б.Сиротининой), который также влияет на характер используемых языковых средств.

Воздействие социальной обусловленности речи в большей мере сказывается в сфере устной речи, поскольку письменная строго регламентируется нормой. Ф. де Соссюр, различавший внутреннюю и внешнюю лингвистику вслед за противопоставлением Дюркгеймом внутренней (люди) и внешней (среда) среды общества, предвосхитил в этом смысле последующие социолингвистические исследования, опирающиеся на материалы устной речи. Он в полной мере понимал значение и социальных, и индивидуально-речевых факторов (ср. его разграничение понятий «parole» и «langage»: первое — динамическая

система, отражение статичной системы «langue», второе — речевая деятельность, в которой манифестируются обе — и статическая, и динамическая системы), хотя это и может нарушить столь любимую им бинарную стройность языковых отношений.

Эта суммарная характеристика факторов членения русского литературного языка ведет к установлении некоторой их иерархии по значимости, степени их релевантности для членения. Однако к ней лучше вернуться после рассмотрения следующего корпуса вопросов.

Со в т о р ы м к р у г о м п р о б л е м — как соотнесена и сопоставима ли устная литературная речь с письменной и как она участвует в членении литературного языка — связано наиболее ощутимое отставание функциональной стилистики, которая и после получения русистикой данных об особом статусе разговорной речи на протяжении последних трех десятилетий эти вопросы оставила без внимания. О том, что разговорная речь не обнаруживает ведущих признаков стиля, заявили лишь сами «разговорники». Между тем уже само введение ее в круг составляющих литературного языка наталкивается на большие трудности: традиционно в русистике литературным языком считались лишь его письменные манифестации, поскольку в устных сильны отклонения от литературной нормы.

Такие отклонения, однако, не должны затемнять того факта, что общелитературная норма действует и в разговорной и вообще в устной литературной речи, но не связывает ее всецело, как письменную, поскольку наряду с этой нормой есть и та, которая свойственна всей устной литературной речи (устно-литературная норма), и та, которая свойственна разговорной речи в ее составе (разговорная норма). Эти две последние нормы чужды письменной литературной речи.

Здесь необходимо отметить особую роль узуса в устной литературной и устно-разговорной норме. В этой норме нет критерия освящения авторитетами, как в письменно-литературной. В ее закреплении особое значение приобретает факт массовой и регулярной воспроизводимости языкового явления, который становится базой формирования языковых (системных) изменений. В этом — двуединство сущности узуса: в синхронии он неисчислимой суммой речеупотребления укрепляет языковую систему, а в диахронии накоплением выходящих за ее рамки явлений расшатывает ее. Это же относится и к устной норме, которую можно считать узуальной.

Вопрос сопоставимости устно-разговорного и книжно-письменного типов литературного языка (и речи) при всей разнородности их норм (отметим еще линию «консервативность / динамизм») облегчается по крайней мере двумя моментами: а) наличием общего для обоих типов пласта языковых средств и соответственно норм и б) существованием наряду с устно-литературной нормой (или, у́же, устно-разговорной) нормы письменно-литературной (или, у́же, книжно-письменной), областью сосредоточения которой является специальная

речь. Таким образом, в русском литературном языке существует три типа языковых средств и соответственно норм: противопоставленные устно-разговорный и книжно-письменный и объединяющий весь литературный язык в целом общелитературный. Иными словами, оппозициональные отношения охватывают далеко не весь корпус языковых явлений и осуществляются преимущественно в крайних (полярных, маргинальных) областях — устно-разговорной речи и речи специальной (прежде всего письменной научной и деловой). Срединные же области обнаруживают нечеткость, размытость границ и являются переходными зонами между зонами максимальной противопоставленности.

К сказанному следует добавить, что предусмотренные общелитературной языковой системой позиции различения признаков языковых явлений разных уровней в тексте, особенно устном, нередко становятся позициями нейтрализации. Возникает широкий спектр текстовых синтагматических двусмысленностей, что затушевывает однозначность отношения «форма — значение», усиливая асимметрический характер языкового знака. В речевой последовательности, и особенно в устно-речевом потоке, слабым звеном общелитературной нормы оказывается сочетаемость соседствующих синтагматически зависимых элементов. Нам уже пришлось сказать об этом явлении более подробно [Лаптева 1996; см. и интересный опыт в Борисова 1994], здесь же лишь заметим, что расширение возможностей возникновения позиций нейтрализации носит общелитературный характер и охватывает и устную, и письменную русскую литературную речь, однако обнаруживает односторонюю направленность нарастания интенсивности проявления от полюса специальной речи к полюсу устно-разговорному.

В свете сказанного ясно, что вопрос о существовании «внутристилевой» нормы, долгое время казавшемся несомненным плеяде наших «функциональных стилистов», и в их числе автору этих строк, предстает скорее как вопрос о более общем соотношении названных трех типов норм в континууме русского литературного языка, хотя более мелкие нормы, в том числе даже и жанровые, проявляют себя достаточно отчетливо. Дело, видимо, и в иерархии норм по их качественному характеру (принадлежащие разновидностям литературного языка или жанрово-композиционным объединениям). Как тут не вспомнить провидческие слова В.В.Виноградова о разных типах смешения и чередования разговорности и книжности, лежащих в основе членения русского литературного языка — правда, не сейчас, а в древности, но тем интереснее увидеть общность факторов членения литературного языка в его истории и современном состоянии.

На третий круг вопросов мы предложим возможный ответ во втором разделе этой статьи.

II. Релевантными для членения литературного языка можно считать лишь те признаки, которые функционируют как дифференциаль-

ные, то есть которые варьируются в пределах противопоставленной пары (бинарное соотношение) и не могут различать более чем две разновидности. Структура современного русского литературного языка реализуется в неограниченном множестве текстов разного композиционно-жанрового и языкового устройства, представляющем собой речевой план структурно-языковой схемы. В нем выражено двуединство литературного языка по признакам язык / речь. Ясно, что противопоставленность разновидностей может существовать лишь в собственно языковом плане, являющемся носителем языковых оппозиций. Наиболее глобальные из них выделяют разновидности литературного языка как единицы его членения. Наряду с ними могут выделяться и более мелкие и гораздо более многочисленные социально-закрепленные и социально-индивидуальные разновидности, в которых, как и в единицах членения языка, наблюдаются свои принципы отбора и организации языковых средств, однако оппозициональность признаков членения на разновидности гораздо менее заметна (их можно вслед за В.В.Виноградовым назвать стилями речи). Соотношение стилей языка и стилей речи напоминает соотношение структуры и системы языка [Кубрякова, Мельников 1972].

Иерархия выделяемых функциональными стилистами факторов членения литературного языка и других, не рассматриваемых ими, факторов с точки зрения их значимости (ценности) для организации противопоставленных бинарных соответствий не поддается представлению в виде нарастающей шкалы и скорее организуется как двухчастная: факторы, не обладающие оппозиционными свойствами, и факторы, обладающие ими.

Применение группы факторов, связанных с функциональным назначением текста и его тематикой, показывает, что они обладают большей различительной силой в книжно-письменном типе литературного языка (темы научные, деловые, социально-значимые, эстетически значимые) и меньшей — в устно-разговорном его типе (темы научные, социально-значимые, бытовые).

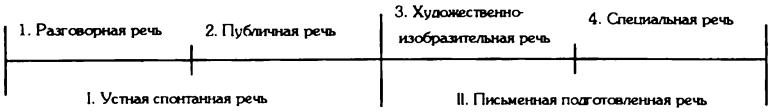
Группа факторов, связанных с социальной обусловленностью речи, ее задачами и экстралингвистическими характеристиками, не может рассматриваться как однородная — так, экстралингвистические характеристики в области письменной научной речи предстают в виде свойств мышления (логичность, точность, связность, последовательность, экономность и проч.), характерных одновременно и для деловой и официальной публицистической речи, и в виде не сопоставимых с ними ситуативных условий протекания речи в области устной литературной речи. Сюда же относится фактор учета свойств адресата — адресанта речи. Рассматривать их в качестве различительных признаков не приходится.

Фактор речевых регистров хотя и различает названные выше четыре способа организации текста, далеко не полностью соотносится с его

тематической направленностью и показывает противопоставленность изобразительного (преимущественно художественная, художественно-публицистическая, а также разговорная речь) информативному и генеративному (преимущественно специальная речь), а всех их трех вместе — волюнтативному.

Фактор вида речи (диалогического или монологического) может лишь в некоторых ее областях иметь значение преимущественного признака (хотя даже и в письменной научной речи М.Н.Кожина усматривает признаки диалогичности, и эта идея в последнее время стала влиятельной) и не способен вычленить разновидности литературного языка.

В отличие от этих групп факторы формы речи (устная или письменная) и способа ее осуществления как спонтанной, неподготовленной (устная) или подготовленной, проработанной (письменная) предполагают действие разных групп литературной нормы (в первом случае узуальных, некодифицированных, во втором — кодифицированных) и отбора языковых средств разных разрядов (в первом случае общелитературных, устно-литературных и устно-разговорных, во втором — общелитературных и книжно-письменных). Они обеспечивают бинарное членение литературного языка на два типа, основанных на противопоставлении устной спонтанной и письменной подготовленной речи. Преобладание изобразительного регистра в первом типе предопределяет усиленную глагольность, которая обнаруживает совсем иные свойства, нежели в письменном воплощении того же регистра в художественной речи. Если — весьма конъюнктурно! — включить во внутреннее членение этих типов факторы тематического ряда, то 4 из традиционно выделяемых функциональных стилей (научный, деловой, публицистический, художественный) войдут во второй тип литературного языка, а 5-й, разговорный, и устная речь публичного назначения и осуществления — в первый (с включением ситуативного фактора). Во втором типе, в свою очередь, при воздействии фактора речевого регистра происходит внутреннее бинарное членение на речь специальную (научная, деловая, официальные жанры публицистической) и художественно-изобразительную (художественная и «свободные» жанры публицистической). Тем самым тематическое деление приобретает сугубо вспомогательный характер, а бинарность членения предстает в удвоенном виде, поскольку каждый из его членов в свою очередь членится на две противопоставленные части. Изобразим это на схеме:



Сделаем некоторые пояснения.

1. Релевантность и оппозициональные свойства ряда традиционно выделяемых факторов (тема, функциональное назначение речи, экстралингвистические факторы) с введением в структурную схему устройства русского литературного языка устно-разговорной речи оказались значительно сниженными. Это произошло из-за двойственной природы РР, соединяющей в себе признаки разговорности, близкие к стилевым, и признак устности [Лаптева 1983]. Трудности охвата в пределах единого литературного языка его письменных и устных разновидностей усугубились проблемами квалификации устной публичной речи и вызвали до сих пор ведущуюся дискуссию (несмотря на появление 3-х из 4-х томов коллективной монографии «Современная русская устная научная речь») о ее статусе. Напомним главные постулаты этой дискуссии. Е.А.Земская и ее соавторы считают главным фактором, определяющим особенности устной литературной речи, не ее устность, а условия осуществления речи. Говорящий может в зависимости от них употреблять и РР, и кодифицированный литературный язык по своему выбору, и устная публичная речь близка к нему. Именно ему противопоставлена РР. Если перевести это на язык нашей схемы, то 1 противопоставляется 2, 3, 4, вместе взятым, а граница между 2 и 3 не представляется существенной. Точка зрения автора настоящей статьи состоит в признании устности и спонтанности ведущими факторами членения. Говорящий не может при продукции речи прибегать только к кодифицированному литературному языку, потому что кодификация касается только письменной его части (другое дело, что говорящий употребляет не только устно-разговорные, но и общелитературные языковые средства). РР противопоставлена специальной речи (1 противопоставлено 4). О релевантности факторов членения см. [Лаптева 1989].

2. Единицами членения литературного языка выступают три пары образований, из которых члены первой пары делятся еще на две пары. Члены первой, укрупненной пары вычленяются по признакам формы речи, ее спонтанности или подготовленности, а также стилистическому — разговорность / книжность. При выделении членов следующих двух пар включаются признаки регистра речи и характера ситуативной обусловленности (для устной речи, для которой этот признак релевантен). Соответственно единицы членения первого ряда противопоставляются по своим названным признакам, к которым присоединяются дополнительные признаки членения, по которым (вместе с признаками первого ряда) противопоставляются единицы членения второго ряда.

Строго говоря, признак «разговорность / книжность» следует вводить в схему, делая следующий шаг от моделирования структуры литературного языка к построению его теории. Этот шаг требует адекватного терминологического обозначения двух типов литературного языка. Если термин «книжно-письменный тип литературного языка» возражений, кажется, не вызывает, то термин «устно-разговорный тип

литературного языка», предложенный для совокупного обозначения и разговорной и устной публичной речи в качестве противопоставленного первому по обеим парам признаков, многим кажется сомнительным — из-за неприятия идеи о разговорности устного публичного текста. В качестве адекватного ему терминологического компромисса можно использовать «устно-литературный тип литературного языка» (что автор и делает в ряде своих работ), однако последний термин, во-первых, тавтологичен (автор избегает этого, говоря не о типе, а об устной литературной речи), а во-вторых, оппозиционен только наполовину.

Выход видится в учете силы противопоставленности 4-х выделяемых единиц членения. Наиболее полно по совокупности и языковых, и текстовых признаков противопоставлены крайние, маргинальные члены схемы — разговорная и специальная речь. Именно в них наиболее полно и отчетливо выражены попарно книжно-письменные и устно-разговорные особенности. В этом случае термины «книжно-письменный тип» и «устно-разговорный тип» сомнений не вызывают. В срединно расположенных членах (2 и 3) острота противопоставленности уменьшается, возникают переходные зоны, признаки располагаются по шкале нарастания и убывания (идея градуальности шкалы литературного языка, текучести, размытости границ, непрерывности языкового континуума принадлежит Вл.Барнету — [Барнет 1985, 84]. Если исходить из такого понимания, точность предложенных терминов не утрачивается и применительно к устной публичной речи. Иной способ обозначения («устно-литературный тип») приводит к ослаблению выражения дихотомичности.

Идея размытости границ членения литературного языка была не чужда и Ю.М.Скребневу, когда он говорил о принципиально неконечном количестве стилей литературного языка из-за конвенционального, а не реального, характера понятия стиля [Скребнев 1985]. Далее при рассмотрении некоторых общеязыковых тенденций в синтаксисе мы увидим их разнонаправленность: одна и та же тенденция может одновременно и разграничивать, и объединять разновидности литературного языка, характерные особенности отдельных разновидностей могут распространяться на другие и создавать взаимопроникновение признаков разновидностей.

III. Теперь перейдем к характеристике некоторых собственно языковых линий противопоставленности полярных зон русского литературного языка. Их создают все три разряда языковых явлений — общелитературные, книжно-письменные, устно-разговорные, причем преимущественно синтаксические (о чем уже было упомянуто выше). Есть основания полагать, что именно на эти линии опирается основной механизм языковых изменений.

Разговорная и специальная речь как области максимальной противопоставленности представляют разные способы отражения действи-

тельности: волюнтативный и изобразительный (репродуктивный) и информативный. Повествовательный и описательный способы и способ рассуждения накладываются на это членение как бы по горизонтали (сеткой), обеспечивая разнообразие и текущий характер переходных зон. Письменная форма речи обеспечивает информативному регистру арсенал синтаксических средств общелитературной и книжно-письменной принадлежности. Это предложение с его структурными схемами и словосочетание как синтаксические единицы. Определенность их состава, четкие двуступенчатые модели организации предложения (структурная схема и ее речевые реализации) создают условия для завершенности структуры предложения и словосочетания. Среди употребляющихся здесь структурных схем предложений и словосочетаний есть и общелитературные (но далеко не весь арсенал языка — действует принцип отбора языковых средств), и книжно-письменные, сконцентрированные здесь в максимальном сгущении, но устно-разговорные здесь категорически запрещены нормой. Четкостью структуры синтаксических отношений обеспечивается минимум (доходящий до нуля) синтаксической омонимии. В речевом потоке наличествует максимальная степень отдельности, дискретности, недиффузности синтаксических единиц, обеспечивающая максимум структурирования текста. При этом глаголы сведены лишь к необходимому формальному минимуму, создающему предикативную рамку, и стремятся к связочной или полузнаменательной роли, избегая обозначения конкретного действия. Вся информация передается именами (именной строй — характерная принадлежность книжно-письменной речи).

Эта картина зеркально «с точностью до наоборот» представлена в разговорной речи, оппозиции безукоризненны. Устная форма речи обеспечивает волюнтативному и изобразительному регистрам арсенал синтаксических средств общелитературной и устно-разговорной принадлежности. Это высказывание и сегмент как синтаксические единицы, что не исключает высокой степени облигаторности употребления специфически разговорных трехступенчатых моделей (модель, ее модификации, их речевые реализации). Такие конструкции обладают завершенностью своей структуры, а для общелитературных в речевом сегментированном потоке создаются условия при спонтанном продуцировании речи для незавершенности структуры. Таким образом, здесь наличествуют собственно устно-разговорные и общелитературные структурные схемы (последние — далеко не во все своем арсенале и часто в преобразованном речевыми условиями виде: отбор языковых средств и влияние сегментации), причем устно-разговорные сконцентрированы в максимальном сгущении, но многие книжно-письменные здесь категорически запрещены узуальной нормой. Нечеткостью структуры синтаксических отношений обеспечивается максимум синтаксической омонимии (а разговорные типизированные модели и в

устройстве поля устно-разговорного синтаксиса, и в принципе организации гомофункциональных синтаксических рядов [Лаптева 1976, 131, 132] предусматривают возникновение синтаксической омонимии как конструктивного признака). В речевом потоке наличествует минимальная степень отдельности, максимальная — недискретности, диффузности синтаксических единиц, текст структурируется минимально. Сегмент стремится к структурной самостоятельности и глагольности, чем обеспечивается насыщенность речи глаголами, создающими особые синтаксические ретросвязи координации и управления и особую грамматику с двойным управлением (или координацией) имени, наряду с бытийными царят глаголы конкретного действия. Глаголы активно участвуют в передаче информации (глагольный строй и особый синтаксис глагола — характерная принадлежность устно-разговорной речи).

Как видим, в размежевании участвуют и общелитературные конструкции (но не всегда и не во всем), что говорит об условности выделения самого их разряда. У них наблюдаются функциональные особенности в значении и особенности употребления, но в целом все же они сохраняют общелитературный характер. Такое симметричное устройство является, пожалуй, наиболее веским — по крайней мере структурно-языковым — аргументом в пользу включения устной речи в состав и структуру современного русского литературного языка.

Поляризованный синтаксис при биполярном устройстве русского литературного языка в серединных областях образует переходные зоны. Обозначенные линии размежевания показывают убывание наиболее специфических признаков к середине схемы и соответственно нарастание противоположных им специфических. Среди них есть и очень экспансивные, которые стремятся ввести в круг своего действия общелитературные средства и выйти за пределы своей области распространения в литературном языке. Это рост синтаксической синтагматической омонимии и различные «недоделки», нарушения в осуществлении синтаксической схемы предложения. По направлению от специальной речи к разговорному полюсу возрастает сегментированность высказывания вместе с усилением действия речевой, текстовой синтагматики, что ведет к отходу от каркаса языковой синтаксической схемы в газетном тексте художественно-изобразительного регистра и росту синтаксической текстовой омонимии. То же происходит и с принципом экономии / избыточности языковых средств.

Высокая степень синтаксической омонимии в разговорной речи затрагивает и уровень высказывания, и уровень отдельных его составляющих. Здесь иначе, чем в общелитературной синтаксической системе, выглядит состав его членов и их синтаксических позиций, поскольку разговорной системой допускается совмещение в одном члене двух

синтаксических функций (субъекта и объекта), а само высказывание может одновременно принадлежать разным синтаксическим моделям. Парадоксальным образом жесткость формы и строгость нормы сочетаются здесь с высокой степенью вариативности и полифункциональности. Проявление этих свойств в разговорной речи намного ярче и сильнее, чем в остальных областях литературного языка, в письменности которого исторически закреплялась монофункциональность языкового средства, присутствовало стремление к их одно-однозначному соответствию. Омонимии здесь избегали, но не избежали, она осталась общелитературным явлением.

IV. В заключение проиллюстрируем нарастание неструктурированности высказывания на фоне стремительного расширения синтаксической сочетаемости, опережающего появление нормативных запретов, в газетной речи. Эти тенденции, идущие от устной сегментации речи как результат стремления к живости газетной речи, не всегда замечаются читающими — так же, как и в устной литературной речи отступления от общелитературной нормы ускользают от внимания слушающего из-за быстротечности и сегментированности этой речи. Принцип сегментированности, препятствующий в устной речи структурированности предложения, остается ее уделом, но позволяет журналисту — тоже носителю живой устной речи — более свободно обращаться со схемой предложения. Этому способствует и активизация синтагматики, заставляющая парадигматику иногда уступать свои позиции и смиряться с расширением сочетаемости.

Это, казалось бы, периферийное явление можно было бы рассматривать просто как стилистическую погрешность, небрежность или ошибку, однако нам оно интересно как отражение процессов распространения принципов устности далее по шкале структуры литературного языка. Четкие границы колеблются, шкала находится в подвижном состоянии, зоны нарастания и убывания признаков расширяются, и кодифицированная норма бессильна против этих процессов.

Газетная речь [ср. Шведова 1966] стремится к живости и этим удобна для наблюдения. Норма с ее строгими требованиями сохраняется в неприкосновенности лишь в специальной речи с ее абсолютной текстовой структурированностью. Сейчас в газетной речи наблюдается расширение круга жанров с активностью речевой неструктурированности.

Расширение лексической сочетаемости слова:

Отпускная ***цена*** на отечественных сыродельных заводах ... довольно ***дешевая*** (Изв. 15. IV. 95); Он производит ***впечатление задушевное*** и в высшей степени ***здоровое*** (Неделя № 37. 95).

Расширение предложно-падежного управления:

И даже «Пиночету», как иному любому диктатору, не по плечу научить нас ***различать*** добро ***от*** зла, правду ***от*** лжи. (Изв. 6.III. 94); Поскольку коммунисты, по словам Ю.Иванова, «в отличие от сегодняшних власть предержащих демократов ***различают*** собственность частную ***от*** собственности воровской». (Изв. 21. XII. 95).

Отнесенность деепричастного оборота:

В этом, наверное, не было бы ничего странного, ***учитывая***, что нефтекомплекс является ключевой отраслью для всей экономики Чечни (Изв. 9. II. 96); Из-за отсутствия средств во многих городах и населенных пунктах так и не был проведен в должном объеме ремонт сетей и коммуникаций. ***Зная***, сколь сурова дальневосточная зима, такую подготовку можно назвать преступлением (кто знал? власти или автор? Изв. 2. III. 96).

Несоблюдение союзной рамки:

Сам по себе факт подделки — явление в России ***не только*** привычное, ***но и*** теперь уже широкомасштабное (должно быть ***но теперь уже и.*** Изв. 29. XII. 95); Новая столица не поднимется выше четвертого этажа. Отдельно идет проектирование ***как*** многоквартирного, ***так и*** жилья коттеджного типа (должно быть ***как многоквартирного жилья.*** Изв. 31. I. 96); ***О том,*** что силовые методы решения чеченской проблемы должны в Грозном если не возобладать, то заметно активизироваться, ***подтверждает*** и такой факт (должно быть ***то,*** что. Изв. 5. I. 96); Например, клишированную в недалеком коммунистическом прошлом ***формулу*** советстких пропагандистов, ***что*** «Филиппины — витрина американского империализма в Азии» (Изв. из Лондона февр. 96); Для нас теракт в Кизляре ***не только не*** стал неожиданностью, ***но также*** не представляет собой загадок в плане его организации (должно быть ***не только, но и.*** Изв. 10.1.96); Офицеры полиции и контрразведки, которые работают с Робинсоном 6 лет, не относят его ***ни*** к разряду мошенников, ***ни*** психически ненормальных (должно быть ***ни к разряду*** и во втором случае. Изв. 27.III.96); не обращая ***внимания, что*** люди в салоне были вынуждены выделывать чуть ли не цирковые трюки (Изв. 27.II.96); Это может быть ***и*** дермантин, ***так и*** деревянные панели, изготовленные из резного дуба (Ценр plus № 7 февр. 96); Поэтому мы будем ***выставлять не только*** кандидатуру мэра, ***но и предлагать*** москвичам целую команду (должно быть ***не только выставлять.*** Изв. 27.II.96); вы можете ***потерять как*** при расторжении сделки, ***так и*** просто ***не получить*** деньги (должно быть ***как потерять.*** Изв. 4.IV.96).

Понятно, что показанное явление много шире и разнообразнее, оно буквально заполонило самые разные современные газеты и стало некоторой тенденцией. Степени собственно устной неструктурированности оно в газете в силу письменной формы ее текста достичь не мо-

жет, однако норму расшатывает сильно. Для сравнения покажем без дополнительных комментариев фрагмент вступительного слова к чтениям в МГУ, построенный согласно устно-литературной норме по законам сегментирования устного высказывания: Доклады / выступления / членов кафедр / и членов других коллективов / которые принимают / участие в чтениях / хотели бы восстановить / не только / облик образ Виктора Владимировича Виноградова / как крупного ученого / но и как крупного организатора / и руководителя / больших и сложных коллективов / таких как / факультет университета / Виктор Владимирович был декан филологического факультета / кафедра / много лет / Виктор Владимирович руководил / кафедрой университета / такой / меньшей группой / но тоже / важной как специальный / семинар / специальный курс / Виктора Владимировича как организатора / таких / новых / коллективов как кабинет этимологического словаря / Международная ассоциация / преподавателей русского языка //

Такой текст воспринимается адекватно мысли автора вместе с ее ходом, не нарушает коммуникации и не затрудняет понимания. Возникающие в процессе его продуцирования несогласованности с общелитературной синтаксической нормой проходят безболезненно и незаметно для слушателя.

ЛИТЕРАТУРА

Барнет Вл. 1985 — Проблемы изучения жанров устной научной речи // Современная русская устная научная речь. Т. I. Общие свойства и фонетические особенности. Ред. О.А.Лаптева. Красноярск, 1985.

Борисова Е.Г. 1994 — Системность и узус (на материале коллокаций) // Wiener Slawistisher Almanach 34 (1994).

Золотова Г.А. 1982 — Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Кубрякова Е.С., Мельников Г.П. 1972 — О понятиях языковой системы и структуры языка // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.

Лаптева О.А. 1976 — Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

Лаптева О.А. 1979 — Рец. на кн.: Д.Н.Шмелев. Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы). М., 1977.

Лаптева О.А. 1983 — О соотношении устности и разговорности в устной разновидности современного русского литературного языка // Československá rusistika. XXVIII, 1983. № 5.

Лаптева О.А. 1989 — Мысли Виктора Владимировича Виноградова о социальных и личностных факторах речи в связи с теорией литературного языка // ВЯ. 1989. № 4.

Лаптева 1996 — Текстовая омонимия и синтагматические нейтрализации // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.

Макеева М.Б. 1995 — Лексико-грамматические особенности жанрово-ситуативного стиля публикаций на темы науки. Автореф. канд. филол. наук. М., 1995.

Серебренников Б.А. — Язык и речь // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.

Скребнев Ю.М. 1985 — Введение в коллоквиалистику. Саратов, 1985.

Шведова Н.Ю. 1966 — Активные процессы в современном русском синтаксисе (словосочетание). М., 1966.

Шмелев Д.Н. — Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы). М., 1977.

Е. В. Падучева, В. А. Успенский

БИНОМИНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗКИ

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Биноминативным называется предложение, образованное двумя именными группами в им. падеже, со связкой или без связки, см. Падучева, Успенский 1979. С синтаксической точки зрения этот тип предложений составляет проблему, поскольку в них зачастую неясно, какая из двух морфологически тождественных именных групп (ИГ) является подлежащим, а какая — сказуемым. В вышеуказанной работе был предложен референциальный (денотативный) критерий различения подлежащего и сказуемого, который, как мы пытались показать, позволяет выделить в определенной части биноминативных предложений (БП) русского языка подлежащее и сказуемое таким образом, что синтаксическая структура предложения становится естественной основой для его семантической интерпретации. Задача данной работы — показать, что членение БП на подлежащее и сказуемое согласно референциальному критерию играет важную роль также и на синтактико-морфологическом уровне, а именно, при выборе согласовательной формы связочного глагола.

В монографии Шмелев 1976 было показано, что согласование связки не может быть основным критерием при синтаксическом членении предложения — в том числе такого, которое позднее было названо нами биноминативным. Во-первых, отмечает Д.Н.Шмелев, в подавляющем большинстве БП, реально употребляемых в речи, связка отсутствует (подчеркнем, что этот эффект не случаен: о предпочтении настоящего времени в предложении тождества см. Иванов 1979), и синтаксическая атрибуция компонентов БП, если она возможна, должна быть осуществлена независимым образом. Во-вторых, грамматики признают так называемое «обратное согласование» — согласование с предикативом, которое демонстрируется в Шмелев 1976: 36 на примере

(1) Его кабинет была большая, очень высокая комната (Достоевский, «Подросток»).

Между тем если синтаксическое членение считать производным от морфологического, то понятие обратного согласования вообще лишается смысла.

Таким образом, данная работа имеет следующее логическое построение: считая грамматическое членение БП заданным, мы хотим предложить правила согласования связки, действующие в современном русском языке (эпитет «современный» в данном случае по существу, поскольку норма в этой области весьма подвижна) и основанные на этом членении. О противоречивости позиции Пешковского, который исходил из того, что «подлежащее и есть как раз то, с чем согласуется глагол или связка», см. Арутюнова 1976: 323.

В БП различаются тематический и рематический компонент — компонент T и компонент R (в Падучева, Успенский 1979 они назывались, соответственно, компонент I и компонент II). При обычной, не эмфатической, линейно-интонационной структуре предложения компонент T — это именная группа, которая занимает начальное положение в предложении и имеет в т о р о с т е п е н н о е ударение (тематическое); компонент R — именная группа, которая занимает конечное положение и имеет г л а в н о е фразовое ударение (рематическое)[1]. В эмфатической линейно-интонационной структуре компонент R продвинут в начальное положение, сохраняя на себе главное ударение (которое при этом усиливается, т.е. становится эмфатическим). Компонент T в этом случае занимает конечную позицию и лишен фразового ударения. Например, *Шаховской* является T-компонентом не только в (2а), но и в (2б):

(2) а. Шаховской / ¦ был посредственный \ поэт.

б. Посредственный \ поэт ¦ был Шаховской.

Компоненты T и R есть в любом БП, и это позволяет однозначно членить предложение на части, не навязывая им наперед никакой грамматической интерпретации.

Можно заранее предположить, что следующие факторы будут влиять на согласование:

1) Наличие чистого отношения предикации между компонентами T и R, когда один из компонентов выражает свойство другого. Противоположным случаем будет отношение идентификации между T и R (см. Арутюнова 1986: 307), которое может либо полностью замещать предикацию, либо как-то совмещаться с ней. Так, в примере (2) чистая предикация, а пример (1) оставляет неясность, к которой мы вернемся в дальнейшем.

2) Другой фактор — наличие т е м а т и ч е с к о й и н в е р с и и : тематическая инверсия (в БП) состоит в том, что подлежащее из естественной для него тематической позиции переходит в рематическую; соответственно, сказуемое становится темой. Например, предложение *Нестор — отец русской истории* тематическая инверсия переведет в предложение *Отец русской истории — Нестор.*

Тематическая инверсия противопоставлена эмфатической и отличается от последней тем, что меняет не только порядок слов, но и интонирование компонентов, прежде всего — положение главного фразового ударения; тогда как при эмфатической инверсии место главного ударения не меняется. Например, (2б) получается из (2а) эмфатической инверсией. Результатом применения тематической инверсии к (2а) было бы предложение

(2) в. Посредственный поэт / ¦ был Шаховской \

(уместное, например, в контексте, когда кто-то был назван «посредственный поэт», и мы не знаем, кто).

Тематическая инверсия применима только к предложениям с однозначным грамматическим членением, например, с предикативным отношением между компонентами T и R, поскольку она меняет коммуникативный статус компонентов БП, идентифицируемых, соответственно, как подлежащее и предикатив.

Ниже в разделе 2 рассматриваются БП предикативной структуры, а раздел 3 посвящен предложениям с более сложным отношением между компонентами T и R.

2. БП С ПРЕДИКАТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ

Биноминативные предложения с предикативным отношением между компонентами T и R естественно делятся на два класса: предложения с обычным порядком слов, т.е. такие, где подлежащее — тема; и предложения с тематической инверсией, где темой служит сказуемое. Рассмотрим поведение связочного глагола по отдельности в каждом из этих классов.

Класс 1. Тема — подлежащее

В предложениях примеров (3) и (4) связка согласуется с подлежащим-темой. В (3) подлежащее в начальной позиции; в предложениях примера (4), с эмфатической инверсией, подлежащее занимает конечное положение, но не несет главного фразового ударения, т.е. тоже является тематическим компонентом (в примерах ниже подлежащее выделено курсивом):

(3) *Она* была единственное дитя; *Шахматы* всегда были его любимое занятие; *Пугачев* в ту минуту был власть (Цветаева); Он решил, что *женитьба* на Элен была бы несчастье (Толстой); Весь *дом* был — тайна (Цветаева); Тот *цветок* был ночная фиалка.

(4) Для старика была закон \ ее младенческая *воля* (Пушкин); Сущий демон \ была его *жена;* Любопытное зрелище \ был их *отъезд;* Дикое существо \ была эта *Бэла* (Лермонтов).

Фигурирующие во многих грамматиках примеры из литературы XIX века, где связка, при наличии подлежащего в начальной позиции, согласуется с постпозитивными предикативом, скорее всего, не соответствуют нормам современного языка:

(5) а. *Свадьба* Наташи было (⇒ была) последнее радостное событие в старой семье Ростовых (Толстой);
б. *Многое* из этого была (⇒ было) правда (Толстой);
в. Все это *спокойствие* была (⇒ было) одна чистая личина (Писемский);
г. *Белинский* была (⇒ был) замечательная личность[2].

При этом вовсе не всегда для приведения предложения в соответствие с современной нормой достаточно изменить согласование связки. Так, во фразе из Толстого, которая разбирается в Пешковский 1938: 234, *Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны,* вариант, где связка согласована с подлежащим (*были*), предпочтителен, но тоже не безупречен для современного восприятия: чтобы сделать предложение полностью удовлетворительным, лучше отказаться от биноминативной структуры вообще.

В принципе, однако, при наличии препозитивного подлежащего нормой является согласование связки с этим подлежащим. Согласование связки с постпозитивным предикативом возможно, по-видимому, в качестве остатков старой нормы в ограниченном числе застывших сочетаний: таковым в предложении *Обед для него была вещь нешуточная* является сочетание *была вещь нешуточная.*

Недоумение вызывают примеры (6а)-(6г), где связка согласуется с компонентом R, хотя референциальный критерий идентифицирует его как предикатив (к этим примерам мы вернемся в разделе 3):

(6) а. Чебоксары был тот город, где я провел свое детство;
б. Воспаление легких была болезнь, которая косила людей одного за другим;
в. Все его выступление была сплошная ложь.
г. Восхищение была та мазь колес, которая была необходима, чтобы ее машина могла совершенно свободно двигаться (Толстой).

Особое правило согласования действует в предложениях, где один из компонентов — местоимение *это, то, кто.* Все попытки свести согласование связки в БП с этими местоимениями к обычному правилу о согласовании связки с подлежащим приводят к постулированию неестественных подлежащих. Так, А.М.Пешковскому приходится в предложении *Это был стол* считать *стол* подлежащим, а *это* — сказуемым. И.И.Ревзин (1973), чтобы доказать, что *это* — сказуемое, относит его к «недетерминированным» словам, что прямо противоречит его смыслу. В работе Crockett 1976: 415 *кто* в предложении *Кто были ваши сообщники?* (='Кто был вашими сообщниками?') считается

сказуемым, хотя согласно референциальному критерию наиболее естественным является понимание, при котором *кто* подлежащее.

В действительности, правило здесь следующее: если один из компонентов БП (неважно, подлежащее или предикатив) — местоимение *это, то, кто,* то связка согласуется в роде и числе с другим; т.е. эти местоимения в контексте БП не принимают участия в согласовании:

(7) *Это* был важный этап в развитии кино;
Это были его последние слова;
Ах, витязь, *то* была Наина (Пушкин);
То были двух бесов изображенья (Пушкин).

В примере Л.А.Булаховского (Булаховский 1954: 322) *То явно было не случай* (Жуковский) согласование связки с подлежащим *то* не соответствует современным нормам.

Что согласование связки в данном случае не зависит от синтаксической структуры БП, можно подтвердить на следующем примере. Предложение *Кто были ваши сообщники?* допускает два понимания: более вероятное, при котором *кто* подлежащее — 'Кто был вашими сообщниками?' (в ответ требуются имена), и менее вероятное, когда *кто* предикатив — 'Кем были ваши сообщники?'[3]; но связка, независимо от понимания, ни в том, ни в другом случае не согласуется с местоимением *кто*. В принципе и *это* может быть предикативом, ср. пример из Арутюнова 1976, с. 320:

— *Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.*
— *Я желаю, чтобы* это *были вы* (Лермонтов).

Однако на согласование связки это не влияет.

Местоимение *что* в современном языке почти не употребляется в БП, ни в роли подлежащего (так, **Что было / была твоя главная ошибка? ⇒Какая была твоя главная ошибка?; **Что было / была причина ⇒Что было причиной*), ни в роли предикатива (ср. устар. *Что есть истина? Что была для него дружба? Что же было все остальное, как не пустота?*). Во всяком случае, свойством исключаться из согласования *что* не обладает, и в контексте, где *это* допустимо, *что* нарушает грамматическую правильность, ср. *Это была причина его мрачности* и **Вот что была причина его мрачности* (надо: *Вот что было причиной*); *Это был его главный козырь и **Вот что был его главный козырь* (надо: *Вот что было его главным козырем*). В предложении *Что это было, сон или явь* подлежащее *это* исключается из согласования, так что ср. род связки, скорее всего, обусловлен согласованием с *что*[4].

Местоимение *все,* хотя оно иногда почти синонимично *это,* как *что:* свойством не участвовать в согласовании оно не обладает. Ср. *Всё было одна фантазия, а не чувство* и *Это была одна фантазия, а не чувство;* в том числе и в сочетании *всё это: Итак, эти страстные*

письма, эти пламенные требования <...> всё это было не любовь (Пушкин).

З а м е ч а н и е. Описывая странность согласования, которая обнаруживается у слов *это, то, кто* в БП, следует обратить внимание на то, что все эти слова суть местоимения. Нельзя сказать, что эти слова не имеют собственного морфологического рода и числа: число у них единственное, род у *это, то* средний, а у *кто* — мужской; ср. *Это было / *была неожиданностью; Кто там пришел / *пришла? / *пришли?.* Можно представить дело так: особенное свойство местоимений *это, то* и *кто* состоит в том, что в контексте БП они приобретают п о з и ц и о н н ы й род, заимствованный от другого компонента БП, так что в БП с одним из этих местоимений оба компонента всегда имеют одинаковый род. Тогда пример (7) просто подпадает под правило о согласовании связки с подлежащим. Типологически такое решение вполне естественно; так, в латыни местоимение hic, haec, hoc в БП согласуется в своем морфологическом роде и числе со вторым компонентом[5]; эта конструкция сохранилась в современном итальянском языке, ср. Questo e papa; Questa e mamma. Такое же построение имеют соответствующие БП в арабском языке. Особенность русских местоимений — в том, что у них в БП варьирует не морфологический род, а согласовательный.

То же правило согласования действует в предложениях, где *это* употребляется не как отдельный компонент, а в составе одного из компонентов, на ролях своего рода связки: тот из компонентов предложения, к которому примыкает *это,* ведет себя так, как если бы он был отдельным предложением, где *это* — один из главных компонентов (и далее согласование по тому же правилу, т.е. не с *это,* а с оставшимся компонентом). Примеры:

(8) Шахматы — это было его любимое занятие;
В те времена ростовщичество — это была необходимость;
Это было отвратительное занятие — поиски ночлега.

Фразу (5а) можно сделать приемлемой по современным нормам, если поставить перед *было* тире и *это: Свадьба Наташи — это было последнее радостное событие в старой семье Ростовых.*

Слово *это* в БП принято трактовать как частицу (ср. Ковтунова 1976: 81) или даже как связку (Грамматика-70: 552). Если признать *это* местоимением и трактовать предложения из (8) как содержащие два анафорически связанных подлежащих (по аналогии с предложениями типа *Девочки — они аккуратно носят платье, Люди ли они — англичане?*), то пример (8) не требовал бы отдельного упоминания при формулировке правил согласования (кроме оговорки о том, что в согласовании участвует ближайшее из двух подлежащих).

Свойство не участвовать в согласовании в БП отличает все именные группы в автонимном употреблении (в примерах (9), (10) они выделены разрядкой):

(9) З и н а и д а Ф у к с был один из псевдонимов Брюсова; З и н а было его любимое имя; И в а н о в была его фамилия по матери.

Это правило носит абсолютный характер: несущественно, является ли автонимная именная группа Т- или R-компонентом; несущественно также, каким членом предложеения является этот компонент — подлежащим или сказуемым. Так, в (10) связка согласуется с компонентом Т, но не потому, что он подлежащее (он предикатив), а потому, что рематическая ИГ употреблена здесь автонимно:

(10) Христианское имя ее было Раиса; Настоящая фамилия А.Грина была Гриневский[6].

Класс 2. Тематическая инверсия

В предложениях с тематической инверсией темой является предикатив; но связка все равно согласуется с подлежащим:

(11) Настоящий хозяин в доме была его *жена;* Самое страшное была *физика;*Его любимое занятие были *шахматы;* Ваш классный руководитель буду я; Его главное удовольствие были вечерние *прогулки;* Его любимое время года была *осень;* Первое ее чувство был *ужас* (Бестужев-Марлинский; пример из Булаховский 1954: 323); Главное для меня были *ее слезы;* Но самое замечательное в доме были поющие *двери* (Гоголь, «Старосветские помещики»); Главный мой помощник была *дочь;* Единственное, чем он гордился, был *музей;* Несомненно, первая ее любовь был *Пушкин;* Последняя капля был *разговор* царя с Натальей Николаевной; Третий участник заговора была *она сама;* Эта держава был *сын* (Толстой); Но сплошная загадка было *стихотворение* «Черногорцы — что такое...» (Цветаева, «Мой Пушкин»); Второе условие comme il faut были *ногти* (Толстой).

Определение подлежащего, основанное на референциальном критерии, позволяет отвергнуть некоторые фигурирующие в грамматиках примеры согласования связки с предикативом. Так, в (12), где связка согласована со словом *господин,* это слово, согласно референциальному критерию, подлежащее, а не предикатив, как считается в Грамматике русского языка, с. 521:

(12) Первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то *господин,* который сидел у окна.

Во фразе *Вера | был вожатый мой* (Жуковский) (пример из Булаховский 1954) с эмфатическим вторым компонентом, вынесенным в начало, подлежащее — *вера,* и связка по современной норме должна быть *была: Вера | была мой вожатый.* Если заменить эмфатический порядок слов на обычный, то согласование не вызывает сомнений: *Мой вожатый была вера* = 'Моим вожатым была вера'.

Отступление от обычного правила согласования связки с подлежащим допускается в том случае, если связка отделена от подлежащего паузой и интонационно примыкает к предикативу:

(13) На эту пору друг его вблизи случился. Друг этот был — *Лиса* (Жуковский, пример из Булаховский 1954: 322); Главное наше оружие было — *пила и топор* (С.Антонов, пример из Шмелев 1976: 31); Но самое интересное было — *муравьи, птицы, лягушки* (пример из Грамматика 1980: 521). А директор их института — была солидная, властная женщина, жена Маленкова (А.Солженицын. «На изломах»).

Более того, при наличии паузы согласование связки с компонентом, входящим в ту же ритмическую группу, является нормальным, а другое согласование — отклонением (т.е. можно говорить об особом интонационном правиле согласования). Так, фраза *Самое страшное были — «Бесы»* (Цветаева), где пауза, отмеченная с помощью тире, не принята во внимание согласованием, нарушает (скорее всего, сознательно) обычную норму. В отрывке из «Полтавы», который разбирает А.М.Пешковский[7]:

Другой был клад невозвратимый
***Честь** дочери моей любимой,*

связка не согласована с подлежащим; однако она отделена от подлежащего паузой, так что согласование соответствует интонационному правилу. В примерах из Чехова, которые приводятся в Шмелев 1976: 31 (*Поза моя — было величие* и *Поза его была — шик*), независимо от того, какой синтаксический анализ мы припишем этим предложениям, согласование определяется указанным интонационным правилом.

Однако в целом согласование связки в БП с компонентом R, даже если он по референциальному критерию подходит на роль подлежащего, гораздо менее устойчиво, чем с компонентом T. В большинстве предложений примера (11) согласование «поддерживается» теми или иными дополнительными факторами -- одушевленностью компонента R и наличием пола у обозначаемого объекта; тем, что предикатив представляет собой субстантивированное прилагательное, а не обычное существительное, и т.п. Если такой поддержки нет, может возникать затруднение в согласовании:

(14) Основа нашей связи *было / *была духовное родство; Характерная черта его прозы *были / *была рубленые фразы; Свидетельство их независимости *были / *было эти ночные прогулки; Седьмое доказательство *было / *была гибель Берлиоза; Следующая ступень развития пушкинской темы *была / *был спор за Пушкина с Гончаровой.

Несомненный факт, что в наст. времени, а также и в прош., но при условии морфологического подобия компонентов, биноминативная конструкция в этих примерах была бы допустима, ср. *Основа нашей связи была духовная близость; Основа нашей связи — духовная близость; Характерная черта его прозы была рубленая фраза; Характерная*

черта его прозы — рубленая фраза. Это значит, что грамматическая неправильность в (14) порождается «морфологическим конфликтом»: какие-то факторы, влияющие на согласование связки, противоречат один другому.

3. ОТНОШЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

В предложении идентификации компоненты упорядочены не по степени референтности, как в БП с предикативной структурой, а по степени предполагаемой известности адресату, см. Падучева 1987. Так, во фразе *Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха <...> были те старики, о которых я начал рассказывать* (Гоголь. «Старосветские помещики») оба компонента обладают максимальной степенью референтности. В таких предложениях нормой является согласование связки с идентифицирующим компонентом (т.е. с тем из компонентов, который устраняет «информационную недостаточность» другого). Это правило действует как при субстанциальной идентификации, пример (15), так и при таксономической[8], см. пример (16), где компонент R идентифицирует пол[9] объекта, обозначенного компонентом T (слово, с которым согласована связка, подчеркнуто):

(15) Жалкое существо, заросшее щетиной, был мой о т е ц ; Убитый была М а р ю т а ; Тот сокол, которого ты поймал, была я ; Один из разговаривавших была т в о я д о ч ь ; Один из участников концерта был Г е о р г О т с / была В а л е р и я Б а р с о в а .

(16) Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович... Другой <медведь> была м е д в е д и ц а (Толстой. «Три медведя»); Каждый третий заговорщик была ж е н щ и н а .

Таким образом, «обратное согласование» в предложениях из (15), (16) можно объяснить тем, что они не членятся на подлежащее и сказуемое: эти предложения выражают идентификацию; между тем противопоставление подлежащего и сказуемого имеет смысл только в предложениях приписывания свойства. В словаре Ахманова 1966 в предложении *Первое лицо, которое он увидел, была Наташа* усматривается нарушенное согласование. Между тем в этом предложении действует наше правило согласования связки с идентифицируюшим компонентом.

Рассмотрим теперь пример (17):

(17) а. Единственный, кто стал на нашу сторону, была В а р в а р а ;
б. На удивление всем приезжим, начальник станции была ж е н щ и н а ;
в. Первый предмет, поразивший меня, была б е р е з а (Пушкин);
г. Наш гид была пожилая ж е н щ и н а ;

На первый взгляд кажется, что эти предложения удовлетворяют правилу о согласовании с рематическим подлежащим, как в примере (11). Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что компонент R в (17) не является подлежащим. В самом деле, считать здесь рему подлежащим — значит признать порядок слов инвертированным; но тогда должен существовать и прямой, а он невозможен. Это очевидно для примера (17а) — предложение, которое получается, если изменить линейно-интонационную структур в (17а), неправильно: **Варвара была единственный, кто стал на нашу сторону.* Предложение *На удивление всем приезжающим, женщина была начальник станции* нельзя назвать неправильным, однако нельзя также и подобрать контекст, в котором оно было бы уместно. Между тем правило о согласовании с идентифицирующим компонентом объясняет все предложения примера (17) вполне.

Такое же объяснение «обратного согласования» в примере (1) — *Его кабинет была большая, очень высокая комната:* это предложение таксономической идентификации, и связка согласуется с идентифицирующим компонентом. То же касается предложений (6а)-(6г), где компонент R выражает таксономическую категорию компонента T, так что связка естественно согласуется с идентифицирующим компонентом.

В предложении *Этруски были / был народ, живший в древние времена на Западе Италии* согласование связки колеблется. По-видимому, дело в том, что слово *этруски*, как и другие этнонимы, топонимы, антропонимы и прочие «онимы», допускает двоякое понимание: одно обычное референтное, а другое — как бы автонимное, т.е. в роли чистого ярлыка. При этом втором понимании согласование идет с компонентом R, поскольку только он обеспечивает объекту таксономическую идентификацию. А при референтном понимании связка согласуется со словом *этруски* как с подлежащим. То же в предложениях *Эбла был город в Передней Азии, Бургундия было герцогство во Франции* и под.

Во всех этих примерах синтаксическая атрибуция компонентов вызывает сомнение — скорее всего, эти БП следует трактовать как синтаксически неопределенные. Назвать один из компонентов в этих предложениях подлежащим, а другой — предикативом значило бы, помимо всего прочего, усложнить правила согласования связки.

Остаются непонятными предложения примера (18), где связка согласуется с тематическим компонентом, хотя по смыслу он предикатив (это особенно ясно для предложения (18а) — прош. время здесь понимается в ретроспективном значении, т.е. речь идет о бытии столицей как о временном состоянии города, а не о столице как отдельной субстанции):

(18) а. С т о л и ц а была (*был) тогда *Петроград;*
б. Третья с т а д и я была (*был) *страх;*

в. Их у д е л был (*была) *бедность;*
г. Его ц е л ь всегда была (*было) *служение* людям;
д. Его т е м а была (*был) русский *театр;*
е. Важный для него м о м е н т был (*было) *возвращение* в Москву;
ж. Его д е л о было (*были) *сатирические фельетоны* (В.Катаев).

Согласование в (18) не подчиняется правилу о подлежащем, поскольку подлежащим здесь является компонент R. Но и правило об идентифицирующем компоненте здесь тоже не работает. При перестановке компонентов, когда устраняется тематическая инверсия, связка во всех этих предложениях будет согласовываться с подлежащим (например: *Петроград был тогда столица*), так что тематическая инверсия заведомо небезразлична для согласования.

Проведенный анализ показывает, что в БП, выражающем предикацию, ясно различаются подлежащее и сказуемое, и связка в норме согласуется с подлежащим, независимо от того, является ли это подлежащее тематическим компонентом предложения или рематическим. В БП, выражающем идентификацию, когда синтаксическая атрибуция членов БП становится неопределенной, основная тенденция — согласовывать связку с идентифицирующим компонентом. Имеются факторы, которые определяют согласование независимо от синтаксического значения, выражаемого биноминативной конструкцией:

а) местоимения *это, то, кто* не участвуют в согласовании, так что согласование определяется родом и числом второго компонента, пример (7); иначе можно представить дело так, что в БП эти местоимения, каким бы членом предложения они ни являлись, перенимают согласовательный род и число от второго компонента;

б) компонент БП не участвует в согласовании связки, если он употребляется в роли чистого ярлыка (как бы автонимно), примеры (9), (10);

в) непреодолимое препятствие для участия компонента БП в согласовании связки — пауза, отделяющая его от связки, пример (13).

Невозможность выбрать морфологическую форму связки в конфликтной ситуации — при рематическом подлежащем и тематическом предикативе — может быть сама по себе фактором, препятствующим построению БП и требующим творительного предикативного.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Главное фразовое ударение — в простом предложении — всегда ровно одно. В невопросительном предложении главное ударение нисходящее, а второстепенное — восходящее (в вопросе тоны могут меняться). В коротких фразах второстепенное ударение факультативно. О линейно-интонационной структуре см. Падучева 1985: 108.

[2] На неудовлетворительности последней фразы настаивает Л. А. Булаховский, полемизируя по этому поводу с В.И.Чернышевым, см. Булаховский 1954: 322.

[3] Ср. пример Есперсена: в предложении Who was the prettiest girl at the ball? 'Кто был самой красивой девушкой на балу?' who — подлежащее, а в Who is he? 'Кто он?' who предикатив (Есперсен 1958: 173).

[4] Н.Дурново считает *что* исключенным из согласования так же, как *это* и *то* (Дурново 1929: 109). Примеров, однако, он не приводит.

[5] Этим аргументом авторы обязаны С.А.Крылову.

[6] По-видимому, по этой причине предложения с автонимным употреблением одного из компонентов не допускают тв. падежа предикатива: согласование связки с автонимным подлежащим затруднено, а больше ей согласовываться не с чем, ср. **Автор «Вэверлея» было псевдонимом Вальтера Скотта; *С тех пор «Нар-Дóс» стал моим псевдонимом* (М.Нар-Дос). Т.е. автонимные ИГ, в отличие от местоимений *это, кто,* не имеют рода.

[7] Пешковский 1938: 228, 234. Эта фраза допускает, кроме того, интерпретацию, при которой *честь дочери* не подлежащее, а приложение к интродуктивной группе *другой ... клад невозвратимый* — такому пониманию соответствовала бы запятая перед словом *честь*. (Вообще, у Пушкина — в отличие, скажем, от Толстого — прямых нарушений современных правил согласования связки с подлежащим не встречается).

[8] Ср. два вида тождества — таксономическое и субстанциальное, — которые различены в Арутюнова 1976, с. 307: субстанциальная идентификация — это идентификация с точностью до индивида. Таксономическая идентификация — это причисление объекта к той или иной исходной для него таксономической категории. Таксономическая определенность объекта является обязательным условием референции в естественном языке (см. Падучева 1985: 179); отсюда особая роль предложений таксономической идентификации в языке.

[9] О специфике предложений, выражающих пол объекта, см. Дурново 1929: 109.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова 1976 — Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.

Ахманова 1966 — Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., Советская энциклопедия, 1966.

Булаховский 1954 — Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., Учпедгиз, 1954.

Грамматика 1980 — Грамматика русского языка. Т. II, часть 1. М., Изд-во АН СССР, 1980.

Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., «Наука», 1970.

Дурново 1929 — Дурново Н. Повторительный курс грамматики русского языка, вып. II. Синтаксис, ч. 1, М.-Л., Госиздат, 1929.

Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики. Перевод с англ. М., Изд-во ин. лит., 1958.

Иванов 1979 — Иванов Вяч.Вс. Категория определенности-неопределенности и шифтеры. //Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., Наука, 1979, 90-118.

Ковтунова 1976 — Ковтунова И.И. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., Просвещение, 1976.

Падучева 1958 — Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. — М., Наука, 1985.

Падучева 1987 — Падучева Е.В. Предложения тождества: семантика и коммуникативная структура. // Язык и логическая теори. Сборник научных трудов. М., 1987.

Падучева, Успенский 1979 — Падучева Е.В., Успенский В.А. Подлежащее или сказуемое? (Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биноминативных предложениях) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, 1979, № 4.

Пешковский 1938 — Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 6-е, М., Учпедгиз, 1938.

Ревзин 1973 — Ревзин И.И. Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке. // «Проблемы грамматического моделирования». М., Наука, 1973.

Шмелев 1976 — Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., Наука, 1976.

Crocket 1976 — Crocket D.B. Agreement in contemporary standard Russian. Ann Arbor, Michigan, 1976.

Е. Н. Ширяев

КОНКУРЕНЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЫТИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИИ В РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СФЕРАХ

Исследования Д.Н.Шмелева открыли новый этап в осмыслении функциональной дифференциации современного русского литературного языка. Д.Н.Шмелев отказался от таких общих понятий, как стили языка с их подразделением на стили речи. Понятие стиля было сохранено только за функциональными разновидностями языка: научный, официально-деловой и публицистический стили во всех их жанровых разновидностях. Функциональные стили в целом были противопоставлены, с одной стороны, разговорной речи, с другой, языку художественной литературы. Как полагает Д.Н.Шмелев, каждая из этих трех сфер языка имеет свои коммуникативные задачи, что определяет ее языковую опецифику. Одно из важнейших положений функциональной концепции Д.Н.Шмелева состоит в следующем: анализ функциональных разновидностей языка в аспекте того, что называют стилистически маркированными средствами, недостаточен для выявления языковой специфики каждой разновидности; анализу должны подвергаться и нейтральные средства языка, поскольку разные функциональные разновидности предпочитают разные нейтральные средства и разные их модификации [Шмелев 1977]. Особый интерес в этом плане, как кажется, представляют такие средства, которые находятся в конкурентных отношениях. О конкуренции часто говорят в аспектологии, имея в виду случаи, когда два разновидовых глагола передают в определенном окружении один и тот же смысл и поэтому взаимозаменимы. Возможно, на мой взгляд, говорить и о конкуренции разноструктурных предложений, отражающих одно «положение дел». Особый интерес представляет конкуренция предложений, принадлежащих к разным логико-грамматическим типам. Понятие логико-грамматического типа предложено Н.Д.Арутюновой. Логико-грамматический тип выделяется в зависимости от характера референции компонентов. Ведущее положение среди логико-грамматических типов занимают бытийные и характеризующие предложения. В предложениях бытия в качестве конститутивных компонентов выделяются локализаторы, имеющие всегда конкретную референцию, глагол бытия и имя бытующего пред-

мета с понятийной референцией (*В нашем саду есть яблони*). В предложениях характеризации выделяется характеризующий компонент с понятийной референцией и субъект характеризации, имеющий либо конкретную референцию (*Он инженер*), либо более узкую, чем характеризующий компонент, понятийную референцию (*Ель — хвойное дерево*) [см.: Арутюнова 1976; Арутюнова, Ширяев 1983].

Уделить особое внимание конкуренции бытийных предложений с предложениями других логико-синтаксических типов побуждает не только то, что, как уже было сказано, интересен сам факт «борьбы» разных логико-семантических типов с их разным ходом развития мысли, но и ряд других немаловажных причин. Бытийные предложения — это не «один из многих» типов предложения русского языка, а тип, который в синтаксической системе русского языка занимает совершенно особое место. Структура бытийных предложений в русском языке обладает большой семантической емкостью. Те «положения дел», которые в романо-германских и ряде западнославянских языков выступают в форме предложений обладания, представляющих собой разновидность предложений характеризации с их субъектно-предикативной структурой (ср. немецкое *Jch habe einen Bruder* — дословно по-русски *Я имею брата*), в русском языке оформляются по бытийному типу: *У меня есть брат.* Справедливым кажется поэтому признать русское бытийное предложение одной из наиболее ярких характерологических особенностей русского синтаксиса. Большие семантические возможности русских бытийных предложений становятся очевидными, если просто перечислить семантические типы локализатора. Эти типы следующие. Различаются пространственные, личностные и абстрактные локализаторы. Пространственный локализатор может обозначать либо мир в целом: *В природе есть много интересного,* либо фрагмент мира: *На этой улице есть много кафе и магазинов.* Личностные локализаторы могут обозначать либо внешний микромир человека: *У него есть сын и дочь,* либо внутренний физический микромир человека: *У него была необычная прическа,* либо его внутренний психический микромир: *У него сегодня плохое настроение.* Абстрактные локализаторы могут обозначать либо продукт интеллектуальной деятельности человека: *В его суждениях есть рациональное зерно,* либо некоторые естественные явления: *В шуме волн есть что-то успокаивающее.* Кроме того, место локализатора в бытийных предложениях может занимать имя класса предметов, к которому принадлежит бытующий предмет: *Среди марок в его коллекции было много редких.* Такое семантическое разнообразие бытийных предложений позволяет им вступать в широкие конкурентные отношения с характеризующими предложениями. Зона «положения дел», общая для характеризующих и бытийных предложений, в русском языке оказывается весьма и весьма широкой.

Главный конкурент бытийных предложений среди предложений характеризации — это, несомненно, предложения обладания с доминирующим в этом типе глаголом *иметь*, ср. бытийное *У него есть дача* и характеризующее обладательное *Он имеет дачу*. Однако для некоторых семантических разновидностей бытийных предложений возможна конкуренция с предложениями определительной характеризации. Определительные эквиваленты бытийным предложениям возможны тогда, когда при имени бытующего предмета есть определение, ср. *У Пети трудный характер* и *Петя — человек с трудным характером.* Важно, таким образом, не просто выявить распространенность бытийных предложений и их характеризующих эквивалентов по разным языковым сферам, но и определить, какие семантические разновидности бытийных предложений с какими семантическими типами характеризующих предложений конкурируют.

При анализе функционирования бытийных предложений необходимо принять во внимание еще некоторые признаки. Речь идет о системе глаголов, передающих бытийность. Эта система хорошо развита и, что имеет для нас особое значение, выбор глагола из системы может зависеть от сферы языка. Кроме того, сама возможность характеризующего эквивалента может зависеть от выбранного бытийного глагола. Несомненно, основным экзистенциональным глаголом, в чистом виде передающим бытийное значение, является глагол *быть* с временной парадигмой *есть* (или нулевая форма) — *был* — *будет.* Глагол *быть* как основной для экзистенциональных в равной мере присущ всем языковым сферам. Кроме глагола *быть* должны быть выделены еще, по крайней мере, три группы бытийных глаголов. Во-первых, выделяется глаголы, которые, как и глагол *быть,* могут в чистом виде передавать идею бытия, но имеют явные ограничения в своем употреблении: *существовать, иметься* и др. Во-вторых, выделяется большая и активная группа глаголов, в которых бытийное значение создается за счет нейтрализации в определенных семантических условиях всех компонентов значения, кроме бытийного, ср. обычное характеризующее употребление глагола *стоять* в предложении *Девочка стояла у окна* и его бытийное употребление в предложении *На опушке леса стояла изба лесника.* Можно в этом случае говорить о делексикализации глагола *стоять*, поскольку его семантическое окружение в бытийном предложении исключает такие элементы его значения, которые проявляются в противопоставлении *стоять — лежать, ходить, сидеть* (*На диване лежали подушки*), *висеть* (*На березе висели сережки*) и многие другие. В-третьих, выделяются такие глаголы, которые, ничего не теряя в своем значении, могут активизировать элемент бытия потому, что все другие элементы значения в семантической ситуации бытийного предложения являются очевидными и потому не попадают в коммуникативный фокус предложения, например, в предложении *На окраине города возвышается небоскреб* названное глаголом *возвышать-*

ся положение небоскреба столь характерно для него, что все предложение осмысляется именно как бытийное. В этом случае можно говорить о лексикализованных глаголах (или просто о глаголах) в бытийном употреблении.

Чтобы уяснить общие закономерности конкуренции бытийных и характеризующих предложений, обратимся к типично нестрогой сфере языка — к РР, к типично строгой сфере — к научному стилю и публицистическому стилю как сфере, совмещающей особенности РР и научного изложения. Для сравнения выбираются такие типичные тексты данных сфер, в которых есть достаточное и примерно равное количество смыслов, которые могут быть оформлены и как бытийные, и как характеризующие, что и позволяет наглядно выявить общую картину конкуренции. В конце бытийных предложений ставится индекс (б), характеризующих — (х) и все бытийные и характеризующие предложения нумеруются по порядку их появления в тексте.

Разговорный текст (из кн.: Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978, с. 116):

...Началась война (б1) И у нас был один знакомый (офицер) (б2) у него... он был одинокий // И у него была чудесная сибирская лайка // (б3) Белая // Но она уже было... уже года три четыре уже было // (б4) И он ее привел и подарил ее / сказал что жалко ее оставить / а у меня как раз в это время не было // (б5) Она спокойная очень была // (х6) Девочка моя подросла / и она всегда верхом на ней ездила // Белая пушистая замечательная собака // И она кончила очень трагично // (х7) Она всегда выходила гулять / и заходила д... нас... тут... Я жила здесь близко на Кронверкской а там на Знаменской был магазин продовольственный / (б8) там знакомый мой (б9) Я там ему помогала / и эта собака приходила всегда сама / и там ее кормили // И потом она возвращалась обратно // И мы уже все знали / что она в известное время... И в один прекрасный день она не пришла // Что такое / куда девалась собака / ничего не могли понять // А через два дня мальчишки / так сказали мы мальчишкам / чтобы они... ну поискали или что / пришел мальчишка и говорит / «ваша собака» / а у меня был чудный такой ошейник красный сафьяновый красный ошейник / так что видный // (б9) и он сказал что ваша собака погибла...

Таким образом, из 9 конкурентоспособных предложений 7 являются бытийными, а два характеризующими: Она спокойная очень была — У нее был спокойный характер и Она кончила очень трагично — У нее был трагичный конец. Следует отметить, что характеризующие предложения принадлежат не к обладательному, наиболее обычному для бытийных предложений эквиваленту, а к определительному. В процентах соотношение конкурирующих бытийных и характеризующих определительных предложений таково: 81,1% к 19,9%.

Научный текст (из кн.: Воронин Н.Н. Смоленская живопись 12-13 веков. М., 1977, с. 55):

Северную сторону занимает необычное изображение полилитии (х1). Роспись не доходит до углов столба и ограничена по бокам как бы узорчатой рамой. Ее основу составляет белая с серыми точками сердцевина, ограниченная по бокам светло-коричневыми каймами, украшенными повторяющимися комбинациями значков стреловидного якоря фигуры типа замочной скважины, точки и троеточия (х2). Этому узору вторит идущий по низу панно ряд коричневых разнонаправленных косых копьевидных крестов, сложные варианты которых мы видели на белых завесах панелей. Основу композиции составляет фон необычной расцветки, состоящей из широких сплавленных горизонтальных полос синего, розового и желтого тона (х3). Центр занимает большой светлый диск розоватого цвета, поделенный на четыре сектора синим и красным ступенчатым орнаментом (х4); в секторах — четыре серых прозрачных диска — красный и синий — написаны по сторонам большого круга. В правом верхнем углу изображен большой коричневый якорь с копьевидным навершием (б6). В левом нижнем углу копиист изобразил нижнюю часть как бы летящей коричневой человеческой фигурки; возможно, это его реконструкция, основанная на невнятных пятнах цвета (б7). Якорь, нижняя кайма копьевидных косых крестов и орнаментация обрамления, где также встречаем маленькие якорьки с копьевидным завершением (б8), — едва ли случайные, лишенные смысла элементы росписи; они, несомненно, имеют нам сейчас неясное символико-магическое значение (х10). Существенно, что роспись низа столба ограничилась полилитией (х11).

Приведем возможные эквиваленты к выделенным конструкциям: (х1) На северной стороне было... (б); (х2) В ее основе... сердцевина... (б); (х3) В основе композиции... фон... (б); (х4) В центре большой светлый диск... (б); (б5) Секторы состоят из четырех дисков (х); (б6) Верхний угол имеет изображение якоря... (х); (б7) Левый угол имеет изображение фигурки (х)[I]; (б8) Обрамление также включает маленькие якорьки (х); (х9) У них есть значение (б); (х10) У крестов есть значение (б); (х11) В росписи низа столба есть только полилитии (б).

Таким образом, в данном научном тексте из 11 конкурентоспособных предложений 4 являются бытийными и 4 характеризующими. Их процентное соотношение, соответственно, таково: 36,4% и 63,6%.

Следует отметить, что характеризующие предложения, способные иметь бытийные эквиваленты, принадлежат только к одной семантической разновидности этого типа — к предложениям обладания.

Публицистический текст (из газеты «Известия»):

[I] О правильности интерпретации предложения (б7) как бытийного, несмотря на то, что его структурную основу составляет типичная для предложений характеризации схема N_iVf (Копиист изобразил), см.: Арутюнова, Ширяев 1983, с. 120.

Есть у реки защитники (б1)

В клубе эсперантистов Тернопольского производственного объединения «Ватра» родилась идея похода по рекам (б2). Ее поддержали москвичи и ленинградцы, общественность Украины и Молдавии. На этот раз среди участников плавания — члены экологического клуба при газете «Вечерняя Одесса» (б3).

Цель экспедиции — изучение экологической обстановки, сложившейся в последние годы в бассейне Днестра (х4). Как показали результаты первого похода, река уже не способна к самоочищению (х5). Между тем воду из Днестра пьют три миллиона человек, это единственный питьевой источник Одессы — города с более чем миллионным населением.

Причины загрязнения — ни для кого не секрет (х6). Это бездумная химизация в сельском хозяйстве прилегающих к Днестру районов, интенсивное строительство все новых промышленных объектов.. Рубится лес в водохранных зонах (б7), в реку текут мазут и машинное масло (б8), на берегах растут горы шлака (б9), у самой воды красуются свалки мусора и промышленных отходов (б10). Особенно тяжелая обстановка сложилась в районе городов Дубоссары, Рыбницы, Григориополь, Бендеры, Бельцы и Тирасполь в Молдавии, Белгород-Днестровский на Украине. Один лишь пример: берега у города Рыбницы завалены металлоломом, отходами производства цементно-шиферного комбината (х11), который еще и сбрасывает в реку мазут.

Приведем возможные эквиваленты к выделенным конструкциям: (б1) Река имеет защитников; (б2) Клуб эсперантистов выступил с идеей; (б3) Участники плавания имеют в своей среде членов экологического клуба; (х4) В цели экспедиции входило изучение экологической обстановки; (х5) У реки уже нет способности к самоочищению; (х6) Нет секрета, в чем причина загрязнения; (б7) Водоохранные зоны теряют лес; (б8) Река принимает мазут; (б9) Берега захламляются горами шлака; (б10) Берега у самой воды имеют свалки мусора и промышленных отходов; (х11) На берегах у города Рыбницы завалы металлолома.

Как видно, в данном публицистическом тексте из 11 конкурентоспособных предложений 7 являются бытийными и 7 характеризующими, что в процентном выражении дает показатели 63,6% и 36,4%.

Интересно отметить, что характеризующие предложения, способные иметь бытийные эквиваленты, принадлежат как к определительным (х4, х5, х6), так и к обладательным (х11).

Полученные на основе таких простых подсчетов цифры весьма контрастны и показательны. Заметим, между прочим, что такие контрастные результаты в таких случаях делают, как кажется, излишней тонкую статистическую методику. О чем же свидетельствуют цифры?

1. В РР, безусловно, полностью господствуют бытийные предложения. Характеризующие обладательные предложения практически вообще не конкурируют с бытийными. Возможна только конкуренция (в

нашем тексте менее 20%) с характеризующими определительными предложениями.

2. В научных текстах картина принципиально иная, в определенной степени противоположная тому, что наблюдается в РР. Строгие сферы явно предпочитают характеризующие предложения со значением обладания. Преобладание таких предложений по отношению к бытийным резко выделяет строгие сферы не только по сравнению с РР, но и с промежуточным между РР и строгими стилями публицистическим стилем, где процент бытийных предложений выше, чем соответствующих характеризующих. Это дает основание заключить, что большой по сравнению с соответствующими бытийными предложениями процент предложений обладания в строгом тексте — это одна из основных отличительных черт научного стиля.

Сопоставляя в плане конкуренции бытийные и характеризующие предложения в РР и строгих стилях, необходимо отметить и другое. РР, как уже сказано, в этом аспекте в известной степени противопоставлена строгим сферам, но все же строгие сферы языка нельзя рассматривать как прямую противоположность РР, поскольку процент бытийных предложений в строгих сферах достаточно высок (свыше 36%). Поэтому языковая маркированность текста как строгого не обязательно опирается на предпочтительное употребление предложений обладания, способных иметь бытийный эквивалент. Если сильны другие показатели строгих текстов, не обязательно синтаксические, то в отдельных фрагментах текста могут преобладать и бытийные предложения, ср. такой фрагмент научного текста из того же источника, что и приведенный выше (с. 54):

Над аркосолиями северной половины западной стены помещалась многофигурная композиция, часть которой изображает акварельная копия. С правой стороны — желтый трон с узорчатыми ножками и с красной подушкой и подножием; на троне — фигура Христа в синей одежде с красным лором. Фон — серовато-оливковый. Перед троном слева — семь предстоящих без нимбов, на переднем плане — три и сзади четыре фигуры. Правая фигура в красной одежде, с желтым («золотым») опястьем протягивает правую руку к сидящему на троне. Средняя фигура — в синей одежде, левая — в красной. За ней — красно-коричневая полоса обрамления. Фон простирается и справа от трона. С этой стороны была симметричная группа предстоящих. Композиция была длинной и узкой.

Возможность в строгих сферах таких фрагментов с явным преобладанием бытийных предложений нисколько не колеблет общий вывод о значительно большем употреблении в таких сферах предложений обладания, конкурентоспособных с бытийными. Что же касается РР, то в ней нам не удалось обнаружить ни одного текста, в котором бы процент характеризующих предложений, конкурентоспособных с бытийными, был бы достаточно высок, не говоря уже о том, чтобы этот

процент был выше, чем процент соответствующих бытийных предложений[II]. Таким образом, если по отношению к строгим текстам можно говорить только о преобладании соответствующих характеризующих предложений над бытийными, то по отношению к РР можно говорить о господстве бытийных предложений.

3. Процентное соотношение конкурентоспособных бытийных и характеризующих предложений в публицистике хорошо подтверждает промежуточное положение (между строгими сферами и РР) этого функционального стиля. Следует заметить еще следующее. Бытийные предложения — настолько сильный показатель разговорности, что публицистический стиль в целях «оживления» изложения может предпочитать именно его другим разговорным явлениям. И обычно процент бытийных предложений, конкурентоспособных с характеризующими, в публицистических текстах выше процента характеризующих предложений. В отличие от строгих сфер, где бытийные предложения обычно конкурируют в основном с характеризующими обладательными предложениями, в публицистике обычны определительные характеризующие предложения, способные конкурировать с бытийными, что также сближает в этой области публицистику с РР. Итак, публицистика в конкурентной борьбе бытийных и характеризующих предложений занимает между строгими сферами и РР явно смещенное к РР промежуточное положение.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.
Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978.
Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях (к постановке проблемы). М., 1977.

[II] С этой точки зрения были проанализированы все разговорные тексты, собранные в книге «Русская разговорная речь. Тексты». М., 1978 и многие неопубликованные разговорные тексты.

СТИЛИСТИКА. АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Е. Э. Бабаева

КЕНТАВР
(СТИХОТВОРЕНИЕ «МУЗЫКА» В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА К.ВАГИНОВА)

Не мудрено, затем услышали вы море
В домашней передряге.
К.Вагинов.

Музыка

В книговращалищах летят слова,
В словохранилище блуждаю я.
Вдруг слово запоет как соловей, —
Я к лестнице бегу скорей.
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луной
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка — она
Во измененье образов заключена.
Ни О, ни А, ни звук иной —
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу, вдруг поет
Необъяснимый хоровод, —
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

В стихотворении К.Вагинова «Музыка», вошедшем в его сборник «Опыты соединения слов посредством ритма», прочитываются мотивы, принципиальные, как кажется, для его поэтики и для авторской рефлексии по поводу собственного творчества. Эти мотивы можно поместить в несколько семантическо-понятийных контекстов[1].

I. **Движение** *по* **земле** (*идти, бежать, брести, блуждать, скитаться*) **и** *над* **землей** (*бежать, лететь, нестись, порхать*). **Движение по вертикальной оси: вверх** (*взойти, взбежать, вознести(сь), взлетать, взвиться, встать, восстать, расти, извиваться вверх*) / **вниз** (*спускаться, упасть, низвести, стянуть*). Композиционная структура многих стихотворений К.Вагинова основывается на попытке воссоздания логики движения лирического героя внутри поэтического мира

и логики движения самого поэтического мира. Видение обращения мира в пространстве и во времени, которое открывается сдвигом восприятия, начинается этапом чисто механического движения: «в словохранилище *блуждаю я*» (ср.«в улицы я *убежал*» [Юноша, с. 430], «*Бегу* в ночи над Финскою дорогой» [Бегу в ночи..., 431], «Беспомощный, я в домы *отбежал*» [К музе, 433], «Я *вышел* тоже и *побрел* куда // глаза глядят...» [Пред разноцветною толпою, 434], «Зарею лунною, когда я спал, я *вышел*» [Эвридика, 436], «И мы по опустевшему паркету // *Подходим* к просветлевшим зеркалам» [Ночь, 438], «И снится ей, что мы *блуждаем*, // Как брат с сестрой» [Ангел ночной стучит..., 446], «Мне хорошо в сырую ночь // *Блуждать* и гаснуть над водой» [Песня слов, 448], «Зачем *скитался* ты и пел» [Уж день краснеет..., 463] и др.). Перемещение лирического героя в реальном ландшафте служит своеобразным «разбегом», после которого происходит отстранение от земного пространства и, порой, от земной оболочки: «как путешествие под бурною луною». Мгновению отстранения предшествует ощущение усталости («Устал я жить в движенье торопливом // Толпы, погруженной в себя» — И дремлют львы..., 452). С этого мгновения наступает иная фаза движения — бег не *по* земле, а *над* землей (или же, в других координатах, под небесами и светилами), полет (ср.: «*Над* миром рысцой торопливой, // Бегу я, спокоен и тих» [Над миром рысцой торопливой..., 436], «Но, как птицы, навстречу // Наши души *летят*» [Не лазуревый дождь..., 444], «Мы, эллинисты, здесь толпой // [...] // *Порхаем,* словно мотыльки» [Эллинисты, 442], «И мы *летим* над бывшим градом» [Ленинградская ночь, 449], «Но в стороне // [...] // *Порхают* легкие певицы» [Нет, не расстался я с тобою..., 464], «Но будет, будет вновь *полет*!» [Русалка пела..., 465], «И полюбила возноситься, // [...] // Пчелой жужжащею *летать* // Безмолвной бабочкой *порхать*» [Ночное пьянство, 470], «Появились под темным дождем // *Два крыла* быстролетной певицы» [Золотые глаза.... 473] и др.). Стремление вверх, полет грозит «искушением пространством»: «С Психеей тонкою несусь // За облака, под облаками, // Меж звездами и за луной» (Ленинградская ночь, 450)[2].

Движение лирического героя как преодоление земного бытия и возвращения к нему, а также связанные с этим движением переживания могут описываться глаголами с семантикой «подниматься» и «спускаться»: «Теперь я вырвался, свободный и скользящий, // И на балкон *взошел*» (О, сколько лет я превращался в эхо..., 433), «Но берега *росли*. // Любви мы *выше* оказались» (И снова мне мерещилась любовь..., 436), «И кажется солнцем *встающим* // Психея на дальнем конце» (Психея, 437), «Я видел образ женщины, она // [...] // *Росла* со мной...» (Я восполненья не искал, 438), «Ты пел, *взбегая* на ступени» (За ночью ночь пусть опадает..., 440), «И *вверх* телами *извивалась* // Толпа безжизненных калек» (Дрожал проспект..., 444), «Ты Фениксом

взовьешься предо мной» (И дремлют львы..., 452), «Я бился, бился и *взлетал*», «хотел тебя я *вознести*, // В высокий храм перенести» (Русалка пела..., 465), «Ты вновь *взбежал* в червонные чертоги» (Опыты, Под гром войны..., 13), «Ты *восстаешь* в долине жаркой» (Нет, не расстался я с тобою..., 464), «И, важно ступая, *спускаюсь* со скал» (Ворон, 435), «Я чувствую, желаньем полон мрамор // Вновь *низвести* прекрасные черты» (Час от часу редеет мрак медвяный..., 439), «Пусть *стянут вниз* // Лишь призрак твой» (На лестнице я, как шаман..., 445), «Легка нога, но *упадает* путь» (Опыты, Поэма квадратов, 58), «И хор *спускался* с гор» (Он с каждым годом уменьшался... , 462) и др. Перед лирическим героем простирается путь, по которому можно двигаться либо вверх либо вниз, — но он оказывается «невластным» над судьбой («Но путник тот, кто путать не умеет. // Я перепутал путь...» — Опыты, У трубных горл, под сенью гулкой ночи..., 66). Движение вверх осознается как блаженство, но запрет, наложенный на путь вниз, становится трагедией: «Все чаще вспоминаю берег тленный // И прах земли, отвергнутые мной» (там же, 67).

II. **Движение вверх / вниз** (*лестница*). Метафорический путь от состояния «праха» к состоянию «над прахом» воплощается в мире поэзии К.Вагинова в понятии лестницы: «Я к лестнице бегу скорей». Лестница оказывается спасительным пространством, позволяющим совместить оба состояния, взлететь, не утратив связи с землей. Ср.: «На *лестнице* я, как шаман, // Стал духов вызывать» (На лестнице я..., 445), «И я... // Припоминаю *лестницу* в цвету // По ней взбирался я со скрипкой многотрудной» (Поэзия есть дар в темнице ночи струнной..., 432), «И полюбила возноситься //[...]// И вдруг на *лестнице* стоять» (Ночное пьянство, 470), «Ступени *лестниц*, словно пелерины, // К плечам пришиты были скал» (Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины..., 475)[3].

III. **Предел движения вверх. Статика** (*стоять в вышине, висеть, сидеть на вершине*). **Взгляд сверху вниз** (*свеситься, склониться, глядеть, взгляд, взор, очи, зеницы, зрачок, солнце, звезда*). Движение вверх имеет своим пределом некую точку, в которой его сменяет статика. В композиционной структуре многих стихотворений К.Вагинова важную роь играет фиксация такой точки (вершины), откуда взгляд может стремиться только вниз, «со скал береговых // На моря беспредельный перелив». Собственно, взгляд «на этот путь сияющих химер» (О, сколько лет я превращался в эхо..., 433) и является конечной целью движения: «Как будто обтечь я обязан // И каждую вещь осмотреть» (Над миром рысцой торопливой..., 436). Ср. «И я, из башни *свесившись* в пустыню, // Припоминаю лестницу в цвету» (Поэзия есть дар в темнице ночи струнной..., 432), «И, мне казалось, в этот час отвесный // Я символистом свесился во мглу...» (О, сколько лет я превращался в эхо..., 433), «Прекрасен, как ворон, *стою в вышине* // Выпуклы архаи-

чески *очи.* // Вот ветку прибило, вот труп принесло» (Ворон, 435), «Не медномраморным, но жалким человеком // *Стою* на мраморной просторной вышине // [...] // Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи» (Опыты, Среди ночных блистательных блужданий..., 60), «Плешивые дети *сидят* // на великолепной *вершине*» (На набережной рассвет..., 465), «Но ты *склонилась* облаком ко мне» (Опыты, Не человек: все отошло и ясно..., 68).

Отрешение от земного бытия, взгляд на него сверху вниз приводит лирического героя к «отождествлению» себя со «вселенной» (И дремлют львы..., 451). Его стремление к «солнечным покоям» вызвано желанием встать на точку зрения высшего наблюдателя, магнетическое присутствие которого он все время ощущает. Если двигаясь вверх, он чувствует притяжение земли, требующее неотвратимой последней дани, — взгляда, то, находясь внизу, среди «марионетной толпы», он испытывает воздействие далекого «ока»: «Все время ощущаю связь // С звездою, дышащей высоко» (Ленинградская ночь, 449). Ср. «В улицы я убежал, и медного *солнца ресницы* // Гулко *упали* в колкие плечи мои» (Юноша, с. 430), «И магнетически притянутые *взоры* // Тебя не *проглядят* в разубранном резце» (Не тщись, художник, к совершенству..., 432), «А с вышины // Из глубины // Густых паров // *Глядит* любовь» (Эллинисты, 442), «Почто воскреснул ты, // Иль на небе горят *зеницы*» (Звук О по улицам несется..., 446), «И в черноте распущенных *зрачков* // Встает звезда» (Опыты, Шумит Родос, не спит Александрия..., 62).

IV. **Взгляд сверху вниз. Трансформация мира** (*увидеть, услышать*). В тот момент, когда взгляд лирического героя падает на землю, мир, лежащий внизу, трансформируется «из мрака в свет» «И хочется смеяться мне // В нежданном и весеннем дне». Аналогичная трансформация достижима и при преломлении мира под воздействием «взгляда» высшего наблюдателя: «...а мозг над головою // *Склонен* в зрачки и *видит* листный сад // И времена тугие и благие // Великой Греции» (Опыты, Поэма квадратов, 59). Эта трансформация может представляться и как погружение в сон и как пробуждение ото сна, — и в том и в другом случае речь идет о замене одного мира другим, происходящей при концентрации энергии, идущей сверху вниз.

Рассмотрим механизм трансформации мира на примере стихотворения «Юноша» (430):

Мир с точки зрения лирического героя, находящегося внизу.	**Наблюдатель. Появление точки зрения сверху вниз.**	**Трансформированный мир.**
Помню последнюю ночь в доме покойного детства: // Книги разодраны, лампа лежит на полу. // В улицы я убежал...	... и медного солнца ресницы // Гулко упали в колкие плечи мои...	Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска. // В Польшу налет — и перелет на Восток.

Метаморфоза может происходить и в обратную сторону:

Трансформированный мир.	**Наблюдатель. Появление точки зрения сверху вниз.**	**Мир с точки зрения лирического героя, находящегося внизу.**
Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска. // В Польшу налет — и перелет на Восток.	О, как сияет китайское мертвое солнце!	Снова на родине я. Ем чечевичную кашу. // Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.

Последние две строки стихотворения как бы снимают актуальность трансформации, поскольку могут прочитываться в контексте обоих миров: «Но не откроет мне дверь насурмленная Маша. // Стаи белых людей лошадь грызут при луне».

Подобные примеры легко умножить[4]. Приведем еще некоторые:

	Мир с точки зрения лирического героя, находящегося внизу.	**Наблюдатель. Появление точки зрения сверху вниз.**	**Трансформированный мир.**
«Пред разноцветною толпою...» (434)	Пред разноцветною толпою // Летящих пар по вечерам, // Под брызги рук ночных таперов // нас было четверо...	Далекий свет чуть горы освещал...	Я вышел тоже и побрел куда // Глаза глядят с невыразимой жаждой // *Услышать* моря плеск и парусника скрип // И торопливое деревьев колыханье.
«Два пестрых одеяла...» (440)	Два пестрых одеяла, // Две стареньких подушки, Стоят кровати рядом. // А на окне цветочки // [...] // В окошко лезут крыши, // Заглядывают кошки // С истрепанною шеей //	И вновь она Психеей // Склоняется над ним...	И вновь они с цветами // Гуляют вдоль реки. // Дома любовью стонут // В прекрасной тишине, // И окна все раскрыты // Над золотой водой. Патрокл ли то стремится? // Не Сарды ли стоят? // иль брег Александрийский? Иль это римский сад?

	[...] // И дом давно проплеван, // Насквозь туберкулезен, // И масляная краска // Разбитого фасада, // Как кожа, шелушится...		
«Ночь» (438)	И мы по опустевшему паркету // Подходим к просветленным зеркалам. // Спит сад, покинутый толпою, // Среди дубов осина чуть дрожит // [...] // И в глубине, в переливающемся зале // Танцуют, ходят, говорят. // Один сквозь ручку к даме гнется, // Другой медлительно следит // За собственным отображеньем...	И лунный луч, земли не достигая, // Меж туч висит.	А третий у камина спит // И *видит* Рима разрушенье. // И ночь на парусах стремится...

Растворение «вершины», с энергией которой связывается трансформация пространства, как и ее появление, проводит границы между двумя мирам: «Так отрекаемся, едва пропел петух, // От мрамора, от золота, от хвои // И *входим в жизнь,* откуда выход -- смерть (Опыты, Среди ночных блистательных блужданий..., 61). В этом случае один из них предстает как нереальный, ср. в стихотворении «В стремящейся стране в определенный час... (436):

Исчезновение точки зрения сверху вниз	**Нереальность трансформированного мира**
Когда огни застигнуты зарей // И, как цветы, заметно увядают.	Иносказаньем кажутся тогда Ночь, и заря, и дуновенье, И горький парус вдалеке, И птиц сияющее пенье.

Отсутствие точки зрения сверху вниз делает невозможной трансформацию мира, который начинает восприниматься как плен, высвобождение из которого возможно лишь при упорном стремлении вверх:

	Невозможность трансформации мира	Движение снизу вверх
«Не лазуревый дождь...» (444)	Не лазуревый дождь, // И не буря во время ночное, // И не бездна вверху, // И не бездна внизу. // И не кажутся флотом, // Качаемым бурной волною, // Эти толпы домов // С перепутанным отблеском лиц. // Лишь у стекол герань // Заменила прежние пальмы, // И висят занавески // Вместо тяжелых портьер.	Но, как птицы, навстречу // Наши души летят // И встречаются ночью // На склоне цветущем, // Утомленные очи подняв.
«И дремлют львы, как изваянья...» (452)	Устал я жить в движенье торопливом // Толпы, погруженной в себя.	Все мнится мне, сияя опереньем, // Ты Фениксом взовьешься предо мной...

V. **Трансформация мира. Двойничество** (*двойник, встретить самого себя*). Лирический герой ощущает внутреннюю связь с магической «высотой» и переживает состояние статического «зависания» над миром как высвобождение одной из своих ипостасей: «От юности предшествует *двойник,* // Что *выше нас* и, как звезда, велик» (Прекрасен мир не в прозе полудикой..., 464).

Потенциальная трансформация мира позволяет лирическому герою сталкиваться со своим двойником: «Прошли года, он *встретился с собою* // У порога безлюдных улиц» (И дремлют львы, как изваянья..., 451), «Он не был пьян, он не был болен, // Он просто *встретил сам себя*» (Нарцисс, 472). Однако узнавание себя и расподобление с собой равносильно для него переживанию смерти: «Он с юностью своей, как должно, распрощался, // И *двойника,* как смерти, испугался» (Он с юностью своей..., 473), «Я сам сижу // На облучке, // Поп впереди — за мною гроб, // В нем *тот же я — совсем другой,* // Со мной подруга, дикий сад — // Луна над желтизной оград» (Я стал просвечивающей формой..., 435)[5].

Вместе с тем, лишь через двойничество (или же через трансформацию) осуществляется преемственность культур.

VI. **Содержание** (*дух, субстанция*) **и форма** (*образ, тело*). Трансформация, касается ли она пространства (например, превращение *герань/пальма*) или же самого лирического героя (*двойник*), состоит из двух фаз: разделения формы и содержания и последующего их нового синтеза, — между которыми существует фаза «пустоты». Понятия «форма» и «содержание» реализуются в поэзии К.Вагинова как противопоставление «образа»» и «духа» (живущего в стремлении встретиться в «безызмерном пространстве» с «душой» — Психеей); «Я уменьшал себя и отправлял свой образ // На встречу с ней в глубокой тишине. // Я часть себя. И страшно и пустынно. // Я от себя свой образ отделил» (Я восполненья не искал..., 438). Ср.: «Зарею лунною, когда я

спал, я вышел, // Оставив спать свой *образ* на земле» (Эвридика, 436), «Из юноши *дух* выбегает, // А *тело*, старея, живет...» (Над миром рысцой торопливой..., 436) «Покойников хоронят рано утром, // Без отпеваний горестных и трудных, // Как будто их *субстанции* хранятся // Из рода в род в *телах* живых» (Опыты, Да, целый год я взвешивал..., 30)[6].

VII. **«Пустая» форма** (*пустой сосуд, просвечивающая форма*). **Пластические формы** (*изваяние, статуя, слепок, копия, подражание, музей*). После разделения «образа» и «духа» форма оказывается опустошенной (омертвевшей): «И я, *сосуд пустой*, // С растекшейся во все и вся душою» (Пред разноцветною толпою..., 434), «Я стал *просвечивающей формой*, // Свисающейся ветвью винограда» (Я стал просвечивающей формой..., 434). «Образ», равный лишь своей пластической форме, описывается К.Вагиновым как некая объемная фигура: «Вчерашний день терзает как *музей*, // Где *слепки, копии* и *подражанья* (За годом год..., 469), «Знакомое предстанет *изваянье*, // Когда в *музей* прохожие войдут» (Подделки юную любовь напоминают..., 475), «*Подделки* юную любовь напоминают, // Глубокомысленно *на полочках стоят*» (там же), «Я встретил соловья, он подражал, // И *статую* из солнечного края // Он голосом своим напоминал» (Норд-ост гнул пальму, мушмулу, маслины..., 476), «Покойных дней прекрасная Селена, // Предстану я потомкам соловьем, // Слегка разложенным, слегка окаменелым, // *Полускульптурой* дерева и сна» (Один средь мглы, среди домов ветвистых..., 432).

В противовес «образу», обреченному в отсутствие «духа» на неподвижность, «дух» обретает себя в движении: «Как будто обтечь я обязан // И каждую вещь осмотреть» (Над миром рысцой торопливой..., 436). Им движет, в конечном итоге, мечта о воссоединении — «Соединиться вновь — хоть тлен и пустота» (Опыты, Под гром войны тот гробный тать..., 13), «И снится ей... // [...] // Что позади остался свист пустынной ямы, // Что вечно существуем мы» (Ангел ночной стучит, несется..., 446). Ср.: «Пустынных форм томительно ищу» (Опыты, Отшельники, 23), «Он, как и все, был утомлен разлукой // С своей душой, // Он, как и все, боролся с зябкой скукой // И пустотой» (Всю ночь дома дышали светом..., 473).

VIII. **«Пустая» форма. Молчание.** Признаком опустошения «образа» является его погружение в молчание: «Пусть стянут вниз // Лишь призрак твой, // Пусть ходит он средь них, // Как человек, как человек, *молчащий* человек» (На лестнице я, как шаман..., 445), «А статуя под покрывалом темным // В венце домов останется *молчать*» (Не тщись, художник..., 432), «В нем было тускло и спокойно // И *не хотелось говорить*» (Нарцисс, 472). Ср.: «Что ж ты *молчишь* теперь, // Как будто изваянье, лишенное окраски, // С тяжелыми крылами» (И дремлют львы, как изваянья..., 452).

IX. «**Ожившая» форма. Обретение звука** (*заговорить, петь, пенье*). Признаком происшедшего нового синтеза является разрешение от молчания: «Проснется статуя и скинет темный плащ // И, патетически перенимая плач, // *Заговорит,* притягивая взоры» (Не тщись, художник..., 432), «О, сделай статуей звенящей // Мою оболочку, // Чтоб после отверстого плена // Стояла и *пела* она» (Опыты, О, сделай статуей звенящеей..., 18), «Она, безумная, не хочет подражать, // И копии и слепки разбивает, // И *пеньем* наполняет берега» (Подделки юную любовь напоминают..., 475).

X. **Слово** (*образ, звук, музыка*). **Слово как «пустая форма». Пластическая форма слова** (*изваяние, слепок, словохранилище*). Слово, понимаемое как музыка, в отличие от «гула природы», также являет собой двуединство. Оно состоит из «образа» и «звука»: Не в звуках музыка — она // Во измененье образов заключена // Ни О, ни А, ни звук иной // Ничто пред музыкой такой». Ср.: «Он с каждым годом уменьшался, // И высыхал, // И горестно следил, как *образ* // За словом оживал» (Он с каждым годом..., 462).

Слово также может мыслиться как некая пластическая «пустая» (мертвая) форма: «Слова из пепла *слепок*» (Опыты, Слова из пепла..., 54), «Как *изваяния*, слова сидят со мною» (Опыты, Отшельники, 23). Подобно тому, как «пустые» формы образуют музейные коллекции, «пустые» слова оседают в хранилищах: В *словохранилищах* блуждаю я (ср.: «Слова *на полочках стоят*» — Песня слов, 448).

Судить о «пустом» слове можно лишь по его «образу»: «Одно одето, точно граф, // Другое — как лакей Евграф, // А третье — верный архаизм» (Песня слов, 448). Однако, в отсутствие «звука», их «образность» воспринимается лишь как «маскарад».

XI. «**Пустое» слово** (*коридор, переход*) — **Голос** (*сад сладкогласный, музыка*). Наряду со стремлением «звука» к «образу» возможно обратное движение — от «пустоты» единичного «образа» к сонму звуков. В этом случае «образ» мыслится как некая «пустота», протяженная в пространстве: И предо мною слово точно коридор[7]. Ср.: «Он вспоминал — все было ясно, // И длинный, длинный *коридор,* // Там, в глубине — *сад сладкогласный*» (Какою прихотью глупейшей..., 467), «И в *переходах* отдаленных // [...] // Пространство *музыкой* светилось» (Опыты, Отшельники, 24).

XII. «**Ожившее» слово. Обретение звука** (*петь*). «**Паденье**» (*забыть, забытье, забвение, помнить, напомнить, прообраз, прежнее имя*). Новое соединение «звука» и «образа» дает слову возможность звучать: Вдруг слово запоет, как соловей[8]. «Пустота» слова, как и «пустота» других форм, преодолевается «голосом»: «Но все же я искал названий // И пустоту обогащал» (Опыты, Отшельники, 23).

Преемственность слова, достигающаяся, как и преемственность мира, через трансформацию, подразумевает наличие механизма забве-

ния и напоминания: «Люблю слова — предчувствую паденье, // *Забвенье* смысла их средь торжищ городских» (Я променял весь дивный гул природы..., 430), «И слово горит и темнеет // [...] // И каркают птицы и реют // Над черным его *забытьем*» (Черно бесконечное небо..., 464), «*Но помнит* он [звук — Е.Б.] далекие народы // И треск травы, и волн далекий бой» (там же), «Так звуки У и А *приемлют* шум трамвая // И завыванье проволок тугих» (там же), «В последний раз звук А *напомнит* шум дубравы, // В последний раз звук Е *напомнит* шум травы» (там же), «Молодые слова поют: Но мы печальны, Боже мой, // Всей жизни гибель мы переживаем: Увянет ли цветок — уже грустим, // Но вот другой — и мы *позабываем* // Все, все, что было связано с цветком» (Песня слов, 447), «И голосом своим нерукотворным // *Дарую дань грядущим племенам*» (Опыты, Поэма квадратов, 58).

Умиранию и возрождению во времени противопоставлена нетленность в пространстве: «Здесь время снизу жрет слова // А наверху идет борьба» (Песня слов, 449). Поэтому-то именно в пространстве (над миром) висят некие прообразы, аккумулирующие память и определяющие припоминание: «Почто воскреснул ты? Иль на небе горят зеницы» (Звук О по улицам несется..., 446). Ср. там же: «К скале прикованный над нами // *Прообразом* висишь» (447), а также в стихотворении «Дрожал проспект, стреляя светом...»: «И исковерканные очи // Глядят с великим состраданьем // На вверх ползущие тела. // И *прежним именем* ласкают» (445).

До обретения «звука» слово является лишь «звукоподобием», потенциально готовым начать новый отсчет своего бытия во времени, подобно другим «ожившим» формам: «Сегодня вставил ты глаза мне Психеи // И сердце в грудь мою вогнал. // Уже я чувствую желанье, // Я, изваянье, // Перехожу в разряд людей» (Звукоподобие проснулось..., 467).

XIII. **Поэт как демиург музыки.** «Падение», которое совершает «звук» ради соединения с «образом», порой оказывается напрасным, и тогда «звуку» суждено повторить свой путь в пространстве: «А ветр шумит, *непойманные звуки* // Обратно падают на золотую ночь» (Опыты, Среди ночных блистательных блужданий..., 60). Демиургом слов является поэт, способный пройти путь сквозь «пустоту» образа и уловить «звук»[9]. В стихотворении «Звукоподобие проснулось...» «звукоподобие» обращается именно к поэту: «Я ухожу, меня ты проклянешь // И постараешься отнять // Глаза Психеи, сердце вынуть // И будешь в мастерскую звать», ср. там же: «Звукоподобие другое // Ты выставишь из темноты» (468). Ср.: «Под чудотворным, нежным звоном // Игральных слов стою опять. // [...] // Так сумасшедший собирает // Осколки, камешки, сучки, // Переменясь, располагает» (Опыты, Под чудотворным..., 26).

Этот акт творения осознается как «блестящее мгновенье», которому предшествуют «месяцы и годы упражнений» (Опыты, Да, целый год я взвешивал..., 29): «Бессмысленно хватаю я бумагу — // И в хаосе заметное сгущенье, // И быстрое движенье элементов, // И образы под яростным лучом — На миг...». Просвечивающая («виноградная» — см. выше, § VII) форма подчиняется воле поэта: «Упал на площадь виноградный стих // [...] // Мы закуем его в тяжелые напевы, // В старинные чугунные слова, // Чтоб он звенел, чтоб надувались жилы...» (Опыты, Крутым быком пересекая стены..., 65).

XIV. **Трансформация мира под воздействием музыки.** Однако поэт, совершив акт творения, более не властен над своим произведением («Безнадежно // «Остановись!» — воскликнешь ты» — Звукоподобие проснулось..., 468). Музыка занимает некую абсолютную точку зрения над миром, который трансформируется под ее воздействием. Ей сообщаются черты далекого наблюдателя, бросающего взгляд (свет) в лежащий внизу мир: «Пурпурные, гулкие звуки // Слышны отдаленной зари. // И *слово горит* и темнеет // На площади перед окном» (Черно бесконечное небо..., 464). Подобно тому, как взгляд (свет) выхватывает отрезок пространства и преображает его, музыка рассеивает мглу: «Зачем ты музыку прервал? // [...] // Зачем ты отнял жизнь мою // И погрузил меня во тьму?» (Русалка пела, дичь ждала..., 466). Под воздействием музыки Петербург предстает «островом блаженных» в «стране Гипербореев»: «И *музыку услышишь* // И выйдет из пещер // Прельщающим движеньем, // Сомнамбулой Орфей» (От берегов на берег..., 443), «Появились под темным дождем // Два крыла быстролетной *певицы,* // И томимый голос *зажег* // Бесконечно утлые лица // И *запели* пленительно вдруг // В *обветшалых телах,* точно в клетках, // *Соловьи*...» (Золотые глаза..., 473). Исчезновение же музыки (или же замена ее на «гул природы»), как и растворение точки зрения сверху вниз, меняет мир, возвращая лирического героя в исходное пространство: «И птица *приумолкла.* // — Чирик, чирик, чирик. — // А на окне под локтем // Герани куст возник» (От берегов на берег..., 443-444). Отречение от музыки становится равносильным добровольному отказу от вечности, ведущему к постоянной тоске по утраченному: «Какою прихотью глупейшей // Казалась музыка ему. // Сидел он, праздный и нахальный, // Следил, как пиво пьют в углу. // Стал непонятен голос моря, // Вся жизнь казалась ни к чему» (Какою прихотью глупейшей..., 466).

XV. **Поэзия.** Музыка, возникающая благодаря поэту и обретающая самостоятельность, является не чем иным, как поэзией (которой дарован «сладкий голос», ср. частое появление в поэтическом мире К.Вагинова образа соловья). Поэт осознает свое особое предназначение: «Нет, я другой. Живое начертанье // Во мне растет, как зарево, — // Я миру показать обязан // Вступление зари в еще живые ночи» (О, сколько лет я превращался в эхо..., 433), «Припоминаю лестницу в

цвету // По ней взбирался я со скрипкой многотрудной, // Чтоб волнами и миром управлять» (Опыты, Поэзия есть дар в темнице ночи струнной..., 21). Поэтому можно сказать, что именно поэзия заставляет мир трансформироваться: «Нам в юности Флоренция сияла, // Нам Филострата нежного на улицах являла — // Не фильтрами мы вызвали его, // Не за околицей, где сором поросло. // *Поэзией,* как утро *сладкогласной, // Он вызван был* на улице неясной» (Нам в юности..., 451). Таким образом, отказ от поэзии неизбежно приводит к прозе, что равносильно исчезновению музыки: «Прекрасен мир не в прозе полудикой, // Где вместо музыки раздался хохот дикий» (Прекрасен мир..., 464). Ср.: «Бессмыслица ваш дикий хохот» (Ленинградская ночь, 450)[10].

XVI. **Магический обряд** (*волхвование, хоровод, хор, вступить в круг, выйти из круга, вернуться в круг*). Трансформация мира является своего рода таинством, магическим обрядом: «И *волхованье* слов под выпуклой луной, // И образы людей исчезли предо мной» (Эллинисты, 442). Это таинство подразумевает наличие круга посвященных, откуда возникает тема вращения — В книговращалищах летят слова — хоровода или же хора, вознесенного над миром: Читаешь книгу — вдруг поет // Необъяснимый хоровод. Ср.: «У ног подруг Психеи ясной // Стоит людей тревожный *хор*» (Какою прихотью глупейшей..., 467), «И *хор* спускался с гор» (Он с каждым годом уменьшалсся..., 462), «В повышенном горе // На крышах природы // Ведут музыканты // Свои *хороводы.* // Внизу обезьяны» (В повышенном горе..., 465), «В венках фиалковых несется // Веселый *хоровод*» (Звук О по улицам несется..., 446), «И в *хоровод* детей вступают» (Дрожал проспект, стреляя светом..., 445), «Ты подбирай слова, и приручай и пой, // Но не лишай ни глаз, ни рук, ни ног зловещих, // Чтоб каждое *неслось,* но за *руки держась*» (Опыты, Из женовидных слов змеей струятся строки..., 19), «Как ведьм распахнутый кричащий *хоровод*» (там же), «В своей библиотеке позлащенной // Слежу за *хороводами* народов» (Опыты, Да, целый год я взвешивал..., 30).

Вхождение в круг и выход из него грозят лирическому герою трансформацией всего контекста существования, сменой ориентации от поэзии к прозе, от музыки к дисгармоничным звукам и наоборот: «Он *в круг вступил* и, мглою окружен, // Услышал пред собой девятиструнный звон» (Он с юностью своей, как должно, распрощался..., 473), «И я *вошел в слова,* и вот *кружусь* я с ними, // Танцую в такт над дикой крутизной» (Опыты, Из женовидных слов змеей струятся строки..., 19), «И хор цветов и голоса дверей // Вливались в круг, объятый ночью властной. // И появилось нежное лицо» (Он с юностью своей, как должно, распрощался..., 473), «*Из круга вышел* ты, мой друг, // Теперь чертям ты первый друг» (Русалка пела, дичь ждала..., 466).

В кругу избранных есть своя иерархия: «За парой парою *скользим,* // И впереди наш *танцевод*» (Эллинисты, 442). Так поэт становится «танцеводом» в хороводе слов: «Прозрачен для меня *словесный хоровод.* // Я слово выпущу, другое кину выше, // Но все равно они *вернутся в круг*» (Опыты, Я полюбил широкие каменья..., 63). Ср.: «Дай руку, слово, раз, два, три! // Хожу с тобою по земли. // *За мною шествуют слова...*» (Песня слов, 448).

XVII. **Загадка** (*кентавр*). Итак, К.Вагинов противопоставляет мир прозаический, исполненный дисгармоничных звуков и населенный обреченными на умирание формами, миру поэтическому, где царит музыка и свет и где, благодаря мгновенной трансформации, осуществляется вечный круговорот культур (ср. отчасти насмешливое признание роли поэта Тептелкиным: «Ведь нас он вечностью дарит // Под фиговым листком воображенья» (И дремлют львы, как изваянья..., 452) Таким образом каждое явление поэтического мира, будь то слово, лирический герой или же фрагмент действительности, являет собой загадку (ср.: «И стану я, как все, *загадкой,* // И буду *изменяться* я» (Звукоподобие проснулось..., 467), поиск разгадки которой происходит путем магических обрядов. Постоянно происходящее изменение, когда всякий образ раздваивается и синтезируется, вызывает асоциации самого поэтического мира и его составляющих с мифическим персонажем: «*Кентаврами восходят* поколенья, // И *музыка гремит.* // За лесом, там, полуденное *пенье,* // *Неясный мир* лежит» (Кентаврами восходят..., 475).

XVIII. **Отказ от разгадки. Осмеяние.** Осмеяние основных понятий, образующих поэтический мир, К.Вагинов вкладывает в уста Тептелкина (И дремлют львы, как изваянья...):

Полет над миром:	Сомнамбулой как будто ступаете между землей и небом (455)
Трансформация мира:	О, вспоминаю, как мы играли // В бабки в детстве на дворе. // То есть играл лишь я, // А вы прохаживались, вдохновляясь // Прекрасным воздухом воображаемыя рощи (455) И бред его о Фениксе // Мы заменили б явью (452)
Музыка. Трансформация слова:	Поете вы, // Как должно петь, темно и непонятно. // Игрою слов пусть назовут глупцы // Ваш стих. (455)
Поэт как демиург, переживающий вдохновение:	Вы притворяетесь // Искусно. Не правда ли, // Безумие как средство изобрел // Наш старый идол Гамлет (455)

Другой персонаж этого произведения, Книжник, невольно вторит Тептелкину, в свою очередь осмеивая «красивость» мировосприятия поэта:

Поэт:	Книжник:
Помните, в тот вечер, // Когда шел снег и дождь // И красною была луна, // Я забежал, в своей крылатке мокрой // За Клавдианом в серых переплетах (453-454)	Вы каждый день заходите. // В крылатке, насколько помню, // Не забегали вы. А книги // В мышиных переплетах все проданы (454)

Ср. схватку двух миров, представленную как театральное зрелище (об упоминании этого мотива в «Козлиной песни» см. «Поэты группы «ОБЭРИУ», комментарий, с. 624) — своего рода мистерию, оканчивающуюся тем, что «музы исполняют простонародные песни и пляски» (461). И, как квинтэссенция мнения зрителя (читателя), не приемлющего зрелища «кентавра» и отказывающегося от загадки, звучат слова разгневанного Тептелкина: «Нам опять показали кукиш в кармане!».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящей работе цитаты приводятся по двум изданиям: Поэты группы «ОБЭРИУ» (СПб., 1994) и Конст. Вагинов. Опыты соединения слов посредством ритма (М., 1991). При ссылке на первое издание в скобках после цитаты приводится лишь название стихотворения (например, Юноша, 430), при использовании же второго издания перед названием стихотворения указан сборник, по которому приведена цитата (например, Опыты, Одно неровное мгновенье..., 25).

[2] Ср. в романе «Козлиная песнь»: «Я вижу своих героев *стоящими вокруг меня в воздухе* [...] мои герои *стоят над морем в воздухе*, пронизанные солнцем» (К.Вагинов. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. М., 1989, 189 — далее цит. из романов «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» по этому изд.).

[3] Ср. *лестницу,* появляющуюся в романе «Козлиная песнь»: «Вот третий *взбирается* по разрушенной *лестнице* в сквозном доме, чтоб с высоты, в последний раз, посмотреть на город» (35).

[4] Представление о происходящей мгновенной трансформации мира вошло и в ткань прозы К.Вагинова. См., например, в романе «Козлиная песнь»: «Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к *непостоянству* всего существующего, к идее смерти, к *перенесению* себя в иные страны и народности» (28). Ср. далее слова неизвестного поэта: «Вспомни вчерашнюю ночь [...], когда Нева превратилась в Тибр, по садам Нерона, по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали...» (с. 33). Аналогичные переживания приписываются и Тептелкину: «После свадьбы долго стоял Тептелкин на балконе, смотрел вниз на город, но не видел пятиэтажных и трехэтажных домов, а видел тонкие аллеи подстриженных акаций и на дорожке Филострата» (130).

[5] Ср. слова поэта Сентября: «... до сумасшедшего дома, в сумасшедшем доме и в Персии мне чудились такие стихи, как будто вы умирали не раз, как будто вы не раз уже были» («Козлиная песнь», 58). В соответствии с этим тезисом вечность поэта в мире осуществляется чередой перевоплощений Орфея: «Плывет Орфей — прообраз мой далекий» (Бегу в ночи над Финскою дорогой..., 431),

«... ужели Эвридикой // Искусство стало, чтоб являться нам, // Рассеянному поколению Орфеев» (Эвридика, 436). Нельзя не упомянуть в этой связи и реплику Психачева из романа «Труды и дни Свистонова»: «Мы сегодня вроде ипостасей Орфея. Вы — слово, я — музыка» (289).

[6] Ср. переживания Локонова из романа «Гарпагониада»: «Он чувствовал, что он сидит в обществе, лишенном *душ*, обладающем только *формами*, как бы в плоскостном обществе» (К.Вагинов. Гарпагониада. Ardis, Ann Arbor, 1983, 18).

[7] Вот как описывается процесс сочинения в «Козлиной песни»: «Снова, как коробочки, для него раскрывались слова. Он входил в каждую коробочку, в которой дна не оказывалось, и выходил на простор, и оказывался во храме сидящим на треножнике, одновременно и изрекающим, и записывающим, и упорядочивающим свои записи» (182).

[8] Любопытно, что в труде Тептелкина «Иерархия смыслов» «разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове» («Козлиная песнь», 51).

[9] Ср. рассуждения Тептелкина в романе «Козлиная песнь»: «... вот и неизвестный поэт посредством сопоставления слов вызывает новый мир для нас...» (с. 58). В этом же русле мыслит и Свистонов: «Искусство — это извлечение людей из одного мира и вовлечение их в иную сферу» (235).

[10] О связи «бессмыслицы» с адом говорит и неизвестный поэт в романе «Козлиная песнь»: они ничего не поймут, если я стану говорить [...] о снисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и визгов» (95). Ср. также его высказывание: «Человек со всех сторон окружен бессмыслицей» (98).

Е.И.Голанова

СЛОВО И ОБРАЗ

Выразительность слова зависит не только от того, что оно обозначает, т.е. не только от его лексического значения, но и от его стилистической прикрепленности, а также от разнообразных связей с другими словами языка, начиная от звуковых и кончая ассоциативно-эмоциональными.

Д.Н.Шмелев

В одном из писем Александр Николаевич Скрябин дал словесное описание, программу своей 4-ой сонаты: «В тумане легком и прозрачном, вдали затерянная, но ясная, — звезда мерцает... В радостном взлете ввысь устремляюсь... к тебе, светило чудное, устремляю свой полет!»

Эти слова (фрагмент письма) приводит в своей книге о Скрябине Игорь Бэлза (Бэлза, 1983), указывая на одну из самых ярких черт творчества великого музыканта — «полетность»: «В высшей степени важно подчеркнуть, что не только призывная интонация, которой начинается первая часть сонаты, но и мелодические очертания всей первой темы, дающие право называть ее стержневой, пронизывают и вторую часть, как бы озаряя «полет к звезде»... вторая часть насыщена именно «полетностью» (это слово добавлено к темповому обозначению), временами яростной стремительностью» (Бэлза, 1983, 92). Определяя темп и характер исполнения музыки, сам композитор воспользовался традиционным термином volando, Prestissimo volando (итал.), что в русской музыкальной литературе передается существительным «полетность». Слово создало образ: это и состояние (души), и свойство, основной признак музыки гениального композитора.

Этот словесный образ используют музыковеды, характеризуя своеобразие музыки, главные черты творчества композитора.

Так, описывая драматургическое развитие 3-ей симфонии, Бэлза замечает: «Первая тема отличается типично скрябинской "*полетнос-*

тью"»; в другом месте книги он пишет: «В Шестой сонате лирика сочетается с часто встречавшейся уже в произведениях Скрябина «*полетностью*»... Радостная взволнованность сохраняется и в ритмике сонаты, и в «*полетности*» пассажей» (там же, 146, 148). Развивая эту идею, Бэлза пишет о «типичной для Скрябина «полетной» звучности», о «полетных», радостно-взволнованных образах (там же, 124 и др.). Ср. в работах других исследователей творчества композитора: «Но темп ускоряется, всепоглащающая «*полетность*» становится основой музыкального развития» (Дельсон, 1971, 295). «К излюбленным скрябинским образам-состояниям... относятся состояния радостной устремленности, «*полетности*», по его собственному определению» (Михайлов, 1982, 70).

В музыкальной литературе слова «полетность», «полетный», как правило, имеют кавычки, сигнализируя о какой-то их необычности (ср. «кульминативную» функцию кавычек, см. работы Б.С.Шварцкопфа). Такое подчеркнутое выделение этих слов в тексте объясняется их происхождением, сферой бытования, стилистической прикрепленностью, лексико-семантическими связями.

***

Слово «полетность» не зафиксировано словарями. Его нет не только в орфографическом, орфоэпическом, но и в толковых словарях. Это подтверждают данные Грамматического словаря русского языка (Зализняк, 1977), где содержится более 3000 слов на -ость, и Обратного словаря русского языка, представляющего более 4500 образований с суфф. -ость. Отсутствие в словарях свидетельствует о неузуальности этого существительного, о неупотребительности его в общелитературном языке. Действительно, оно относится к области музыкальной терминологии и используется в музыкально-критической, мемуарной литературе. Появление этого слова, однако, вполне естественно и возможно и в других сферах речи с экспрессивно-стилистическим заданием (для создания определенного образа, для передачи идеи порыва, полета, высокой устремленности, ср., например: «Песнь его души, ее полетность отделяла поэта от простых смертных», из газет, 1993).

Существительное «полетность» можно отнести к разряду потенциальных слов, т.е. слов, «имеющихся в языке в потенции... которые произведены, но еще не закреплены традицией словоупотребления или могут быть произведены по образцу слов высокопродуктивных словообразовательных типов» (Земская, 1973, 218). Иследователи подчеркивают, что большей частью «бывает трудно установить, являются ли они новыми в языке или уже и ранее существовали в нем» (там же)[1]. Эти набюдения имеют прямое отношение и к слову «полетность». Очевидно, что «полетность» и «полетный», имея общий корень, семантически связаны со словом «полет», многозначным существитель-

ным, среди значений которого такие: 1) Передвижение, перемещение по воздуху в каком-либо направлении; 2) Авиационный вылет, рейс; 3) Перен. О быстром, стремительном перемещении, передвижении... 5) Перен. Устремление, порыв (БАС). Не фиксируя слово «полетность», словарь приводит прилагательное «полетный», определяя его, как «относящийся к полету» (в 1-м и 2-м знач.), не отмечая у него переносного значения.

Уже в одной из своих ранних работ Д.Н.Шмелев указывал на важную роль многозначности для создания новых наименований: «В словарном творчестве, начиная с самых элементарных его форм, постоянно используется многозначность слова, возможность «прямого» и «переносного» его употребления» (Шмелев, 1960, 143). Пример такого рода мы имеем и в нашем случае, когда на основе одного из переносных значений многозначного слова «полет» («порыв, устремление») создается новый словесный ряд, включающий и прилагательное, и существительное (и наречие). Но каков был путь образования этих слов?!

Обычный, традиционный способ создания отвлеченного имени, оформленного суфф. -ость, — от соответствующего однокоренного имени прилагательного, ср.: гениальный — гениальность, мятежный — мятежность, порывистый — порывистость и т.д. Имена на -ость представляют в русском языке обширную, постоянно пополняющуюся группу существительных («имен качества», Золотова, 1976)[2]. Свойственное им общее значение отвлеченного (опредмеченного) признака проявляется некоторыми оттенками, что связано в первую очередь с разными структурно-семантическими типами производящих основ (имен прилагательных). Так, наряду с именами, передающими значение «собственно качества» (яркость, щедрость), широко распространены деадъективы, обозначающие «признак, определяемый наличием того, что называет производящая основа» (облачность, влажность), а также обозначающие «свойство, состояние кого-чего-либо» (робость, бодрость) и нек. др.

Существительное «полетность» с полным правом может занять свое место в кругу таких имен, обозначая отличительный признак, качественную характеристику определенного явления (музыки гениального композитора). В то же время это слово выступает из ряда типовых, узуальных отадъективных образований с суфф. -ость: обозначая, называя особое, уникальное явление, существительное «полетность» отличается и своим семантико-стилистическим статусом. «Семантика имен на -ость во многом зависит от того, — писал акад. В.В.Виноградов, — употребляются ли они «абсолютивно» или в сочетании с родительным падежом существительного, качество и внутреннее свойство которого они выражают» (Виноградов, 1947, 128).

«Полетность» употребляется преимущественно абсолютивно, приобретая «терминированный» характер (ср. использование именно

этого слова-характеристики во многих работах о Скрябине). Ю.С.Сорокин, исследуя развитие словарного состава русского языка середины XIX века, обращает наше внимание на процесс приобретения многими именами на -ость абсолютивного употребления, на их «склонность к семантическому обособлению и независимость от соответствующих прилагательных» (Сорокин, 1965, 189).

В нашем случае языковая ситуация представляется даже более сложной, так как «соответствующее» прилагательное — «полетный» — в значении, соотносимом с семантикой «порыва, высокого устремления», не зафиксировано словарями русского языка. Можно предположить, что оно возникло в с в я з и с появлением существительного, параллельно с ним.

Наблюдения за функционированием образований с суфф. -ость в современном языке дают интересный материал для нового взгляда на процессы создания таких существительных. Ср. некоторые примеры: «Он (Муслим Магомаев — Е.Г.) был в те годы самым известным певцом, звездой, но как-то этой *звездности* в нем не было» (Радио «Эхо Москвы», 10.4.95; музыковед Анатолий Агамиров); «Они-то и принесут всю наличность и *ценнобумажность*» («Эхо Москвы», 7.4.95; ведущий Сергей Корзун); «Университетское образование стремится к тому, чтобы избежать однобокости, «*флюсовости*», по выражению Козьмы Пруткова» (Специальный выпуск газеты Российского открытого университета, 1994, № 3); «*Fremdwort'ность* таких прилагательных не тускнеет в современном русском языке... Группа в языке малопродуктивна, она слишком Fremd (М.В.Панов); «Наряду с такими голосами, исполненными веры в могущество «системы» и во «*все-ей-нипочемность*», есть и осторожно сомневающиеся» (Ю.Н.Караулов).

Высокая активность этого словообразовательного форманта, фактически, полное отсутствие каких-либо ограничений (см. работы Н.А.Еськовой) в сочетаемости с основами и его четкая, определенная семантика создают условия для расширения круга основ и соединения этого форманта с новым типом основ. Приведенные выше примеры и другие подобные образования дают возможность сделать следующий вывод: минуя формальный шаг — прилагательное — суффикс -ость/-ность развивает способность сочетатьсся непосредственно с основами имен существительных (или других частей речи). Вот еще один, бесспорный, пример: «Он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра, на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «*зубрость*», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров...» (Д.Гранин).

Очевидно, что здесь отвлеченное имя произведено непосредственно от основы существительного («зубр»), без участия прилагательного,

т.е. «зубрость» возникла не путем синтаксической деривации (по Куриловичу) и является результатом независимой (лексической) деривации[3].

Эту тенденцию заметили и другие исследователи, ср.: «Кажется, что следует признать возможность образования в различных стилях книжной речи, как и в разговорной, существительных с суфф. -ость/-ность... от существительных же... и от предложных сочетаний с существительными, ср.: И прежде случалось мне испытывать странное чувство, что неудачи начинаются с той минуты, как уезжает Андрей. *Безандрейность* — сочувственно спрашивала Лена» (Каверин. Открытая книга)» (Виноградова, 1984, 17, 111). См. также (Земская, 1992)[4].

В.Н.Виноградова, исследуя стилистический аспект русского словообразования, наряду с другими наблюдениями делает следующий вывод: имена качества (например, в художественной речи) «могут сохранять метафоричность мотивирующего их прилагательного или получать метафорическое значение при образовании непосредственно от существительного» (Виноградова, 1984, 130).

Пример такого рода дают нам семантические и словообразовательные связи слова «полетность», созданного на основе одного из переносных значений существительного «полет». Высокие устремления, драматизм, ощущение эмоционального взрыва, образы стихии, бури, лирически-созерцательные раздумья — эти музыкальные образы вызывают к жизни и соответствующие им слова-характеристики. Для произведений Скрябина характерны авторские ремарки, определяющие характер исполнения: tempestoso (бурно), presto tenebroso, agitato (очень быстро, сумрачно, возбужденно), патетически Patetico, гневно, гордо; спокойно, сосредоточенно и под., например: «Первая тема ее (поэмы «К Пламени») построена на приглушенных сумрачных аккордах... постепенно уходящих в низкий регистр, после погружения в который начинается как бы разгорание языков пламени, достигающее яркой, сияющей звучности, прорезаемой волевыми призывными возгласами («подобно ф а н ф а р е» — гласит ремарка...). В Седьмой (сонате) ...стремительные взлеты приводят к сильному эмоциональному напряжению с отчетливо выраженными чертами *фанфарности*» (Бэлза, 1983, 146, 149).

В музыкально-критической литературе, посвященной творчеству Скрябина, используются и другие имена-характеристики, например, «гимничность», «сонатность», «балладность», «картинность», «поэмность». Эти имена, называющие определенный признак, свойственный музыке композитора, также можно считать и семантически, и формально связанными с существительными, что подтверждает во многих случаях и контекст, ср., например: «Подобно Шопену, Скрябин сочетал в своих этюдах *поэмность* с определенной технической задачей, причем в основу каждого этюда легли принципы не про-

граммности или *картинности* (напомним, что впоследствии Рахманинов называл свои сочинения в этом жанре «этюдами-картинами»), а психологической углубленности... Четвертый этюд можно смело назвать лирической поэмой — столько в нем лирической экспрессии и мелодической красоты... Все этюды нового цикла наделены чертами *поэмности*» (Бэлза, 1983, 95).

В разной степени, но все эти образования несут в себе образную эмоциональность, экспрессию, что объясняется не только семантико-словообразовательными особенностями этих имен, но и их стилистической прикрепленностью и ассоциативно-эмоциональными связями.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Еще в 40-е годы Г.О.Винокур писал: «В каждом языке, наряду с употребляющимися в повседневной практике словами, существуют, кроме того, своего рода «потенциальные слова», т.е. слова, которых фактически нет, но которые могли бы быть, если того захотела бы историческая случайность. (Винокур, 1943, 15). Эта идея прорабатывалась в ряде исследований и впоследствии (см. работы А.И.Смирницкого, Э.И.Хан-Пиры и др).

[2] Суфф. -ость исторически является одним из наиболее продуктивных выразителей отвлеченного значения свойства, качества, состояния, в связи с чем ему уделяли внимание многие лингвисты: Виноградов, 1924, 1947; Обнорский, 1929; Шанский, 1959; Сорокин, 1965; см. также «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в.», М., 1964 и др.

[3] Продуктивность и функционирование отвлеченных имен разных типов во многом зависит от тех процессов, с которыми связано их образование. Рассмотрение некоторых типов лексических единиц как результатов определенного транспозиционного процесса, как известно, восходит к Ежи Куриловичу. Практика современного словотворчества вносит некоторые дополнения в теорию.

[4] Суфф. -ость в ряде случаев выступает с интерфиксом -н-.

ЛИТЕРАТУРА

Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. М., 1983.
Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.-Л., 1947.
Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. М., 1984.
Винокур Г.О. Маяковский — новатор языка. М., 1947.
Дельсон В. Фортепианные сонаты Скрябина. М., 1971.
Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992.
Золотова Г.А. О синтаксических свойствах имен качества. // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
Михайлов М. Александр Николаевич Скрябин. Л., 1982.
Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90-е гг. XIX в. М.-Л., 1965.
Шмелев Д.Н. Можно ли отвлечься от «речевой оболочки»? // Вопросы литературы. 1960, № 4.
Шмелев Д.Н. Слово и образ. М., 1964.

В. П. Григорьев

ДВА ИДИОСТИЛЯ: ХЛЕБНИКОВ И МАНДЕЛЬШТАМ. ПОДСТУПЫ К ТЕМЕ. III[1].

1. Посмотрев «глазами Хлебникова» на его встречи с Мандельштамом (далее: ОМ) в Москве в марте-мае 1922 г., на последовавшие за этим статьи ОМ 1922-23 гг. (изобилующие высочайшими оценками Хлебникова; далее: Хл) и такие этапные произведения, как «Нашедший подкову» и «Грифельная ода»; обнаружив, далее, многозначительные «намеки» на Хл и даже едва ли не его портрет в «Восьмистишиях» 1932-35 гг., непосредственно, по-видимому, связанных с выходом в свет на рубеже 20-30-х годов пятитомного «Собрания произведений» Хл (до того и после бесед 1922 г. ОМ мог опираться лишь на посмертное издание «Стихов» Хл, опубликованных в 1923 г., отчасти на «Доски судьбы», «Зангези»» и другие малотиражные книги и брошюры Хл), — мы оказались перед загадкой «Стихов о неизвестном солдате» (далее: СоНС) — своего рода «образно-семантического завещания» ОМ.

В отдельной работе[1] была сделана попытка прочитать и СоНС «глазами Хл». Здесь же перед нами двойная, даже тройная задача: дополнить анализ «канонического» текста СоНС взглядом на другие его редакции и варианты отдельных строк, а также некоторые другие тексты ОМ, предпослав этому экскурсы в уже полученные результаты и в почти нетронутую область этики ОМ и Хл.

Докопаться до глубоко зашифрованного сущностного смысла СоНС пока не удается[2] — на их фоне даже «Зангези» выглядит почти прозрачной «сверхповестью». Не пытался ли ОМ в СоНС написать что-то вроде «чудовищно уплотненной» поэмы — не просто в развитие отдельных тем «Войны в мышеловке» Хл, а именно «сверхпоэму» как жанр? Похоже на то, что для ОМ это был не такой уж и «малый выход» его «бога огня» (Хл). Только дикие условия существования не

---

[1] Части I и II настоящей работы опубликованы в сборниках статей, посвященных памяти Т.Г.Винокур (Поэтика. Стилистика. Язык и культура. М., 1996) и столетию со дня рождения В.В.Виноградова (Филологический сборник. М., 1995). Предварительное обобщение результатов см. [Григорьев, 1994].

позволили ему и здесь полностью убедить нас в справедливости закона Хл об «обратном величии малого» (Хл)[3].

Другой завет начинающего Хл самому себе: «Хоти невозможного» — ОМ именно в СоНС как бы попробовал исповедовать в полной мере. Ранняя перекличка с этим (текстуально неизвестным ОМ) заветом бросается в глаза в его статье «Слово и культура» (1921): «Нет ничего невозможного»[4]. После своего рода «предбахтинского» понимания ОМ самовитого слова у Хл как «чудовищно уплотненной реальности» (1913, с. 142)[5], метафорической задачи «обмена сигналами с Марсом» (1913, с. 150), после мыслей о «драгоценных клочках» из наследия мыслителя (1914, с. 153), глубокой идеи «синтетического поэта современности» (1921, с. 172; ср. «государство времени» у Хл), размышлений о «принципе относительности» и «о науке, построенной на принципе связи, а не причинности» (1921-22, с. 173; ср. категорию отношения в «Досках судьбы» и *илиуку* у Хл; здесь, как и в «Выпаде» (1923), ОМ восхищается его языком), двух статей о «Литературной Москве» (1922) с «полунекрологом» Хлебникову и цитатами из него, наконец и особенно, после «Бури и натиска», где с уверенностью сказано, что это «неопытный глаз» видит у Хл «только чистый прием и голую заумность» (1923, с. 284; и далее — продолжение «некролога» «гражданину всей истории, всей системы языка и поэзии», с. 289)[6] — после всего этого не было ничего удивительного ни в обретении «подковы» («Нашедший подкову» — это о Хл и о себе), ни в «оде Хлебникову» («Грифельная ода»), ни в «Восьмистишиях», ни в СоНС, «переполненных» образами, идеями и словами Хл.

2. Сила взаимного тяготения поэтов друг к другу в марте-мае 1922 г. имела и этическую составляющую. Только частично эту тягу определяли «гримасы нэпа» и общая неприкаянность Хл и ОМ. Первоначально ОМ привел к себе Хл в Дом Герцена, чтобы элементарно накормить, но свидания продолжались до самого отъезда Хл в Новгородчину. Конкретное содержание бесед, состоявшихся между ними в эти месяцы, может быть восстановлено лишь в самом общем виде[7]. Но именно «общий вид» бесед (не говоря о самих текстах Хл) оказал воздействие как на статьи ОМ 1922-1923 годов, так и на его идиостиль периода «Восьмистиший» и СоНС.

Пересечению двух тем «Этика Хл» и «Этика ОМ» должна предшествовать большая подготовительная работа отдельно по текстам каждого из поэтов. Необходимо выяснить также, почему «чеховские ружья», в изобилии развешанные Хл и ОМ по стенам современной культуры, все еще не стреляют. Ограничимся указанием на один существенный аспект проблемы — подступом к вопросу о некотором единстве этических позиций четырех деятелей русской культуры XX века — Короленко, Чехова, Хл и ОМ. Речь идет о том же законе «обратного величия малого», о «бирюльках» и «малых величинах»[8] мо-

рального плана и их разрастании до масштабов то подвижничества, а то прямого или метафорического мародерства. Образ «бабочки Хл» обычно истолковывался автором этих строк преимущественно в экологическом плане[9]. Но в этическом пространстве, образуемом *весами* в «Сне Макара», книгой «В голодный год» и рассказом «Ночью» с его «частностями», всеми теми качествами личности Короленко, которые делали его в 1917 г. подходящим кандидатом в «президенты России» (Луначарский), с одной стороны, и всем творчеством зрелого Чехова, этику которого так плюралистично воспринимали XX век и его поэты, — в этом пространстве как бы преобразуются собственно экологические и суверенные эстетические шкалы оценок.

«Западного» слова *мародеры* нет, если не ошибаюсь, ни у ОМ, ни тем более — у Хл. Слова — нет, но образ мародеров пронизывает пóзднее творчество обоих поэтов и едва ли не все, написанное Н.Я. «Молодчики-купчики», у которых «ветерок в голове» (Хл, 1922), — и «тени страшные Украины, Кубани» в мае 1933 г. у ОМ — это лишь два факта из множества возможных иллюстраций. Ни Хл, ни ОМ (ни Н.Я.) не обнаруживают, по видимости, какого-либо особого интереса к образу Чехова. Тем не менее как условия окружающей жизни, так и их творчество перенасыщены разнообразными и разномасштабными этическими перевоплощениями и рефлексами тех «двух брюнетов и толстого актера», которые в чеховской «Попрыгунье» съели, не поперхнувшись, привезенные Дымовым «икру, сыр и белорыбицу». (Профессии едоков и их внешность менее существенны, чем их непринужденное, чуть ли не извиняемое автором «мародерство» и та интонация «малого point'а», в которой оно представлено чуткому читателю)[10].

Этой образной «глубинной семантикой» интонаций объединены, если угодно, не только нравственные, но и «политические» (см. [Путлина, 1991, 228]) позиции Короленко (прежде всего язык его публицистики, особенно поздней — актуально бескомпромиссной), Чехова (язык его зрелой прозы), Хл (значительная часть идиолектного многообразия его стихотворного — да и прозаического — языка, но особенно последние годы с их *ударами сердца*), ОМ и Н.Я., для которых любые формы бездумности, бесстыдства или простой неблагодарности — «чудовищны». Здесь не этический ригоризм, или максимализм: «мораль нового поэта» (Тынянов) или прозаика, или публициста и в отходчивости, самопроверке, в бесчисленных поправках к своему «верую». Так, первоначально рифма к *изголовью* в концовке «Ладомира» была предельно требовательной: *своей кровью;* ее заменила *любовь:*

Черти не мелом, а любовью
Того, что будет, чертежи.

Здесь и не безусловная и не «единственная» субъективная и объективная правота (во всяком случае — по нашим сегодняшним «всего навидавшимся взглядам») на всем множестве текстов того или иного идиостиля. Обоюдоострые сомнения и неприятие обожествления или замалчивания любых фигур и высказываний как «неприкасаемых» остаются всегда, но они не должны служить оправданием для затянувшихся перекосов в современных сопоставлениях и «обоймах», а то и двусмысленной заменой — через памятники, музеи, клубы и общества любителей и даже собрания сочинений — настойчивым поискам основных и безусловных «знаков соизмеримости» между названными *творянами* и их истинным местом в расшатанной «мародерами», или *приобретателями*, не одной только эстетической, но и всей культурологической аксиологии нашего общества[11].

Семы горения и «горячести» не чужды ОМ, «дух утопии» вселился в них и лукаво улыбается, вдумываясь в наши усилия отделить ОМ от него [Аверинцев, 1990, 23 и далее]. Мало того, паронимическое гнездо *гореть — горе — гора — грань, граненый — гранит* и т.д., не самое активное в текстах ОМ (ср. Цветаеву), создает в его словаре не контекстуальное, а, так сказать, ядерное предпаронимическое напряжение, заставляющее вспомнить о реакциях двух «простых людей» на Хл, по известным мемуарам.

Кухарка Акулина: «"Ах, барыня!.. Какой он горящий!" <...> под словом *горящий* она подразумевала одновременно и "терпящий горе", и "горящий огнем"». Это определение неграмотной новгородской бабы было необычайно метко для Хлебникова», — вспоминает А.А.Брюни-Соколова о лете 1917 г. [«Пророческая душа», 1985, 99][12]. — Безымянная старушка-дворничиха из Дома Герцена, готовившая Мандельштамам: она встретила Хл «не то, что приветливо, а радостно. Она обращалась с ним, как со странником и божьим человеком <...> подозреваю, что, подобно старушке-дворничихе, [ОМ] видел в нем божьего человека», — пишет Н.Я. [Мандельштам, 1987, 105 и 107].

Есть и более существенное соображение (оставляя в стороне библейский образ «тепла»). Известно, что у в общем нелюбимого им Есенина ОМ выделял строчку «Не расстреливал несчастных по темницам». Не прямая ли параллель этому хлебниковская страшная поэма «Председатель Чеки» и его же стихотворение «Отказ»? Ср. чисто личностные самохарактеристики: «"Не считайте меня тенью" — и одновременно "я тень": две правды о самом себе» у ОМ [Аверинцев, 1990, 58]. И у Хл: «Я лишь кролик пугливый и дикий, / А не король государства времен» — это говорит тот, кто только что «гривенник бросил Вселенной» (в сверхпоэме «Война в мышеловке»)[13].

Можно ли утверждать, что этика гражданских поступков ОМ или Хл оказывалась в противоречии с поэтикой того или другого? (ср. [Аверинцев, 1990, 55]). Неужели истинно высокая поэтика непременно

и повсеместно требует неоднозначности? А гражданский поступок всякий ли раз так уж однозначен? Этика должна по-своему править поэтикой, но та, подобно пушкинской Татьяне, способна на самые неожиданные для автора коленца, удрать едва ли не любую штуку при самом «целокупном небе».

Недавно О.А.Седакова указала на важность такой темы, как «*труд* у ОМ»[14]. Аналогичная тема у Хл представляется мне еще более важной, а для выявления и сопоставления этических позиций Хл и ОМ она особенно значительна, как и для всей сопоставительной идиостилистики. «Горение на работе», поглощенность собственным трудом поэта и/или мыслителя — это показательный этический тест, но важнее, насколько это горение передается читателю готовой «вещи». Читатель ощущает его в «Мастере и Маргарите», иначе, чем у Пушкина, Достоевского, Толстого, Короленко, Чехова, Пастернака, Цветаевой и позднего ОМ, но ощущает. По-иному, но тоже ощутимо это горение у Блока и А.Белого, Ахматовой, Гумилева, Маяковского, Багрицкого или раннего Н.Тихонова. Но есть какой-то иной ряд авторов, труд которых нисколько не менее напряжен, чем у названных, однако на его эстетическом результате лежит налет трудно определяемого свойства. Это не равнодушие, не заведомая холодность, не полная бесстрастность, не отсутствие «тенденциозности» или «идеологии». Чтобы привлечь внимание к этой небесспорной проблеме, назову ряд имен писателей разных поколений, судеб, поэтик, которых это «что-то» как-то, на мой взгляд, объединяет: Бунин, Набоков, Ходасевич, Г.Иванов; Аксенов, Битов, Жолковский, Галковский, Бродский...[15]

«Блажен», кто найдет этим (арте?)фактам подходящее имя. В качестве же еще одной затравки и в завершение этого раздела рискну предложить несколько номинаций для иного плана идей. Решивший «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот руля», — ОМ, а также Хл с его «советстяг высок» в разной мере, но оба заслуживают дождановского имени «социалистических реалистов» и «социалистических романтиков». Во всяком случае они — не «неоклассики» (ср. [Ланн, 1988]), не просто «постсимволисты» или «постромантики». Поздний ОМ — еще и четкий «постбудетлянин». Обоим, возможно, подошло бы имя великих социалистических неоромантиков или неореалистов — задолго до триумфа итальянского кинематографа.

Это разве только Олег Румянцев и политики его круга полагают, что «сейчас не до романтизма, не до донкихотства» (Аргументы и факты, 1993, № 47, с. 3). Не ввести ли новацию типа «великий (социалистический?) донкихотизм»?

3. В «Манифесте ОБЭРИУ» Введенский ориентировался на «столкновение словесных смыслов»[16]. По М.Мейлаху, он развивался как «чинарь» «в русле, условно говоря, некоего постфутуризма», правда,

не столько через Хл, сколько через И.Терентьева и А.Туфанова [Введенский, 1993, II, 6]. Не «чистым» акмеистом, а своего рода «постфутуристом», или, лучше, как кажется, «постбудетлянином», был и поздний ОМ. «Приоткрыть дверь» в проблему самовитых словосочетаний того и другого еще предстоит (см. [Григорьев, 1992]). Некоторый дополнительный материал для размышлений и над этой проблемой дают отдельные редакции СоНС и другие стихотворения позднего ОМ. Но обратимся к некоторым наблюдениям над этим материалом лишь в избранном здесь аспекте.

Пробуя распутывать, по словам ОМ («10 января 1934»),

прямизну речей,
Запутанных, как честные зигзаги, —

мы вступаем в сферу действия «постулата» акад. Ю.Б.Харитона: если исследователь не в состоянии удержать в поле зрения всю картину, он не готов к работе[17]. Для текстолога такое требование звучит почти тривиально, однако интерпретаторы также обязаны напоминать себе о нем.

В I же редакции 1 марта 1937 г. (восстановленной для СоНС, как и прочие, как и многие другие тексты, героическими усилиями И.М.Семенко при участии Н.Я.) предложенная версия об образе Хл как *солдата* и *воина* подкрепляется: (1) *Безымянная манна его,* оказывается, находилась не в третьем катрене, а в первом, на месте *Дальнобойное сердце его;* местоимение *его* тем определеннее в обоих случаях можно отнести к *душе* Хл — слову, которое стояло в I редакции на месте *окна* и почти демаскировало умершего Будетлянина; (2) *Шевелящиеся виноградины* следовали сразу за первым катреном; тем самым связь с предполагаемым образом Хл была сильней, чем в окончательной редакции; (3) вместо *И своими косыми подошвами* и т.д. было *Это зренье пророка подошвами / Протоптало тропу в пустоте,* что почти однозначно указывает на образ Хл, хотя (или благодаря тому, что) он и спроецирован на библейские мотивы. И опять понятно, почему, не желая явной определенности, ОМ в дальнейшем прибегнул к маскировке.

Во II редакции отводит глаза читателю не только посвящение М.Ломоносову, но и неожиданный *яд Вердена.* И все же Хл пробивается в другом месте: *Свет* [Луч] *пропавших без вести вестей — / Недосказано там, недоспрошено, / Недокинуто там в сеть сетей / И своими косыми подошвами / Свет стоит на сетчатке моей* — это куда откровеннее, чем в окончательной версии, намекает на Хл. *Пророк* еще сохраняется, но в последней строке: *Это зренье пророка смертей.* Ср. в «Войне в мышеловке»: «Это смерть идет на перепись / Пищевого довольства червей».

В III редакции *пророк* исчезает, заменяемый более нейтральным, но многозначительным *воином;* синонимизируемый с ним? Появляется на время «наполеоновская тема», возникает (вместе с воином) *неизвест-*

ный солдат, а вслед за ним *неподкупное небо окопное* и т.д. и *гений могил,* по-разному, как было предположено раньше, связанные с Хл.

IV редакция получает заглавие «Неизвестный солдат» — главная маскировка завершена, остались детали вроде *землянок.* Чтение Хл и размышления над его текстами продолжаются, сохранено акцентологическое недоразумение с *Ватерлóо,* возникают *череп, чаша чаш* и *отчизна отчизне,* и что важно — *поле полей* (из «Мы и дома» Хл, как мы думаем) и *Шекспира отец* (из «Пружины чахотки», сокращенного Шекспира, по Хл), чем бывший «доумец» превзошел, если верна наша гипотеза, самого «Главздрасмысла» и известного «заумца» в искусстве «писать непонятно» на целый порядок[18].

В новую, V редакцию возвращена паронимическая *безымянная манна его.* Появляются новые образы *изветливых звезд, судьи и свидетеля;* занимают свои места *ласточка, руль и крыло, Лермонтов Михаил, воздушная яма, пехота* — баланс маскировочных сетей и глубинных аллюзий грозит быть нарушенным в пользу первых. Но усиливают свои позиции и вторые: вводятся *Швейк, Дон-Кихот* и *товарищество, шар земной.* Чего-то из недвусмысленных намеков все-таки как будто недостает. И тогда вместе с паронимической *ясностью ясеневой, союзным — избыточным* и опять же паронимическими *гурьбой и гуртом* (в новом заключительном тринадцатистишии) незаметно, перед *варевом,* вводится «орудие главного калибра» Хл — строка-лакмус: *Впереди не провал, а промер.* «Доски судьбы» искусно обозначены!

«Солдат № 3», последняя из черновых редакций, прибегает еще к некоторым опытам маскировки (так *протоптали* заменяется на *притоптали, созвездий* — на *убийства*), но доминируют пробы более откровенных указаний на Хл. Появились *тара/Обаянья* и [*ночь*], *мачеха звездного табора;* ОМ задается вопросом, что будет сейчас и потом, прямо как Хл (см. его «Ночь, полная созвездий...»); возникает новое двенадцатистишие с знакомыми «личными» мотивами совиновности, заурядности и сопричастности к, так сказать, социалистическому строительству; они странно переплетены с намеками, «семантически наложены» (С.Аверинцев) на другие мотивы: смерть Хл, конец *перекличке* с ней, *указ великих смертей, страну, / У которой попросят совета / Все, кто жить и работать должны,* чуть ли не желание стать гражданином «государства времени» — *той страны,* в которой, если стану *на призыв и учет,* то *вселенной ее семьянином / Всяк живущий меня назовет...* Эти отброшенные затем строчки говорят больше о Хл, чем о стране Советов.

4. Для подкрепления полученных результатов полезно посмотреть, не присутствует ли Хл и в текстах ОМ, окружающих СоНС.

Кажется, можно предположить, что строчка *Ты, который стоишь надо мной* из «Заблудился я в небе — что делать?..» (II) относится к Хл, неотступно «преследующему» мысль ОМ. Это он — *виночерпий* и

чашник и *Тот, кому* [небо] *близко*. Ср. *Отклик неба* в (I) — и «К себе на небо взяло небо» у Хл в стихотворении «На родине красивой смерти — Машуке...»[19]; *тучу,* которую *ведут под уздцы* (II), *Облака, обаянья борцы* (II), — и «Пушек облаков тяжелый выстрел» или «выстрел тучи» (Хл, там же). Менее определенно Хл присутствует, через образ *неба* и его *игры,* в стихотворении «Я скажу это начерно, шепотом...» — сказать напрямую о Хл, по ОМ, *еще не* пришла *пора*. Даже там, где, очевидно, нет ни малейших намеков на Хл, все-таки чудится некая перекличка *Неба вечери...* с «Тайной вечери глаз...» Хл.

Более вероятен образ Хл в стихотворении «Может быть, это точка безумия...», где уже в первой строфе есть слова *твоя* и *безумие,* неотличимое от *совести* Хл, а последняя строчка *Тихо-тихо его мне прочти* (кого — *его?* Известно, что читали и даже взяли в Саматиху два тома Хл) почти открыто намекает на Будетлянина. Даже «архитектура» здесь кажется принадлежащей не только ОМ, а уж *небо, свет-паучок* и *тихий луч* после СоНС еще более несамостоятельны и поддерживают, видимо, наше предположение.

Намек, содержащийся в «Риме», мы уже обсуждали в другом месте [Григорьев, 1994, 53; примеч. 15]. Дополнительно можно заметить «хлебниковскую» удаленность заключительного слова *висит* от его рифменной пары — *молчит*: дистанция в 9 (!) строк. *Звезда, луч* и *свет* и слова *шепотом могуч / И лепетом согрет* из стихотворения «О, как же я хочу...» также должны быть «подшиты в дело» о хлебниковском у ОМ, пусть в качестве косвенных улик, подкрепляющих более надежные материалы. Совсем уж косвенным следует признать свидетельство паронимии в стихотворении «Я к губам подношу эту зелень...»: *клейкую клятву* и *крепну — корнями* как улику усиливает признание в подчинении *смиренным корням* (ср. очевидно хлебниковский «задачник огромных корней» в «Восьмистишиях»).

С другой стороны, еще до СоНС ОМ пишет стихотворение «Были очи острее точимой косы...» (февраль 1937) с знакомым Хл словом *зегзица* — в pendant *голубоотвердому глазу,* — похожее на отстоявшийся некролог. Такой же в целом характер имеет написанное накануне стихотворение «Вооруженный зреньем узких ос...» (*О, если б и меня* — «и меня»; намек на смерть Хл летом 1922 г.?; *свидеться, осы, ось земная, воздух...*). Сложнее всего отстаивать «хлебниковское» в <«Оде»>: кроме несколько натянутых параллелей, предлагавшихся Л.Ф.Кацисом (в мандельштамовском № 1 «Лит. обозрения» за 1991 г.), можно неуверенно указать на *мира ось* (у Хл было еще в 1911 г. с такой же инверсией), *близнеца, какого не скажу* (если, конечно, не иметь в виду Ленина...), *близость* к миру которого ОМ ощущает, и паронимию *недобрым — недобором.* Впрочем, стоило бы обсудить некоторую двусмысленность пятой строфы <«Оды»> в свете второй, поскольку все же закрадывается сомнение: что, если как в СоНС «пишется» *Лермон-*

това, а «читается правильно»: Хл, — так и здесь *Сталин,* может быть, полуприкрывает желание ОМ написать о другом *имени славном*?[20]

Когда в «Грамматике идиостиля» (была закончена в 1981 г.) кратко затрагивалась параллель Хл — Яхонтов, автору по существу еще не были известны ни заметка ОМ «Яхонтов» (1927), ни «Пшеница человеческая» (1922), ни последние савеловские стихи ОМ, обращенные к Е.Е.Поповой. Хл в 20-е годы, возможно, еще не стал для Яхонтова (и Е.Е.Поповой) «любимым поэтом», которого тот собирался в сезон 1937-1938 гг. включить в свою программу наряду с Пушкиным, Гоголем, Крыловым и Державиным [Григорьев, 1983, 38-39]. Яхонтов действительно был, по ОМ, «одним из актеров будущего» и «двигался в слове, как в пространстве» (1927, с. 310). «Запах блуда» [Аверинцев, 1990, 62] — слишком простое и одномерное объяснение тяги ОМ к Поповой. Квадрат Хл — ОМ — Яхонтов — Попова требует дополнительных исследований.

По-другому существенна для нашей темы статья «Пшеница человеческая». В ней стоит отметить для дальнейших обсуждений, минимум, четыре места: (1) рассуждение о неизбежном крахе «всяческого мессианизма» (по его неизбежной лживости; 1922, с. 192) — это не так близко сознанию автора «Ладомира», как (2) сам образ *пшеницы* человеческой близок «умному колосу ржи» (из этой поэмы); (3) *европейские Гималаи* (с. 194) напоминают «мудрый череп Гайаваты», который «украсит голову Монблана» (оттуда же). Мало того: (4) безо всякой натуги времен сталинской <«Оды»> ОМ пишет здесь о «[выходе] для *нас*» к «вселенскому единству, к интернационалу» (с. 194), что перекликается с «Международника могучею волной» из «Ночи в окопе» и другими интернационалистскими идеалами Хл[21].

5. В предложенной серии работ о Хл и ОМ сделана попытка передать лишь несколько наблюдений при прослушивании всего двух «голосов из хора» русской поэзии XX века. Заканчивая эти заметки, ограничусь тремя переосмыслениями. (1) Ранних строк ОМ: «Скоро ль истиной народа» станет определяющая общая тональность о б о и х этих голосов, их неразрывное единство? (2) Тезиса ОМ из «Бури и натиска» (1923, с. 289): «Борьба» Блока, Хл и ОМ за наши души «продолжается и в наши дни»[22]. И (3) постулата ОМ из его «Заметок о поэзии» (1923, 1927, с. 207)[23]: «В поэзии всегда война», «поэтические батареи разговаривают друг с другом перекидным огнем» в битвах за экспрессемы — самовитые слова, самовитые словосочетания, строки, целые «самовитые песни», широкие контексты и «интерконтексты», подтексты — за души сегодняшних и будущих «собеседников».

И Хл, и ОМ были согласны в том, что «бороться за воздух прожиточный — / Эта слава другим [славам] не в пример» (СоНС). Пример Хл укрепил ОМ в этой его вере. «Звезда с звездой» в самом деле оказались «могучим стыком» на протяжении оставшихся ОМ шестнадца-

ти лет после его бесед с Хл в марте-мае 1922 г. Геноциду, обрыву связей, «прерванной эволюции» (М.Мейлах) наша поэзия «обязана» тем, что и сегодня еще ни она, ни мы не осознаем глубокого внутреннего единства не только Хл и ОМ, но и их обоих с А.Введенским, хотя и сами «чинари» уже не смогли достаточно глубоко воспринять опыт Хл. Наследие триумвиров треугольника Хл — ОМ — Введенский, смысл из которого «торчит» не совсем «в разные стороны» и объединен неким единым лучом, предстоит глубоко осваивать культуре и «лингвалитету» XXI века.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. [Григорьев, 1994]. — По авторской оплошности в этой статье отсутствует ссылка на работу [Кацис, 1991, 81] — в связи с одной аллюзией в СоНС: Лермонтова Михаила — Хлебникова Велимира.

[2] И это несмотря на такие работы, как [Иванов, 1990; Мандельштам Н.Я. 1990, 292-302 и др.; Левин, 1979; Ронен, 1979; Семенко, 1987], воспоминания Н.Я.Мандельштам (далее: Н.Я.) и другие публикации. — В частях I и II настоящей работы мы попытались прояснить хлебниковский «слой» в СоНС.

[3] Слово *величие* определяет «масштаб, а не совершенство» [Аверинцев, 1991, 238]. — Ср. также народную мудрость относительно «копеечной свечи», «лужи по уши» и т.п.

[4] Ср. [Мандельштам, 1990, т. 2. 172]. Далее ссылки — в тексте.

[5] См. у М.М.Бахтина представление художественного слова как «аббревиатуры высказываний». Эта идея сопоставлена с идеей слова как экспрессемы в работе [Григорьев, 1979, 117-122, 147-148 и др.].

[6] Заметно некоторое расхождение между ОМ и Тыняновым в характеристике «промежутка» (см. часть II нашей работы). Тема «ОМ и Тынянов» затронута статьей Г.А.Левинтона и О.Ронена в [Тыняновский сборник, 1990], но лишь попутно.

[7] Конкретных данных мало и о других встречах Хл и ОМ в эти месяцы. См., например, дискуссию Хл и ОМ о значении критики — в воспоминаниях [Ивнев, 1984]. Ср. также [Григорьев, 1994, 39].

[8] Замечу попутно, что (1) в строчках из «Восьмистиший»: «Касаемся крючьями малых, как легкая смерть, величин» — образ сравнения, возможно, также навеян идеями Хл, полуавтоиронически выраженными им, например, в стихотворении-диалоге «Смерть будущего» (1921) и мистерии «Взлом Вселенной» (1921); последняя также тесно связана с СоНС; (2) Чехова и Хл существенно связывает особое «доверие к случайности» [Вайль, Генис, 1991, 181] (о связи авторы не пишут). Ср. к этому [Lotman, 1990, 283-289] — и раздел «Хл и синэргетика» в докладе автора «Хл и авангард» 10 февраля 1993 г. (Институт высших гуманитарных исследований РГГУ). — Добавлю параллель между финалом чеховской «Тоски» и готовностью Хл «обучать» закону времени «лошадей» [Хлебников, 1940, 383].

[9] См. [Григорьев, 1993а] и работы автора 80-х годов.

[10] См. у ОМ широкий круг образов на мотив «чуть-чуть» из полей «чуткости» и «малости», включая строки вроде «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко» (1935).

[11] Вот — попутная «мелочь». Елена Горфункель многообещающе озаглавила свою рецензию на постановку «Вишневого сада» А.Шапиро началом «Зверинца» Хл: «О сад, сад!» (Лит. газета, 17 ноября 1993 г.). Но о связке Чехов — Хл в рецензии нет ни слова. Как будто Хл годится прежде всего как поставщик действительно удачных заглавий, эпиграфов и той «легкой поэтической болтовни», о которой свежо и все-таки по существу односторонне — в свете собственной эволюции — писал ОМ в «Буре и натиске» (1923, с. 290). Ср. о Треплеве-авангардисте [Шах-Азизова, 1993, 182] и, отчасти, [Григорьев, 1986, 44].

[12] Всю нашу четверку объединяет нечто Weltverbesserer'ское (Цветаева отмечала это и у кн. С.Волконского).

[13] Любопытен здесь известный эпизод с открыткой, направленной Хл своей... тени. Ср. также повесть «Ка». Более существенны идеи Хл о «человечестве, верующем в человечество» и о «мировой совести». Ср. также диалог с Лениным о «железного путях» в поэме «Ночь в окопе» — «вплотную и вровень» (Тынянов).

[14] [Седакова, 1989, 49]. — Ср. также идеи «вдохновенного труда», *Лаума* и *Эль* как символа народоправства у Хл.

[15] Возможно, как-то связана с этой идеей нелюбовь обоих наших поэтов к Л.Андрееву — «ненавистному» для ОМ [Аверинцев, 1990, 15], сочинителю «шиворот-навыворот» для Хл [Хлебников, 1940, 461].

[16] См. образцовое издание [Введенский, 1993, I, 25].

[17] Ср. в этой связи трудности, успешно преодоленные в работе [Кожевникова, 1992].

[18] Подробнее о диалоге Хл «Заумец и доумец» см. [Григорьев, 1991]. О возможных коррективах см. в части II нашей работы. — Есть, кажется, основания связать и *Аравийское* <...> *крошево* с «арабским корнем» созвучий, по Хл, и с *крошевом* из «Войны в мышеловке» (мысль подсказана Н.А.Фатеевой).

[19] Не говоря о других существенных образах неба у Хл, в том числе таком, близком ОМ, как «А солью будет небо / И эти облака» [Хлебников, 1986, 664 и 83].

[20] Во II редакции <«Оды»> сказано даже: *имя славное простого мудреца*. Ср. новейшие споры в ахматоведении: [Зыков, 1995] и нервную реакцию А.Наймана в газ. «Сегодня» (10 марта 1995 г.).

[21] См. [Григорьев, 1993, 64 (тезисы доклада «Национальное и интернациональное в идиостиле В.Хлебникова», 1981 г.)].

[22] Так или иначе в ней участвуют и Анненский, Вяч.Иванов, Бунин, Кузмин, Брюсов, Волошин, Клюев, Гумилев, Ходасевич, Ахматова, Пастернак, Цветаева, Маяковский, Есенин, Бродский и другие поэты (и, конечно, прозаики), но это — особая тема. Их «борьба» ведется (если ведется) в основном на эстетическом и лингвопоэтическом ярусах, а «избирательность любви» здесь менее остра, во всяком случае — по последствиям для элитарной «стилевой политики» в обществе, предпочитающей ставить сегодня на броскую «хищническую» поэзию, легковесного лауреата Д.Пригова и «ненужные растерзанные метафорические употребления» (1922, с. 266), но не на проблематичную, да к тому же трудно выявлемую связку «тяжелых и нежных» Хл и ОМ.

[23] Ни словом комментария к этой статье, важнейшей для отношения ОМ-Хл, последний у комментатора в 1990 г. не удостоен. В типичное отличие от Пастернака.

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / Вступ. статья к изданию [Мандельштам, 1990].
Аверинцев С. «Были очи острее точимой косы...» // Новый мир, 1991, № 1.
Вайль П., Генис А. Родная речь. М., 1991.
Введенский А. Полное собр. произведений. В 2-х т. — Т. 1. Произведения 1926-1937. — Т. 2. Произведения 1938-1941. Приложения / Вступ. статья и примеч. М.Мейлаха и В.Эрля. М., 1993.
Григорьев В.П. Поэтика слова. М., 1979.
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.Хлебников. М., 1983.
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986.
Григорьев В. *Заумец* и *Главздрасмысел* // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Bern, 1991.
Григорьев В.П. От самовитого слова к самовитому словосочетанию (А.Белый, В.Хлебников, О.Мандельштам) // Материалы IV Хлебниковских чтений. Астрахань, 1992.
Григорьев В.П. Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. М., 1993.
Григорьев В.П. Язык экологии. Экология культуры. Культура языка // Вестник Российск. ун-та. Сер. 2. Филология, журналистика. 1993а, № 1.
Григорьев В.П. «Впереди не провал, а промер...» (Два идиостиля: Хлебников и Мандельштам) // Русистика сегодня, 1994, № 1.
Зыков Л. Николай Пунин — адресат и герой лирики Анны Ахматовой // Звезда, 1995, № 1.
Иванов Вяч.Вс. «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама. Воронеж, 1990.
Ивнев Р. [Воспоминания] // Байкал, 1984, № 4 (реферат: Вопр. лит-ры, 1984, № 12, с. 273-274).
Кацис Л. «Дайте Тютчеву стрекозу...» // сб. «Сохрани мою речь...» М., 1991.
Кожевникова Н.А. Язык Андрея Белого. М., 1992.
Ланн Ж.-К. В поисках классицизма: Хлебников и Мандельштам // Русская мысль. Париж, 1988, 24 июня / Лит. приложение № 6.
Левин Ю. Заметки о поэзии О.Мальдештама тридцатых годов. II. («Стихи о неизвестном солдате») // Slavica Hierosolymitana, v. IV, 1979.
Lotman Ju.M. О роли случайных факторов в поэтическом тексте // Rev. Etud. slaves. P., LXII / 1-2, 1990.
Мандельштам Надежда. Вторая книга. 4-е изд. P., 1987.
Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 1930-1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама. Воронеж, 1990.
Мандельштам О. Сочинения в 2-х т. — Т. 1. Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. П.Нерлера. Вступ. статья С.Аверинцева. — Т. 2. Проза / Сост. и подгот. текста С.Аверинцева и П.Нерлера. Коммент. П.Нерлера. М., 1990.
«Пророческая душа» / В.Хлебников в воспоминаниях современников // Лит. обозрение, 1985, № 12 (публ. А.Парниса).
Путлина И. Опыт современного прочтения О.Мандельштама // Вопр. лит-ры, 1991, май.
Ронен Омри. К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама // Slavica Hierosolymitana, v. IV, 1979.
Седакова О. К проблеме поэтического языка / Семантическая вертикаль слова // Стилистика и поэтика / Тезисы всесоюзн. научн. конф. (Звенигород, 9-11 ноября 1989 г.). Вып. 2. М., 1989.
Семенко И.М. Мандельштам О. Стихи о неизвестном солдате: Подгот. текста и коммент. // Новый мир, 1987, № 10.
Тыняновский сборник / Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1990.
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940.
Хлебников В. Творения. М., 1986.
Шах-Азизова Т. Предвозвестник // Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1993.

Е. В. Какорина

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Для милашки Горбачев
Наломал немало дров,
Перестроил ЭСЭСЭР,
Чтоб его назвали «сэр».
От страны — одни дрова,
Михаилу — трын-трава.
(*Патриот 49, 1995*)

Перестройки первый зодчий
Заложил державу срочно.
Наблюдает стар и мал,
Как идет ее развал.
(*Ветеран 4, 1995*)

Раньше мясо клали в щи,
Были мы товарищи.
Нынче стали господа —
Вместо щей — одна вода.
(*Советская Россия, 18.01.1996*)

В данной статье нам бы хотелось привлечь внимание к изучению художественно-публицистических и фольклорных жанров современной письменной и устной публичной коммуникации.

Проблема изучения набора речевых жанров, соотносимых с определенными разновидностями, типами коммуникации, поставлена в лингвистике несколько десятилетий назад (Бахтин 1979, Панов 1962), но до сих пор сохраняет актуальность, см., например, (Разновидности..., 1988). Целью нашего анализа названных речевых жанров является выяснение их своеобразия в сфере массовой коммуникации (далее — МК) рубежа 80-90-х годов. Художественно-публицистические и фольклорные жанры речи, употребительные в МК, отличаются большим разнообразием.

Во-первых, это так называемая «гражданская поэзия» (авторские стихи и «стихи из почты», написанные на злободневные темы). Изучаемый нами предмет, в строгом смысле слова, безусловно, — не поэзия, в которой язык выступает в эстетической функции. Это, скорее, стихотворная ф о р м а, использующаяся как особый способ языкового моделирования действительности. Ниже мы будем пользоваться терминами «поэзия», «стихи», имея в виду данные поправки. Конституирующим признаком такой поэзии является, по нашему мнению, фактор темы: она создается не как цель, а как средство для описания актуальных политических событий. Характер автора (профессионал: поэт, журналист / непрофессионал: читатель) не играет решающей роли.

Казалось бы, бурное развитие МК сопровождается почти полным исчезновением живых форм устного народного творчества. Однако прагматическая и коммуникативно-речевая ситуация конца 80-х — середины 90-х гг. способствует сохранению и возрождению политической частушки, «лубочной» песенной поэзии, имеющей устную и письменную форму бытования.

Во-вторых, многочисленны и разнообразны поэтические и прозаические жанры: басня, «сказка», юмористические и абсурдные рассказы, памфлет, эпиграмма, анекдот.

В-третьих, развиваются малые формы: афоризмы, «крылатые слова», лозунги; своеобразные «обзывалки», объектами которых становятся политические лидеры; надписи в общественном транспорте т.п. (ср. «Что о Боре на заборе?» — название рубрики в газете «День»). Малые речевые жанры особенно активны активны в сфере словотворчества, языковой игры.

Объединение столь различных речевых жанров в единый предмет изучения объясняется тем, что они обладают общностью существенных признаков, учитывающихся при жанровой дифференциации: характер коммуникации (проявляется диффузно: официальный — полуофициальный — неофициальный), вид коммуникации (публичная), иллокутивная цель, вид адресата (коллективный и массовый) и т.д. (ср. Земская 1988, 43). Существенным представляется в данном случае и возрастной параметр адресата, адресанта — участников МК. Наибольшая интенсивность порождения текстов художественно-публицистических и фольклорных жанров наблюдается в определенной части современного политического дискурса: сам набор этих жанров специфичен для оппозиционных изданий, адресатом которых выступают в первую очередь люди старшего поколения. Важно отметить также общее в иллокутивных целях: «модальная доминанта» рассматриваемых речевых жанров — ирония или сарказм. Ср. замечание Т.Г.Винокур о шутливо-иронической манере как «экспрессивной доминанте» современного неофициального общения (Винокур 1988, 55).

Тексты, в которых реализуются названные выше речевые жанры, часто остаются за пределами внимания исследователей современного

политического языка. Представляется, однако, что анализ их специфики приближает нас к решению следующих актуальных задач:

1) выявление ключевых слов эпохи, в том числе анализ активного тезауруса обыденной языковой личности, выступающей в роли участника МК;

2) описание стереотипного лексического фонда текстов МК, в том числе круга частотных образных средств;

3) изучение языковых возможностей словотворчества в МК и др.

Именно художественно-публицистические, фольклорные и квазифольклорные (созданные по соответствующему образцу) тексты концентрируют в себе ключевые слова и стереотипные образцы mass media, ср.:

В государстве, где все тихо
и складно,
В аккурат к *переизбранью царя*
Появился *неплатеж* огромадный
И *реформы* пожирал втихаря.

По *губерниям народ митингует*,
Чтоб спасти от голодухи семью.
Не хватает на лепешку сухую,
А не то что на портвейну бадью.
И тогда *король* издал три *декрета*,
Казнокрадов чтоб — раз, два —
и в тюрьму,
Долг вернуть людям не позже,
чем к лету,
А вот как — ну хоть убей, не пойму.
Вот *бояре предлагают рецепты*,
Как надежнее пополнить казну:
Можно за морем *занять*
под проценты,
Можно временно *закончить войну*.
...
И пока они шумят что есть мочи,
Чешут за ухом, гостюют у тещ,
Полстраны уже сожрал, не поморщась,
Этот самый, чтоб его,
неплатеж.

(*«Подражание Высоцкому». Творчество наших читателей, Комсомольская правда, 1-8.03.1996, с. 3*)

Стихотворный текст содержит рассказ о множестве политических и экономических событий текущего момента: подготовка к президентским выборам, невыплата зарплаты, митинги, отставка министров, виновных в задержке зарплаты: предоставление России кредита Международного валютного фонда, попытки урегулирования чеченской

войны — и все это в небольшом по объему тексте. Автор находит такую форму отражения важнейших событий, в которой (в отличие от жанровых форм, принятых в научной, деловой речи или информационных публицистических жанрах) отдельные события собраны воедино, синтезированы в легко обозреваемый «поток жизни». Можно высказать предположение о том, что в МК для жанровых форм речи, автором которых выступает «обыденная» языковая личность, характерно стремление автора к максимальной экспликации целостной картины мира. Другие, далекие (научная, деловая речь) и смежные (информационные жанры публицистической речи) сферы МК, напротив, представляют «целое» как «единичное» и «специфичное».

Интересно сравнить жанрово однородные тексты из газетных изданий, различающихся по своей идейной направленности. Выше был приведен текст «Подражание Высоцкому», опубликованный в газете «Комсомольская правда», демократическом издании. Для сравнения предлагается текст из оппозиционного издания, «Советской России». Тексты интересны тем, что совпадают по временной приуроченности описываемых политических событий (начало марта 1996 года). Отбор же событий и их оценка специфичны. Приводим избранный для сравнения текст:

Март, весна, воды капели,
На фазенде сдох козел...
В городе коты запели,
Женский праздник подошел!

Женский праздник наступает,
А на что купить презент?
В *нищету народ толкает,*
«Социально защищая»,
«*Всенародный*» *президент.*

Раньше бабы всем владели,
Жили дружно, ели всласть.
Но потом они сдурели...
Мужикам отдали власть!

Где *порядок?* Где работа?
Где *могучая страна?*
Жизнь — не жизнь, одна забота.
Очень хочется ... чего-то,
Только нету ни хрена!
Развалили все и ищут
На кого свалить опять.
В мавзолее даже рыщут...
Поговорки зря не пишут:
Что на зеркало пенять!

Бабы, бабоньки, бабульки!
Власть берите и вперед!
Хватит вам играть в бирюльки,
Пожалейте свой народ!
...
И расцвел в лесу подснежник,
Крысы чахнут от тоски...
С Женским днем!
Всех вас, как прежде,
Очень, очень, очень нежно
Любим!
Ваши мужики.
(*Советская Россия, 07.03.1996*).

Картины современной политической ситуации, нарисованные авторами, частично совпадая, обнаруживают черты существенных различий. Назовем главные черты сходства и основные различия.

Композиционная общность текстов

Оба текста построены по однотипному жанровому образцу. В основе их композиции лежит принцип обрамления основного содержания тождественным семантическим компонентом: зачин (ввод в тему) — тема — концовка (выход из темы). Конкретное событие используется автором лишь как повод для обсуждения более общей темы. Композиция текстов такова: зачин («неплатежи»/«праздник 8 Марта») — основной текст ('положение дел в стране') — выход из темы («неплатежи»/«праздник 8 Марта»). Мы уже писали о том, что логико-композиционная структура эталонного газетного текста в современный период предполагает введение метатекстовой концептуальной информации в позиции начала, конца, смысловых швов текста (Какорина 1992, 82-84). Речь шла о толковании новых понятий (ключевых терминов), таких как *гласность, перестройка* и т.п. при введении в текст.

В данном случае мы видим, что в политическом дискурсе сформировались специальные жанровые формы, созданные для концентрированного представления общетезаурусной, метатекстовой информации в конкретном тексте. Тематической основой «гражданской поэзии» становятся развернутые толкования (описания, иллюстрации) ключевых слов, например, *рынок, демократия, развал* (*страны*), *нищета* (*народа*) и т.п. Основной иллокутивной целью текстов такого рода является стереотипная оценка уже известных читателю событий или стереотипная, заранее известная, характеристика статичной политической ситуации (ср. текст из «Советской России»). Особенно ярко эта иллокутивная цель проявляется в малых жанрах, например, частушках:

Нынче времечко такое
Голод, холод, рост могил...
Ельцин *рынок дикий строит,*
Полудикий сотворил.

Легче в Волге утопиться,
В башне танковой сгореть,
Чем *на рынок* наш *молиться,*
На такой позор смотреть.

Все бедней *потребкорзина.*
Президент надул народ!
Ох дождется — и Наина
В *оппозицию* уйдет.

Нынче речи не поймешь:
Киллер, спонсор, фракция.
По привычному — «грабеж»,
По Чубайсу — «акция».

По помойкам люди ходят —
За объедками гонцы.
«Мудро» нами верховодят
Демократы молодцы.

Стонет русская земля:
Банда встала у руля,
Неужель ее не *сбросит*
Пролетарий с *корабля?!*
(*из газет «Советская Россия», «День», «Ветеран»*)

Изучаемые нами отдельные речевые произведения можно сравнить с фрагментами общего полотна. Они связаны между собой и общностью формы (следование строго заданному образцу), и общностью содержания (оно стереотипизировано).

Способы представления элементов общей картины мира, общетезаурусной информации в конкретном тексте многообразны. Любая стереотипная оценочная номинация текстов МК содержит фактологическую и концептуальную информацию, важную для ситуации общения. Ср. Егорушка-*иудушка* (о Е.Гайдаре), *Иуда* свердловский (о Б.Ельцине), *иуды* в погонах (о высшем военном руководстве), кремлевские *иуды* (о правительстве) — оценка выражена в стереотипной метафоре *иуда,* образном соответствии ключевых концептов «предательство», «продажность» (власти), характерных для оппозиционной прессы. Затем следует указать на особый принцип построения высказыва-

ния (текста): маркирование «своих» и «чужих» ключевых слов. Ср. высокочастотные номинации *царь, царь Бориска, Бориска, хозяин, пахан, «общенародный»/«всенародный» президент* и редкую нейтральную номинацию *президент* (не встречается в нейтральных или положительных контекстах). Объем небольшой статьи не позволяет подробнее остановиться на этих вопросах.

Важнейшие стилистические различия

Мы видим, что на основе единообразного жанрового образца, стилистически однородного словаря (*царь, бояре* — частотные образные соответствия прямых номинаций *президент, министры* и в оппозиционной, и в демократической прессе) могут создаваться глубоко различные по содержанию тексты (ср. образцы текстов из «Комсомольской правды» и «Советской России»). Главные факторы, формирующие эти различия, следующие:

— характер референцирования (различный уровень конкретизации сообщения):

— специфичная модальность (преобладание юмористической или сатирической тональности текста).

Ср. перечисление конкретных действий или событий в тексте из «Комсомольской правды»: *по губерниям народ митингует, король издал три декрета, долг вернуть людям* и т.д.

Автор из «Советской России» строит повествование на уровне абстрагирования от конкретных событий: *Раньше бабы всем владели, жили дружно, ели всласть... Развалили все... Где порядок? Где работа?* и т.д. (Подробнее о явлении квазиреференцирования в текстах оппозиционной прессы см. Какорина, 1996). Характер референцирования, например, перевод высказывания о конкретном объекте или явлении на более общий, абстрактный уровень номинации связан с вопросом об истинности/неистинности высказывания (ср. Раньше бабы *всем владели* — одностороннее высказывание с нечеткой пропозицией, с сомнительным истинностным значением; ср. Левин 1994, 130-134).

Предварительный анализ различных жанровых форм политической поэзии подводит нас к более общему вопросу, который встает перед исследователем этой темы. Это вопрос о функциях художественно-публицистических и фольклорных жанров в политическом дискурсе. Почему автор избирает стихотворный способ отражения действительности? В каких случаях он обращается к политической сатире и другим формам художественной публицистики? Мы предлагаем несколько вариантов ответа, не претендуя на полное разрешение этих сложных вопросов.

ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

1. Упрощение и четкое структурирование сложной картины мира

Очевидно, что обращение авторов к подобным жанрам речи объясняется коммуникативными и гносеологическими потребностями, возникающими в сфере МК. Как уже говорилось выше, тематическая основа текстов, представляющих данные речевые жанры, — 'состояние мира', 'положение дел в социуме', 'экономическая и политическая ситуация в России рубежа 80-90-х годов'. Авторы оперируют сложными, «многоипостасными» (Левин) культурно-историческими объектами, описывают сверхсложные политические и экономические явления. Художественно-публицистический текст позволяет представлять действительность в упрощенно-структурированном и обобщенном виде. Можно связать это стилистическое свойство текстов с функцией примитивизации картины мира. В этом смысле исследуемые нами жанры и их элементы в сугубо «информационных» жанрах публицистической речи воплощают тенденцию к упрощению языка текстов МК. Эта тенденция противостоит более сильной тенденции к интеллектуализации языка текстов МК (ср., например, освоение экономической и др. терминологии), к усложнению семантики номинативных единиц и синтаксического строя текста. Проанализируем образец типичного текста:

Мы играли в *догонялки,*
А затем и в *развалялки.*
Перешли на *рассуждалки*
И дошли до *обнищалки.*

В данном тексте автор сводит сложную политическую ситуацию к простой, находит форму повествования, позволяющую легко обозревать различные периоды исторического развития страны. Мы видим успешно воплощенное автором стремление в комплексе политических процессов выделить главное, обозначив его одной номинативной единицей, являющейся центром предикации. *Догонялки* — слово содержит намек на популярный в период «застоя» лозунг «Догнать и перегнать!» (о соревновании двух систем: капитализма и социализма). *Развалялки* — трансформирован частотный лексический стереотип — «развал» СССР. *Рассуждалки* — емкая характеристика периода «свободы слова», «гласности»; вероятно, о выступлениях-«рассуждениях» депутатов в Думе и т.п. *Обнищалка* — меткая оценка современной экономической ситуации в стране. Словотворчество в данном случае объясняется не стремлением автора зашифровать, спрятать смысл, а, напротив, направлено на создание максимально эксплицитного знака,

прозрачного для читателя. Созданы экспрессивные наименования с яркой внутренней формой. Словообразовательным образцом для данных окказионализмов, вероятно, послужили названия конкурсов в популярной на ТВ игре «Устами младенца» — «объяснялки». Простоте восприятия текста способствует принцип синтаксического параллелизма, лежащий в основе его композиции.

Один из основных способов упрощения сложных явлений действительности — их о б о б щ е н н о е, о б р а з н о е п р е д с т а в л е н и е в текстах МК. Изучаемые нами жанры органично включают в себя образные наименования, некоторые жанры целиком построены как развернутый образ или аллегория. Ср. басню под названием «Игрушка»:

Жил да был царь *Добряк*. И была у него в государстве диковинная *Игрушка* под названием *Суверенитет*. Не погадав, не подумав, подарил царь эту *Игрушку Детям*. Но беда в том, что играли *неразумные чада* не по правилам. То дом подожгут, то огород истопчут. И решил тогда *Добряк* отобрать *подарок*. Однако *Дети* не отдали *Игрушку*. *Добряк* решил попугать их Собаками. Те лаяли, щелкали зубами, даже покусали кое-кого. Но и у них ничего не вышло. *Игрушка* осталась у *Детей неразумных*. Вот и гремят теперь в государстве взрывы, рушатся дома, горят села. Мораль: чтоб не было работы пушкам, не допускайте *Добряков* к *Игрушкам* (Ветеран № 32, 1995).

Обращает на себя внимание характер метафорической номинации, отражающей концептуальный стереотип определенной части социума: суверенитет — *игрушка,* ее можно *подарить;* народы — *дети, чада неразумные* (ср. клише *малые народы*).

В тексте другого жанра на ту же тему находим похожий образ, тяготеющий к фольклорному:

Объясните толком мне:
Царь Дудай сидит в Чечне,
Нрав *разбойный* утверждая,
Кто же выдумал Дудая?
(*Советская Россия, 18.04.1995*).

Приведем пример образного представления сложного абстрактного понятия «свобода» — ключевого концепта современной эпохи. Вот как трансформировано это понятие обыденной языковой личностью, «рядовым» участником МК. Текст из рубрики «Стихи наших читателей» газеты «Патриот»:

В *судьбоносную* минутку,
В ясную погоду
Вдруг влюбилася в Мишутку
Статуя *Свободы*.
Полюбился Михаил:
Он хотя и мал, но мил.
На́чать было тот роман

Мишеньке несложно:
США — ведь не «Азербаджан»,
Выговорить можно.
...
А теперь *Свобода любит*
Ельцина Борисаньку:
С ним целуется, голубит,
Называет «кисанькой».
А президент для милочки
Роет нам могилочки.
Вертит хвостиком свобода,
Это — ейная природа.
Если б были вы мудрее,
Виктор, Михаил, Борис,
Полюбили бы *Расею*
А не *западную мисс!*
(Патриот № 49, 95 с. 16)

Характерны развитие уже существующего антропонимичного образа, квалификация его как «чужого» объекта, концепта из чужого тезауруса, и отрицательная оценка.

В целом важно отметить, что картина мира, которую можно восстановить на основе исследуемых текстов, четко структурирована. Например, деление «героев» на честных и преступных, нищих и богатых, хороших и плохих (при отсутствии нейтральных членов существующих оппозиций) свойственно как народному сознанию, представленному в фольклорных текстах, так и «массовому» сознанию, представленному в текстах МК. Ср.:

У *бездельников/дворцы,*
У *трудяг/лачуги.*
Веселятся *богачи,/*
Горько плачут *слуги.*
(Ветеран № 30, 1995).

Если говорить о преимуществах условного, обобщенно-образного представления политических явлений в текстах МК, то следует в первую очередь назвать экспрессивность номинаций такого рода. Остановимся подробнее на этом качестве художественно-публицистических и фольклорных текстов.

2. *Аффективная (эмотивная) функция языка, реализованная в текстах изучаемых жанров.*

В экстренных политических ситуациях в дискурсе возникает необходимость перейти на торжественный, возвышенный язык поэзии. Ср. свидетельства участников обороны Дома Советов в октябре 1993 года:

«... в эти тяжелые дни на небольшой площади, окруженной ОМОНом, отделенной от всей страны информационной блокадой и антиконституционными указами Ельцина, стихи были повсюду. Ими были

оклеены стены и окна Дома Советов, столбы и доски объявлений, они передавались из рук в руки, переписывались, «на память», читались у тревожных костров, окруженных изголодавшимися, замерзшими людьми. *Стихи были нужны как хлеб, как духовная пища. Без них нельзя было выжить* (выделено нами — Е.К.)» (Поэзия баррикад, День № 1, 1993, с. 7).

Отличительной чертой «поэзии баррикад» являются патетика, апеляция к адресату, побуждение к действию. Приведем примеры стихов с листовок:

Когда ликуют геростраты
И хоры правящих иуд
Спешат благословить утраты
И к рабству новому зовут,
Не к ним, рабам своих седалищ,
К тебе я обращаю взор,
Вчера советский мой товарищ,
Сегодня импортный позор!
(Б.Гунько. Предателю, День № 1, 1993).

Дайте мне автомат!
Я сегодня Пожарский и Минин!
Я сегодня пришел
На священную нашу войну (без автора, там же).

Возвышенный, торжественный, патетический тон стихов, имеющий достаточно узкую сферу оправданного применения, нередко используется при описании бытовых ситуаций, рядовых событий. Жанрово-тематическое несоответствие, возникающее при этом, создает комический эффект. Ср. название стихотворения «*Дума* об автомате», в котором рассказывается о желании героя «достать» автомат («подкрепиться автоматом») (Русские ведомости № 11, 1993). Комического эффекта не возникает только в том случае, когда эстетические стандарты адресанта и адресата совпадают. Возвышенный язык поэзии часто используется авторами оппозиционной прессы для создания портретов «своих» политиков, в результате чего происходит своеобразная идеализация положительно оцениваемых политических лидеров.

Угрюмый мрак... Стена тумана...
Глухая тьма... Ночная тень...
— Да будет свет! —
сказал Проханов
И сотворил газету «День».

* * *

И взгляд его светлей лазури,
И в целом облике покой.
А он мятежный — он Бабурин.
Но он и дорог нам такой
(*Е.Нефедов, «Евгений о неких», День № 52, 1992*).

Раскрывая весне объятия,
Роковые презрев рубежи,
Вся прекрасная, в черном платье,
Впереди смело шла Сажи
(*о Сажи Умалатовой, Дубинушка № 5, Молния № 65, 1993, совместный выпуск*).

Большая часть «гражданских» стихов создана на основе прецедентных текстов русской классической поэзии (Пушкина, Лермонтова, Некрасова); поэзии советского периода (Есенина, Рубцова, Высоцкого); популярных песен и т.п. Яркой лингвистической особенностью изучаемых текстов является их насыщенность разностилевыми и разнофактурными элементами: используется архаичная лексика и политические неологизмы эпохи; высокая книжная лексика и просторечие; штампы и окказионализмы и т.д. Такой, крайне эклектичный, стилистический стандарт текста «гражданской поэзии» обусловлен стремлением автора к выразительности в условиях МК. Экспрессивность здесь приравнивается к «внешней» выразительности языковых средств. Основные номинации, в том числе образные, должны легко читаться и однозначно интерпретироваться адресатом.

Не сходят с экрана
продажные лица
И дуло бандита мне целится в глаз.
С семьею в бараке
полковник Голицын,
Майор Оболенский уволен в запас.
Вокруг мародеры, ворье,
шмаровозы,
А Русь Пресвятая —
торгаший бордель.
Жирует в роскошном дому
мафиозо.
Он дочь офицерскую тащит в постель.
Отчизна Земля пошла
в распродажу,
В угрюмых руинах великий Союз,
Могучая армия втоптана в сажу,
А Кремль оккупировал
ельцинский гнус.
(*День № 1, 1993*).

Отметим стилистическую эклектичность стихотворения: сочетание жаргонной лексики (*шмаровозы, бордель*), просторечия (*ворье, торга-*

ший — от *торгаш; тащит в постель*), с высокими номинациями (*Русь Пресвятая*): окказионализмов (*мафиозо, торгаший*), нестандартных экспрессивных наименований (*втоптать в сажу*) со стереотипами (*продажные лица, распродажа* (*Земли*), *могучая армия, оккупировать Кремль* и т.д.). Характерно, что словотворчество в изучаемой нами поэзии является вынужденным — это средство вписать слово в рифму или ритм стиха (шмаров*озы* — мафи*озо*, втоптана в *сажу* — распро*дажу*).

Обычно автор стремится создать стилистическое напряжение путем введения в текст архаичных, книжных и просторечных элементов; через сочетание стереотипов и окказионализмов и их столкновение. Такой стилистический прием успешно работает на ироничную интенцию:

Желание быть президентом
Меня навещает давно.
Желаю на пляже под тентом
Вкушать золотое вино,

По трапу спускаться желаю
Навстречу флажкам и цветам,
Врезаясь в фотографов стаю
И в месиво избранных дам,
...
Понюхать *колбаски* немецкой,
Баварского *хлопнуть* пивка,
И в пляске пройтись молодецкой,
Отклячась, рвануть трепака.
...
Да, быть президентом — великий
Напряг для желудка и *уст.*
А взбитые сливки с клубникой!
А *розово-нежный* лангуст!
... (Инкогнито 1, Завтра № 48, 1995)

В других случаях, когда в авторскую интенцию входит п р я м а я оценка, возникает ощущение семантической и стилистической дефектности текста. Нередко подобные семантико-стилистические эксперименты со словом сопровождаются языковыми ошибками. Например:

Не торгуй нас,
радио «Свобода»,
Не дождешься выгодной игры:
Вот и он,
парнишка из народа,
Заливные просушил «шары».
(*День № 15, 1993*).

Варьирование клише (*залить шары* (груб. прост.) → *просушить заливные шары*) приводит к возникновению неоправданной омонимии слова *заливные,* что вызывает комический эффект, мешает восстановлению заложенного автором значения 'протрезветь'.

В целом можно сказать, что средства создания экспрессии, принятые в публицистической поэзии, отражают установку на языковую свободу и языковую игру, граничащую с нарушением законов языка.

3. Конструктивная роль стихотворной формы

Авторы публицистических произведений используют стихотворную форму и для придания тексту целостности и связности. Объединение отдельных номинативных единиц в высказывание, высказываний — в текст в поэзии облегчается конструктивной, скрепляющей ролью ритма и рифмы. Нарушение или отсутствие семантических связей слов восполняется этими формальными средствами. Ср:

В небе — перемены
И в лесу сквозит.
Отпустили цены,
Дождик моросит
(*Завтра № 48, 1995*).

Композиция политической частушки сохраняет принцип образного / семантического / синтаксического параллелизма, положенного в основу традиционного народно-поэтического стиха:

Эх ты, киви-ананас,
Царские палаты... //
Чтобы всем министрам жить
На мою зарплату
(*Советская Россия, 17.02.1996*).

У меня миленок — клопик,
Кепку носит набекрень. //
Шоколадку любит «топик»
Пьяный в стельку каждый день
(*Ветеран № 13, 1995*).

Построение текста в соответствии с принципом контрастного параллелизма особенно активно используется в малых жанрах: лозунгах, надписях и т.п.: *Выжили под юнкерсами // выживем под сникерсами; Кто нас ограбил, став миллиардером, — да будет всем пожизненным примером.*

Нельзя не отметить и такую функцию рифмы, как выделение слова из потока речи, создание запоминающейся, легко воспроизводимой номинации: *царь-голодарь, Завирюха-голодуха, Рыбкин-Килькин, Наш дом — газпром* (о блоке «Наш дом — Россия»).

В процессе обсуждения вопроса о функциях различных речевых жанров в современном политическом дискурсе мы проанализировали их яркие стилистические черты. Некоторые жанры, которых мы почти не коснулись, заслуживают специального упоминания и краткого анализа, т.к. их роль в современном дискурсе по сравнению с предшествовавшим периодом существенно возросла.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ИГРОВЫХ» РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ

Жанры речи, основанные на языковой игре, употребительные в сфере МК, чрезвычайно разнообразны. Это различные афоризмы, каламбуры, «обзывалки» и т.п. Их элементы мы встречаем в других малых жанрах, например, анекдоте. До настоящего времени, насколько нам известно, не проводилось строгой дифференциации этих жанров, поэтому наш предварительный анализ мы осуществили в форме исследования некоторых существенных черт отдельных жанровых разновидностей.

В текстах данных жанров отчетливо выделяется особая иллокутивная цель: негативная / негативно-шутливая квалификация объекта речи, выраженная неузуальными языковыми средствами.

Частотной разновидностью этого коммуникативного намерения является инвектива — резкая отрицательная оценка, адресованная какому-либо лицу, чаще всего — политическому деятелю. Инвектива обычно затрагивает личную сферу человека и рассчитана на публичность оценки (массовость реального адресата, воспринимающего эту оценку, при одновременной адресации ее отдельному, конкретному лицу). Инвективы чрезвычайно распространены и в других, «серьезных» жанрах публичной речи, но нас интересуют такие речевые формы, в которых инвективы выступают в самостоятельной функции, целиком формируя жанр. Инвективы могут проявляться в прямой и косвенной форме.

Примером прямых инвектив могут служить тексты, публикующиеся в газете «Завтра» в специальной рубрике «Агентство "Дня"», которая содержит своеобразные «обзывалки» — обыгрывания фамилий ведущих политиков. В этом жанре речи отдельные номинации (собственные имена лиц) в результате их варьирования и усложнения начинают функционировать как самостоятельные высказывания. Ср.:

Ель-цинизм. (Используется прием псевдочленения слова с последующей лексикализацией одной из его частей).

Борис Омонович.

Клин Блинтон.

Шахруевая политика.

Хакаманада (вероятно, Хакамонада — ?).

Изменение фамилии, приводящее к актуализации новой внутренней формы имени собственного, — наиболее распространенный прием языковой игры. Блок: Воровой, Шакалин, Чумейко (от фамилий Боровой, Шаталин, Шумейко).

Другие, более простые и традиционные формы языковой игры, связанные с семантизацией самих имен собственных, также активно используются в данных жанрах публичной речи в целях образной оценочной характеристики политиков:

Русским нам подумать
есть о чем
При сравнении *Лебедя* с *Грачом!*

На основе общего семантического признака — название птицы — сближаются фамилии генералов Лебедя и Грачева, при этом автором учитываются различные культурные коннотации слов *лебедь* и *грач*.

Интересны усложненные косвенные формы инвектив. Они представлены, например, в жанре стихов-загадок о конкретном политическом лице, имя которого требуется угадать, вписав в рифму стиха:

Он хитриди-прехитриди,
Но работает не в МИДе.
Он укради-у-народи:
Это — господин ... (Мавроди).

В этом жанре узаконено максимальное нарушение привычного фонетического облика слова, ненормативное варьирование грамматических форм лексемы, использующееся для создания ритма и рифмы.

Указанием на «загадываемое» лицо обычно служат ключевые слова, стереотипы, которые связываются с деятельностью того или иного политика:

В разбойном деле он новатор —
Ведущий хват-*прихватизатор:*
Из маузера не стрелял —
Он *ваучером* убивал ...

Здесь читателем уже угадано имя лица, но речевая форма требует продолжения стиха:

Махая им, кричал: «Сдавайся!»
Ну как, узнали вы ... (Чубайса).

В рамках небольшой статьи невозможно дать сколько-нибудь полное описание речевых жанров, основанных на языковой игре, поэтому мы выделили одно из самых характерных явлений: использование различных форм языковой игры в целях именования лиц. Оно отражает более общее явление — личностную ориентированность процесса публичной массовой коммуникации в современный период.

* * *

Статья написана в форме достаточно фрагментарных размышлений о природе художественно-публицистических и фольклорных жанров и их роли в МК. Однако мы надеемся, что такое описание, предваряющее целостное исследование их специфики, содержит интересную и разнообразную информацию о культурном контексте эпохи и будет полезно читателю.

ЛИТЕРАТУРА

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Винокур Т.Г. Устная речь и стилистические свойства высказывания // Разновидности городской устной речи. М., 1988.
Земская Е.А. Городская устная речь и задачи ее изучения // Разновидности городской устной речи. М., 1988.
Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992.
Какорина Е.В. Стилистические изменения в языке газеты новейшего времени. Канд.дисс., М., 1992.
Какорина Е.В. Стилистический облик оппозиционной прессы // Русский язык 90-х годов XX столетия. М., 1996.
Левин Ю.И. Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. вып. 34. М., 1995.
Панов М.В. Стилистика // Русский язык и советское общество. Алма-Ата, 1962.
Разновидности городской устной речи. М., 1988.

Н. А. Кожевникова

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Как писал В.В.Виноградов, «в семантике литературного языка отражаются функциональные связи предметов, явлений, событий, понятий, характеров, признанные и осознанные данной общественной средой, и вместе с тем — свойственное этой среде понимание сущности всех этих предметов и явлений, ее оценка их соотношений и взаимоотношений. Живая предметная сущность вещей и понятий часто отражается в слове не непосредственно, не прямо, а через призму культурных и бытовых традиций данного общества, группы, через призму ее идеологии, мифологии и разных навязанных «цивилизацией» условностей. Эти условности, создавая своеобразный риторический покров поверх действительности, могут совершенно искажать и даже затемнять подлинную структуру мира и истинные значения слов» (Виноградов 1938, 320).

Эта особенность языка стала предметом изображения и анализа в русской литературе второй половины 50-х — начала 60-х гг. В ней встал вопрос о соотношении слова с действительностью, о степени адекватности слова и явления. В центр внимания выдвигаются «высокие» слова, публицистическая фразеология, содержащая классовую оценку людей и общественных отношений, газетные штампы, обозначения общечеловеческих моральных категорий.

Еще в начале двадцатых годов Г.О.Винокур писал о заштампованности «революционной фразеологии», о превращении ее в ярлык. «Нельзя отделываться словами: «то была эпоха военного коммунизма, а теперь эпоха нэпа». Во-первых, не надо так увлекаться: не надо до бесчувствия повторять: «военный», «военный коммунизм». Что же это, как не мышление штампами? Наклеили люди ярлычок: «военный коммунизм» — и успокоились. А когда приходится подумать, то к этому ярлыку в качестве утоляющего сомнения средства и апеллируют: сказано ведь — «военный коммунизм» — чего уж тут беспокоиться; теперь «эпоха нэпа» — ничего не попишешь. И именно то обстоятельство, что военный «коммунизм <...> вовсе не был только военным — к чему привыкли любители ярлычковой фразеологии — самым блестящим и полным образом иллюстрирует утверждение о том, что не-

ощущаемая форма делает невозможным и реальное ощущение содержания» (Винокур 1923, 114).

В литературе конца 50-х — начала 60-х гг. протест направлен против обезличенного, казенного, бездушного подхода к людям, который выразился, в частности, в том, что личность человека заслонили пункты анкеты, документ подменил человека: «Анкета — твое лицо» (Ю.Бондарев, «Двое»), «Герой этой бумаги, обрисованный (вернее, сформулированный) со зловещей традиционной безличностью тех времен (он, оказывается, «восхвалял», «дискредитировал», «сравнивал»), очень мало напоминал ей того, кто вызвал однажды у нее за оживленным столом неясную, несильную, но все-таки достаточно определенную симпатию» (Ю.Домбровский, «Хранитель древностей»).

Человек был отождествлен с «винтиком», «колесиком» в государственном механизме. Литература и публицистика второй половины 50-х — начала 60-х гг. полемизируют с представлением «люди-винтики» (Шмелев, 1968, 117): «Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив людей в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество» (И.Эренбург, «Люди, годы, жизнь»), «Мы не хотим быть маленькими винтиками. Ведь коммунизм начинается тогда, когда человек перестает чувствовать себя бесправной деталью большой машины, когда он считает себя хозяином всего и знает, что ему доверяют и прислушиваются к его мнению, и прислушиваются по-настоящему» (А.Гладилин, «Первый день нового года»), «Узкая специальность — вообще особенность нашего атомного века. Рядовой человек сегодня потребляет все, а производит что-то очень определенное (скажем, какую-нибудь восьмую гайку — и только восьмую! — для автоматической линии). Чем выше прогресс, тем меньший он винтик...

И все-таки они — те, кого я встретил на Атомной — тысячу раз люди и ни разу не винтики» (И.Зверев, «Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева»), «В тайге главное — слитность, чувство локтя. Чтобы существовать, мы должны быть машиной, единой, сильной машиной. И я в этой машине, если хотите, — мотор, руль. А вы — колеса, подчиненные моей воле...

— Эх ты, — покачал головой Алаторцев. — Никакое я не колесо, а полноправный гражданин Советского Союза» (Ю.Семенов, «Путь в новогоднюю ночь»).

Этим полемика с известным сталинским представлением «человек-винтик» не кончилась. Важная реплика в споре принадлежит к более позднему времени: «Давно у нас так откровенно не говорили. Каким-то, знаешь, добрым ветром большевизма потянуло! А то в «великое»-то, пережитое нами, десятилетие на людей, как на кнопки, нажимали. А кнопки, как известно, безголосы. Осуждали понятие «винтики». Но винтики работают — они рабочая часть машины. Кнопки

же — они и есть кнопки, управленческая деталь» (Вс.Кочетов, «Чего же ты хочешь?»).

Предметом полемики становятся и другие формулы. Например, «простой человек»: Не будет сказано обидных, неверных слов на этот раз, история сказать не даст: нет для нее простых, невидных, нет маленьких людей у нас» (А.Яшин, «Чудеса»), Выдумали «простых» людей — и повторяем по привычке. Враки! Любой человек сложен, и не надо принижать его розовым сиропом (В.Кетлинская, «Инженерная аллея»).

Переосмысливаются и разнообразные обозначения классовой сущности человека:

«... Отец не должен был защищать этого человека.

— Почему же ты так думаешь?

— Потому что он бывший дворянин.

— Ну и что?

— Чуждый элемент.

— Ленин тоже из семьи, имевшей дворянское достоинство.

— То Ленин. Это исключительный случай. А есть закон классовой борьбы. Чуждые элементы из других социальных групп и прослоек не могут быть за Советскую власть. Они все против, только скрывают и ждут удобного момента для вредительской деятельности.

... Формулы, формулы!.. Огулом, всех подряд, без разбора... как это можно? Это же люди, люди! В человека надо смотреть, в каждого, в живую его душу!» (Ю.Гончаров, «Сын»), «В век техники Ангелюк знал только одно орудие — дырокол. В эпоху величайшего энтузиазма и самоотверженности не видел ни одного хорошего человека. Кругом вредители, саботажники, примазавшиеся, чужаки, двурушники, враги народа, кулаки, подкулачники, примиренцы, ротозеи, политически беспечные, политически неустойчивые, морально неустойчивые, обиженные, притаившиеся, замаскировавшиеся, агенты иностранных разведок. Ангелюк распознавал, разоблачал, выводил на чистую воду, выкуривал из щелей, выкорчевывал, вытравливал...» (А.Рыбаков, «Лето в Сосняках»), «Ах, вот как ты заговорил, ты теперь за брата заступаешься, вражина! Значит, тебе враг, вредитель, шпион, диверсант дороже советской власти, да? Да разве органы зря кого забирают? А ты знаешь, где ты находишься? Контрреволюционер! Антисоветчик! Японская морда!» (Ю.Домбровский, «Хранитель древностей»).

Персонаж рассматривается с двух точек зрения — с точки зрения реальности и здравого смысла и с точки зрения официального документа: «Кузнецова арестовали. Герой гражданской войны, на пустом месте построивший крупнейший в стране химкомбинат, тоже стал «врагом народа», и о нем больше не говорили» (А.Рыбаков, «Лето в Сосняках»), «Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его отчислили с курсов, и приехал он в Прудки с подмоченной репутацией,

как "скрытый элемент и саботажник". ... Судила его тройка за "антисоветскую пропаганду", да еще "в период подготовки к выборам". Припомнили ему все: и "скрытый элемент", и саботаж, то есть отказ от председательства. И отправили на пять лет в тюрьму "по линии врага народа"» (Б.Можаев, «Из жизни Федора Кузькина»), «... Унчанский рабочий объявил злосчастного директора краеведческого музея не только монстром, но и "агентом чуждой нам идеологии"» (Ю.Герман, «Я отвечаю за все»), « — Это Корнилов-то враг! — воскликнул я. Редактор посмотрел на меня и добродушно засмеялся. — Что, не враг? — спросил он добродушно и ответил: — Может быть, может быть, и даже наверно совсем не враг, но вот знаем-то это вы да я, а тот, к кому Аюпова побежит жаловаться, он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята, а он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну, что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной. Понимаете?» (Ю.Домбровский, «Хранитель древностей»).

С отрицательной стороны эта фразеология характеризует уже не того, к кому относится, а того, кто ее употребляет. Однообразный набор однотипной фразеологии: «бдительность», «гнилой либерализм», «факты — упрямая вещь», «лес рубят — щепки летят» и т.п. — примета речи отрицательных персонажей: «Мы потеряли бдительность, рядом с нами орудовал враг, а мы его не разглядели. А разглядеть при бдительности было нетрудно» (Ф.Вигдорова, «Семейное счастье»), «Я не перестану бороться с гнилым либерализмом... развели гнилое болото в институте... заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька и потеряли принципиальную партийную бдительность!... Гнилой либерализм до хорошего не доводит... Мы перед лицом фактов, а факты упрямая вещь» (Ю.Бондарев, «Тишина»).

Такая речевая маска в зависимости от задач автора характеризует персонажей, воплощающих различные отрицательные явления прошлого: «волевой», «железный» стиль руководства, догматизм и т.п. и связывается с определенным типом мышления — шаблонным и прямолинейным. Общие слова, общие места — выражение их внутренней сущности и личного отношения к действительности.

С употреблением газетно-публицистической фразеологии этого разряда связывается и еще одно характерное для изображаемого времени явление — слепая вера в слова, рождающая противоречие между субъективными мотивами и объективным смыслом поступков: «А вот скажи, уполномоченный товарищ, — правда ли, будто Степан Чаузов, крутолучинский мужик, кулак и людям вражина?

— Нет, — сказал Митя, — Чаузов — кулак не настоящий.

— А почто же ты его высылаешь по-настоящему?

— Переделка всей жизни... И люди разделились на два противоположных лагеря: одни — «за», другие «против». А кто-то еще и посередине. И такого вот среднего самый какой-то ничтожный случай может толкнуть туда или сюда: здесь такой случай. Он.

— А ты себя по случаю сослал бы за болото? Себя — не Чаузова?..

— ... Я ничего не боюсь — что меня кулак убьет или еще хуже — советская власть за кулака нечаянно примет и за болото сошлет. Лес рубят — щепки летят... Я честно служу делу.

— ... О честности говоришь?! Честное-то правдой дается, не разбоем!

— Разбой — это... для себя, для личного обогащения. А здесь — борьба за светлое будущее» (С.Залыгин, «На Иртыше»).

Тема слепой веры в официальный шаблон рассматривается в рассказе А.Солженицына «Случай на станции Кречетовка». Лейтенанту Зотову, разговаривающему с окруженцем Тверитиновым, довольно одного слова, чтобы разрушилось доброе и хорошее впечатление, которое уже сложилось у Зотова, и в его сознании возобладали другие оценки. Сознание Зотова раздваивается: все то, что раньше вызывало у него сочувствие и участие, начинает переоцениваться с точки зрения заданных представлений:

«Сталинград... А как он назывался раньше?

И все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — и не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!

— ... Раньше он назывался Царицын.

(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверное, белоэмигрант, потому и манеры такие!)

— Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.

(Да не офицер ли переодетый? То-то карту спрашивал... И слишком уж переиграл с одежонкой).

Вражеское слово это.— «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.

(Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие. Так, бдительность. Что теперь делать? ... тюха-матюха, расстилался перед врагом, не знал, чем угодить)».

В сознании Зотова борются человечность и формальный подход к делу, в речи его та же борьба. Почти до самого конца он разговаривает с Тверитиновым не как официальное лицо, но во внутренней его речи живые слова уже вытеснены казенными, канцелярскими. И наконец, нет уже человека «с удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице». От человека осталось только имя, да и оно взято под сомнение в рапорте: «Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной ...» В то же время все более проясняется лицо Зотова: чиновник

победил в Зотове человека, и рапорт, самостоятельный творческий акт Зотова, символизирует эту победу. Постепенное вытеснение «своих» слов «чужими», общими — есть в то же время превращение «общего», социально обусловленного в свое, личное. Правильность общих категорий проверяется частным, единичным случаем, и общие категории не выдерживают этой проверки. Как показывает литература конца 50-х — начала 60-х гг., действительная сущность явлений и характеров не укладывается в набор устойчивых формул и формулировок. Переосмысление этих формулировок продиктовано стремлением восстановить подлинную «структуру мира».

Экспрессивная переоценка распространяется и на обозначения моральных, общечеловеческих категорий, которые оказались противопоставленными категориям классовым. Моральные категории — добро, совесть, человечность, справедливость — восстанавливаются в правах [Шмелев, 1968, 119]. Они освобождаются, с одной стороны, от религиозного ореола, с другой, очищаются от экспрессивных наслоений предшествующего периода, когда часть их либо была предана забвению, либо оценивалась резко отрицательно: «... то и дело приходится слышать о честности и милосердии как об абстрактных или, хуже того, буржуазных добродетелях» (А.Крон, «Дом и корабль»), «Совесть, честь, порядочность мы напрасно, между прочим, игнорируем, предполагая, что они не из нашей лексики. Оно наше, только наше» (Ю.Герман, «Дело, которому ты служишь»), «Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести... Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекцию любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные злые дела, и все же порой они сдерживали» (И.Эренбург, «Люди, годы, жизнь»).

Активно обсуждается объем понятия «добро»: «А что же добро?.. Понятие из библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности. Голубиного взгляда. Божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми... добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенькое, боится запачкать руки. Оно очень хочет любви к себе... Добро должно быть злым!» (Ю.Бондарев, «Двое») (ср. популярную формулу С.Куняева: «Добро должно быть с кулаками»), «Я почувствовал, что я честен по своей натуре, что я добр... Да, и добр! Доброта... Мы как-то забыли это слово в своем первозданном значении. Оно нам кажется сентиментальным, филистерски ограниченным. Добрый, добренький — в наших устах стало почти ругательством. Суровая эпоха не должна быть оправданием черствости» (В.Тендряков, «За бегущим днем»).

Слова «добро», «добрый» очищаются от снижающих экспрессивных оттенков, все они уходят к словам «добренький», «добряк», которые осмысливаются как противостоящие слову «добрый»: «Добрый? Нет, он милый, теплый... Он добренький! Суффикс «еньк» сразу все объяснил! Да, да, да, у Яши есть хорошие качества, прекрасные качества, великолепные качества. Но они отпущены в каком-то таком количестве, что на настоящего человека не хватает. Вот именно! Добренький, умненький, хорошенький <...> Я <...> совал этот суффикс «еньк» в слова, где ему быть уже никак, уже совершенно невозможно: правдивенький, смеленький, принципиальненький, непоколебименький» (И.Зверев, «Суффикс "еньк"»).

Классовые и моральные категории в литературе 50 — 60-х гг. расцениваются не как противоречащие друг другу, не как взаимоисключающие, а как взаимодействующие, взаимосвязанные: «Согласен, согласен, бывают вредные добряки, но нет и не может быть полезных негодяев. Уверяю вас, из хорошего человека гораздо легче сделать коммуниста, чем из плохого коммуниста — человека» (А.Крон, «Дом и корабль»).

Моральные оценки включаются в новые ряды ассоциаций, приобретают новое социальное наполнение и толкование: «Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему?.. Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро» (Ю.Бондарев, «Тишина»), «Любовь к людям! Не та христианская, евангелическая любовь, которая призывает к смирению и послушанию, а та коммунистическая любовь, которая пробуждает в людях чувство человеческого достоинства, попранного угнетателями, веру в свои силы и готовность на борьбу во имя справедливости» (А.Твардовский, «Статьи о литературе»), «Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат, — "советским"» (Э.Казакевич, «При свете дня»).

Отрицание ценности моральных общечеловеческих категорий, противопоставление им узкоклассовых отдано в литературе конца 50-х — начала 60-х гг. отрицательным персонажам — циникам и приспособленцам: «Справедливость — понятие довольно растяжимое. Словечко из идеалистического лексикона. Что справедливо, а что нет? Где объективный критерий? Справедливо то, что закономерно и необходимо.

— Значит, справедливости не существует? — спросила Тамара...

— В вашем понимании — нет. Мы руководствуемся целесообразностью. То, что на данном этапе целесообразно, — это и есть справедливость...» (А.Крон, «Дом и корабль»).

« — К этому меня обязывает моя партия, которая требует, чтобы члены ее были принципиальными, непримиримыми...

— ... глубоко человечными, — закончил за него фразу Литвинов.

— Да, разумеется, и человечными, если под этим немарксистским термином не скрывается либерализм, мещанское благодушие и политическая слепота» (Б.Полевой, «На диком бреге»).

Одно и то же слово включается в контрастные синонимические ряды: человечность — гуманность, любовь к людям; человечность — либерализм, мещанское благодушие, политическая слепота, оценивается прямо противоположным образом.

Эти два подхода, два ряда оценок, два контрастных истолкования одних и тех же понятий полемически сталкиваются не только в пределах одного произведения, определяя в нем размежевание сил, но и в рамках всей литературы, отражая борьбу разных течений общественной мысли.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М., 1938.

Винокур Г.О. О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики) // Леф, 1923, № 2.

Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка (часть раздела «Принципы социологического изучения русского языка советской эпохи» написана Д.Н.Шмелевым), М., 1968.

Е. В. Красильникова

ЕЩЕ РАЗ О ЦВЕТЕ У И. АННЕНСКОГО

Объектом анализа в этой небольшой статье будут две темы: о центральных соотношениях цветовых прилагательных в «Кипарисовом ларце» (трехстишиях) И.Анненского и о связях разных цветов в композиции отдельных стихотворений поэта. Анализу цвета у И.Анненского посвящен раздел диссертации М.В.Тростникова (см. Тростников 1990). В тонком и глубоком исследовании были установлены психологические окраски цветов и выдвинута мысль о том, что, помимо поверхностного противопоставления, каждый цвет «оппозиции внутренне противопоставлен себе», в связи с отношением «я — не я». Например, белый цвет, обозначение света, с одной стороны, противопоставлен мраку, и, с другой, белый цвет — это цвет дня — «времени сна души в противоположность ночи — времени сна тела», т.е. характеристики цветов строятся на принципе амбивалентной символики.

Как кажется, у поэта возможно найти и достаточно ясные противопоставления положительного и отрицательного полюса на линии цветов. Среди самых главных цветов, названных М.В.Тростниковым, — черный, белый, голубой, синий, желтый. Мы бы выделили еще красный и лиловый.

Есть явная прикрепленность желтого к темному полюсу, и синего, голубого — к светлому. У желтого есть устойчивая ассоциация с мертвым: В *желтый* сумрак *мертвого* апреля; К полудню от солнечных ран / Стал даже *желтее* туман / Стал даже *желтей* и *мертвей* он. Ср. Позади лишь *вымершая* дача / *Желтая* и скользкая... Точно *вымерло* все в доме... / *Желт и черен* мой огонь (см. Тростников 1991).

Сочетания и контрасты цветов подтверждают тяжелую окраску желтого:

Я твоих печальнее отребий
И *черней* твоих не видел вод,
На твоем линяло-ветхом небе
Желтых туч томит меня развод (Ср. также Киевские пещеры)

Пары *желтеющей* стеной
Загородили *красный* пламень

.....
Между старых *желтых* стен,
Доживая горький плен,
Содрогается опалый
Шар на нитке *темно-алый,*
Между старых *желтых* стен.

Второй цвет печали — черный. Эти два цвета, как мы видели, сочетаются друг с другом. Очень выразительно цветовое развитие стихотворения «Пробуждение». Оно проявляется на уровне сравнений и метафор. Выпишем несколько важных строк:

Кончилась яркая чара,
Сердце очнулось пустым:
В сердце, как после пожара,
Ходит удушливый дым.
Солнце за гарью тумана
Желто, как вставший больной.
Жребий, о сердце, твой понят —
Старого пепла не тронь...
Больше проклятый огонь
Стен твоих *черных* не тронет!

Аналогично: Два *желтых* лика, два унылых... / На *черном* бархате постели. Мы видим, что снова согласуются два цвета — желтый и черный. Желтый омертвляет и иные цвета.

Стал даже желтее туман,
Стал даже желтей и мертвей он,
А полдень горит так суров,
Что мне в этот час неприятны
Лиловых и алых шаров
Меж клочьями мертвых паров
В глазах замелькавшие пятна.

Черный может входить в контрастные отношения.

Ее факел был *огнен и ал,*
Он был талый и сумрачный снег...
Лоно смерти открылось *черно*

Снегов немую *черноту*
Прожгло два глаза из тумана,
И дым остался на лету
Горящим *золотом* фонтана.

Контраст черного — огненного часто не выражен прилагательными: Больше проклятый огонь стен твоих черных не тронет. Ср. с белым: Я знаю, пышущий дракон, / Весь занесен пушистым снегом. Небо нас совсем свело с ума: то огнем, то снегом нас слепило.

Часты контрасты черного и белого: *черные* ракиты — *белые* поля; есть дева *белая,* и нагота ее беспомощно *белеет* — и раны *черные* от влажных губ остались; И вырез жутко *бел* среди наплечий *черных.*

Многие стихи строятся на цепях противопоставлений цветов, прямых или скрытых. Так, в стихотворении «В вагоне» идет чередование: Снежит из нижних облаков; Мятутся черные ракиты; Глядеть на белые поля / Через стекло с налипшей ватой — и эпилог, построенный на контрасте *гори — застыло!*

А ты красуйся, ты гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.

Очень выразительно в этом отношении стихотворение «Зимний поезд», пронизанное черным цветом, вступающим в контраст с красным (см. о нем ниже), который в конце стихотворения загораживают «пары желтеющей стеной».

Часто семантическое согласование цветов, как в стихотворении «Черная весна»:

Да тупо *черная* весна
Глядела в студень глаз —
С облезлых крыш, из *бурых* ям
С *позеленелых* лиц.

Композиционное развитие часто завершается цветовой кульминацией: Тени в пламя бегут *голубое* (Свечку внесли); На *черном* бархате постели (Смычок и струна); И *желтых* два обсевочка / Распластаны в песке (Одуванчики); Плыли жаркие слезы по вербе / На *румяные* щеки херувима (Вербная неделя); *Медное* солнце смеялось (Сизый закат) и др.

Устойчивая «чернота» приписывается ночи, но именно у ночи этот признак становится чисто цветовым, во всяком случае неоднозначным. Мы находим и другие употребления черного, которые несут в себе нейтральные ощущения. Пример — стихотворение «Картинка», где в середине появляются «Доски свежие мостов / Доски черные постройки» и в конце вдруг светлые слова: «Это — праздник для нее / Это — утро, утро жизни».

Второй цвет, имеющий также признаки амбивалентного употребления, — это белый, который имеет устойчивую ассоциацию со смертью («лишь ужас в белых зеркалах») и часто соединяется с темным и вместе с тем несет в себе нейтральность «светлого». Приведем примеры «затемненного» белого: Снегов немую черноту; Последний снег был темно-бел; он был талый и сумрачный снег; И вы, на мрачной белизне / Ветвей тоскующие тени; о темно-снежный путь.

Та же ассоциация при наложении желтого цвета: Но мая белого ночей / Давно страницы пожелтели; Мне нужен талый снег под желтизной огня.

Белый цвет — как бы знак бесцветности. Черный и белый этим сближены. Может быть, отсюда:

Как странно слиты сад и твердь
Своим безмолвием суровым,
Как ночь напоминает смерть
Всем, даже *выцветшим* покровом.

Контексты, включающие «яркие» цвета: алый, багряный, красный, кровавый — имеют одну постоянную семантическую ассоциацию: несбыточность, нереальность, бессилие.

Маки пятнами — как жадное бессилье,
Как губы, полные соблазнов и отрав,
Как *алых* бабочек развернутые крылья.

В стихотворении «Маки в полдень» маки — крылья *алого* батиста.

Все, что нежит — даль да близь,
Оскорбив пятном *кровавым*,
Жадно маки разрослись
По сомлевшим тучным травам.

Эти цвета лишены жизненного утверждения. Ожидания напрасны, нет победы, ждут страдания.

Любиться, пока полосою
Кровавой не вспыхнул восток.
.....
Истомлена сверканием напрасным,
И плачешь ты, и рвешься трепеща,
Но для чудес в дыму полудня *красном*
У солнца нет победного луча.
.....
Алый дым и темный пыл?
Ясен путь, да страшен жребий,
Застывая онеметь, —
И по мертвом солнце в небе
Стонет раненая *медь*.
.....
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск *малиновых* улыбок, —
Страдания холодную змею.

Розовый относится к оттеночным тонам. Но он в «Кипарисовом ларце» наделен только одной смысловой окраской.

Здесь вечер как мечта: и робок и летуч,
Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и слито столько туч...
Он как-то ближе розовых закатов.

Напомним «Кошмары», где розовый цвет появляется как знак иллюзии, мечты в полубреду, в полусне. В конце стихотворения как резкий контраст проступает трезвая реальность. Мечта и разочарование в ней — в строе стихотворения «Облака»: «В сердце радость сменилась раскаяньем». Розовые облака будто плачут «дымчатым таяньем». В розовом — всегда неустойчивость, только намек, оттенок.

И, где солнце горело весною,
Только розовый отблеск зимы.

Последнее стихотворение, начинающееся светло:

Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек, —
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок

названо «Дальние руки». Кончаются стихи уверенностью: Я брошу волшебную нить, / И мне будут сниться, алмея, / Слова, чтоб тебя оскорбить. «Розовое» также обречено на несбыточность.

Итак, какие цвета любимы поэтом?

Приведем один текст из «Тихих песен»:

Но не надо сердцу алых, —
Сердце просит роз поблеклых,
Гиацинтов небывалых,
Лилий, плачущих на стеклах.

Далее из «Кипарисового ларца»:

Что звуков пролито, взлелеянных в тиши,
Сиреневых, и ласковых, и звездных!
Так с нити порванной в волненьи иногда,
Средь месячных лучей, и нежны и огнисты,
В росистую траву катятся аметисты
И гибнут без следа.
.....
Но люблю ослабелый
От заоблачных нег —
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...
.....
Зимним утром люблю надо мною
Я лиловый разлив полутьмы,

И, где солнце горело весною,
Только розовый отблеск зимы.
Я люблю на бледнеющей шири
В переливах растаявший цвет...
Я люблю все, чему в этом мире
Ни созвучья, ни отзвука нет.
.....
Сердце ль не томилося
Желанием грозы,
Сквозь вспышки бело-алые?
А теперь влюбилося
В бездонность бирюзы,
В ее глаза усталые.

Сквозь сумрак, полутьму видны мерцанья и отблески. Проступают поблеклые, ослабелые, усталые оттенки цветов. Они гибнут без следа, тают в переливах. И все-таки рядом с сиреневым, лиловым (соседствующими с белым, розовым) особенным глубоким и сильным тоном окрашена «бездонность бирюзы».

И вот голубой и синий. Кажется, для поэта это самый отчетливый в своем значении цвет. Это цвет небес: Гаснет небо голубое; с небес омыто-голубых; в синюю пустынь небес; На синем куполе белеют облака, Сквозь листву просвет оконный / Синью жгучею залит. Кроме того: голубые льды; Этот нищенски синий / и заплаканный лед...; синеет тонкий лед; по заводям синим; леса синие верхи. Утрата синевы печальна. Ощущается как потеря. Синева относится также к временным, «трепетным» состояниям.

Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла *просинь*
И снегов не помню я мертвей.
.....
Когда сжигают *синеву*,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.

В метафорическом употреблении: До чар весны сберечь свой синий плен, синий сон благовонных кадил; Мечта весны, когда-то голубая, твоей тюрьмой горящей я смущен.

И огонь для поэта прежде всего сине-голубой.

Начнем с образных употреблений:

Помню дым от струи водомета,
Весь пронизанный *синим огнем?*
.....
И она ждет мая,
Ветреных объятий

И зеленых платьев,
Засыпать под сказки
Соловьиной ласки,
И проснуться, щуря
Заспанные глазки
От *огня лазури.*
.....
Знаю: сад там, сирени там
Солнцем залиты.
Хорошо в *голубом огне,*
В свежем шелесте;
Только яркой так чужды мне
Чары прелести...

Пламя для поэта также обычно синее или голубое:

Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в *пламя* бегут *голубое?*
.....
Для чего так *сине пламя,*
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола.

Несколько сдвинут, но очень близок к пламени образ голубого тумана — костра:

И что надо лечь в угарный,
В *голубой туман* костра,
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора.

И эмоциональная вершина:

Аромат лилеи мне тяжел,
Потому что в нем таится тленье...
Лучше смол дыханье, *синих* смол,
Только пить его без разделенья...
Оттолкнув соблазны красоты,
Я влюблюсь в ее миражи в дыме...
И огней нетленные цветы
Я один увижу *голубыми*...

Однажды я спросила Дмитрия Николаевича Шмелева о его любимом цвете, и он ответил стихотворными строчками:

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.

Продолжим эти строчки из перевода стихотворения Николоза Бараташвили (Лирика, М., 1967, перевод с грузинского Б.Пастернака и М.Лозинского):

В детстве он мне означал
Синеву других начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

ЛИТЕРАТУРА

Тростников М.В. Идиостиль И.Анненского (лексико-семантический аспект). КД. М., 1990.
Тростников М.В. Желтый цвет И.Анненского // Русская речь, 1991, № 4.
И.Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1959.

И. Б. Левонтина

ТЕКУЩИЙ КРИСТАЛЛ (О ЧИТАТЕЛЬСКОМ ВОСПРИЯТИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА XIX В.)

Известно, как трудно избежать модернизации в восприятии и научной интерпретации текста, написанного в другую эпоху, особенно при современных методиках семантического анализа, в значительной мере основанных на интроспекции исследователя. Такое положение связано с тем, что основной круг идей, определивших приемы лингвистической поэтики, сложился в начале этого века, когда филология и словесность развивались в гармонии и питали друг друга. Неудивительно, что в основе представлений об универсальных свойствах поэтического языка оказались черты новой поэзии. Отсюда презумпция, с которой современный исследователь подходит к любому поэтическому тексту, — презумпция семантической нагруженности каждого элемента; отсюда и основной принцип анализа: эксплицировать все элементы смысла, которые можно обнаружить на всех уровнях, исходя из потенций естественного языка, и из них построить модель смысла.

Эта экстраполяция может, однако, привести к искажениям[1]. Речь идет не об изменении значений отдельных слов или подобных тривиальных случаях, а о перемене номинативной стратегии, смене того ключа, с которым поэт подходит к естественному языку, претворяя его в язык поэтический.

Данная проблема может быть рассмотрена на материале некоторых особенностей языка поэзии К.Н.Батюшкова. Важно подчеркнуть, что целью настоящей работы не только не является системное описание этого языка, но и вообще предмет анализа в ней — не столько то, что есть в языке Батюшкова, сколько то, чего в нем нет, но что вносится в него современным читателем и интерпретатором.

Так, нетрудно заметить, что эпитет у Батюшкова в большинстве случаев независим от ситуации, в которой упоминается объект, и обозначает некоторое сущностное его свойство, его характеристику в эталонной, лучше всего его представляющей ситуации. Самый простой пример: небо обычно *лазурно* даже ночью, если речь специально не идет о тьме, то есть в тех случаях, когда небо нужно для описания

обстоятельств происходящего. Для сравнения: если в XX в. поэт говорит о синеве неба ночью, значит, он имеет в виду особую ночь и особую синеву, которая действительно иногда бывает. Для поэтов же первой половины XIX в., особенно школы «гармонической точности», следующее батюшковское употребление совершенно обычно:

В ночь тихую луна и сонм бессчетных звезд
Лиют утешный луч с лазури горних мест.

Эпитет закрепляется за объектом, то есть, грубо говоря, за словом, и появляется даже при именных группах в неопределенном денотативном статусе, то есть не соотнесенных с конкретным предметом (в частности, например, таких, при которых возможны местоимения на *-то* или *-нибудь*), ср.:

Железом я ноги мои окрыляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду, —

то есть, умею быстро плавать. Но почему тогда *влага* должна быть *хладной?* Ведь в теплой воде плыть можно еще быстрее. Однако когда имеется в виду любая вода, она будет *хладная.*

Это похоже на функцию постоянных эпитетов в фольклоре, указывающих, по мысли С.Е.Никитиной (устное сообщение), на принадлежность объекта к «миру нормы», поэтому в фольклоре возможны *белы руки,* когда речь идет об арапе — просто нормальные руки. Эти эпитеты можно описать через своего рода лексическую функцию[2] типа Magn, напр., Ideal. Предельное выражение данной тенденции — слова типа *златой, сладкий <сладостный>,* утратившие предметное значение в поэтическом языке этого периода. Здесь важна не только оценочность, но и то, что эпитеты выступают в роли своего рода актуализаторов, относящих объект к идеальному миру мечты или «условной древности» (выражение Г.А.Гуковского, см. Гуковский, 1965, 103).

Это объясняет, почему у Батюшкова рощи так легко из *липовых* превращаются в *дубовые* («Пастух и соловей»), а в *бездонной синеве безоблачных небес* светит луна, *подернутая облаком* («Тень друга»). Ведь и *липовые,* и *дубовые* в применении к рощам означает просто 'идеальные'. Идеальное небо — *безоблачное,* идеальная луна вполне может быть подернута облаком. Слова, в естественном языке противоречащие друг другу, в этой системе почти синонимы.

Сказанное вовсе не означает, что все эпитеты у Батюшкова традиционны. Действительно, часто говорят о свежести батюшковских эпитетов, в качестве примера приводя такие сочетания, как *шумящий дождь* или *тонкий вяз.* Но и они употребляются подобным же образом:

... как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так и меня, моя отрада,
Обними в последний раз!

Вообще говоря, для описываемой ситуации толщина вяза совершенно безразлична, и имеется в виду любой вяз.

... Водолей
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки.

То, что здесь дождь даже не *шумный,* а *шумящий,* семантически ничем не мотивировано. Очень показателен следующий пример. К июню 1814 г. относится стихотворение «Тень друга», которое начинается знаменитыми строками:

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.

Туманный берег, увиденный с отплывающего корабля, — яркая моментальная зарисовка. Однако созданное почти сразу же стихотворение «На развалинах замка в Швеции» показывает, что такая конкретная мотивировка для появления эпитета *туманный* вовсе не обязательна: *Туманный Альбион из края в край пылает.*

Продемонстрируем на нескольких примерах эту независимость эпитетов от контекста:

Не слыша барабанов шуму
И крику резкого осанистых стрелков, —

невозможно ведь услышать осанистость. Но автор, вовлекая в рассказ новый предмет, уже знает его свойства, а не открывает их вместе с героем и читателем. Еще пример:

Супруга между тем трапезу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальною водой.

Читателю вовсе не предлагается представить себе эту воду.

Но здесь необходимо сделать отступление, объясняющее употребление выражения «представить себе». Речь ни в коем случае не идет о психологической интерпретации восприятия текста. Мы употребляем это выражение, поскольку оно удобно для толкований (квазитолкований). Такие каузальные дефинии в духе А.Вежбицкой (если хочешь представить себе то-то, представь себе то-то) легко перекодируются в более традиционные толкования, но они короче и нагляднее.

Итак, о *кристальной* воде. Когда вода теплая, она не похожа на кристалл, да и вообще вряд ли нужно зримо представлять себе, как

выглядит вода в сосудах для омовения ног. Просто описывается идиллическая ситуация, и оценка ситуации в целом растекается по тексту, распространяясь на каждый упомянутый объект. И раз упоминается вода, то и она идеальна. Способов указания на идеальность воды несколько, и среди них эпитет *кристальная*.

И дело не в том, что можно подбирать примеры, подобные приведенным, и даже не в том, что их много. Вообще для Батюшкова иное не характерно. Даже если нет противоречия, дистрибуция эпитетов в разных контекстах показывает, что выбор определения обусловлен причинами прежде всего не семантическими, а ритмическими, фонетическими, соображениями разнообразия и т.п. Сложность ситуации состоит в том, что почти каждый отдельно взятый пример можно «дотянуть» до какого-нибудь осмысленного понимания: семантизировать можно, как известно, даже заведомую бессмыслицу.

Так, в строке из стихотворения «Мечта» *И между светлых льдин являешь миртов тень* можно считать релевантной внутреннюю форму обозначений и при некоторой изощренности воображения представить себе лед и мирты как воплощение света и тьмы. Очевидно, однако, что это паразитический смысл; имеется в виду нечто значительно более простое: мечта переносит человека из холода и льдов в роскошь южной природы. Поэтому разумнее в этой ситуации не трактовать каждый отдельный пример, опираясь на собственное читательское восприятие, а вначале попытаться реконструировать общие принципы Батюшкова.

Следующий пример показывает, как традиционный прием экспликации семантических признаков может привести к заведомо ложному результату. Рассмотрим строчку *С медом пил розы на влажных устах! Влажные* — вполне обычный эпитет для уст, он указывает на их красоту и притягательность. Однако весьма сомнительно, чтобы признак влажности приписывался устам применительно к моменту поцелуя, тем более что поцелуй обозначен метафорой *пить*. Это был бы совершенно излишний и чуждый Батюшкову физиологизм. Здесь разложение на смысловые элементы нас бы сильно подвело.

Поэтому когда Г.А.Гуковский, говоря о строках *И уста, в которых тает / Пурпуровый виноград* из известного стихотворения Батюшкова «Вакханка» в своем не менее известном анализе этого стихотворения, спрашивает: «Не ест же она на бегу виноград?» [Гуковский, 1965, 102], — то с такой постановкой вопроса нельзя согласиться. На какое бы свойство ни указывал загадочный виноград, «на бегу» здесь ни при чем. Это свойство должно проявляться в самой сущности ситуации, каковой для губ вакханки, бесспорно, является поцелуй. Настоящее время *тает* надо здесь понимать не в смысле одновременности действия с другим — *бежала,* — а как указание на постоянное свойство: 'уста, которые сладко целовать'. Таким образом, батюшковский текст оказывается гораздо ближе к оригиналу Парни, чем это представляет

Гуковский, говоря, что строки Батюшкова нельзя осмыслить предметно.

Но почему виноград *пурпуровый* — зачем указание на цвет, если речь идет о вкусе (и то метафорическом)? Однако это не противоречит принципам Батюшкова, в силу описанных особенностей его определений. Так, в строке *И ГеЛа СияЛа в СоЛеНой воЛНе* сопряжены зрительные и вкусовые ощущения, причем очевидно, что при выборе эпитета соображения звукописи оказываются важнее семантической согласованности. Ср. аналогичный пример:

... И лебедь белоснежный
На синем Стримоне, предвидя страшный час,
Не слаще твоего поет в последний раз! —

где апелляцией к цвету доказывается красота звука, названная *сладость*. Такое смешение рядов в этой системе не только допустимо, но и желательно: это связано с другой особенностью идеального мира — обобщенностью, абстрактностью. Объекты предстают ярко, но не подробно. Это нужно для того, чтобы читатель все время чувствовал отличие мира мечты или условной древности от мира реального, чтобы не думал, что небо — это то же небо, которое он может увидеть над головой. В этом мире все другое: и воздух, и красавицы, и чувства. Поэтому и цвет винограда — *пурпуровый* — лишь в самом общем виде указывает на часть спектра: ведь виноград скорее пурпурный, чем лазурный. (Впрочем, надо признать, что из арсенала цветов красной части спектра, которые все в этой поэтике имеют символическое значение и более отличаются стилистически, чем предметно, пурпур, в принятом в цветоведении значении, действительно более всего соответствует цвету, который может иметь реальный темный виноград. Ясно, однако, что выбор этого слова обусловлен скорее ритмико-фонетическими причинами. Батюшков не вкладывал в это слово указание на фиолетовый оттенок, это видно хотя бы из того, что оно встречается и для описания, например, цвета зари). Выбор же красной части спектра обусловлен еще и мотивом солнечности. На солнце у Батюшкова *рдеет* даже *златый лимон*. Хотя и здесь надо сделать уточнение историко-лексикологического характера: в последнем случае смысловой сдвиг меньше, чем нам кажется, потому что в XIX в. у слова *рдеть* было не только значение 'быть красным', но и значение 'дозревать, краснея' (оно зафиксировано, например, в словаре Даля).

Эту же функцию Ideal от прямой номинации можно приписать и номинациям косвенным. Последние по своей языковой сути, казалось бы, должны создавать механизм многократного опосредования референции, а в поэтическом языке тем более призваны служить не столько целям идентификации объекта, сколько выполнять характеризующую функцию. И этого, однако, не происходит: в большинстве случаев у

Батюшкова нет взаимодействия внутренней формы обозначения с контекстом. Ср. *Слез ручей блестит в ее очах.* Ведь слезы можно сравнить с ручьем, только когда они уже текут по щекам, но не когда стоят в глазах. Но в эталонной ситуации, самой репрезентативной, слезы текут *ручьем,* следовательно *ручей слез = слезы* в любой ситуации. Иными словами, если любая употребленная в идентифицирующей позиции метафорическая номинация содержит в свернутом виде метафорическую предикацию, то модус этой предикации совершенно не тот, что у всего высказывания. Сходство приписывается не конкретному, а эталонному объекту и не в конкретный момент времени, а как постоянное, вневременное свойство.

Отсюда обилие у Батюшкова таких странных на современный слух сочетаний, как *царь светил на западе пылает* или *струи царицы светлых вод.* Но и здесь дело не столько в этом: важно, что если сравнить контексты употребления разных обозначений, например, солнца или какого-нибудь другого объекта, то выяснится почти полная семантическая произвольность этих употреблений. Вот показательный пример:

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.

Венок вянет, как василек, — это возможно только при полном отсутствии предметного осмысления метафоры *венок бессмертия,* иначе получается абсурд: кроме всего прочего, венок должен завянуть явно быстрее, чем растущий в поле василек.

Так как метафорическая номинация оказывается абсолютно прозрачной для обозначаемого предмета, становятся возможными и сочетания типа *пустой дым <славы, веселий>.* Эпитет относится непосредственно к объекту, игнорируя второй член сравнения. Говорить о пустоте дыма было бы просто бессмысленно. Ветер может быть тихим, он может тихо веять, отсюда *тихие уста* и *тихие крылья ветра. Прочнейшие цветы любви и дружества* современный читатель постарается, скорее всего, пропустить, не задерживая на них внимания, ибо кому же придет в голову цветы оценивать с точки зрения прочности. Ср. также *оковы нежны, опора сладкая,* а также следующий пример: *Природа лишь одна верна / На якоре своем нетленном,* в котором эпитет *нетленный,* по смыслу относящийся к природе, формально привязан к слову *якорь,* соотнесенному с ней некоторым достаточно сложным образом. И для нас сочетание *нетленный якорь* выглядит неловким.

Но если сказанное верно, то тогда и выражения типа *текущий кристалл <реки>* в рамках этой эстетики должны пониматься не так, как это естественно для читателя XX века, — не как оксюморон. *Кристалл реки* кореферентно *река,* и выражение *кристалл реки течет* можно интерпретировать примерно так: 'река течет' (это ассерция, то есть то,

что, собственно утверждается); в пресуппозиции (то есть той части смысла, которая подается как самоочевидная информация) -- 'эталонная река похожа на кристалл <блестящей поверхностью и чистотой>'.

Поэтика школы «гармонической точности» приводит, между прочим, к парадоксальной мысли. Метафоричность текста (в естественном для этого слова понимании, предполагающем его двупланность) вовсе не определяется количеством метафор. В случае, когда задача метафоры, как и других тропов, состоит прежде всего в указании на идеальность описываемого мира, насыщенность текста метафорами и даже возможность установления связей между ними перестают быть структурообразующей характеристикой, ибо указанная функция с успехом может выполняться другими средствами.

Современный читатель склонен модернизировать и сочетания, основанные на метонимических сдвигах, — и типа *соленая волна,* где напрашивается образная интерпретация, и даже типа *глотает хладную струю,* где она затруднена. Ср., однако, примеры: *завидя вдалеке твои, о Реин, волны, Суда наутро восшумели, запенились моря, На западных струях быть ужасом врагов* и многие подобные. Они свидетельствуют о том, что в данной системе можно переносить наименования почти механически внутри устойчивых метонимических комплексов. Следующий пример показывает, как такой метонимический комплекс используется в целях варьирования обозначений:

<сыны снегов>
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала.

Читателю XX века, привыкшему к изощренной дифференциации синонимов, удивительна противоположная тенденция — к семантическому нивелированию. Очевидно, что было бы антиисторично рассматривать ее как «недосмотр». Такой способ обращения с языком имеет позитивный смысл, моделируя позицию всезнающего автора, который может назвать реку *волны,* даже когда она вдалеке, который видит одновременно, что вода запенилась и что эта вода — море. Наблюдатель не локализован ни в пространстве, ни во времени. Смешение разноаспектных номинаций, неразличение пространственно-временных срезов объектов (воспользуемся логическим термином) — очень важные содержательные особенности языка «гармонической точности». Вообще же метонимические сдвиги в языке Батюшкова — отдельная большая тема. Работа Батюшкова с метонимией не менее интересна и важна для него, чем с метафорой.

В свете сказанного выше интересно разобрать следующий пример. Прочитав прекрасные строки:

Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях в блистаньи принесет, —

современный читатель, естественно, представит себе феерическую картину, наверно, вспомнит Есенина: *Проскакал на розовом коне...* И ошибется — по крайней мере трижды. Во-первых, с Есениным. Одно из значений слова *розовый* — масть лошади, и у Есенина, бесспорно, имеется в виду это. У Батюшкова по-другому. Но — это во-вторых — мы неправильно представляем себе цвет. Если обратиться к текстам самого Батюшкова, то можно заметить, что параллельно существуют *розовая заря* и *розы зари.* Возникает предположение, что для Батюшкова слово *розовый* теснее, чем для нас, связано с идеей розы. Роза же для него обычно — эталон алости (есть один раз белые розы, но в очень специфическом контексте; белому цветку естественнее быть лилией), часто *роза* — синоним слов *румянец, пурпур* и т.п. Так какой же это цвет — *розовый?* В современном бытовом понимании это алый с белилами. Однако и в современном языке в речи многих людей, особенно профессионально связанных с цветом, розовый отличается от алого не по светлоте, а именно по цвету, по положению в спектре. Это цвет, очень близкий к алому, но чуть холоднее. А светлота его может быть разной, как и у всех цветов. Похоже, что в XIX в. слово *розовый* могло употребляться близко к этому смыслу. «Словарь языка Пушкина» [М., 1956-1961] показывает, что можно было употребить слово *розовый* даже без добавления *бледно-* для указания на светло-розовый, ср. *Отделкой розовых ногтей / Зевая занялся небрежно.* Однако когда речь идет о ногтях, Пушкину важно указать, что у них вообще есть этот оттенок, а что они у графа Нулина не алые, и так ясно. Но вот пример, в котором исходя из слова мы должны представить себе цвет. В «Арапе Петра Великого» упоминается *розовый кафтан с блестками.* Совершенно очевидно (достаточно посмотреть любой альбом по истории костюма), что это может быть только цвет, который бы мы на современном языке назвали скорее всего малиновым или даже алым, но это не может быть бледно-розовый. Аналогична ситуация и с *розовым шлафроком,* с которым, по мнению Пушкина, ассоциируется женитьба. Радикальный ответ дает Даль: он толкует *розовый* как 'цвета алых роз'. Любопытно при этом, что *алый* у него — это самый густой цвет розы и цвет яркой зари. Ясно, что Даль не имел в виду, что *алый* и *розовый* — одно и то же. Но ясно и другое: в сочетаниях *розовая заря, розовый луч* для XIX в. семантический сдвиг если даже есть, то значительно менее заметный, чем для современного носителя языка. Итак, Батюшков имел в виду несколько другой цвет, чем нам это естественно себе представить. Но и картину Петрова-Водкина «Купание красного коня» при сочетании *розовый конь* мы тоже не должны вспоминать. *Кони* появляются как результат метонимического шага в сторону

от традиционного мифологического образа колесницы солнца. Эпитет же *розовый* должен быть отнесен непосредственно к заре (ср. *нетленный якорь природы*). В этой эстетике поэт добивается катартического эффекта, не заставляя читателя живо представить себе картину, а внушая ему, что она так прекрасна, что и представить себе невозможно.

Отличие принципов Батюшкова от тех, к которым привык современный читатель, кроме неадекватного эстетического эффекта или модернизированного понимания, может привести к простому непониманию. Так, когда Батюшков говорит об ангеле: *Он осенил меня лазурными крылами,* — современный читатель, очевидно, станет думать, откуда у ангела синие крылья и были ли прецеденты в мировой культуре (в XX в. такое было у Шагала). Между тем, *лазурный* значит здесь просто небесный, поскольку *лазурь* — обычное поэтическое обозначение неба, и в таком употреблении сказывается характерная для Батюшкова нерелевантность внутренней формы номинаций. Кстати, если отвлечься от Батюшкова, — хрестоматийная строка Лермонтова *Под ним струя светлей лазури* для современного восприятия тоже темная, и только ее хрестоматийность мешает нам это замечать. Признаковое имя стоит в позиции, в которой должно быть предметное имя. Можно сказать *ярче солнца,* но плохо — **ярче желтизны.* Но в том-то и дело, что *лазурь* у Лермонтова означает небо, и это тоже проявление традиционной номинативной стратегии.

Естественно, что модернизируем мы не только художественные тексты, но и литературную борьбу. Так, по-разному интерпретируются пушкинские заметки на полях батюшковских «Опытов», прежде всего заметка о ландыше. К строке *Как ландыш под серпом убийственным жнеца* Пушкин сделал заметку: «Не под серпом, а под косою. Ландыш растет на лугах и в рощах, не на пашнях засеянных». По этому поводу есть традиционное мнение, высказанное, например, Г.А.Гуковским, и есть альтернативная точка зрения: «Здесь вряд ли следует усматривать (как это делали многие ученые, в том числе очень крупные) спор реалистической поэтики с романтической: Пушкин применял тот же критерий оценки, что и сам Батюшков...» Мысль Н.Н.Зубкова состоит с том, что Пушкин отредактировал Батюшкова в соответствии с собственными принципами последнего (см. [Зорин А.Л. и др., 1987, 337-338]).

Мы не можем с этим согласиться. *Ландыш под серпом* — конечно, неточность. Но фактическая неточность этого типа вовсе не противоречит, как мы старались показать, принципу «гармонической точности». Таких «ошибок» у Батюшкова очень много, и эта — далеко не самая «вопиющая». Ландыш, действительно, обычно не жнут, но его хотя бы теоретически можно жать. Во всяком случае, жать розы значительно менее удобно. И тем не менее Батюшков пишет: *И розы сладострастья жнет / В веселых цветниках Буфлера и Марота.* Ведь здесь

ничто, кажется, не мешало Батюшкову заменить *жнет* на *рвет,* и в другом контексте у него есть сочетание *рвать розы <счастья>*. Ничто — кроме двух обстоятельств. Во-первых, в этом случае возникло бы скопление согласных и нежелательная аллитерация на *р*. Во-вторых, поскольку речь идет о поэтическом творчестве, Батюшкову нужен мотив труда. И это оказывается для него куда важнее бытовой достоверности.

Вообще сельскохозяйственные работы в языке Батюшкова стали чисто символическими, утратили реальность; ср.:

Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет
И губит Фебовых детей,
Как ветр осенний злак полей!

В одном ряду стоят действия, которые, если их понимать буквально, не только несовместимы, но и предполагают, что читатель одновременно представит себе разные времена года. Это характерно не только для Батюшкова. У Вяземского сказано: *Смерть жатву жизни косит, косит.* Жатву естественнее жать, чем косить. В хрестоматийных Батюшковских строках:

Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона, —

тоже ведь есть «неточность»: в пажитях, тем более цветущих, не может быть эха. Она могла бы быть устранена простой перестановкой строк, если бы бытовая достоверность имела для Батюшкова хоть какое-нибудь значение. Или возьмем строку: *Мед капал из дубов янтарною струею* (здесь, правда, можно допустить, что имеются в виду соты в дупле, но кажется более вероятным, что речь идет о смоле, которой у дубов нет). О *дубовых липовых рощах* и *подернутой облаком луне* на *безоблачном небе* уже говорилось выше.

Так что нет оснований считать, что в этом месте Батюшков отступил от собственных принципов, а Пушкин его поправил. Пример борьбы за «гармоническую точность» — это, скажем, пушкинская критика изображения водопада Вяземским. Там действительно речь идет о том, что двойная метафоричность нарушает прозрачность, ясность текста. Здесь же, несмотря на неточности, текст вполне прозрачен.

Впрочем, трудно согласиться и с приданием этому замечанию программного характера. Неточность по поводу ландыша привлекла Пушкина именно своей незаметностью — не как пример отрицаемого эстетического принципа, а как занятная частность, и он сделал заметку

для себя, чтобы самому иметь в виду на будущее, что ландыш не бывает под серпом. Любопытно, что (если уж соблюсти полную ботаническую корректность) на самом деле *ландыш под косой* не многим лучше, чем *под серпом:* ландыш ядовит и в корм скоту не идет.

Итак, язык поэзии меняется больше, чем это представляется читателю, ибо он и тексты начала XIX века читает сквозь призму всей последующей поэзии: импрессионистической, сосредоточенной на фиксации индивидуального восприятия.

Сказанное не означает, что смыслы, которыми текст обрастает со временем, которые «вчитывает» в него каждое новое поколение, — суть смыслы чисто паразитические. Бесспорно, они имеют культурную ценность; да и вообще нормальный способ существования текста во времени — вступать в самостоятельный диалог с читателем, то есть превращаться из «message» в отправителя. Напротив того, постановка вопроса о реконструкции того смысла, который был первоначально в тексте заложен, может рассматриваться как нетривиальная исследовательская задача.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Неблагодарность детей другого века: хватаем из стариков, что нам понравилось, и кричим: «А это наше, а это Хлебников, а это Пастернак». Впрочем, это вздор, а суть вот в чем: есть элементы системообразующие, и они неотъемлемы, по ним познается мастерство эпохи и лицо мастера. А есть случайные открытия, стилистические пророчества; наше сознание усваивает их как заблудившиеся элементы позднейших систем. Разумеется, «Дымятся серым дымом домы» — это элемент, отбившийся от Андрея Белого и футуристов, и, разумеется, наше восприятие его совершенно фиктивно, так как во времена Державина он означал нечто другое или ничего не означал» [Гинзбург, 1989, 36].

[2] Речь идет о «"синтагматических партнерах" или "параметрах" — средствах, которыми идиоматично, то есть несвободно, выражаются при данном слове некоторые смыслы; так, Magn *брюнетка — жгучая,* Magn *рана — тяжелая* и т.п.». См. [Мельчук 1974, с. 78].

ЛИТЕРАТУРА

Гинзбург Л.Я. Записи // Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л., 1989.
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики, М., 1965.
Зорин А.Л., Незмер А.С., Зубков Н.Н. «Свой подвиг свершив». М., 1987.
Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». М., 1974.
Словарь языка Пушкина. М., 1956-1961.

Т. М. Николаева

А МЫ ШВЕЙЦАРУ: «ОТВОРИТЕ ДВЕРИ!»

(В развитие идей Дмитрия Николаевича Шмелева о цельности семантики лексемы)

В статье представлена попытка проанализировать функции в тексте русского А — на материале одного небольшого стихотворения Б.Окуджавы[1].

Прежде чем приступить к конкретному анализу, необходимо изложить несколько общих авторских посылок.

1. В последние годы былые мучительные проблемы разложения «семантического спектра» слова были с излишней легкостью сняты введением Х-лексемных нумераций: X_1, X_2, X_3 и т.д. Таксономические трудности различения лексико-семантических вариантов, «оттенков» смысла, определения границ многозначного слова по отношению к его распаду на омонимы, поисков семантического инварианта и под. как бы исчезли сами собой.

Однако, как кажется, конкретный анализ демонстрирует единство лексико-семантической единицы и возможная функциональная размытость делает поиск инварианта только еще более привлекательным.

2. Более того, можно предположить, что для слов так называемого «коммуникативного пласта» — частиц, междометий, союзов, даже местоимений — не всегда оказывается реальным определить их грамматическую принадлежность в каждом случае; во всяком случае, для славянского континуума одни и те же материально, то есть по звуковой оболочке, слова в одном языке будут функционировать как междометия, в другом — как союзы, в третьем — как частицы и т.д. Более того, подобным образом могут различаться эти слова и в пределах одного языка — например, как диалектная форма и форма языка литературного.

3. Предполагается также, что в языковом сознании говорящего все эти смыслы и функции сосуществуют, поворачивая «на свет» то одну, то другую сторону общей многомерной структуры.

---

[1] Текст цитируется по изданию: Булат Окуджава. *Милости судьбы*. М., «Московский рабочий», 1993, стр.108.

4. Единицы коммуникативного пласта, в частности, сочинительные союзы, устроены так, что их семантика и сходится, и расходится: проще говоря, иногда можно заменить А на И, А на НО и т.д. и поставить другой союз в его, так сказать, материализированном облике. В иных случаях семантика другого союза как бы входит внутрь семантики данного слова и становится «внутренним» компонентом его конкретного смыслового употребления, если обратится к понятиям компонентного анализа.

5. Основным значением русского союза А мы (вместе с И.Фужерон, с которой занимались русскими сочинительными союзами) считаем СОПОСТАВЛЕНИЕ — метатермин, который, оказалось, почти невозможно передать по-французски. Сопоставление имеет место в том случае, когда фокус внимания передвигается с одного события (внутри картины) к другому. Например, *На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап* (А.Куприн). При замене на И «кинокамера» как будто отодвигается несколько дальше, и картина предстает более обобщенной и более единой, цельной: *На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, и рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.*

6. Последняя посылка: лингвистика текста должна помогать «вскрывать» неочевидные текстовые семантические связи и оперировать при этом собственно лингвистическими категориями.

Приведем полностью анализировавшееся стихотворение:

А мы швейцару:
«Отворите двери!
у нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.

А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи.
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель всяких драк,

но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

1.

В стихотворении пять начинающих строчку *А:*

А мы... — А1;
А Люба... — А2;
А я ... — А3;
А Любе... — А4;
А нам... — А5.

Последовательно постараемся выявить, путем возможных замен, функциональную семантику каждого из этих пяти А.

1) *А1.* Заменим его на НО: *Но мы швейцару: «Отворите двери!».* Такая замена допустима, так как возможное сопротивление швейцара, по-видимому, очень дорогого ресторана в тексте ощущается. Это дает нам право вписать в семантику А компонент «но». Однако в случае этой замены УЖЕ СРАЗУ предполагается за текстом некий начавшийся скандал и эксплицированное сопротивление. В стихотворении этого нет, поэтому текстуальная замена А на НО неудачна.

Попробуем заменить *А* на *И: И мы швейцару: «Отворите двери!».* Эта замена, точнее, выявление такого смыслового компонента также оправдана. Но при такой замене фраза становится абсолютно начальной, как бы эпическим введением к дальнейшему, и линия потенциально сопротивляющегося швейцара отходит на задний план: само собой разумеется, что он должен отворить дверь и приготовить отдельный кабинет. Но стихотворение написано не в конце 90-х, а в конце 50-х или в начале 60-х. Само вероятное — то, что швейцар был заранее «подмазан» именно на этот единственный раз.

2) *А2.* Попробуем и его заменить на НО: *Но Люба смотрит: что за красота!* Такая замена предполагает неожиданность зрелища великолепия ресторана; тогда он предполагался априорно заштатным? или они хотели уходить? Это не так, так как к походу готовились заранее. Итак, считаем, что в *А2* смыслового компонента «но» нет.

Заменяем на И: *И Люба смотрит: что за красота!* Такая трансформация возможна, но тогда смотрящая Люба подключается к общей ситуации, описываемой первой фразой: *А мы швейцару... И Люба смотрит,* после того *А я гляжу* выглядит как противопоставление и снабжается элементом нового — этим новым кажется брошка Любы, чего в тексте определенно нет — брошка описывается. Таким образом, в А3 есть компонент «и», но замена в плане выражения искажает общий смысл.

3) *А3.* Заменяем на НО: *Но я гляжу: на ней такая брошка!* Подобная замена абсолютно бессмысленна, так как никакого нарушения «горизонта ожидания» или противопоставления, типичных для НО, здесь нет: герой знает про брошку и даже про ее историю. Заметим, кстати, что слово *напрокат* здесь означает, скорее, что она взяла ее у подруги (ср. *Я платье напрокат взяла у Нади* у В.В.Высоцкого), а не в каком-либо официальном месте проката.

И я гляжу: на ней такая брошка! Замена на И в принципе возможна, но тогда герой как бы ориентирован весь на Любу и примыкает к ней: *А Люба смотрит... И я смотрю.* В этом случае в стороне остается функция брошки и снисходительное отношение героя к желающей принарядиться Любе: *Пускай потешится немножко.* Итак, в А3 есть компонент «и».

4) *А4.* Замена на НО придает сюжету нечто зловещее и выглядит страшным предупреждением читателю: *Но Любе вслед глядит один брюнет...* Это предупреждение идет сразу после ожидания — *потешится немножко.* В рассказе о посещении ресторана этого предупреждения явно нет (хотя, возможно, я не права — см. анализ заключительной части). Однако на данном этапе текста считаем, что замена на НО для А4 невозможна, и компонента «но» в его значении нет.

И Любе вслед глядит один брюнет... При замене на И смысл так сильно не изменяется, но в этом случае *брюнет* как бы входит в общую, заранее предполагавшуюся картину, возможно, он даже и не совсем незнакомый. Итак, смысловой компонент «и» входит в семантику А4.

5) *А5.* Вот как раз в этом случае вполне можно утверждать, что компонент «но» в этой фразе стихотворения присутствует: *Но нам плевать, и мы вразвалочку...* Но при полной материальной замене сильно «элевируется» брюнет, так как эта фраза становится парной к фразе о брюнете, между тем — *Нам плевать!*

И нам плевать — такая семантика также возможна и ощутима, но заканчивающее весь ряд И с присоединительным значением делает финалом *плевать* и лишает его сопоставительного смысла. Таким образом, последнему А приписываются компоненты «но» плюс «и».

Подведем итоги той части стихотворения, которая отмечается серией из пяти А.

Безусловно, *А1 — А2 — А3 — А4 — А5* имеют сопоставительное значение, то есть, по определению, сохраняют ОСНОВНОЕ значение русского А как союза.

Эта цепочка-серия имеет собственную структуру, с рамочным обрамлением: «НО»/«И» — «И» — «И» — «И» — «НО»/«И».

Рамочно-серийную структуру создают и предикаты строк-фраз: *А мы (0) — смотрит — гляжу — глядит — А нам (0).*

Наконец, серийная на *А* часть стихотворения рассекает весь текст ровно пополам: в тексте 24 строки, если считать *А мы швейцару: «Отворите двери!»* двумя строками — как это и передается графически в издании; тогда *кабинет* в последней строке находится точно в центре, в конце двенадцатой строки.

Возвращаемся к некоторым исходным посылкам.

Строго говоря, *А1* нельзя считать точно квалифицируемым союзом: это, скорее, частица-приступ, столь характерная для русского «цепочечного нанизывания» — в древнерусском (не старославянско-греческой ориентации по стилю): *А которому посаднику сѣсти на посадниково.. а городскими кунами не корыстоватися, а судомъ не мститися ни на когож, а судомъ не тчитись, а праваго не погубити, и виноватого не жаловати, а безъ исправы человѣка не погубити ни на суду на вѣчи. А князь и посадникъ на вѣчи суду не судять... А не въсудѣтъ вправду ино Богъ буди имъ судіа во второмъ пришествіи Христовѣ. А таиныхъ посуловъ не имати ни князю, ни посаднику...* (Псковская судная грамота XV века; пример взят из работы М.Преображенской и Р.Кершиене). Этот «приступ», часто серийный, прекрасно сохранен и в самой современной русской разговорной речи:

1. Ж. — *А сколько этот пирог / если завесить?*
— *Рублей на двенадцать //*
— *А с чем он? будьте добренькі //*
М. — *А сырковой массы нет?*
— *Кто сказал?*
— *А я не видел //*
Ж2. — *А это что за банки?*
— *Это гуманитарная помощь //*
Ж3. — *А вы почему здесь стоите?*
— *А женщина отошла и очередь мне свою уступила //* (Примеры предоставлены М.В.Китайгородской и Н.Н.Розановой).

Итак, все эти А строго таксономически как будто разносятся по разным грамматическим классам служебных слов и в то же время они явно едины.

То же и в стихотворении Б.Окуджавы. Первое А: *А мы швейцару* — несомненно частица-«приступ», которая, по нашему мнению, в русском общении создает налет «интимизации», снимает оттенок официальности и «барства»: ср. *У нас будет сегодня зарплата?* и *А у нас сегодня будет зарплата?*. Однако эта частица-приступ вполне входит в серию с несомненно союзным А в *А я гляжу* и другими А.

2.

Итак, первые 12 строк довольно прочно смонтированы в единое целое лингвотекстовыми показателями: серией из 5 *А*, выстроенных так, что первое и последнее имеют компонент «но», а все вместе

имеют компонент «и»; так же по принципу замкнутой серии организованными предикатами; лексемой *кабинет* в первой и последней фразах. Организующее *А* имеет функцию «интимизации».

Именно таким образом первая часть отгорожена от второй, как часть про СВОИХ от рассказа о ЧУЖИХ.

Грамматическая и синтаксическая структуры второй части совсем иные. Во второй части нет ни одного А! Естественно, что нет и никакой «интимизации». В ней нет вообще никаких инициальных союзов, которые, по своей исходной грамматической сущности, выполняли бы функцию «соединения», связывания чего-то с чем-то. Мир ЧУЖИХ дается разрозненно и характеризуется «в лоб» и чисто лексически: *На нас глядят бездельники и шлюхи... Здесь тряпками попахивает так... Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...* Во второй части снова возникает *брюнет,* тут уже просто именуемый *паскудиной.* Развязка складывающегося сюжета неясна: *но мне сказать ему придется, / что я ему попорчу весь уют.* Это просто бахвальство или дело кончится дракой, так как смотреть на Любу (несомненно, очень красивую — если не иллюзия эти *кончайте ваши «ах» на сто минут*), видимо, никому не допускается?

Итак, именно серия *А* отделяет мир своих от мира ненавистных чужих: самая грамматикализованная часть речи помогает понять текст. Первая и вторая части связываются через брюнета, так что создается классический «треугольник»: *Я — Люба — брюнет* — с неизвестной развязкой (именно эта неизвестность заставляет предполагать, что заинтересованность *брюнета* может быть и мнимой и — что самое ужасное — на *Любу* никто не смотрит). Говоря проще, в принципе возможны три «разгадки»: 1) на Любу никто не смотрит, а ущербным героям хочется какого-нибудь скандала, чтобы потом рассказывать; 2) Люба действительно и сразу пользуется ошеломляющим успехом — брюнет раньше ее не видел, но смотреть на нее (см. выше) нельзя: таковы установки этой компании; 3) Люба и брюнет давно знакомы, да и брошка-то имеет «мопассановский налет»: герой видит ее впервые (*А я гляжу: на ней такая брошка!*), но сам себя утешает, что она взята *напрокат.* Однако, как у всякого опытного поэта, настоящего прямого ответа нет, а все три решения были мне предложены при обсуждении настоящей работы[II].

Стихотворение относится к прошлому. В те годы, когда жили его герои, богатыми *брюнетами,* готовыми швырять деньги на красавиц, были, конечно, грузины. И ресторан этот, вероятно, «Арагви». Так, один из рассказов В.Аксенова той поры начинается с описания длинной очереди почти окоченевших от холода людей перед «Арагви»,

[II] Несомненно, что строгое принятие только одного из решений может несколько изменить предлагавшиеся выше трактовки всех А.

мимо которых легкой походкой проходит сверхпопулярная и очень светская личность (предполагалось, что речь идет об Евгении Евтушенко), перед которым швейцар уже загодя распахивает двери.

Но это давнее стихотворение подтверждает и тезис Ю.М.Лотмана о том, что всякий текст имеет свою дальнейшую историю и свою эволюцию в этой истории. Сейчас герои стихотворения как бы оживают: очевидна их априорная ненависть к практически незнакомым людям только потому, что они, вероятно, в этом ресторане бывают чаще и брошки взяты не *напрокат,* ненависть к их *червонцам* и в то же время — мучительная тяга к ним, ненавидимым, иначе зачем вообще туда идти в эту чужую *красоту*? Смесь неуверенности в себе, некоторого комплекса неполноценности (А вдруг *Люба* соблазнится этим миром?) естественным образом сочетается с агрессивностью: *Я не любитель всяких драк, но мне сказать ему придется...*

И ключом к этой теперь легко расшифровываемой внутренней семантике текста явились сочинительные союзы!

О. В. Синёва

МОТИВЫ В РОМАНЕ Б.Л.ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

Важную роль в создании многообразия речевых форм в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» играет мотив и контрапункт. Эта точка зрения развивается в работах Б.М.Гаспарова (1989), Е.Фарыно (1992), Н.А.Фатеевой (1995), Р.Якобсона (1989).

Под мотивом обычно подразумевается устойчивый формально-содержательный компонент художественного текста, содержащий элементы символизации и имеющий непосредственную словесную закрепленность в самом тексте в виде ключевого слова, несущего особую смысловую нагрузку. Анализируя мотивы в романе «Доктор Живаго», исследователи прежде всего видят их в сходстве ситуаций, в повторяющихся деталях, в характерах и поведении героев. В данной статье говорится об устойчивых смысловых ассоциациях, возникающих на основе повторяющихся ключевых слов, которые присутствуют как в речи автора, так и в речи различных персонажей. Второстепенные персонажи продолжают или дополняют лейтмотивы героев, близких автору.

Мотив — основа контрапунктной линии. Мы разделяем точку зрения Б.Гаспарова (1989), что главным формообразующим принципом, на котором основана вся композиция романа «Доктор Живаго», является контрапункт. Контрапункт — «совмещение нескольких относительно автономных и параллельно текущих во времени линий, по которым развивается текст, — будь то мелодические линии, полиритмические и политембровые построения, либо все факторы в совокупности... Образ движения в его прямом повседневном смысле — движение поезда, трамвая, пешеходов, путь Живаго по шпалам через Сибирь и т.д. — служит лишь отправным моментом контрапунктных построений. Последние оказываются способными вобрать в себя самые разнообразные метафорические преобразования данной начальной идеи: движение времен года и суток, смену исторических эпох и хронологии, движение человеческих судеб («жизненных путей»), ритм различных стихотворных размеров и разных форм повествования... Это параллельное течение многих смысловых рядов приводит к очередному удивительному совпадению, типичному для поэтики романа. Принцип

контрапунктного построения проявляется и в телеологической концепции истории, развиваемой Веденяпиным и Юрием Живаго» (Гаспаров 1989, с. 319-322, 327). В романе «Доктор Живаго» — это и «хронотоп дороги», и путь познания, поиск истины, составляющие биографию не только Юрия Живаго. О сквозном образе пути, который «лежит в основе биографического времени текста», см. в работе Н.А.Николиной (1993). Одни герои останавливаются в своем поиске истины, подчиняясь обстоятельствам (Гордон, Дудоров), другие в силу психологических причин и также подчиняясь требованиям нового времени становятся «законченным явлением воли» (Стрельников).

Принцип контрапунктного построения романа определяет и смысловое, и композиционно-стилистическое строение. Композиционно-стилистическую структуру произведения образует соотношение типов повествования, характер их взаимодействия с диалогами, монологами, внутренней речью и т.д. Особенность композиционно-стилистического строения произведения, таким образом, зависит от характера соотношения различных композиционных единств. Способы взаимодействия типов повествования раскрывают образ автора. Традиционно выделяемые описание, собственно повествование и рассуждение в различной степени связаны с автором, с Юрием Живаго и Ларой, с персонажами, близкими автору.

Вслед за Н.А.Кожевниковой мы считаем, что «типы повествования — это композиционные единства, организованные определенной точкой зрения (автора, повествователя, персонажа), имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видовременных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса)» (Кожевникова 1994, с. 3).

Система художественных представлений Пастернака, реализуясь в тексте как система концептов, влияет на соотношение речи автора и персонажа. Это соотношение организуется контрапунктно.

Стилистическая многослойность романа «Доктор Живаго» соответствует смысловой многоплановости. Реальный план и мифологический, литературный, исторический, философский (историософский, религиозно-философский) планы взаимосвязаны. Социальная многоголосица несет в себе определенную идею: философскую, историческую, религиозную. С психологическим и социальным конфликтом связаны сквозные слова и образы.

Одни идеи, развиваясь, проходят через разные смысловые планы. Другие даны читателю в виде глобальной философской идеи, вызревшей в сознании персонажа, и в дальнейшем лишь иллюстрируются житейскими ситуациями. Идея в романе может выражаться множеством способов. Возникает семантическая динамика сквозных слов, символов, образов.

Главная идея романа, также лежащая в основе контрапунктного композиционно-стилистического строения, — телеологическая идея, т.е. идея целесообразности всего происходящего в природе и жизни человека. Вся история мира есть результат целесообразно действующих божественных сил (или внутренних сил природы), направляющих жизнь к предустановленной конечной цели. Попытка изменить естественное начало ведет к гибели мира. Телеологическая идея в романе стоит над разветвленной системой других вечных идей, сопоставленных между собой:

— жизнь/смерть/воскресение и связанные с этими идеями мотивы преодоления смерти, перерождения, вечной памяти, мимикрии (см. размышления Юрия Живаго «о подражательной и предохранительной окраске» и шире — приспосабливаемости в XI, 8 романа).

— вселенная (космос) — человек — история его спасения. Мотивы война/мир, хаос/порядок; мотив страсти как страдания и как любви, мотив обезличенности.

— Бог — природа — человек. Мотивы божественного/дьявольского, естественного/искусственного, чему соответствуют мотивы игры; марионеток-механизмов; Царство божественное — царство растений — царство справедливости/царство социализма, военно-бумажное царство (зыбушинское царство); обман — фразерство (пустословие).

Разграничение идей весьма условно; так или иначе они взаимосвязаны между собой. Определенные образы работают на развитие нескольких идей.

Так, роман начинается с описания похорон и упоминания заключительного стиха панихиды «Вечная память», подлинный смысл которого раскрывается затем содержанием всего романа (монолог Юрия об утраченной памяти, ключевое слово Памфила Палых «запамятовал» и т.д.). Идея жизни и смерти связана с мотивом памяти и забвения. Автор о Веденяпине: «он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти <...>». III,2. В речи Юрия о воскресении: «В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего». III,3. «Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание». V,6.

Память «как источник бессмертия, видение того, что недоступно другим людям — и в прошлом, и в настоящем, и в будущем связана с поэтом. Поэт как хранитель обожествленной памяти выступает хранителем традиций» (Топоров 1993, с. 31). Хранителем культурных традиций в романе является поэт Юрий Живаго. И еще: «Поэт несет в себе для людей не только память, но и жизнь, бессмертие. Сама память в Греческой Мифологии связывалась с нисхождением в Аид» (там же). Эта идея воплощена, в частности, в III ч., 2 гл. романа, когда Юра

спускается в университетское подземелье для занятий анатомией. Наконец, в более широком смысле действительность для Юрия Живаго — своего рода Аид, ад, который в пастернаковской системе связан со смыслом 'смерть-перерождение' (также реализованном в ранней прозе). Ад в романе соотносится с представлением и о царстве смерти, и о гибели духа.

Противопоставление начало мира / конец мира, сотворение / Апокалипсис эксплицируется в реплике Лары: «Мы с тобой как два первых человека, которым нечем было прикрыться *в начале* мира, и мы теперь также раздеты и бездомны *в конце* его» (XIII,13). Не случайно Лара и Юрий на некоторое время оказываются в Варыкино в «глуши богоспасаемой», как Адам и Ева в раю. (XIII,6). Ср. также слова Юрия: «Какое счастье <...> создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!» (IX,1); соотнесение революция-Апокалипсис осуществляется в развернутой реплике Юрия в диалоге с Ларой в Мелюзееве (V,9) и на вечере в честь друзей (VI,4), а также в реплике Стрельникова, адресованной Юрию (VII,31): «<...> Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора».

Идея сотворения мира связана с идеей «многовековых работ по преодолению смерти» (Веденяпин) и идеей вдохновения (Сима Тунцева): «Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности работы. <...> Такою работой был Египет, такою работой была Греция, такой работой было библейское богопознание пророков. Такая, последняя по времени, ничем другим пока не смененная, всем современным *вдохновением* совершаемая работа — христианство» (XIII,17).

Христианскому миру противопоставлены в романе образы Рима: «Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн» I,5; В дневнике Веденяпина: «Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения. Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов» II,10; во внутренней речи Лары: «Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? "Женщина или ваза" II,19; Лара Юрию об Антипове: «Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то римская гражданская доблесть». IX,15. В рассуждениях о дохристианской римской эпохе исследователи проводят параллель со сталинским (большевистским) временем. Эта же параллель прослеживается и в монологе Симы.

С концом мира соотносится мотив смерти. Так, в диалоге Веденяпина и Воскобойникова (I.5) возникает тема статистики смертей и

жизни как способа оценки государством человека. Эта же тема возрождается и в авторской речи в VI,5: «Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах, неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах, — все интересовало центральное статистическое управление, на все требовался ответ». Мрачной действительности, отраженной в статистике «высоты гражданской сознательности», противопоставлены сакральное и вечность природы, а также мотив света (например, осенние дни после Успения Богоматери). Общие положения о смерти, развиваемые Веденяпиным во время правки рукописи, конкретизируются судьбоносным для главного героя романа случаем гибели Андрея Живаго. Этот эпизод и сцена правки рукописи связаны между собой образом «вымарки»: «струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки» (I,7). Эти сцены поочередно изображаются в восприятии Веденяпина и Воскобойникова, которые видят желто-синий поезд с берега реки (II,5), и в восприятии пассажиров поезда «широкой реки и красивого дома с церковью на противоположном берегу».

Убийство соотносится с безумием — одичанием — озверением, являющимися синонимами бесчеловечности. Автор об «озверелой ненависти» в революционные годы: «В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой *озверелой* ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным ленивым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта» XI,9. И еще примеры: «как бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное *животное*» XII,8; «*Озверение* воюющих к этому времени достигло предела» XI,4; в речи Лары: «И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное *безумие и одичание* каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства» XIII,14. Человек сопоставляется с животным (о Комаровском), с волком. Лара о Варыкино: «И, говорят волки. Страшно. Но *люди,* особенно люди вроде Антипова и Тиверзина, теперь *страшнее волков*». XIII,16; см. также выше фрагмент о древнем Риме и авторское «Это время оправдало старинное изречение: *человек человеку волк.* <...> Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были *звериные.* Человеку снились доисторические сны пещерного века» XIII,2.

Пастернак демонстрирует рождение мотива, то, как изображаемая конкретная реалия превращается в мотив: «Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали *темой о волках,* стали представлением вражьей силы <...>» XIV,9.

Сопоставление человек — зверь рождалось в структуре романа постепенно из образа толпы как стада. Ключевые слова — толпа — стадность — поголовно. Сема 'животное' актуализируется в метафоре «толпа разбредалась» и в редко употребляемом слове «человекоубоина» XII,9. Примеры: «Все они скопом держались какой-нибудь догмы» I,4; В речи Веденяпина: «Всякая стадность — прибежище неодаренности» I,4; «толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным "коридорам и классам"», «шарахнувшаяся толпа» II,8. Юрий о добре и зле: «Их задавят в этой жадной животной толчее» III,3. Автор о Комаровском: «породистое животное» I,7 и о породистой собаке Комаровского: «Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим», «без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием» II,13. Слово «поголовно» может и не обладать ярко выраженной отрицательной коннотацией, как в следующих контекстах: «<...> дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок <...>» I,7; «поголовно корчили увальней» II,20; «Эти люди были поголовно между собою знакомы» VIII,1. В данном случае сквозное слово «поголовно» одновременно работает и на мотив обезличенности. Последний рождается с темой статистики и получает свое развитие в изображении послереволюционного времени. Обезличивание, характерное для советского стереотипа мышления, проявляется в обобщенно-абстрактном адресате объявлений, в выражениях, раскрывающих стереотип «презумпции виновности»: «Уличенные в хранении и скрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте»; «В интересах правильной постановки продовольственного дела непринадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справиться в Продотделе Юрсовета, Октябрьская, бывшая Генералгубернаторская, 5, комната 137»; «Несдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в Юрревкоме, Октябрьская, 6, комнате 63» XIII,1.

Обезличенность и десемантизированность лежит также в основе фрагмента отчета, изображенного Пастернаком, — имена собственные вытеснены названиями новых советских структур, конкретное представлено обобщенно: «Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профоргов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков <...>, <...> пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода» (там же).

Данные «документальные фрагменты» соотносятся с другим отрывком объявления, относящимся к «дням февральской революции».

Этикетные элементы обнаруживают социальное происхождение пишущего. В соединении с бюрократическими штампами они создают эффект стилистического контраста: «Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу старший фельдшер Усть-Немды такой-то» (VII,16). О присутствии автора в этом тексте свидетельствует последнее слово «такой-то». Здесь Пастернак широко использует прием стилизации. Чем больше отстраненность автора, тем сильнее стилизация, достигающая иногда карикатурности. Конкретно обозначенному пространству противопоставляется в романе «советское», обобщенно-типизированное, в котором личность теряется, исчезает во времени, в котором отчуждается имя собственное: «Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь *безымянным номером* из впоследствии запропастившихся списков, в одном из *неисчислимых общих* или *женских* концлагерей севера» XV,17.

В романе жизнь — театральная постановка, люди — театральная публика. «Публику попросили в вагоны и дали свисток» (I,7 — о толпе у тела разбившегося Андрея Живаго); «Передние вагоны были воинские, а в средних ехала вольная публика <...>» VII,8; о прощающихся с Юрием — Лара: «<...> растворите двери и впустите публику» и автор: «<...> Евграф Живаго отворил дверь в комнату и в нее хлынула толпа из коридора <...>» XV,14.

Юрий видит жизнь, как на сцене театра, образ, воплотившийся в стихотворении «Гамлет»: «Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы» II,21; «в освещенном лампою круге» Юрий видит Лару и Комаровского. Мотив света описан Б.Гаспаровым (1989, с. 347): «Появление освещенного круга света, выхваченного из тьмы, происходит в моменты драматического схождения контрапунктных линий действия — «скрещения судеб», когда герою (и читателю) внезапно приоткрывается скрытый смысл происходящих событий».

В связи с образом жизнь — театр рождается мотив марионетки как проявления механистичности, неестественности. Возникновение образа марионетки едва намечено во внутренней речи Лары: «Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора?» Еще пример: «Не она в подчинении у него, а он у чее. <...> Отдельная нитка, как паутинка, потянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше

запутаешься». Мотив марионетки получает свое воплощение в образах авторской речи: «Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушною движениям его руки марионеткой» II,21. Мотив жизни как театральной постановки возрождается в реплике Лары Юрию о жизни в Варыкино: «<...> это не жизнь, а театральная постановка, не всерьез, а «нарочно», как говорят дети, кукольная комедия, курам на смех» XIV,7. Образ механичности служит выражению идеи рабской зависимости, подчиненного положения социальным обстоятельствам: «Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего <...>» (VI,5 — о Живаго) или в реплике Юрия: «<...> Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они, но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. <...>» VIII,14.

Ненастоящая жизнь, искусственность, марионеточность связана в романе с дьяволиадой: «кусты облетелой акации метались, как бесноватые» (I,2), «отдельные куски свихнувшегося пространства» II,21. Андрей Живаго представлен в романе как «не вполне нормальный», «сумасшедший». Мотив бесовщины рождается в связи с отношениями Лары и Комаровского. Возникает слово-сигнал «колдовство»: «О какой это был заколдованный круг!»; «Ловеласничанье Комаровского <...> пленяло ее неразоблаченной дерзкостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию» II,20. Фамилия приятеля Комаровского — Сатаниди (II,11).

С дьявольским связаны образы большевиков. Рождается образ из едва заметного намека: «как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности» II,6 (актуализируется внутренняя форма слова «подполье»). В прямой речи Тиверзина: «<...> вылезут они из землянки и нагонят... Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю!»; в реплике Тони: «Он из-под земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахар» VI,6; см. также о большевиках, говоривших «с мефистофельской усмешкой», упоминание «Бесов» Достоевского и Коммунистического манифеста в одном ряду.

Мотив «войны как игры» звучит в романе в устах Гинца, Юрия, Пичужкина, Лары, а также в речи автора о Живаго и Антиповой: «Они относились к чередованию этих занятий, как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки. Но все чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям» V,1; см. также в авторской речи в II,18: «Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали». Стрельников: «Это кажется военною игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью <...>» VII,29.

Мир в романе хаотичен. Хаосу противопоставлен мир внутренних переживаний героев, близких автору. Слово «путаница» проникает и в прямую речь персонажей, и в авторскую. В речи Гишар: «Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое...», II,19; «воздух путано несся мимо» II,20; «втягивала в себя путано-пахучий воздух окрестной шири» III,7; «<...> Параскева-путаница ... а у вас опять шалды-балды и все шиворот-навыворот» III,12; «Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике <...>» III,5.

Путаница мысли — постоянное свойство размышлений персонажей. Например, о Юрии: «Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов <...>» (V,15) и «За этими размышлениями доктор успокоился. Редкий мир сошел ему в душу. Мысли его перестали разбегаться и перескакивать с предмета на предмет» (IX,12).

Изображению неестественности чувств, путаницы всего и вся сопутствует в романе мотив пустословия, ставшего нормой жизни. В речи Тиверзиной: «Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку» II,8. Юрий о журналистах: «Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания» IV,12. О комиссаре и уездном: «И это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись» V,5; «Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи» VI,9.

Громкому говорению противопоставлено молчание или шепот. Например, опытный врач-гинеколог — молчун и если говорит, то шепотом, в то время как его ассистентка говорит много и все как из учебника IV,5. Еще образ: «Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте» III,14. Гости всегда кричат: «Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место» II,20, «Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесятеренной степени», Кока «горланил таперу» III,11; «Ораторствовали, крякали, промочивши горло, и наперебой острили». и «<...> вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных <...>» IV,4, «все, и без того разгоряченные, кричали неперебой...», «Все орали кто в лес, кто по дрова» VI,4.

Пустому говорению противопоставлены в романе беседы, полные смысла: «Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги» XIII,10.

Говорение как символ предвосхищения свободы связано с темой пророчества. Юрий — о времени между двумя революциями: «Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования» <...>» V,8. Портреты Устиньи-говоруньи и говорящего глухонемого символизируют время, когда «глухие да услышат, немые возопиют». В романе в роли пророка выступает сама действительность, природа в своем свободном состоянии. Мир вообще в своем естественном проявлении говорлив. Отсюда в романе женщины — говоруньи, так как женщины отождествляются с природой. Но этот свободный мир говорит на непонятном языке, а поэт — тот, кто молится о «даре истолкования». Этим объясняется пастернаковская «стенография», активное использование штампов, обусловленное стремлением успеть больше записать (ср. слова Пастернака: «Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей <...>» — «Замечания к переводам из Шекспира»; Собр. соч., т. 4., с. 414). Отсюда же — стихи, дневники и письма Юрия Живаго, т.е. письменная форма существования слова, одно из проявлений признания автором над собой высшего начала, позволяющего ему отказываться от части своих полномочий. Этим объясняется активность использования Евангельских цитат в романе.

Действительность в романе предстает как ад, жизнь — как сказка. Во второй части книги (с момента приезда семьи Живаго на Урал) «действительность помещается на грань сказки» (см. примечание). Тем не менее, образы, связанные со сказкой, появляются уже в первой части книги. У героев происходят чудесные, волшебные встречи: «Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке» (VI,8 о встрече с Евграфом; в речи Юрия VI,5). В романе появляются в сказочных ролях Евграф, Самдевятов. Колдовскими возможностями наделены Кубариха-Злыдариха, Устинья: «Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. <...> Говорили, будто она дочь сельского колдуна» V,4. Сказочным образам уподобляются реалии действительной жизни: «В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора» VI,7 Сама сказка — основание для сравнения: «фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения, какой-то сказки» IV,12. О перевоплощении Антипова: «Антипов казался заколдованным, как в сказке» IV,9.

В романе «Доктор Живаго» многочисленны и традиционные сказочные и поэтические антитезы: земля/небо; поле/лес; свет/тьма и др.

Одни и те же образные средства употребляются в связи с изображением различных реалий и ситуаций в романе. Таков образ «дыма»: «Воздух дымился снегом» (I,2); «И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях» (VI,8); «Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. <...>» IV,5. «Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которою был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения» XIV,9.

В романе широко используется цветовая символика. Например, наиболее часто встречается противопоставление черного/белого: «двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами» III,11; «Вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности какого-то белого помешательства. В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала, истаивала до тла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо <...> XII,5; «снеговые облака с черною серединой и белыми боками» XV,2. «Выдавались тихие зимние вечера, светлосерые, темнорозовые. По светлой заре вычерчивались черные верхушки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дымкой легкого обледенения, в берегах из белого, горами лежащего, снизу подмоченного темною речной водою снега. <...>» (XIII,2); Белое воспринимается как свет: «Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом» I,2. Черное — символ тревоги, напряженного ожидания, связанного с новым порядком: «На углу стоял темносерый дом с фигурами. <...> чернели свежерасклеенные номера правительственных газет, правительственные декреты и постановления <...>» XIII,1 (орфография авторская).

Красное в романе — символ смерти и революции: «Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками» II,8. О смерти Антипова: «Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины» XIV,18.

Иногда Пастернак раскрывает цветовую символику в романе. Лиловое, фиолетовое — «<...> цвет церковного, особо торжественного облачения <...> Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося

дореволюционного девичества России» (X,4; о Галузиной). В «Комментариях» к роману отмечено: «здесь вероятна отсылка к символике "лилового" у Блока, раскрытой в его работе "О современном состоянии русского символизма"» (Собр. соч., т. 3, с. 703). В единую цветовую гамму окрашиваются все явления мира: «Тафтяную ночную тьму кончавшейся зимы в саду согревал пробившийся сквозь землю черно-лиловый жар надвинувшейся весны. В комнате приблизительно в такое же сочетание вступали два сходных начала, и пыльную духоту плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темно-фиолетовый жар приближающегося праздника» X,4, а также X,7. Мадемуазель Флери в XV,12 — «прежде всего напоминание о посещении "ангела смерти"» (Гаспаров 1989, с. 338) — «Дама в лиловом».

Многообразна цветовая гамма в пейзажных зарисовках романа: «Между тем темнело. Стремительно выцветали, гасли разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу» XIV,13.

В романе преобладает серый, черный цвет и темные тона: «темно-лиловый», «исчерна-багровая» и пр. Проблеме цвета в творческом наследии Б.Л.Пастернака будет посвящена отдельная работа.

С системой мотивов романа «Доктор Живаго» связано стилистическое движение образных средств, эмоциональная напряженность описаний, отражающих точку зрения повествователя или мироощущение персонажей, близких автору. Описания, чаще всего пейзажные зарисовки, включаются в объективное авторское повествование об исторических событиях (о военных действиях, о партизанском лагере, о послереволюционном Юрятине, Москве и т.д.), обнаруживая субъективную позицию автора, а зачастую и подтекст: «Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой. *Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок, вроде грязи или припухлости, и этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь, зеленым пламенем листвы охватившая первые распустившиеся в лесу деревья*» (VII,25 — «В дороге»). Развернутая метафора отражает дух нового времени, когда первоначальная «Бездна лишнего. Лишняя мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения...» (VI,2 — Юрий, еще верящий в революцию и провозглашенные ею принципы) в контексте изображаемых исторических реалий оборачивается излишней роскошью жить. Соотнесение этого развернутого образа с авторским афоризмом «Грязно только лишнее» позволяет обнаружить скрытый подтекст.

Таким образом, разветвленная система мотивов и образов создает сложную структуру романа, в которой авторское видение мира переплетается с персонажным. Традиционные средства классической рус-

ской литературы совмещаются с современными Пастернаку поэтико-стилистическими средствами. Кроме того, контрапунктность построения содержательного и стилистического плана романа «Доктор Живаго» предвосхитила многие тенденции русской художественной литературы 80-х — 90-х годов XX века. В этом смысле пастернаковская манера повествования опередила время. Очевидно, поэтому в литературоведческих работах, посвященных творчеству Б.Л.Пастернака, существуют разногласия в оценке художественных достоинств романа «Доктор Живаго».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Б.Л.Пастернак широко использовал в романе «Доктор Живаго» различные источники фольклорных текстов. Кроме того, он записывал фольклорные тексты на Урале и в Чистополе (см. примечания к Собр. соч. в 5 томах, т. 3). Использование фольклорных мотивов и включение фольклорных текстов как «живого» слова в противовес «мертвому» большевистскому в речь персонажей романа во многом имеет своей целью «поместить действительность почти на грань сказки» (из письма Т.М.Некрасовой от 9.11.1954, цитируется по комментариям к роману, Собр. соч., т. 3, с. 675). Очевидно, правомерно провести параллель между мотивом жизнь — сказка в романе и пословицей «Жизнь — сказка, смерть — развязка, гроб — коляска, покойна, не тряска, садись да катись». Жизнь — «ненастоящая», как в сказке, нечто придуманное кем-то, как произведение, развязка которого непременно наступит. Творения Юрия Живаго не закончены, дневники и книга «Игра в людей» обрываются; и жизнь его обрывается неожиданно. Фрагмент пословицы «коляска, не тряска, садись да катись» усиливает представление о жизни-спектакле, по окончании которого возвращаются домой. Вспомним эпизод возвращения домой «погруженного в свои мысли» молчаливого Юрия из номеров «Черногории», события в которых представлены как спектакль. Вспомним также грохочущий трамвай, в котором Юрий едет на работу с намерением начать новую жизнь и в котором его жизнь обрывается.

ЛИТЕРАТУРА

Гаспаров Б.М. Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers ... Berkeley Slavic specialities, 1989.

Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М.: 1994.

Николина Н.А. Повествовательная структура и жанр. М.: Прометей, 1993.

Топоров В.Н. Об «эктропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве) // От мифа к литературе. М.: РГГУ, 1993.

Фарыно Е. Как Ленский обернулся соловьем разбойником. // Mythos in des Slawishen Moderne-Herausgegelen von Wolf Sehmid — Gesellschaft forderungslawisticyer Studed, Wien, 1987.

Фарыно Е. Архепоэтика «Писем из Тулы» Б.Пастернака. // Russian Language. Vol X, 1992.

Фатеева Н.А. Проза и поэзия как две формы развития идиостиля // Очерки истории языка русской поэтии XX века. М.: Наука, 1995.

В. Н. Топоров

ВЕТХИЙ ДОМ И *ДИКИЙ САД:* ОБРАЗ УТРАЧЕННОГО СЧАСТЬЯ (СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ)

В начале были д о м и с а д , и были они не отделимы друг от друга: так Рай был для первой человеческой пары и домом и садом их одновременно. И дом и сад существовали не вообще, не как тип, не в поэзии (Dichtung), а как частное, единственное в своем роде и подлинное (Wahrheit) в своей конкретной реальности явление, ставшее, однако, для тесного кружка нескольких молодых людей, соединенных узами дружества, знáком их промелькнувшего земного рая, о котором, едва расставшись с ним, они начали вспоминать — сразу же, как бы спохватившись, горячо, лично, ностальгически — в стихах, письмах, мемуарах, дружеских беседах. Память, возвращаясь к этому видéнию наяву, прежде всего выхватывала дом и сад; они стали явным образом, отсылавшим к неявному и еще более важному — к поэзии чувства, «сердечного воображения», дружества. И то, как вспоминали о доме и саде, свидетельствует, что *этот дом,* и *этот сад,* и все, что за ними стояло, были столь близки сердцу и затрагивали столь глубокие и тайные душевные струны, что звучание их было услышано и за пределами той горстки друзей, которые были связаны с этим домом и этим садом жизненно, биографически, и образ дома и сада, уже в отрыве от исходного локуса, от своего родимого места был усвоен и следующим поколением, став важным элементом поэтического языка, несущим глубокие смыслы и достаточно емким, чтобы вместить в себя с в о и жизненные реалии — каждый раз свои новые дом и сад.

Но *тот* дом и *тот* сад тогда принадлежали Александру Федоровичу Воейкову. Уроженец Москвы, воспитанник Московского университетского Благородного пансиона, где он близко сошелся с Жуковским и Андреем Тургеневым, Воейков, числившийся еще с 1789 года на военной службе, в 1801 году вышел в отставку и снова поселился в своем доме недалеко от Новодевичьего монастыря[1], о чем свидетельствует устойчивое в узком кругу друзей обозначение

воейковского дома как «поддевического» (Поддевичьим в то время называли место, примыкавшее к Новодевичьему монастырю с севера и с востока и довольно слабо застроенное, но богатое обширными и густыми садами, иногда переходящими в небольшие рощицы, — в отличие от покрытого травой Девичьего поля и огородов и пустырей Лужников[2]). Дом находился несколько восточнее монастыря, на границе, отделяющей застроенную часть от пустырей и огородов, образовывавших особое урочище, которое называлось *Кочки* (см. Указат. Москвы 1793 и др.); память о нем долго жила в названиях улиц *Большие* и *Малые Кочки* и двух *Кочкинских переулков* — 1-го и 2-го — и поддерживалась сохранением «ландшафтно-физических» особенностей этого урочища — обширное неровное (негладкое, с «кочками») пространство, спускающееся к Москва-реке и занятое огородами, где выращивалась в основном капуста[3], а позже и картофель, и пустырями. Для того круга друзей, которые встречались в «поддевическом» доме, слово *кочки* и как название урочища, и как апеллятив было отмеченным. В письме к Андрею Тургеневу и А. С. Кайсарову от 17 сентября 1802 г. А. Ф. Мерзляков мысленно возвращается к недавнему прошлому, столь еще живому, и слово *кочки*, выделенное курсивом, звучит как пароль, как некий масонский знак: Где, где часы сии прекрасны, / Когда мы в *кочках* [*Кочках? — В.Т.*] под шатром / В сентябрьски вечера ненастны / С любезной трубкой и вином / Родные песенки певали / И с бурей голос соглашали. / [...]. На основании этих строк и некоторых других данных можно предполагать, что уже к исходу XVIII века часть «природных» Кочек была освоена застройкой, которая потом, однако, долгое время не расширялась[4]. Именно в этой периферийной зоне, где «природное» и «культурное» не только встретились друг с другом, но и соединились в своеобразном синтезе, стоял дом Воейкова.

Дом представлял собой деревянный особняк, по воспоминаниям, ветхий, но просторный, с высокими окнами, уютный. За домом был запущенный сад, каких было немало вокруг Девичьего поля, и эта запущенность садов (иногда огромных), переходящих постепенно в своих дальних частях в глухие заросли, была здесь обычным и естественным явлением — даже в образцовых домовладениях, как у князя Дмитрия Михайловича Щербатова (в «Войне и мире» описывается, как Пьера с другими захваченными людьми привели к «большому белому дому с о г р о м н ы м садом. Это был дом князя Щербатова») или на даче Трубецких (первое владение по Нащокинскому переулку), где в регулярной части сада были и аллеи, и оранжереи, и беседки, и статуи, и пруды, и лабиринты, и разные другие «затеи»[5]. Уединенность и изолированность воейковского дома была двойной — и в городском масштабе (дом находился в

Хамовнической части, образуемой юго-западной москворецкой петлей, в отдаленной и тупиковой части города), и в масштабе «Девичьего» локуса (в дальнем углу Хамовнической части, на самом краю застроенного пространства, где редкие домики терялись в море садов, рощ, перелесков). Отъединенность от города была тем большей, что и к северу и к югу от «Поддевического» были огромные пустые пространства — заросшее травой Девичье поле в одном направлении и заливные луга с редкими огородами в другом[6]. Но и в пространстве между этими пустотами, в освоенной жильем части, луга, поляны, пустоши были нередки. Еще и сейчас, спустя почти два века, довольно многое из того, что относится к старой планировке, а отчасти и к структуре ландшафта и к самому распределению «жилой» и «природной» частей, сохраняется относительно неплохо (причем в наиболее известных локусах — «щербатовском» и «трубецком»). И во всяком случае, кое-что из этого может быть более или менее правдоподобно реконструировано и представлено применительно к рубежу XVIII-XIX вв. (особенно в западной части рассматриваемого пространства).

Владения, подобные воейковскому, на рубеже XVIII и XIX вв. не только не составляли исключения, но были типичны для Москвы, особенно дворянской[7], — и примеры не исчерпываются полосой, окаймлявшей Девичье поле. В этом отношении дом и сад Воейкова были одними из многих. То же, что отличало их от всех остальных и придавало им особый смысл, значение и цену, лежало совсем в иной сфере — чувств, мыслей, переживаний тех, кто встречался в этом доме и в этом саду в 1801 году и сумел выразить все это в письменном слове и выразить *так,* как никто до этого в русской литературе не делал и, пожалуй, не мог сделать. В том году[8] здесь собирались молодые люди, образовавшие «Дружеское литературное общество» (А. Ф. Воейков, А. Ф. Мерзляков, братья Тургеневы — Андрей и Александр, В. А. Жуковский, братья Кайсаровы, Андрей и Михаил, С. Е. Родзянко). Все они были образованы, талантливы, литературно одарены, богаты мечтами, стремлениями, планами. Большинство их было людьми глубоких чувств и благородной души. Один из них стал великим русским поэтом, человеком высокого душевного строя. Другой, его ближайший друг, умерший юношей, не успел сделать того, что мог бы, проживи он больше, но то, что осталось от него и что известно о нем, дает право оплакивать в нем человека исключительных дарований и великих возможностей ума и сердца. С ним погибли лучшие, может быть, надежды, связываемые с этим поколением, первым вступившим в XIX век. Дружба, свобода, Отечество, литература более всего вдохновляли этих молодых людей. Максимализм, свойственный молодости, при столкновении с грубой действительностью, казавшейся некоторым из них постыдной,

рождал страстное нетерпение, вплоть до готовности к самопожертвованию (как у Андрея Тургенева), стремление к *иному* той действительности, которую они застали и которая уже не отвечала их идеалам[9]. Нужно помнить, что первые два месяца существования Дружеского общества совпали с концом царствования и жизни Павла. 11-ое марта стало тем рубежом, который снял страшное напряжение предыдущих месяцев и открыл путь самых блистательных надежд (*Дней Александровых прекрасное начало*...)[10]. Такие дни и такие жизненные повороты не проходят даром: они оставляют свои следы, иногда более отчетливые в памяти, чем во «внешней» жизни. И насильственные изменения наверху при всем интересе к ним членов Общества все-таки были лишь фоном для той богатой внутренней жизни, которою они жили *тогда*. И не случайно, что воейковский «поддевический» дом и сад навсегда связались для них с юностью, дружбой, поэзией, и все это как главное и совместное их достояние было осознано ими сразу же после того, как Общество прекратило свое существование, и разнонаправленные потоки жизни разъединили друзей. Едва ли в первый год после распада Общества они отчетливо сознавали, что юность уже ушла, что дружество, объединявшее их всех, неминуемо должно претерпеть изменение, что поэзия встреч в воейковском доме из переживаемого здесь и сейчас переходит уже в хранительную память. Оттого, вероятно, и возникла та несколько преувеличенная реакция на столь быстрое изменение положения, некоторая судорожность и нарочитость воспоминаний о том, что было еще вчера и чего больше — такого — уже никогда не будет. Встречи с этим домом и садом были очень непродолжительными, но рожденные этими встречами радость общения, энтузиазм, надежды ощущались сами по себе как нечто столь значительное, идеально-возвышенное, жизнестроительное, что оно должно было избежать забвения. И это сознание вынуждало торопиться поведать о своих чувствах и переживаниях, опережая естественный ход времени, воплощать только что пережитое вчерашнее и еще, как бы по инерции, переводить переживаемое сразу же в план воспоминаний, дорогих навсегда. Но чтобы шлюзы были открыты и воспоминания потекли, нужно было содержание вчерашних встреч и их атмосферы закрепить в с л о в е . И это было сделано тогда же.

Воейковский дом и сад вошли в поэзию уже в 1801 году. Андрей Тургенев, spiritus movens этого дружеского кружка, наиболее чуткий к сдвигам времени, динамичный (кажется, что именно о нем сказано поэтом — *И жить торопится и чувствовать спешит*...), щедро одаренный талантами, ввел их в литературу, сразу же обозначив главные признаки этого дома и этого сада и то, что для всех друзей, бывавших здесь, связывалось с этим «воейковским» локу-

сом. Кто бы ни обращался к нему впоследствии, уже не мог провести отчетливую границу между своим воспоминанием и п е р в ы м словом о воспоминаемом:

К ветхому поддевическому дому А. Ф. В<оейко>ва

Сей ветхий дом, сей сад глухой, —
Убежище друзей, соединенных Фебом,
Где в радости сердец клялися перед небом,
Клялись своей душой,
Запечатлев обет слезами,
Любить отечество и вечно быть друзьями.
1801[11]

Понятно, что главным было не то, что дом ветх, а сад дик и глух, однако, пожалуй, все-таки и не любовь к отечеству или к литературе, если только не иметь в виду подоснову этой любви, ее невидимый нерв. Конечно, главным было само дружество как особое состояние духа, когда он особенно чуток и открыт возвышенному, идеальному, жертвенному, и не просто дружество, но сознание и ощущение его отмеченности, той высшей степени его ценности (*священная дружба*), когда оно становится жизнеопределяющим и жизнестроительным элементом. Таким оно, несомненно, было для Жуковского и, скорее всего, было бы для Андрея Тургенева и Андрея Кайсарова, жизненный путь которых (особенно первого из них) был прерван столь рано. Все они знали, что в их душе совершается нечто столь значительное, о чем никогда не забыть, ибо забвение было бы предательством и себя, и своих друзей. И свидетельством этого свершения отныне для них будет в о с п о м и н а н и е — не просто как нейтрально-равнодушное обращение-нисхождение к прошлому, к его переживанию («низ-поминание»), но, напротив, как то восхождение духа, которое обретается при нисхождении к прошлому и которое вводит это прошлое в актуально переживаемое настоящее, сиюминутное[12]. Никогда до того в истории духовной жизни в России воспоминание не играло такой роли, не получало такого самодовлеющего характера, что само по себе свидетельствует о значительности внутренней работы «над совершенствованием д и к о г о к а м н я русской души»[13], открывавшей новые возможности, которые нуждались в их востребовании. Именно потому эти молодые люди так спешили вспоминать и воспоминанием освящать бывшее. Воспоминания начинались почти синхронно с тем, что было поводом и темой для воспоминания. Сила, связанная с воспоминаниями, и энергия, ими разбуженная, были таковы, что потребность воспоминания не всегда могла удовлетвориться объемом воспоминаемого и опережала сам субстрат воспоминания. Душа жаждала воспоминаний, и нужда в них,

само умение воспоминать стало знаком определенного уровня глубины духовного развития. Эта «воспоминательная» настроенность, устремление в прошлое и на потребу настоящего, естественно, не могли не отразиться и на обращении к сфере будущего, на душевных «пред-переживаниях» его («память» о будущем) или даже на обращении к тому, что только м о ж е т быть (сфера потенциального), создавая дополнительную основу для мечтаний и грез о будущем или о возможном, что стало приметой времени лет на 30-40 позже («мечтатели»). Так или иначе, но категория, обращенная в прошлое, — воспоминание все больше пронизывалось излучениями модальности. Оно стало к у л ь т о м именно в это время и в этом месте или, точнее, в д р у г и х местах, как только *это место* было покинуто большинством его посетителей. Сам этот культ только и можно объяснить бесконечным обаянием воспоминаний, открытием новых форм и свойств их (особая проницаемость, «заразительность» их, метафизическая сторона воспоминаний, семиотизация воспоминаемого и т.п.).

Как уже говорилось, воспоминания начались сразу, и стихотворение о «поддевическом» доме стало той основой, на которой начал развертываться свой особый «воспоминательный» текст, понятный всем входившим в этот дружеский кружок и выстраиваемый в дальнейшем рядом участников встреч в воейковском доме.

В ноябре 1801 года Андрей Тургенев уезжает в Петербург. 21-го декабря Андрей Кайсаров в письме уехавшему другу предается мечтам о своем приезде в Петербург, мешая надежды с воспоминаниями: «Хоть полгода пожил бы с тобою вместе! Как бы п о м н и л я это время![14] Ах! я очень-очень п о м н ю ту счастливую осень, которую провел с тобою. Мне кажется, что где бы я ни был, но я везде буду с ч а с т л и в, если останется у меня это в о с п о м и н а н и е. Ты шутил иногда п о д - Д е в и ч ь и м и говорил: «эти желтые листья, это мрачное время»: но что чувствовал я при этих словах? Я видел, для чего ты это говорил. Так, брат! Я н и к о г д а н е з а б у д у этого мрачного времени, которое умел ты делать для меня светлым. Оно невозвратимо, к несчастию. Так ли часто о нем думаешь, как я? Так ли это в о с п о м и н а н и е действует над тобою, как и над моим сердцем? Горе тебе, если ты иногда не жалеешь об этом времени. Правда, что мы не беседовали о происшествиях в физическом и моральном мире; для нас довольно было нас; мы не могли наговориться о себе. Мы сиживали до 12 часу, и, расставшись с тобою, я все еще досадовал, что не могу говорить с тобой, смотреть на тебя. Я не говорю, чтоб теперь ты жалел об этом, но уверен, что тогда расставанье наше стоило тебе того же, чего и мне. Как рано, к несчастию, вытвердилось у меня слово — Il fut jadis un tem(p)s! и как часто повторяю я его»[15].

В тот же самый день, когда Кайсаров пишет это письмо в Москве, те же воспоминания возникают в Петербурге и у Андрея Тургенева, который сообщает о них своим московским друзьям — Андрею Кайсарову, Жуковскому, Мерзлякову. Он пишет им о вечере, проведенном у Галинковского:

«Сегодня, любезные друзья, провели мы трое: двое Кайсар[овых][16] и я, прекрасный, пресчастливый вечер, которым единственно обязаны нашему бывшему собранию. Видите, как оно было благотворно. [...] Мы критиковали тему Галинковского. Это напомнило нам о наших критиках; всё так живо вспомнилось. Мы разгорячились, как тогда, когда праздновали торжество наше в честь отечеству. Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя, и если хотите, и речь мою; шампанское, которое вдвое нас оживило; торжественный веселый ужин, соединение радостных сердец; вспомните — и вы никогда позабыть этого не захотите, и вы отдадите справедливость нашему Обществу. Его нет; но память о нем вечно будет приятнейшим чувством моего сердца; часто время это и все случаи будут представляться мне, как сладкие мечты утреннего сна, и оно продлит благотворное действие на всю жизнь мою. Хотя бы оно еще во сто раз было полезнее в рассуждении литературы, но все это ничто в сравнении с тем, что оно, кроме того, нам доставило. Согласны ли со мною вы, друзья мои? Нет: вы еще там; но надобно удалиться от того места, где все происходило, чтобы все так почувствовать, как я чувствую; все представляется мне в каком-то волшебном виде»[17].

А двумя неделями раньше Андрей Тургенев записывает в свой «Дневник»: «7 декабря. Воображаю себе с приятною задумчивостию прошедшее! Что было за несколько времени? Где мы все вместе были? И где теперь, и где скоро будем! Вспоминаю Воейкова дом и сад, и всю Москву, в которой мы были вместе. — Часто буду думать об етом. Очень усладительно, хотя и уныло. Где теперь все? Что они делают? Как размягчилось мое сердце! Какое сладостное чувство! Где Москва, где все мы? Собрания, торжества и пр.»[18] И эта дневниковая запись, и оба процитированных письма, писавшиеся — навстречу друг другу — в один и тот же день, были посвящены одной и той же теме — воспоминанию, хотя в зависимости от темперамента их авторов и выбранной установки одно письмо напоминало элегию, а другое — заклинание. Но и в том и в другом случае воспоминание имеет своей отправной точкой Под-Девичье, «развалившийся дом, окруженный садом», еще точнее — «нас» в *том* доме и *том* саде *под-Девичьим*. От этой простран-

ственной (или пространственно-временнóй) рамки неотделимы и другие свидетельства этого культа воспоминания, и почти всегда дом и сад выступают как первое место, за которое цепляется якорь воспоминаний. Как только Андрей Кайсаров, вернувшийся из Петербурга в Москву и перенесший тяжелую лихорадку, получил разрешение выходить из дома, он с младшими Тургеневыми «пустился в путь в поддевичье». Это случилось 18 мая 1802 года, а на следующий день, по горячим следам, он пишет об этом Андрею Тургеневу в Петербург:

«Я вспомнил тебя моего милого, несравненного друга; вспомнил, что через полтора месяца должен буду проститься надолго с Москвою[19] и с теми предметами, от которых возобновились во мне такие сладкие воспоминания, и что Бог знает, когда увижу тебя, моего любезнейшего друга. Дом Воейкова еще более расстроил мое сердце, которое и без того ослаблено от лихорадки. Я вспомнил наши собрания, свою палатку, тебя, сперва торжественно гуляющего, а потом отяжелевшего и чуть-чуть таскающего ноги на поле брани, на грядах клубничных; все удовольствия, которые имел там, и немного не разнежился. Благодарю судьбу, что она оставила мне много, очень много приятных воспоминаний [не. — *В.Т.*] только на словах, но в душе своей. Я очень чувствую, как богат тот, кто их имеет»[20].

Но уже рано и как бы в самый разгар воспоминаний в них обнаруживается, сначала лишь слегка, нечто новое — исчезновение воспоминаний прежде всего о самих собраниях Общества, возобновления которых хотел Андрей Тургенев. Догадываясь о расхождениях между друзьями по этому поводу, он в письме к Андрею Кайсарову в начале 1802 года предлагает отмечать памятные дни Общества («каждый из нас их праздновал, где бы он ни был. Это многим из нас будет очень приятно; другие сделают, по крайней мере, из снисхождения. [...] Каждый будет знать, что все, не говорю члены Собрания, но душевные друзья его о нем думают. Эта мысль стоит чего-нибудь. Скажи искренно, нравится ли это тебе? Но это должно нравиться, если бы и Собрание не нравилось. [...] Праздник такой довольно если будет состоять и в том, если всякий вспомнит о всех своих сочленах, подумает о том, чему посвящено было торжество и выпьет за здоровье их с тогдашними приятелями»[21]).

Нужно думать, что инициатива Андрея Тургенева не встретила поддержки, о чем может, кажется, свидетельствовать его письмо к Жуковскому от 3 февраля 1802 года, отражающее, видимо, результаты разговоров с приехавшим в Петербург Андреем Кайсаровым:

«Все, видимо, отстраняются, брат, от собрания. Теперь и Кайсаров против, и все, и ты, кроме меня. Как мне больно, что не все так

о нем думают, как я! Все теперь против него поднимаются. [...] Я теперь очень огорчен словами Кайсаровых, которые уже начинают ругать собрание. Как они меня ни любят, как я ни любил их и ни должен быть им за многое благодарен, но все бы мне лучше быть одному. Теперь ничего не желаю столько, как уединения. Все разрушается, я думал, что собрание будет нам дорого хоть в воспоминании, но вижу противное. [...]» (Письма 1987, 399).

Андрей Тургенев тяжело переживал распад «Дружеского общества» и особенно вымирание самих воспоминаний о нем. Запись от 8 апреля 1802 года в «Дневнике» звучит как эпитафия: «Сегодня апреля 8-е — вчера минуло год торжеству дружеского Литературного Общества! Da sehnte ich mich hinaus in die weite Welt, jetzt komme ich zurück aus der weiten Welt! и слезы горести мешаются с сладким воспоминанием. Чего я желал тогда. Не находил ли я и тогда образа жизни моей неприятным, неудобным ни к каким упражнениям? Но что же настоящее перед прошедшим! Простите, радостные пленяющие мечты! Ах! тогда я был оживлен, тогда лежало передо мною неограниченное поле; воображение бродило по нем, фантазия все украшала. Как скоро прошло все ето! Собрание умирает и в нашем воспоминании [...] Но пусть же все исчезнет, когда так этому быть должно!»[22]

В свете этой дневниковой записи особое значение приобретает цитировавшийся выше отчет Андрея Кайсарова о посещении дома Воейкова *поддевичьим* в письме от 19 мая 1802 года. Не исключено, что в нем присутствует легкий оттенок самооправдания и заверения друга в верности дорогим воспоминаниям. И все-таки взгляд Андрея Тургенева на ситуацию был, пожалуй, излишне пессимистичен, и его заключение о вымирании воспоминаний несколько сдвигает всю картину. Надо думать, что не столько вымирали эти воспоминания, сколько участники боялись, что это может произойти. Что же было на самом деле? После прекращения деятельности Общества, одни (Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров, Мерзляков) вспоминали только что миновавшее и вспоминали особенно живо, по горячим следам, иногда, как Андрей Тургенев, в упоении растравы. Вспоминали ли другие, неизвестно из-за недостатка свидетельств личного характера: их чаще всего было настолько мало, что трудно было бы ожидать в них сведений по столь интимным вопросам. Но не приходится сомневаться, что помнили о встречах в воейковском доме все их участники, и стоило появиться адекватному поводу, как пассивная память оттеснялась активным и живым воспоминанием, производившим отбор воспоминаемого по своим собственным правилам. Если что и отчуждалось («вымирало») в сознании большинства членов прекратившего свое существование

Общества (кроме, конечно, Андрея Тургенева), то это само Общество, его собрания, устав, отчасти и речи, произносимые там, т.е. нечто «официальное», и амбициозная, внешняя «арматура», которая выросла вокруг того «внутреннего», которым было само дружество, а еще глубже, под ним — счастливое совпадение ощущения полноты жизни, случавшееся в особо благоприятных условиях — уединенное место и круг друзей — не слишком узкий, но и не слишком широкий (... *да гости за столом / Не менее Харит своим числом / Числа Камен у вас не превосходят,* — по слову поэта)[23]. Разъехались друзья, исчезли условия для их совместных встреч, — и все явственнее главное стало отделяться от неглавного, поверхностного, более того, то, что считалось ранее главным, быстро отходило на периферию, а сопутствующее этому мнимому главному выдвигалось на первый план и все более высвечивалось в воспоминании.

В этом отношении особенно характерно письмо-стихотворение Мерзлякова к двум Андреям — Тургеневу и Кайсарову — от 17 сентября 1802 года. Оно из жанра «Ubi sunt...» (*Где, где часы сии прекрасны, / Когда мы в кочках под шатром /* [...]). Характерно, что будучи по духу и стилю весьма отличным от приведенных выше текстов Тургенева, это послание тоже о ветхом доме и прежде всего о глохнущем, увядающем, неуютном в *сентябрьски вечера ненастны* саде: «*Древа шумели над главой / И своды горня окияна / Лились в стремительных дождях, / Березы старые скрипели / На сильных сплетшихся корнях, / И листья желтые летели / И стлались по сырой земле...* / [...] / Как все переменилось, братцы! Прошедшая осень живо и навсегда впечатлилась в моей п а м я т и. Думал ли я, что нынешняя осень будет столько для меня печальна? — *С кем ныне буду я внимать / Осенней бури шум ужасный?* / [...] / *И Оссиян уже забыт, / И на разрытую могилу / Прошедших радостей забав* / Никто, никто уже не взглянет! / Никто, никто не воспомянет / Тот* с а д, *где дружба расцвела, / Мое блаженство мне явила, / Утехи века в час стеснила / И — все с собою унесла!* [*Дом развалившийся Воейкова — примечание Мерзлякова; слово «сад» выделено автором курсивом] (Мерзляков 1958, 229-230). Но внезапная смерть Андрея Тургенева 8 июля 1803 г., в возрасте 21 года, случившаяся при несколько странных обстоятельствах, потрясла всех близко знавших его и, потрясши, окончательно перевернула последнюю страницу в краткой, но столь интенсивной и значительной истории «поддевического» кружка друзей. Как было воспринято известие о смерти Андрея Тургенева, достаточно хорошо известно из переписки его друзей и родственников (см. Истрин 1910а, 1-37), и здесь нет необходимости на этом останавливаться[24]. Теперь, со смертью Андрея Тургенева минувшее стало поэзией, и она сознательно или бессознательно хранила память о нем. Ее носителем прежде всего

стал Жуковский. Если говорить только о стихах[25], достаточно назвать лишь главные обращения к образу покойного друга. Сразу же по получении известия о смерти — «На смерть А[ндрея Тургенева]» (июль 1803), «К К. М. С[оковниной]» (декабрь 1803), но и позже — «Тургеневу в ответ на его письмо» (сентябрь 1813), «К Тургеневу в ответ на стихи, присланные вместо письма» (март 1814), «Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым» (декабрь 1818 или 1 января 1819). В ряде стихотворений, среди которых «Вечер» (1806) и «Певец» (1811), воспоминания (*К протекшим временам лечу воспоминаньем,* ср. также *в сердце воспоминанье* и др.) возвращаются к умершему другу, к его *безвременному гробу,* к *тихой юноши могиле* в «Вечере» и особенно в «Певце»: *Увы! друзья, сей холм — могила; / Здесь прах певца земля сокрыла; / Бедный певец!* и т.п. или же — *Он дружбу пел, дав другу нежну руку — / Но верный друг во цвете лет угас; / Он пел любовь — но был печален глас* [...]), хотя имя безвременно угасшего юноши-певца остается неназванным[26]. Едва ли можно сомневаться, что в своем «Воспоминании» (1821: *О милых спутниках, которые наш свет...*) Жуковский тоже не прошел мимо образа умершего друга: он *был* и значит он *есть* в благодарной памяти. Так же не назван по имени Андрей Тургенев во взволнованном лирическом вступлении к рассказу «Вадим Новгородский» (1803), где, однако, именно он имеется в виду (*О ты, незабвенный! ты, увядший во цвете лет* [...]). Точно так же исключены сомнения в том, кто присутствует в стихотворении «Тургеневу в ответ на его письмо» — тем более, что в нем воспроизведены образы из стихотворения Андрея Тургенева о «поддевическом» доме Воейкова: *Разрушен мир фантазии прелестной; / [...] / С пленительным простившись ожиданьем / На прошлы дни ты обращаешь взгляд / И без надежд живешь* воспоминаньем. *// О! не бывать минувшему назад! / [...] / Где время то, когда по вечерам / В веселый круг нас Музы собирали? / Нет и следов; исчезло все — и сад / И ветхий дом, где мы в осенний хлад / Святой союз любви торжествовали / И звоном чаш шум ветров заглушали. / Где время то, когда наш милый брат / Был с нами, был всех радостей душою? / Не он ли нас приятной остротою / И нежностью сердечной привлекал? / Не он ли нас тесней соединял? / Сколь был он прост, нескрытен в разговоре! / Как для друзей всю душу обнажал! / Как взор его во глубь сердец вникал! / Высокий дух пылал в сем быстром взоре. / Бывало, он* [...]. Фрагмент, начиная со слов *и сад / И ветхий дом..*, вводимый свидетельством конца всего этого (*исчезло все*), по сути дела, представляет собой довольно точно переданную цитату из «воспоминательных» частей писем и дневниковых записей Андрея Тургенева, приводившихся выше.

Это обстоятельство позволяет, кажется, рассматривать выделенный выше фрагмент из цитируемого стихотворения Жуковского как своего рода дальнейшую филиацию исходного «андрее-тургеневского» текста «поддевического» дома и сада, который реконструируется на основании реально зафиксированных текстов Тургенева — как стихотворения «К ветхому поддевическому дому А. Ф. Воейкова», так и его же эпистолярно-дневниковых «воспоминательных» фрагментов, относящихся к этому же дому и саду. Уже у Андрея Тургенева этот текст «поддевического» дома достаточно клиширован. «Воспоминательные» фрагменты в соответствующих текстах Андрея Кайсарова, Мерзлякова, Жуковского настолько напоминают тургеневскую версию «поддевического» текста, что складывается впечатление о наличии в 1801-1803 годах в этом кружке некоего «коллективного» текста с четкой топикой и стилистикой, но допускающего вариации в известных пределах, который позже был подхвачен Жуковским, канонизировавшим образы Андрея Тургенева и введшим их в новый контекст, откуда они черпались как анонимные (или в «стиле» Жуковского) следующими поколениями поэтов. Инициатором этого текста и в его мажорной части (стихотворение), и в ностальгической части (эпистолярно-дневниковые фрагменты) был Андрей Тургенев, ранее и острее других почувствовавший смысл контраста между увяданием и запустением и надеждой, дружбой, устремлением в будущее, верой в него[27]. Завершителем текста предстояло стать Жуковскому, который был свидетелем, а отчасти и участником рождения «поддевического» текста и который полнее и глубже других ощущал поэзию утраты, расставания (*исчезло все*) — в природе ли, в человеческой жизни ли — и сознавал, какой новый смысл и какую новую цену придает жизни ее преходящесть, временность, «невечность» и какой должна быть достойная позиция человека перед лицом неминуемого — *Но дружба нам звездой отрады будь; / О прочем здесь останемся беспечны; / Нам счастья нет: зато и мы — невечны*. В этой невечности есть свой горький смысл, и сознание этого смысла смиряет человека: былые упованья отступают перед жизненным опытом и трезвым взглядом[28], но память об утраченном — священна, и воспоминания о дорогих сердцу ушедших пребудут до конца. Не случайно, что друзья Андрея Тургенева, оплакивая его, думая о нем, его вспоминая, вспоминали и тот уже далекий дом и сад, с которым столько было связано и который еще при жизни его, in situ был запечатлен тем, кому предстояло уйти, в слове. И сад вспоминали больше, чем дом, потому что дом напоминает о жизни и ее порядке, а сад, запущенный, заглохший, дикий, вернувшийся к своему природному состоянию вопреки намерениям человека, насадившего его, осенний — о бренности жизни, ветшании, невечности,

смерти и беспорядке ее. Но как, утратив рай, вспоминают его и плачут по этой утрате, так и осенний заросший сад напоминает о саде весеннем, еще прозрачном и светлом, набирающем жизненные силы. Без утраты, расставания, прощания нет воспоминаний, и поэтому, в частности, сад, особенно осенний, так связан с воспоминаниями: они в нем и о нем. Весенний сад заставляет заново переживать ощущение полноты жизни, ее возрастания и устремляться в будущее, уповать и надеяться. И если сад все-таки соединяется в стихах Андрея Тургенева и его друзей письмах и воспоминаниях с домом, то потому, что сад был при доме, а не дом при саде, хотя глохнущий сад уже отъединяется от не поспевающего за ним ветшающего дома и, заглохши окончательно, становится в себе самом замкнутым и самодостаточным уголком природы. В отличие от сада дом не может быть полноценным образом рая, даже если в этом доме «райская жизнь». И это понятно — рай, райский сад был первым домом человека, и природа вечна, а все, сотворенное руками человека, тленно.

В течение полувека об Андрее Тургеневе помнили и вспоминали. Когда друзей его не стало, наступило забвение. Само имя его упоминалось очень редко, и так продолжалось еще полвека. Прорыв наступил в начале XX века, и честь этого прорыва принадлежала А. Н. Веселовскому, который в своей книге о Жуковском (1-ое издание — 1904), век спустя после смерти Андрея Тургенева, вспомнил о нем и нашел проникновенные слова о юноше, отмеченном свыше. Ряд ценных публикаций и исследований, казалось, закрепил это имя в истории русской литературы, но тяжелый занавес, опустившийся в 17-ом и имевший целью изоляцию от старой культурной традиции, прервал многие линии преемственности и, в частности, уже достигнутое в области изучения Андрея Тургенева и его круга настолько, что еще полвека спустя Ю. М. Лотману пришлось напоминать о прочно забытом и начинать заново дальнейшие изыскания.

И тем не менее память об Андрее Тургеневе жила в русской поэзии, хотя для большинства читателей она была анонимной, не вполне проявленной и не соотносимой с ее первоначальным адресатом. Не помня и чаще всего не зная и даже не догадываясь, к кому непосредственно относится хранящий память поэтический образ, все-таки сохраняли верность пусть не лицу, но тому общему духу, который разделял с воспоминателями сам Андрей Тургенев. И память, сохраненная в поэтическом образе, была живой и со временем становилась все более прочной. Теперь она неотделима от русской поэзии и знает своего адресата в лицо.

В основе этого «хранительного» образа лежал, собственно говоря, первый стих шестистишия Андрея Тургенева, посвященного как раз «поддевическому» дому Воейкова, но включенный в более

широкий контекст дружества и *радости сердец, — Сей ветхий дом, сей сад глухой.* Вероятно, этот образ, пережив его автора, не пережил бы того времени, когда не осталось в живых никого из тех очень немногих (хотя для немногих это и писалось — «Für Wenige», как скажет позже Жуковский), кому эта строка что-то говорила и кто знал, ч т о́ она имеет в виду. Но обращение к ней Жуковского, прежде всего в том варианте, который представлен в его стихотворении «Тургеневу в ответ на его письмо» (1813), положило начало моде и на подобный образ выражения, и на сам этот поэтический образ, подхваченный позже и далее варьировавшийся.

Не касаясь здесь деталей и отмечая лишь несколько наиболее примечательных продолжений этого образа и вариации его, нужно, однако, с уверенностью сказать, что первым принял эту эстафету Пушкин, который был не только литературно, но и биографически, жизненно связан с ранних лет дружескими отношениями (несмотря на значительную разницу в возрасте) как с Жуковским, так и с Александром Тургеневым. Роль последнего в жизни Пушкина не лишена таинственности и провиденциальности. Он открыватель и закрыватель врат его жизни как поэта[29].

Этот образ, восходящий к Андрею Тургеневу (в конечном счете) и укоренившийся уже в русской поэзии 2-ой четверти XIX века, продолжая свое существование и далее, как правило, уже не помня своих корней, д в у ч л е н е н (хотя известны и частично редуцированные его варианты): дом и сад[30]. Он известен в ряде вариаций, касающихся определений того и другого, но не самих их (исключения редки, ср. жилище вместо дома). Дом может быть в рамках этого образа *ветхим, старым, старинным, полуразвалившимся, опустошенным, бедным.* Сад — *старым, глухим, заглохшим, заросшим, запущенным, одичалым, диким.* Этот двучленный образ одновременно разыгрывает две идеи — естественного п р о т и в о п о с т а в л е н и я дома и сада как образов культуры и природы соответственно и смягчающего этот контраст сближения вплоть до у е д н о о б р а ж е н и я их по общему для них — в принципе — признаку упадка, запущенности, старения, нарушения «порядка», одним словом, возрастания энтропии. Заглохшие сады, как и ветшающие дома, были в России не только в XIX веке, но и раньше — и в XVIII веке, и до него[31], но их не замечали, по крайней мере в художественной литературе. В поле зрения поэзии они попали, не считая редчайших и неполных аналогий, именно в начале XIX века, и с тех пор, воплощенные в поэтический образ, они вошли в инвентарь средств художественной выразительности. Андрей Тургенев не только заметил такие явления в московской жизни, но и зафиксировал их в поэтическом слове, подхваченном сначала Жуковским, а позже усвоенном и развитом последующими генерациями поэтов.

Первым, о ком в этой связи нужно вспомнить, был Пушкин. В VIII главе «Евгения Онегина» (она писалась с конца 1829 г. по сентябрь 1830 г.) сходные сигнатуры дома и сада относятся к описанию ларинского имения: [...] / *Мой модный дом и вечера, / Что в них? Сейчас отдать я рада / Всю эту ветошь маскарада, / Весь этот блеск, и шум, и чад / За полку книг, за дикий сад / За наше бедное жилище,* / [...] / *Да за смиренное кладбище, / Где нынче крест и тень ветвей* / [...]. В пушкинской версии этот образ, уже оторвавшийся от «первособытия», тем не менее продолжает складывающуюся традицию, как бы предлагая новые возможности развития. К этому времени за каждым из ключевых элементов образа уже стоял определенный контекст, который, с одной стороны, помогал лучше понять тот смысл, который поэт вкладывал в них, а с другой, отчасти снимал ту выделенность и напряженность самого образа, которая отчетлива у Жуковского. Черты безвозвратно ушедшего и дорогого «смиренного» быта (ср. *Смиренной девочки любовь*), мимоходом возникшее воспоминание Татьяны о прошлом, контраст с тем, что Татьяна называет *...пышность эта, / Постылой жизни мишура,* с ее успехами *в вихре света, с модным домом,* составляют теперь новый контекст этого образа[32]. Особенно показательно, что воспоминание неизменно вызывает образ сада — сад в воспоминании и сад воспоминаний, место, где человека окружают воспоминания, образуют не просто тесно связанную, но и взаимодополнительную и взаимообратимую пару. Явление воспоминания и страх забвения играли особую роль в жизни Пушкина, о чем можно судить и по его творчеству, и по тому, что достоверно известно о нем самом. В год, когда начата VIII глава «Евгения Онегина», поэт пишет свое второе «Воспоминание в Царском Селе»[33]. В нем, в первых же стихах его, — о той интимной связи, если угодно, внутреннем сродстве и взаимной отданности друг другу воспоминания и сада: *Воспоминаньями смущенный, / Исполнен сладкою тоской, / Сады прекрасные, под сумрак ваш священный / Вхожу с поникшею главой.* И несколько дальше — *И долго я блуждал, и часто, утомленный, / Раскаяньем горя, предчувствуя беды, / Я думал о тебе, предел благословенный. / Воображал сии сады.* И в первом «Воспоминании в Царском Селе», 1814 года (в обоих случаях Царское село не что иное как Царскосельский сад, *Элизиум полнощный, / Прекрасный Царскосельский сад*) воспоминание неразрывно связано с садом. Свидетельства прошлой славы приводят в движения воспоминания — *Здесь каждый шаг в душе рождает / Воспоминанья прежних лет*[34]. И то же в «Элегии» 1819 года — *Воспоминаньем упоенный, / С благоговеньем и тоской / Объемлю мрамор грозный твой, / Кагула памятник надменный*[35].

Пушкинский образ дикого сада и бедного жилища, продолжающий соответствующий образ Жуковского и, видимо, помнящий о нем, уже оторвался от «первособытия» и начал собственную жизнь, становясь в свою очередь объектом притяжений, исподволь укрепляя традицию. Здесь прежде всего нужно напомнить о новой попытке Каролины Павловой. В поэме «Кадриль», впервые полностью опубликованной в 1859 году, но известной из упоминания о ней уж в начале 40-ых годов, сильно пронизанной пушкинскими реминисценциями, в связи с рассматриваемым образом интерес представляет следующий «воспоминательный» фрагмент в широком контексте: «*Нет! думаю, что не всегда / Души намеренье ничтожно. / Одну минуту, иногда, / Во весь свой век забыть не можно. / И нам от слова одного, / От одного полунамека / Приходит снова то на ум, / Что годы увели далеко, / И заглушил житейский шум. / Мне вызвал вдруг рассказ Надины / Житья прошедшего картины, / И пред умом они стоят: / И ветхий дом, и старый сад, / Где зелень разрослась так густо, / Где пруд засох от тростника, / Где рядом возле цветника / Насажена была капуста; / И то местечко, где ветла / Раскинулась над косогором, / Где, глядя в поле жадным взором, / Я часто трепетно ждала; / И на краю полей широких / Скамейка та среди берез, / Где много горьких, одиноких / И тщетных пролила я слез*»[36]. Та же традиция отразилась и в версии Алексея Толстого, относящейся к 1856 году: *Приветствую тебя, опустошенный дом, / Завядшие дубы, лежащие кругом, /* [...] / *И пышный прежде сад, глухой и одичавший* («Крымские очерки, 9»). Примерно к тому же времени относящееся стихотворение Огарева «Старый дом»[37] возвращается к образу запустения: *старый дом, старый друг, посетил я / Наконец в запустеньи тебя, / И былое опять воскресил я, / И печально смотрел на тебя. // Двор лежал предо мной неметеный, / Да колодец валился гнилой, / И в саду не шумел лист зеленый. / Желтый — тлел он на почве сырой. // Дом стоял обветшалый уныло /* [...]. Но в этом стихотворении, посвященном дому, который принадлежал отцу Герцена И. А. Яковлеву до 1830 года (и откуда они перебрались в соседний дом, где позже встречались друзья Герцена), при сохранении темы запустения сам образ дома и сада обнаруживает следы ухода от уже сложившейся традиции[38].

Приведенные примеры дают представление о филиации образа, возникшего в «поддевическом» локусе, и здесь можно остановиться, напомнив, что и позже то там, то здесь он возникал в русской поэзии, отражая на себе новые настроения и моды — *Ты помнишь ли, Мария, / Один старинный дом* / [...] / *Безмолвные аллеи, / Заглохший старый сад*... Дальнейшая история образа тем не менее сводится к постепенной потере связей с самой этой тради-

цией, к размыванию и «опусканию» его, превращению в штамп в одних случаях или существенной трансформации его в других. Но в целом сам образ ветшал вслед за домом и садом, тему которых он разыгрывал. Это, конечно, не означало, что потенции образа исчерпаны. На отживающих и отторгаемых его частях пробивались молодые ростки, и надо было освободить эту новую силу от того, что уже мешало ему, сохранив при этом наиболее важные, глубокие, напряженные смыслы и усилив их. В основной линии развития сад уже наработанного, ставшего традиционным образа, разъединился с домом[39], войдя в более общий корпус поэзии русских садов как ее наиболее интенсивное, определяющее суть ядро. Сады русской поэзии слились в один сад, и множество текстов «сада» преобразилось в единый его текст. В высших своих достижениях он обозначил предельное — сад-космос и соприсутствующее ему состояние духа (*И это был сад...*), сад-эпифания, сад-откровение, сад-искупление, даруемый тому, кто молит о нем и кто сам подобен саду в своем одиночестве: *За этот ад, / За этот бред / Пошли мне с а д / На старость лет. /* [...] */ Скажи: довольно му́ки — на́ / Сад — одинокий, как сама. /* [...] */ Такой мне сад на старость лет... / — Тот сад? — А может быть — тот свет? — / На старость лет моих пошли — / На отпущение души.*

Но это и сад, населенный милыми тенями, сад-воспоминание, сад-свидание, сад-поэзия, сад-надежда, сад-бессмертие:

А теперь бы домой скорее
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад
. . . . . .
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К сожалению, «московский» период воейковской биографии известен плохо (то же относится и к его литературному наследию, до сих пор полностью не собранному и должным образом не изданному), и поэтому, строго говоря, неизвестно, с какого времени Воейков жил в этом доме. Наиболее авторитетное собрание данных о московских жителях в конце XVIII века («Указатель Москвы», 1793), естественно, не могло содержать сведений о 14-летнем юноше

(в названном издании учитывались в основном домовладельцы). Однако в нем есть два упоминания о Воейковых, которые, как можно думать с большим вероятием, небесполезны в связи с самим А. Ф. Воейковым. В «Указателе» среди многочисленных московских Воейковых упоминаются «Воейкова Софья Федоровна, статская советница, приход Саввы Освященного в Савинской улице, 2 квар., № 194», которая могла быть старшей сестрой Александра Федоровича, избравшей для местожительства тот же самый «Девичий» локус, где жил, как известно, А. Ф. Воейков (такая практика селиться неподалеку от родственников достаточно хорошо известна для этого времени и особенно в условиях наличия свободного пространства для застройки) [впрочем, в том же справочнике упоминается и ономастически идентичная «Воейкова Софья Федоровна, вдовствующая бригадирша, в приходе Дионисия Ареопагита, между Никитской и Воздвиженкой, в переулке, 2 квар., № 180 (Указат. Москвы 1793, 111)], а также, что еще важнее и более несомненно, «Воейков Федор Александрович, покойный капитан, в приходе Иоанна Предтечи, в Нащокинском пер., 4 квар., № 337» (Указат. Москвы 1793, 124). Очевидно, что, в о - п е р в ы х, это то же лицо, что и упоминаемое в «Поколенной росписи Воейковых», ср.: *К сей поколенной росписи* [...] *Капитан Федор Александров сын Воейков руку приложил* (Покол. роспись 1789, 30), и что, в о - в т о р ы х, оба эти сообщения относятся к о т ц у Александра Федоровича Воейкова, чье имя, кстати, отмечено в «Историческом родословии Воейковых» (*лейб-гвардии Коннаго полку Вахмистр Александр Федоров сын Воейков* [среди подписавшихся под родословием своеручно], см. Историч. родослов. 1792, 88). Сообщаемый в «Указателе» адрес Федора Александровича Воейкова (Нащокинский пер., 4 квар., № 337) и есть, кажется, единственный достоверный источник для относительно точного определения местонахождения дома его сына, «воейковского» дома, поскольку до смерти отца это дом принадлежал ему. Нащокинский переулок (разумеется, его нельзя смешивать с одноименным переулком, соединяющим Сивцев Вражек с Гагаринским переулком), позже Усачев переулок, улица Усачева, Усачевка, соединял Трубецкую улицу (бывш. Трубецкой пер.) с «хамовнической» частью Камер-Коллежского вала и шел параллельно Б. и М. Царицынским улицам (дорогам) и был назван по имени домовладельца. В конце XVIII века здесь жил надворный советник Петр Федорович Нащокин — приход Иоанна Предтечи, Нащокинский пер., 4 квар., № 339 (см. Указат. Москвы 1793, 91). Следовательно, Ф. А. Воейков и П. Ф. Нащокин практически были соседями (ср. соответственно №№ 337 и 339 по Нащокинскому пер., 4 квар.) и, естественно, имели общий приход Иоанна Предтечи. Эта церковь находилась наискось от Новодевичьего монастыря, на углу Б. Царицынской и перпендикулярного к ней Вселенского переулка (ранее — Безымянного). В 1812 году эта церковь, неподалеку от которой, в доме князя Щербатова, расположился маршал Даву, герцог Экмюльский, подверглась разорению и поруганию. Именно в ней оказался Пьер Безухов после показательного расстрела поджигателей («После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви» — «Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. XII). О дальнейшей ее судьбе вспоминает в книге «Доброе старое время» (1870) А. Милюков, проведший детство неподалеку от монастыря, ср. разговор его дяди, владельца ситцевой фабрики Семена Афанасьевича с архитектором: «Вот, братец ты мой, [...] Надумал я храм Божий строить. Видишь, наша церковь с французa стоит в безобразии, так я хочу отстроить ее заново. О душе надо помыслить! Так нарисуй мне план для этого и с колокольней. Желательно мне, братец, чтобы

три престола было — один во имя Седьмаго Вселенского Собора, в память того дня, когда француз из Москвы бежал, а два, как были, — Ивана Предтечи и Николы Чудотворца. Все это чтобы в своем виде было. [...] Богу я порадею, да и себе хочу удовольствие сделать» (Милюков 1870, 8-9). Вспоминал об этой церкви и Ф. А. Гиляров, живший недалеко от нее и почувствовавший, несмотря на убогость быта («Скучны и холодны зимние дни. Наш деревянный дом был стар и гнил. Снег заносил его почти до окон...»), и нечто райское в месте сем — «Летом под Девичьим для нас чистый рай» (Гиляров 1904, 181, 326). О более конкурентном топографическом к о н т е к с т е воейковского дома и сада можно судить по воспоминаниям современницы Елизаветы Петровны Яньковой (урожд. — Римская-Корсакова), относящимся к концу XVIII — началу XIX вв. (они, кстати, бросают, видимо, луч света и на статус воейковского «поддевического» дома — «з а г о р о д н ы й дом»):

«Летом обыкновенно все дворяне живали у себя по именьям, конечно, исключая тех, которые, будучи при дворе или по службе, не могли отлучиться из города, и поэтому у многих богатых бар были н е д а ч и, а з а г о р о д н ы е д о м а в отдаленных частях Москвы, вошедших потом в состав города. Поблизости от Кремля всего более избирали места на Д е в и ч ь е м п о л е, около Хамовников, у Крымского брода. Так, по л е в у ю руку Девичьего поля, едучи к монастырю, был загородный дом князя Голицына, потом перешедший по наследству к князю Долгорукову [...]; теперь это дом Олсуфьевых, с прекрасным и обширным с а д о м, с оранжереями, совершенно сельская барская усадьба; подальше был дом князя Трубецкого, тоже с большим с а д о м и р о щ е й, и подалее, рядом с церковью, еще чья-то дача, теперь князя Вадбольского [...] По п р а в о й стороне Девичьего поля, у Саввы Освященного в переулке, был загородный дом и у моего свекра Янькова: с а д спускался к Москве-реке, дом был деревянный, просторный, но одноэтажный [...] Немного подалее был дом князя Михаила Ивановича Долгорукова на Пометном Вражке с очень большим местом частью под палисадником, частью под пустырями, и я думаю, что Долгоруковы более ста лет владели этим загородным двором. По этой же стороне был дом Прозоровского, и так вплоть до Зубова всё загородные дворы». См. рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989, 163 (топонимия «Девичьего» локуса долгое время сохраняла [а кое-что осталось и до сих пор] память об этих владельцах «загородных домов-дворов» — Трубецких, Нащокиных, Оболенских, Долгоруковых, Лопухиных, Олсуфьевых). Девичье поле и вся эта округа была хорошо знакома рассказчице: «[...] после свадьбы мы переехали с мужем в другой дом, который у него был у Неопалимой Купины, в переулке. [...] Дом был деревянный, очень большой, поместительный, с с а д о м, о г о р о д о м, и о г р о м н ы м п у с т ы р е м, где весною, пока мы не уедем в деревню, паслись наши две или три коровы». Там же, 64, ср. также 52 — о загородном доме М.И.Долгорукова у Девичьего поля наряду с городскими домами: «Когда средства поубавились, то загородный дом стал городским». Тема московских садов в этих воспоминаниях — сквозная и во многих случаях дорогая рассказчице: для нее детство, юность, молодость неотъемлемы и от конкретных садов, и от самой садовой стихии.

Некоторые уточнения (впрочем, недостаточные) относительно того, когда Воейков жил в своем «поддевичьем» доме и когда он не мог там жить, извлекаются из его «Записок». Ср.: «Я, будучи записан с колыбели в конной гвардии, вступил в действующую службу в конце 1796 года; вскоре по восшествии на престол Павла I — 18-го января 1797 г. был произведен в офицеры; в конце

1798 исключен из службы, а в январе 1800 г. опять принят на службу. Я был в эти четыре года сто раз арестован, мне запрещен был въезд в обе столицы» (Воейков 1874, 581= Воейков 1861). Но с осени 1800 года (по меньшей мере) он снова в своем «поддевическом» доме. Именно тогда начались те «нездешние», но мимолетные, меньше года длившиеся, дни, память о которых стала священной. Конечно, встречи с друзьями в этом доме продолжались и позже. С. П. Жихарев вспоминает о «разгульном обеде» у Воейкова, после которого Мерзляков заспорил с «амфитрионом» о красноречии (запись от 12 октября 1806 г.), ср. запись от 27 февраля 1806 г.: «У Палицына встретился я с Алексеем Дурновым, родным племянником земляка твоего Александра Воейкова, который задает такие славные литературные вечера и попойки Мерзлякову, Жуковскому, Измайлову, Мартынову, Сумарокову, Качановскому и многим другим у себя в доме на Девичьем поле» (см. Жихарев 1989, I, 220; II, 17).

[2] Справочник 1818 года постоянно отмечает здесь такие участки, как *порозжая земля, пустопорозжая земля, пустая земля, обгорелая земля, луговая земля, огородная земля* и т.п. См. Алфав. список 1818, 12, 14, 16; ср. также в Кочках, в 4 квартале: *Цыклерова луговая земля* (№ 375).

[3] «Капустная» тема не раз возникает в описаниях этого локуса. Типичный пример — «Теперь очередь за огородами. За садом идет наш «луг», луговинка, заканчивающаяся «ямой», которая заросла крапивою [...]. К нашему лугу с трех сторон примыкают огороды [...]. На одной прилегающей к лугу полосе к а п у с т а» (Гиляров 1904, 328). Возникает соблазн связать с «новодевичьим» локусом похороны, с описания которых начинается «Доктор Живаго», — «осенние пустыри и главы монастыря», кладбище при монастыре, пустующий огород, где, однако, осталось «несколько муаровых гряд посиневшей от холода к а п у с т ы», доносимые ветром «плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов». Однако две-три других детали ставят эту локализацию под некоторое сомнение, не проясняя, впрочем, возможность иной локализации в достаточной мере (правдоподобный «даниловский» локус также вызывает некоторые сомнения). — Само название урочища *Ко́чки*, непосредственно связанное с апеллятивом *ко́чка, ко́чки*, обозначающим бугорки, вздутия на поверхности земли, своим корнем *коч-* могло также отсылать и к «капустной» теме, ср. *коч* 'кочки', 'кочкарник', но и 'кочан капусты' (СРНГ 15, 1979, 122), *ко́ча́н, ко́чень, кочёра, кочера́, кочеры́га, кочеры́жка, кочеры́жина, кочеры́жник* и др. (там же, 125-128), ср. также др.-русск. *кочань, кочань, качань* 'кочан капусты', но и 'membrum virile' (см. ЭССЯ 10, 1983, 103-107). — К сочетанию кочек и именно Новодевичьего монастыря ср. у Андрея Белого: *Кладбищенский убогий сад / И зеленеющие к о ч к и* [...] («Ночью на кладбище», 1908).

[4] На последнем предреволюционном плане Москвы («суворинском») граница между обжитым пространством и пустырями и огородами («кочки») проведена очень четко и, судя по всему, мало отличается от того, что было здесь на рубеже XVIII и XIX веков. Пустыри и огороды на этом плане занимают весь полукруг Лужников (на юго-западе) и пространство к востоку от ул. Малые Кочки вплоть до Москва-реки и к северу вплоть до Хамовнических казарм и плаца.

[5] В этой борьбе «природы» и «культуры» первая побеждала на периферии — города ли, урочища или домового участка, — а вторая тяготела к дому и прилегающей к нему непосредственно территории — часто беспорядочно и наспех (якобы «экономно») построенные «службы», число которых множи-

лось и на должное содержание которых не хватало ни времени, ни средств. К сожалению, и дому и запущенному саду в том виде, какой они сохраняли в конце XVIII — первой четверти XIX века, вскоре пришел конец, а «вторичный» хаос, возникший из распада прежней гармонической органичности, возобладал почти всюду: он вытеснил «природу», изолировал дом, постепенно внедряясь в него и внося запустение и беспорядок. Двор как носитель этого духа распада, разрухи, бесхозяйственности и безответственности побеждал и «природу», и «культуру», ибо *разрушать* (*ломать*) — *не строить*. Уместно вспомнить проницательное наблюдение Герцена: «В Москве дом окружен двором, а в Петербурге двор — домом» (ПСС, т. XIII, 139). — Интересно, однако, что нувориши 20-30-х годов XIX века, из купцов и крестьян, ставших предпринимателями, устраивали себе эту запущенность садов, лишенных внимания и забот человека, как образец, наряду с «роскошными» дворянскими садами. Уже упоминавшийся владелец ситцевой фабрики Семен Афанасьевич наставлял своего архитектора: «А из комнат, чтобы в сад выход был. Сад же, братец ты мой, вплоть до самой реки насади. Сделай ты мне во все стороны дорожки и обсади во вкусе деревьями и кустами. Да беседки, где лучше, поставь разного калибра. Видел, там пруд есть? Так ты его пошире выкопай, да обровняй, и посередке чтобы горка из воды подымалась, а на ней тоже беседку построй — сиренью или акацией обсади. Чай там будем пить. Да не забудь, чтобы на пруду-то можно было на шлюпке кататься. С этой стороны земля повыше — так устрой, чтобы на пристань, где шлюпке стоять, два хода было — один наверху, а другой под землей. За прудом же я хочу устроить ходы такие безвыходные... лабиринт. Надо тут кругами глухие дорожки пустить, вот как в Царицыне... так что иной раз забредет кто — пущай и не выбрался бы» (Милюков 1872, 6-7).

[6] О том, что представляло собой пространство з а Новодевичьим монастырем еще в начале нашего века, можно судить по описанию С. М. Соловьева (Сережи) в тексте под названием «Начало самостоятельной жизни», в эпизоде мучительного расставания с любимой: «Оставьте мне по крайней мере этот платок. — Пальцы Наташи разжались. Я схватил платок и выбежал на улицу. Я направился к Новодевичьему монастырю и дальше. Уже монастырь был далеко позади: я бежал по выгонам, мимо стад, мимо огородов. Дальше, дальше, только бы исчезли все следы жилья, все следы человеческие. Наконец я остановился. Золотые главы монастыря сияли далеко. Кругом не было ни души. Я упал на траву: мне казалось, что меня режут на части ножами. Я упал на дно какого-то черного колодца [...] я не понимал, что происходит, что теперь надо делать» (Соловьев, 12).

[7] Подробнее об этом — в неопубликованной работе автора «Московские сады XVIII века».

[8] Собрания «Дружеского литературного общества» продолжались, собственно, с 12 января 1801 года, когда был принят «Устав», по 1 июня, когда состоялось последнее собрание Общества. Однако есть основания думать, что «неорганизованные» встречи начались раньше, с осени предыдущего года. Осенью 1801 года собраний уже не было, хотя, кажется, до ноября друзья продолжали встречаться в доме Воейкова. За этот год ситуация в России резко изменилась. Был убит Павел, на престол вступил Александр I, жизнь предъявляла новые требования и открывала новые возможности перед членами «Общества», и большинство из них, лучшие представители молодого поколения, откликнулись на эти требования. Каждый из них, дорожа общим счастьем дружеских встреч, вдруг вспомнил и о себе самом, о чем-то своем и

устремился к нему. В ноябре 1801 года Андрей Тургенев уехал в Петербург (откликом на этот отъезд было стихотворение А. С. Кайсарова «<А. И. Тургеневу>», написанное 4 ноября 1801 г., с заключительными строками — *С тобою должен я, мой милый друг, расстаться! / Счастливым можно ли ввек смертному остаться?! / А мне назначено суровою судьбой / Далёко от тебя вести в тоске век свой!*). Весной 1802 года Жуковский оставил Москву, уехав в Мишенское. В том же году отправились учиться в Гёттинген Андрей Кайсаров и Александр Тургенев. — О «Дружеском литературном обществе» см. Резанов 1906, 176-275 и особенно Истрин 1910, 273-307; Истрин 1913, 1-15. — Из последних по времени работ, в которых немало говорится об Андрее Тургеневе (в частности, и в контексте «поддевического» круга), ср. Вацуро 1994.

[9] Разумеется, люди, собиравшиеся в «поддевическом» доме Воейкова, были очень разными, как выяснилось позже, иногда даже противоположными по своим устремлениям, но *тогда*, в *тот* год и в *том* доме их всех соединило некое общее настроение, единый духовный порыв. Такое состояние обычно не бывает продолжительным. Так произошло и в этом случае. Но это общее б ы л о, и память о пережитом сохранялась с благодарностью.

[10] Из сказанного, однако, не следует, что члены общества были настроены тираноборчески. Отношение к Павлу, насколько об этом можно судить, было более сложным и дифференцированным; к тому же в целом кроме одного-двух участников Общество было слабо политизировано, и его членов в общественной жизни волновали более близкие явления. Тем не менее интерес к Павлу существовал, о чем, в частности, свидетельствуют два рукописных текста из Архива Воейкова, хранящегося в Публичной Библиотеке (СПб.), — «Генерал Бенигсен» (Ф. 151, оп.1, ед. хр. 7) и «Дворцовая революция 1801 г., ее причины и следствия» (Ф. 151, оп.1, ед. хр. 9). Оба эти текста в дошедшем до нас виде относятся уже к 1830-ым годам, хотя несомненно, что они отражают настроения автора более ранних лет.

[11] Автограф стихотворения — в Рукописном отделе Института русской литературы (СПб.). -- Разрядка здесь и далее наша (*В.Т.*). — Это стихотворение, составляющее одну фразу, построено достаточно искусно. Оно представляет собой своего рода надпись-указатель к «воейковскому» дому и саду. В главном (грамматически) предложении — торжественное указание на локус и как бы акт увековечения его. Это предложение принципиально безглагольно: глагол мешал бы концентрированности указания, занимающего два первые стиха, и установке на назывательную функцию, на привлечение внимания к главному (прагматически). В придаточной части стихотворения (четыре последних стиха) лишь один, но дважды повторенный verbum finitum — *клялися* (*Клялись*), но она главная содержательно: она о том, ради чего нужно указание на «воейковский» локус, — о радости сердец, о любви к отечеству, о клятве *вечно быть друзьями*, запечатленной слезами и данной *своей душой*. — К *Клялись своей душой, /* [...] */ Любить Отечество* [...] см. стихотворение Андрея Тургенева "К Отечеству" (Вестник Европы 1802, № 4, 277): *Сыны Отечества клянутся! /*[...] */ Тебя, отечество святое, / Тебя любить, тебе служить — / Вот наше звание прямое! / Мы жизнию своей купить / Твое готовы благоденство. / Погибель за тебя — блаженство, / И смерть — бессмертие для нас!*, а также его речь на тему любви к отечеству, произнесенную на заседании Общества 7 апреля 1801 года в том же «поддевическом» доме Воейкова. Текст речи см. Лотман 1956, 334-336, ср. также 323-334, 338 (черновая рукопись — ГПБ. Архив Жуковского В.А., оп.2, ед. хр. 326, лл. 9, 10, 11, 8).

[12] Такое воспоминание прошлого, вновь переживаемого в настоящем, обычно соединяют с тем душевным или сердечным в о л н е н и е м, которое уподобляют дрожанию струн, что как бы вновь актуализирует внутреннюю форму праславянских и индоевропейских источников слова *воспоминание* — **vъz-po-min-ati* : **vъz-po-mę-nuti* (к и.-евр. корню **men-*, обозначавшему некое психоментальное возбуждение, высокочастотное дрожание-вибрирование).

[13] См. Вернадский 1917, 244. Автор отмечает, что эта важная внутренняя работа оказалась «наиболее прочной частью всей масонской деятельности» (сто́ит напомнить, что отцом братьев Тургеневых был один из виднейших масонов своего времени, человек возвышенного духа Иван Петрович Тургенев).

[14] Время еще не состоялось (и, может быть, не состоится вообще), но забота о том, чтобы его «помнить», уже есть. Более того, само воспоминание оказывается чуть ли не значительнее того, о чем воспоминается, хотя без последнего, строго говоря, не может быть и первого. В этом забегании вперед, как бы опережая сам объект воспоминаний, один из парадоксов становящегося все более самодостаточным пространства воспоминаний.

[15] Цитировано по Истрин 1910, 275-276.

[16] Кайсаровых было четверо братьев.

[17] См. Истрин 1910, 277; Письма 1987, 382-383.

[18] См. Тургенев Андрей Иванович. Дневник. Автограф, 1801, январь 29 — 1803 июня (Институт русской литературы. СПб., Ф. 309, оп. № 272, л. 16).

[19] Опять нетривиальное воспоминание о том, что только еще будет («вспомнил [...], что через полтора месяца должен буду проститься надолго с Москвою»).

[20] См. Истрин 1910, 276. По мнению автора, эти воспоминания Кайсарова относятся к весне или скорее к лету того же 1800 года, и если это так, то перед нами, кажется, самое раннее свидетельство о встречах друзей в «поддевическом» доме, по меньшей мере за полгода до начала собраний «Дружеского общества».

[21] См. Истрин 1910, 277-278, ср. 279-282.

[22] Дневник. Архив братьев Тургеневых. Фонд 309, оп. № 272, л. 46.

[23] В одном из писем к Жуковскому и Мерзлякову из Карлсбада Андрей Тургенев мечтает об уже несбыточной встрече и говорит об общем и разном как основании, которое соединяет друзей: «Как бы мы славно пожили! Общество друзей добрых, соединенных одними склонностями, одними упражнениями, и вместе разнообразных в этих же склонностях и упражнениях». И далее — мечты, не отделимые от воспоминаний, как бы переходящие в них: «Я представляю себе сумрачный осенний вечер, когда бы мы, поработав и устав в день, гуляли и собирались в общую комнату пить чай, с трубками, с книгами; ты бы или я, например, сидели задумавшись, смотря на вечерние красоты осени, которые всегда меня изумляют; Мерзляков рассуждал бы или говорил о истории, о русских героях; я бы перебивал его иногда каким-нибудь бонмо, если не острым, то по крайней мере смешливым [...]» (см. Истрин 1910а, 8).

[24] Тем не менее заслуживают быть выделенными письма Мерзлякова к Жуковскому о смерти Андрея Тургенева, письма И. В. Лопухина и Жуковского к отцу покойного И. П. Тургеневу, письмо Александра Тургенева к отцу, письмо И. П. Тургенева к Жуковскому и дневниковую запись Александра

Тургенева при наступлении Нового 1804 года, исполненную горчайших чувств.

[25] Но забота о памяти покойного друга отразилась не только в художественном творчестве Жуковского. Узнав о смерти Андрея Тургенева, Жуковский вступает в оживленную переписку с друзьями по Обществу и с отцом умершего И. П. Тургеневым. В письме от 11 августа он открывает Ивану Петровичу свой план, «которого исполнение зависит от воли Вашей». И далее этот план излагается: «Позвольте мне сделать выбор из писем А.И., в которых так видна душа его, благородная и необыкновенная, и быть их издателем. Это будет лучшим его п а м я т н и к о м . Письма эти суть всё, что осталось от человека единственного, который мог бы быть украшением своего отечества. Напечатав их, докажу ему, что память его мне драгоценна. [...] Ах, я не таким образом надеялся доказать ему свою дружбу» (Письма 1895, 11). Эти планы Жуковского не осуществились не по его, надо думать, вине. Но другой памятник, надгробный, в виде простой урны на цоколе, на могиле Андрея Тургенева на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, Жуковский поставил в 1805 году. Через два года рядом был похоронен и Иван Петрович, отец поэта, память о котором также была дорога Жуковскому. Общий памятник отцу и сыну был сделан по проекту поэта. После революции памятник был уничтожен. — См. Турчин 1984, 220, 227.

[26] Можно думать, что целый ряд образов и мотивов этого стихотворения Жуковского («Певец») получил отклик в теме Ленского у Пушкина, ср.: *Он п е л л ю б о в ь , любви послушный, /*[...] *Он п е л разлуку и п е ч а л ь , /*[...] */ Он п е л поблеклый жизни ц в е т / Без малого в осьмнадцать лет; — Одна привычная п е ч а л ь ; — Его перо л ю б о в ь ю дышит; — М л а д о й п е в е ц / Нашел безвременный конец!* / [...] *ц в е т прекрасный / У в я л на утренней заре; — Друзья мои, вам жаль п о э т а : / Во ц в е т е радостных надежд, /* [...] *У в я л ! ; — Мой бедный Ленский! за м о г и л о й / В пределах вечности глухой / Смутился ли п е в е ц унылый, /*[...]

[27] *Один исчез из области земной / В объятиях веселыя Надежды,* — скажет Жуковский об ушедшем друге.

[28] Ср.: *Ах! с нами, друг, и прежний мир пропал; / Пред опытом умолкло уповань; / Что в* оны дни *будило радость в нас, / То в нас* теперь *унылость пробуждает; / Во всем, во всем прискорбный слышен глас, / Что ничего нам жизнь не обещает. / И мы еще, мой друг, во цвете лет! / О беден, кто себя переживет! / Пред ним сей мир, столь некогда веселый, / Как отчий дом ужасно опустелый: / Там в старину всё жило, всё цвело, / Там он играл младенцем в колыбели; / Но время всё оттуда унесло, / И с милыми веселья улетели; / Он их зовет... ему ответа нет; / В его глазах развалины унылы; / Один его минувший жизни след: / Утраченных безмолвные могилы* («Тургеневу в ответ на его письмо»). Память о безвременно скончавшемся друге воплощалась и в том, что не раз Жуковский шел как бы по следу Андрея Тургенева, продолжая е г о работу, в частности и над теми же текстами. Поразителен пример с переводами гетевского «Zueignung» (1784, посвящение, предшествующее мистической поэме «Die Geheimnisse»). И.Ю.Виницкий установил, что фрагмент из дневника Тургенева («Утро — приход его прогнал мирный сон, который тихо обнял меня; я проснулся...» и т.д., см. ИРЛИ, ф. 309, № 272, л. 12об.-13) «не что иное как построчный перевод семи первых строк знаменитого “Zueignung”» (ср.: Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte. | Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing, | Das ich, erwacht... и т.п.). Тот же исследователь напоминает, что в 1819 г. Жуковский обращается к стихотворному переводу того же текста ге-

тевского «Zueignung» (впервые опубликованного под заглавием «Утро в горах» [*Взошла заря. Дыханием приятным | Сманила сон с моих она очей...* и т.п.] в 1873 г. Наконец, «стихотворный "портрет" великого поэта, созданный в 1818 году ("Свободу смелую приняв себе в закон...") — *известное переложение стихотворения Андрея Тургенева, написанного на обложке подаренного Жуковскому томика "Страданий юного Вертера" — того самого, что был куплен у Горна в 1801 году и включал в себя "Zueignung"*. Программное для веймарского классика "Zueignung" [...] могло осознаваться Жуковским как *высокий образец посвящения в поэзию вообще*». См. Виницкий 1996, 60-61, 65-66, ср. также 55 и Зорин 1995-1996, 7-35.

[29] Александр Иванович Тургенев помогал устроить Пушкина в Лицей, сыграв при этом решающую роль, и он же вез тело Пушкина в Тригорский монастырь и присутствовал при его погребении, — практически один из всех старых его друзей (раньше Пушкина знал из присутствовавших один только Никита Козлов: «Я на руках его нашивал», — говорил он). — Надо полагать, что александро-тургеневское отразилось и в образе Ленского, каким бы это ни показалось странным. Во всяком случае уже только *С душою прямо геттингенской* и *И кудри черные до плеч* заставляют предпочесть фигуру Александра Тургенева в качестве одного из прообразов Ленского Андрею Тургеневу, который, как думал Веселовский, тоже мог отразиться в этом образе.

[30] Двучленность рассматриваемого здесь образа — лишь самое внешнее и общее его определение. 1-ый стих отмечен в ряде отношений. Он целиком совпал с образом или, иначе, образ полностью уложился в стих, исчерпав его. Это обстоятельство, конечно, способствовало тому, что стих, построенный, кстати, как некий канонический зачин по предписаниям еще классицистической поэтики, относящимся к текстам «высокого» стиля, легко был заполнен и стал образом, своего рода статической картиной (безглагольность, два номинативных фрагмента с установкой на демонстрацию, на четкое зрительное восприятие). Стих построен просто и прозрачен для читателя, и все-таки нельзя пренебрегать деталями, часто не улавливаемыми с первого взгляда. Поэтому за очевидной простотой его обнаруживается и более глубокий уровень продуманности, не сразу замечаемой искусности. Прежде всего стих сочетает в себе идею последовательности, этапы которой помечаются двойным *Сей... сей...*, с идеей симметрии: Adj. & Subst. (Nom. Sg. masc.) | Subst. & Adj. (Nom. Sg. masc.), конкретно — **ветхий дом | сад глухой.** Важная особенность начального стиха — его короткость (8 слогов) при короткости составляющих его слов (четыре слова из шести односложны [они занимают нечетные места в стихе] и два слова двусложны [они на четных 2-ом и 6-ом местах]). Эта особенность делает стих отмеченным по контрасту с двумя следующими «длинными» стихами (по 13 слогов) и завершающим шестым стихом (тоже в 13 слогов), которому предшествует как бы переходный пятый стих в 9 слогов. В этих «длинных» стихах — «длинные» слова (*соединенных*, 5 слогов; *Убежище, Запечатлев, отечество*, по 4 слога; *в радости, клялися, слезами, друзьями*, по 3 слога). Вместе с тем контраст не исчерпывает отношения начального стиха с другими. Первый стих соотносится с четвертым стихом, тоже восьмисложным, в котором, кстати, содержится некое основное действие стихотворения, несмотря на его оттесненность в придаточное предложение (это действие предварительно обозначено уже в четвертом стихе), а именно, — *Клялись своей душой* (при *клялися перед небом* в предыдущем стихе). Тем самым «сильно-начальный» акцент первого стиха, играющего особую композиционную роль и отсылающего через обозначение реалий и дейктического *сей* к

месту сему, перекликается со столь же «сильным» смысловым акцентом четвертого стиха. Заслуживают внимания и характерные черты фонического уровня. Поскольку *Сей*, открывающее стих и все стихотворение, как и второе *сей* в этом стихе, не просто обозначают э т о т дом и э т о т сад (а не какие-либо иные дома или сады), но являются двойным знаком начала, введения во всю ситуацию, актуализации представляемой далее картины вплоть до иллюзии непосредственного личного присутствия читателя in situ перед реальным воейковским домом и садом, это *сей*, несомненно, должно трактоваться как в известном смысле полновесное и «сильно-ударное» слово (из русской классической литературы известно, к а к «ударяли» на *Се* или *Сей* в традиции чтения стихов «высокого» стиля, восходящей еще к XVIII веку; видимо, так эти *Се* или *Сей*... мог читать еще какой-нибудь тургеневский Пунин — «Он не читал, он выкрикивал их торжественно [...]»). В этом случае первый стих оказывается не только перенасыщен ударными слогами (6 ударных из всего 8), но и *é*-ориентирован — половина всех ударных слогов, причем два первых слога имеют ударение на *é*, что, собственно, и задает фоническую доминанту текста, поддержанную и усиленную («абсолютную») вторым стихом, где все четыре ударных слога приходятся на *é* — *Убéжище друзéй, соединéнных Фéбом*. Всего в стихотворении 14 ударных (, что существенно больше половины всех ударных слогов. При этом «фонический» *é*-текст, начавшись с *Сей ветхий.., сей..*, подверстывает ряд безусловно семантически отмеченных слов или — другой подход — делает их таковыми (ср. *Убéжище, друзéй, соединéнных, Фéбом, сердéц, перед нéбом, своéй /душой/, Запечатлéв обéт, отéчество, вéчно*). Из остальных 11 ударных слогов четыре приходится на *á* (*сáд, в рáдости, слезáми, друзьями*), три на *и́* (*Клялúся, клялúсь, Любúть*), два на *ó* (*дóм, глухóй*, оба в первом стихе), один на ы (*быть*). Не касаясь других деталей этого уровня, стóит все-таки сказать о двух значимых и к тому же «классических» противопоставлениях ударных гласных в первом стихе: *ó* -- *á*, лабиальный — нелабиальный, оба непереднего ряда (*дом — сад*, ключевой смысловой центр) и *é* — *ó*, нелабиальный переднего ряда — лабиальный непереднего ряда (*вéтхий — глухóй*, характеристики слов, образующих смысловой центр). Показательно также нарушающее обычные статистические соотношения ударных гласных в тексте отсутствие ударного *ý*. Наконец, нужно отметить, что «графически-изобразительный» уровень, определяемый в данном случае длиной стихов, в свою очередь сильно зависящей от числа слогов в строке, характеризуется «рисунком» (геометрической фигурой) особого, но «правильного» вида, напоминающего о подобных же барочных украшениях:



[31] Зато об этой запущенности сада (а иногда и дома) можно с достаточной надежностью судить по реконструкциям — будь то поэтические образы сада (и дома), созданные значительно позже того, что описывается (ср., например, начало первого романа из «Хроники четырех поколений» Всеволода Соловьева, в таких случаях исторически точного, — «Сергей Горбатов», где описывается и запущенный сад, и запущенный дом в Горбатовском; ср. отчасти изображение такого же сада в имении бабушки рассказчика в тургеневском «Пунине и Бабурине»), или исследования-описания московских домовладе-

ний, в частности, и садов, относящиеся к XVIII веку и более раннему времени (см. Сытин 1950-1954).

[32] К *дикой* ср. у Пушкина — *Тебя молю, мой добрый домовой, / Храни селенье, лес и д и к о й садик мой* или — в связи с мотивом памяти-забвения — *Потомство грозное не в с п о м н и т обо мне, / И гроб несчастного, в пустыне мрачной, д и к о й, / Забвенья порастет ползущей повиликой* (ср. ... *прелестью картин / Природы д и к о й и угрюмой*). К *ветхий* — *Наша в е т х а я лачужка, / И печальна и темна*, однако Пушкин выбирает *бедный* — *бедное жилище*. *Глухой*, присутствующее в образе сада у Андрея Тургенева и замененное на *дикой*, как и *глушь*, частые элементы пушкинского словаря, но здесь поэт предпочитает более интенсивное обозначение сада — *дикой*, тем более что оно было поддержано и французской поэтической традицией того времени (ср. *jardin sauvage*). В том же «Евгении Онегине» ср.: *В г л у ш и, в деревне все вам скучно; — В г л у ш и забытого селенья; — В г л у ш и что делать в эту пору?* и даже *за могилой / В пределах вечности г л у х о й* где ... *равнодушное забвенье / За гробом ожидает нас* (ср. подчеркиваемую не раз связь глуши с забвением). Характерна и совместная встречаемость дома и сада — *С холма господский видит д о м, /* [...] */ И с а д над светлою рекою. /* [...] */ Взгляну на д о м, на этот с а д* и т.п.

[33] Всего у Пушкина семь стихотворений, озаглавленных как воспоминание.

[34] Ср. ахматовское воспоминание о Царскосельском саде — *Здесь столько лир повешено на ветки..*, воспроизводящее пушкинский ход. И о беспамятстве и памяти сильнее смерти, по ту сторону жизни — *Я в беспамятстве дней забывала теченье годов, — / И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою / Очертанья живые моих царскосельских садов.*

[35] Вместе с тем, есть основания думать, что все эти мраморы, обелиски, монументы скорее лишь подступ к «верхнему» слою воспоминаний. Их роль — в указании на различие между «вещной» и невечной памятью и живым воспоминанием, в глубине своей питающимся переживанием природы в разных ее состояниях, которое позже, от нее оторвавшись, питается уже иным — запросами духа, совестью, велениями сердца, глубокими размышлениями. Не одно такое воспоминание посещало Пушкина, ср. «Воспоминание» (*Когда для смертного умолкнет шумный день*...) и др., а также «... Вновь я посетил...», где воспоминание о прошлом незаметно переходит в размышления о будущем параллельно изменениям в природе (ср. важность здесь «растительной» темы). Воспоминание и забвение — во взаимодополнительном распределении. Чем насущнее угроза забвения, тем сильнее и упорнее противостоит ему воспоминанис. Таковы же взаимные отношения жизни и смерти, соотносимых соответственно с воспоминанием и забвением, и с членами обеих этих пар связана природа, ее растительное царство. В этом смысле обычное русское кладбище — тот же сад, в котором внешние знаки памяти на могилах рождают воспоминания о дорогих покойниках, отсылающие в конце концов и к мыслям о себе, своей смертности и своей смерти. *Я дома, ты в гостях, / Подумай о себе,* — заботливо советует могильная надпись, и мы прислушиваемся к ее словам. Этот з д е ш н и й сад напоминает о н е з д е ш н е м, о царстве смерти, ставшем для ушедших последним безвечным домом, который упорно стремятся представить себе в образе сада *иного* мира, но все-таки с растениями — бледными, покинутыми жизнью цветами загробного луга. Обо всем этом участникам встреч в воейковском доме не могло не напоминать кладбище Новодевичьего монастыря, в двух шагах от «поддевического» урочища. Но

они были слишком молоды и полны жизнью, чтобы думать о смерти. Однако топика запустения, упадка и смерти в царстве растений была им знакома: *сад глухой* в осеннюю пору напоминал им об этом. Век спустя для другого круга молодых (за редкими исключениями) людей Новодевичье кладбище стало некиим жизненно важным знаком. Память о дорогих ушедших вела сюда и Андрея Белого, и Сережу Соловьева, и их друзей и родственников, и Вячеслава Иванова (*Но вечер тот в душе запечатлен. / Плыл, паруса развив, ковчегом новым / Храм облачный над спящим Соловьевым; / А за скитом, в ограде внешних стен, / Как вознесенный жертвенник, молила / О лире в небе Скрябина могила.* — «Новодевичий монастырь»). Здесь было место воспоминаний и связанных с ними рефлексий («*Жизнь, — шепчет он, остановясь / Средь зеленеющих могилок, — / Метафизическая связь / Трансцендентальных предпосылок. / Развеется она, как дым: / Она не жизнь, а тень суждений...*» / *И клонится лицом своим / В лиловые кусты сирени*), но этот *Кладбищенский убогий сад / И зеленеющие кочки*, эти дрожащие над памятниками и потрескивающие огонечки, бывало, заставляли переживать и чувство обмирания и умирания — *О, сердце тихое мое, / Сожженное в полдневном зное, — / Ты погружаешься в родное, / Холодное небытие.* Но все это — особая тема. Остается только напоминать, что на Новодевичьем был похоронен и Александр Тургенев, некогда участник встреч в «поддевическом» доме, хранитель памяти об умершем брате, причастный к канонизации образа, созданного Андреем Тургеневым.

[36] Эта поэма Каролины Павловой была посвящена ею другому поэту запустения (ср. одноименное стихотворение), Баратынскому, чье «Запустение», кажется, отразилось и в цитируемом фрагменте поэмы.

[37] Об этом «старом доме» Огарев писал в 70-е годы и в своих «Записках русского помещика».

[38] Разумеется, нужно помнить и о таких же садах русской прозы. Достаточно указать на подобное описание сада в плюшкинской деревне, в своем запустении не отделимого от дома («С т а р ы й обширный, тянувшийся позади д о м а с а д, выходивший за село и потом пропадавший в поле, з а р о с ш и й и з а г л о х л ы й, казалось, один освежал эту заглохшую деревню и один был вполне живописен в своем картинном о п у с т е н и и [...]» и т. д. — «Мертвые души»), или на многочисленные образы таких садов у Тургенева.

[39] Дом был всегда и всегда был на виду. Идея дома возникла рано и сразу стала понятной. Сад вне его утилитарного, хозяйственно-экономического, подчиненного дому значения, сад как идея возник несравненно позже — не раньше, чем сложилось «чувство природы» и человек нашел в саде еще одно зеркало своей души.

ЛИТЕРАТУРА

Алфав. список 1818 — Алфавитный список всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. М., 1818.

Вацуро 1994 — *Вацуро В. Э.* Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994.

Вернадский 1917 — *Вернадский Г. В.* Русское Масонство в царствование Екатерины II Пг., 1917.

Веселовский 1918 — *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918 (1-е изд. — 1904).

Воейков 1861 — *Воейков А. Ф.* Из записок А. Ф. Воейкова // Исторический сборник, кн. II, 1861, см. Воейков 1874.
Воейков 1874 — *Воейков А. Ф.* Дом сумасшедших. Сатира А. Ф. Воейкова 1814-1838. СПб., 1874.
Виницкий 1996 — *Виницкий И.Ю.* Посвящение в поэзию // Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т.II, № 1. СПб., 1996.
Гиляров 1874 — *Гиляров Ф. А.* Воспоминания // Русский Архив 1904. кн. 1. № 1-2, № 3-4; кн. 2, № 5-6.
Жихарев 1989 — *Жихарев С. П.* Записки современника. I-II. СПб., 1989.
Зорин 1995-1996 — *Зорин А.Л.* У истоков русского германофильства (Андрей Тургенев и Дружеское литературное общество) // Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В.Э.Вацуро. М., 1995-1996.
Историч. родослов. 1792 — Историческое родословие благородных дворян Воейковых и проч. и проч. Собранное игуменом Ювеналием Воейковым. М., 1792.
Истрин 1910 — *Истрин В.* Дружеское литературное общество 1801 (по материалам братьев Тургеневых) // ЖМНП. Новая серия, часть XXVIII, 1910, август.
Истрин 1910а — *Истрин В.* Из архива братьев Тургеневых. Смерть Андрея Ивановича Тургенева // ЖМНП. Новая серия, часть XXVI, 1910, март.
Истрин 1913 — *Истрин В.* Из документов Архива братьев Тургеневых // ЖМНП. Новая серия, часть XLIV, 1913, март.
Лотман 1956 — *Лотман Ю. М.* Стихотворение Андрея Тургенева «К Отечеству» и его речь в «Дружеском литературном обществе» // Литературное наследство. Т. 60. М., 1956.
Мерзляков 1958 — *Мерзляков А. Ф.* Стихотворения. Л., 1958.
Милюков 1872 — *Милюков А.* Доброе старое время. СПб., 1872.
Письма 1895 — Письма В. А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу. М., 1895.
Письма 1987 — Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. Публикация В. Э. Вацуро и М. Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура. Сборник научных трудов. Л., 1987.
Покол. роспись 1789 — Поколенная роспись, или родословная благородных дворян Воейковых [...]. М., 1789.
Резанов 1906 — *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906.
Соловьев [б.г.] — *Соловьев С. М.* Начало самостоятельной жизни // Шахматовский вестник № 2. Памяти С. М. Соловьева 1942 — 2 марта — 1992.
СРНГ 1965 и сл. — Словарь народных русских говоров, вып. 1 и сл. Л., 1965 и сл.
Сытин 1950-1954 — *Сытин П. В.* История планировки и застройки Москвы. Материалы и исследования. Т. I-II. М., 1950, 1954.
Турчин 1984 — *Турчин В. С.* Надгробные памятники // От Средневековья к Новому времени. М., 1984.
Указат. Москвы 1793 — Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов сей столицы. Ч. 1-2. М., 1793.
ЭССЯ 1974 и сл. — Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 1974 и сл.

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Н. И. Голубева-Монаткина

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
О РУССКОЙ «ЭМИГРАНТСКОЙ» РЕЧИ В КАНАДЕ

I. Русская речь появилась в Канаде лишь в самом конце XIX века, и до февраля 1917 года в страну приехали уже около пятидесяти тысяч граждан России [Канада, 1967]. Это были как члены христианской общины духоборов (или духоборцев), потомки которых сохранили свой русский язык до сих пор, так и стремящиеся найти работу эмигранты из западных губерний, бежавшие политические ссыльные, революционеры. В начале века они образовали русские колонии, в частности, в западных провинциях и ряде городов — Виндзоре, Торонто, Ванкувере, Монреале [Окулевич, 1952]. «Экономические эмигранты» того периода были часто очень бедны, совсем необразованны и практически не оставили «русского следа» [Tarassof, 1966; Russian, 1983].

Между двумя мировыми войнами русская эмиграция в Канаду была сравнительно невелика количественно (по разным данным, в 1931 году здесь жили от девяноста до ста сорока тысяч русских [Russian, 1983; The Canadian, 1995]), неодинаковой политической и религиозной ориентации, разного образовательного, профессионального и культурного статуса. Это были ищущие заработка жители бывших западных частей России, староверы, еще две группы духоборов и т. н. белоэмигранты (интеллигенция, военные, чиновники), которые стали, в основном, работать на заводах и в сельском хозяйстве [Russian, 1983].

После 1945 года и до начала 1960-х годов на север Америки перебралось немало бывших советских граждан, которые во время второй мировой войны были угнаны на работу в Германию, находились в плену или добровольно присоединились к отступающим немецким войскам, и представителей первой послеоктябрьской эмиграции, живших до этого вне России. Эмиграция этих десятилетий (в 1951 году, например, здесь проживают около ста девяноста тысяч русских по стране рождения и тридцати девяти тысяч русских по родному языку [The Canadian, 1995]) оставила в Канаде свой как общекультурный, так и языковой след [Могилянский, 1976; Russian, 1983].

В данной статье на материале магнитофонных записей, сделанных автором в Канаде в начале 1995 года, рассматриваются некоторые

особенности русской речи современных представителей трех эмиграций — потомков тех, кто уехал из России после 1917 года («первая волна») или по разным причинам покинул нашу страну во время второй мировой войны («вторая волна»), а также канадских духоборов.

II. В Канаде до сих пор звучит «староэмигрантская» русская речь. Это тот существующий сейчас лишь в устной форме язык, на котором говорили эмигранты «первой волны», жившие до переезда в эту североамериканскую страну в Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии, Польше, Франции, Бельгии, Китае, и который до настоящего времени используется их потомками. Влияние «староэмигрантской» речи ощущается также у тех представителей других русских эмиграций, которые изучали русский язык в учебных заведениях Западной Европы и Америки под руководством представителей «первой волны» и/или долгое время тесно с ними общались.

В основе этой речи лежит кодифицированный литературный язык, который используется для неофициальной коммуникации (в семье, дружеской среде), то есть обслуживает ту сферу, где у носителей литературного языка современной России «царит» разговорная речь. Последнюю в Канаде, как и во Франции, представители «первой волны» не знают, и лишь у самых пожилых и иногда людей среднего поколения может встретиться «разговорное» произнесение некоторых употребительных слов ([*вапще́*] 'вообще'; [*диси́тна*] 'действительно'; [*кадá*] 'когда' и др.).

Вот пример канадской «староэмигрантской» речи — фрагмент рассказа о поездке в Россию на Конгресс соотечественников в 1991 году, записанный в Монреале от информанта 1920 года рождения: *А ... был я в Петербурге* (...) *// Нам всякие хорошие места показывали /* (...) *и между прочим повели в дом ... это ... государственного секретаря По́ловцева // И ... гид говорит: «Вот дом Поло́вцева» / да //* (смеется) *Ну я попытался немножко сказать что я в общем / этот По́ловцев был ... моим прадедом и поэтому мне может быть знать как его звали //* (...) *насчет ударения слишком настаивать нельзя / но Поло́вцев звучит очень некрасиво / должен сказать //.*

Особенности этой речи в Канаде во многом совпадают с теми особенностями речи представителей эмиграции «первой волны», живущих сейчас во Франции, которые уже описаны [Голубева-Монаткина, 1993-1995].

Как и во Франции, речь представителей эмиграции «первой волны» в Канаде несет отпечаток русской литературной нормы конца XIX — начала XX веков (типа *библио́тека* вм. *библиоте́ка, госпиталь* вм. *больница*), словоупотребления 1930-40-х годов (типа *автомобиль* вм. *машина; соколка* вм. *майка* — информант жил в Чехословакии и состоял в спортивной организации «Сокола́»). Видны разрушительные для грамматической и лексической систем следы многолетнего

«погружения» носителей русского языка в иноязычную среду, например: исчезает четкость различения видов глагола (*Двоюродный брат (...) / которого вы может быть встречали / Борис / да // Да / отца Бориса легче встречать //* — вм. *встретить*), паронимов (*экономика / экономия — преподавал канадскую экономию*), встречаются искажения слов (*снобистическое впечатление;* (дедушка был) *губернским предводителем дворянства / и как таковой председал на суде //*).

Наиболее характерными носителями «староэмигрантской» речи являются самые старшие по возрасту «русские канадцы», родившиеся в русских семьях, православные, учившиеся в эмигрантских учебных заведениях (их было довольно много в «рассеянии»), в молодости участвовавшие в детских и юношеских эмигрантских организациях, жившие преимущественно в русской среде, состоящие/состоявшие в браках с русскими и дома, по их уверениям, говорящие по-русски, а также, нередко, их дети — среднее поколение «русских канадцев».

Но и в их речи ощущается влияние достаточно долгого пребывания в Канаде (стране все же преимущественно англоязычной) — используются варваризмы на английской основе (*они со спейсами разными делают курицу* ← spices 'специи'), английские вкрапления (*сегодня у нее meeting* вм. *собрание; смотри вот опять ambulance* вм. *скорая помощь;* (о водопроводе на даче) *чтобы сделать plumbing / воду //*).

Что касается воздействия французского языка на русский «староэмигрантский», то оно ощущается у «русских канадцев» в той же мере, что у «русских французов», и это воздействие — не канадского (франкоязычно-квебекского) происхождения, а более давнее, привезенное из Европы.

В Канаде также можно встретить представителей «первой волны», не одно десятилетие проживших в Китае и приехавших в Северную Америку нередко после пребывания в англоязычных странах (Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке), а также их потомков. В их русской речи — влияние английского языка, роль которого в Китае 1920-40-х годов была велика. Об этом говорит информант старшего поколения — сын казачьего офицера, говорящий с женой-японкой по-английски (дочь русского языка не знает): *у нас в Китае / вся коммерция / все-е предприятия / работали на английском языке //; у нас в Китае /* (...) *все предприятия / коммерческие / фактор[ъ]/ заводы / они принадлежали иностранному капиталу//* (фактор[ъ] ← factory 'завод'); *эти национальности ... нашли общий язык / который был английский //.*

Приведем еще примеры многолетнего разрушительного воздействия англофонии на родной язык этого информанта — он ошибается в выборе падежа (*разница между русского холодного оружия и японского; они нас учили тем что знали; я читаю «Русское Новое Слово» / читаю разных биографий*), предлога (*когда наши сложили оружие и перешли на китайскую границу*), паронима (*соотношение / отношение: ко-*

торое имеет прежде всего соотношение к царской России). В его речи есть региональные и просторечные черты (*про атамана Семенова ходят не особенно хорошие истории / я тоже к нему немножко охолодел //; в Канаде и в Китае я занимался по своей профессии бу*[х]*галтером* //), а также любопытно место ударения в русских названиях китайских городов (*она родилась в Тяньзане́; это на юг от Пекина́*).

В русской речи младших представителей «первой волны» есть особенности, свойственные «староэмигрантской» речи, но в целом она все же несет отпечаток выученности, темп речи медленный, слова подбираются с трудом... Старшее и среднее поколения «старых эмигрантов» высказываются о сохранении русской речи в следующих поколениях с пессимизмом.

Русская речь тех, кто родился в смешанных браках, несет отпечаток языка, который они считают родным.

Вот пример влияния немецкого языка (информантка родилась в 1922 году в Австрии, отец — русский, мать — австрийка): *Он* (отец) *мне учил /* [т]*ома конечно он не говорил / потому мать как а*[у]*стрийка / да // Но он мне хоть учил* [ш]*то такое лам*п / [ш]*то такое ст*[о]*л*[у]*л / вот такие вещи //* (смеется) *И я читать умела все-таки //* (...) *но пришлось работать / и некогда было учиться // Мне очень хотелось шко*[л']*а ходить когда я была молодая //* (...) *Но я потом / когда я вышла замуж за русский /* [неразб] *коне*[ч]*но // Мой муж из бо*[л']*гарски эмиграция / но он ум*[э]*р десять лет тому назад / к сожаленя // Так* [ч]*то м*[и] *потом говорили по-русски / дома / семья коне*[ч]*но / говорили по-русски / но я ... не успела учиться хорошо / с этой грамматикой не успела /* (...) *нужно было работать / и беспокоиться за семья / так что никогда возможность учиться //*

Приведем фрагмент речи сорокалетней информантики, которая родным языком считает французский (отец — русский, мать — француженка; более десяти лет в браке с потомком «старой эмиграции», в семье решили говорить только по-русски): (Во Франции) *хорошо дружили вместе // Так что я думаю что для детей было интересно / потому что ... здесь ... в русскую школу они не подружились / новых приезжающих // Почему не знаю // С французами / ну те которые они встречают в школе / ну ... тоже не подружили // А в лагере они вдруг нашли детей / которые были воспитаны как ... как они // Тысячи кило́метров дальше / и сразу им понравился // Дима готов пойти ... весь год в лагере //* (смеется) *Потому что так ... воспитание / церковь / все-все подходит к тому что они знают //* Здесь видна интерференция французского языка, например: *те которые они встречают* вм. *те которых ...* ← rencontrer quelqu'un; *пойти весь год* вм. *провести весь год* ← passer toute l'année (passer может означать 'пойти, пройти' и 'провести').

Самые старшие «русские канадцы» обсуждают проблемы русского языка с таким же интересом, как и самые старшие «русские французы» [Голубева-Монаткина, 1994б].

Вот ответ семидесятитрехлетнего информанта на вопрос о его впечатлении о русском языке России, где он недавно впервые побывал: *Ну что вообще конечно язык ... больше ... не совсем наш // Заметьте что у меня было ... довольно много сношений с советскими представителями в Вене / уже* (после 1945 года — Н.Г.-М.) *// Так что там я видно и почувствовал вся ... все что произошло в общем-то / вся разница которая / как сказать? образовалась между ... нашим способом говорить и ... и ну всякие н[эоло]гизмы и я не знаю что //* (...) *и потом были такие которые / в общем не слишком по-русски говорили // Как например / там ... какой-то был полковник ... украинский ... который говорил что «Решение комитета незáконно»* (смеется) //.

III. 1. Но в Канаде звучит и несколько другая русская речь, которую можно назвать «новоэмигрантской». Один ее тип имеет в своей основе кодифицированный литературный язык России 1930-40-х годов, другой — диалектные варианты русского языка этого периода.

«Новоэмигрантская» речь на основе литературного русского языка отличается от «староэмигрантской» отсутствием следов нормы конца XIX — начала XX веков, словоупотреблениями 1930-40-х годов и, как представляется, более «мягкими» последствиями «погружения» в иноязычную среду. Ее носители — те представители «второй волны», которые получили среднее и/или высшее образование еще в СССР.

Вот фрагмент этой речи: *Меня приглашали* (работать в русской приходской школе) *еще в пятидесятых годах / но я считала что я недостаточно знающая / и так далее // Но я окончила ... ну университет / факультет ... филологический / это в французском университете / это ж на славянском отделении //* (...)*Université de Montréal //* (...) *В общем старалась что-то сделать // Ну а работать пошла в библиотеку / потому что преподавать можно было устроиться в других городах / а у меня был муж и дочь / и я не могла уезжать //* (...) (В школе получали) *мы какие-то копейки / на проезд автобусный //* (...)*Ну и там каких-то двадцать пять-тридцать долларов в месяц получали // Мы не из-за денег работали / мы работали для того чтобы дать детям что-то / что-то передать //.*

Так говорит семидесятилетняя информантка, которая в Канаде постоянно жила в русской среде, была замужем за русским, работала в русском отделе большой университетской библиотеки. Но и она отмечает: (...) *но даже и у меня ударения / я сомневаюсь уже где когда какое поставить // Потому что ... вы знаете / со временем это теряется / язык / когда вы не слышите ...* .

Отсутствие всякой возможности общаться на родном языке приводило образованных «русских канадцев», носителей этого типа русской речи, к «глубокому погружению» в иноязычную среду. Например,

женщина-архитектор 75-и лет, атеистка, все послевоенные годы жившая и работавшая среди англоязычных канадцев, говорит по-русски медленно, с трудом подбирая слова. Влияние английского языка ощущается в ее интонации, синтаксисе, лексике, в частом использовании английских вкраплений: *и я взяла курс в университете; она сказала это самая красивая classroom всей школы; она была из embassy греческого:* (о работе в школе) *они же знаете как дают / вы art teacher / а там две истории вам дают // Western and British / а я ни ... Western-то еще туда-сюда ... да / а British я не знаю никогда не учила / и нужно их преподавать //; я с них денег* (за портрет) *не брала / только за framing* ('за то, что сделала раму').

Представители второго поколения «второй волны» нередко говорят по-русски и стремятся сохранить «правильную» русскую речь в своих семьях. Те, кто не получил хорошего образования, старались много читать по-русски, больше общаться с русскими, участвовать в жизни православных приходов. Но «погружение» в иноязычную среду не может не сказаться — в их речи иногда дефектны глагольный вид (*люди некоторые побывали здесь пару лет / уже свои дома покупать сразу стали //* — вм. *побыли*), словообразование (об отце-сапожнике: *благодаря его сапожеству мы выжили*), словарь (*он устраивался там по электрике где-то / то водопроводкой занимался //* — вм. *был электриком, водопроводчиком*). Приведенные примеры записаны от сорокапятилетней лаборантки больницы, которая в целом достаточно «литературно» и свободно объясняется на русском языке.

Старшие эмигранты «второй волны», озабоченные проблемой сохранения русского языка в эмигрантской среде, с грустью отмечают, что нередко в русских семьях Канады допускается, чтобы дети по-английски отвечали родителям, которые с ними разговаривают по-русски, и констатируют все более быструю ассимиляцию приехавших из России в семидесятые-девяностые годы.

III.2. Носители «новоэмигрантской» речи на диалектной основе — это нередко получившие лишь начальное образование на родине представители первого поколения «второй волны». Несмотря на длительное пребывание вне России они не очень хорошо знают чужие языки и своеобразно осваивают необходимые им иностранные слова.

Вот как рассказывает о постройке своего дома в предместье Монреаля информантка, родившаяся в Донбассе в 1914 году и покинувшая его в 1942 году: *Когда мы собрали значи*[*т'*] *пару тысяч денег/ купили лёт / землю / ну и значи*[*т'*] *начали сами строить //* (...) *А я вот прихожу с работы // А муж работы не имел постоянной // Он тут целый день работает // То вот эта здесь труба сложена / блоки / я сейчас не подыму их // А тогда я тягала их // А вот это* [*у*]*сё / видите / руками всё шуровала / машин нет никаких // И все до чистá это вот это где гарбидж вóзили / собирал муж там / и сам делал // Так* [*ш*]*о весело жилось / очень весело //* (...) *Я в четыре кончаю / прибегаю с ра-*

боты / (...) *он налóжит / а я в фартук / такой специальный фартук для гвоздей / молоток в зубы* (...) // *Еду*[*т*'] / *остановятся машины / говоря*[*т*']: «*Леди — карпендер*» // *А копалы яму тут / десять фúтов глубиною // Муж долбает кайлом / а я выбрас*(*ы*)*ваю* (...) // *Подходит англичанка / говори*[*т*']: «*О мадам / здесь так женщины не работае*» / *Я кажу:* «*О йе*» // (*лёт* ← lot 'земельный участок'; *гарбидж* ← garbidge 'мусор'; *карпендер* ← carpenter 'плотник'; *десять фитов* ← feet, мн.ч. от foot 'фут').

Наша информантка, прожив более сорока лет в франкоязычной провинции Квебек, французского языка не знает, по-английски же, по ее словам, может объясниться, хотя специально его никогда не изучала. В ее речи англицизмы чаще всего подвергаются адаптации: *А потом значит норса приехала* (← nurse 'медсестра'); *оно* (вода) *не пойде*[*т*'] *в мой цинк* (← sink 'раковина, мойка'); *И студивáла это / она очень-очень хорошо училась* (← to study); *Он не вызывал это ... б*[*л*']*омбера / а сам* // (← plumber 'водопроводчик'); *иду по степсам* (← steps 'ступеньки'); *она не закончила свой эдюкейшен* (← education); *трóфик здесь повсюду* (← traffic зд. 'большое уличное движение'); *он с Сашкой работал / контрáктор это* // (← contractor 'предприниматель'); *сейчас здесь километры / майлив нету* // (← mile 'миля'); *Позвонила тут ван ван / áмбаланс таки этот тут приезжала скорая помо*[*ч*'] (← one one; ← ambulance); [*у*]*пост* (...) *надо дáйет держать* (← diet); *Бывало принесет этот ... сэндвичи // кусочек дас*[*т*'] *и мужу моёму* // (← sandwich).

В «новоэмигрантской» речи этого типа любопытны также случаи, когда освоение слова происходит под влиянием одновременно английского и французского языков (*здесь есть такое сосаитэ́ докторов* ← society [sesaieti] / société [sosjete] 'общество'; у проживающей в франкофонном Монреале информантки, очевидно, «на слуху» официальное французское название этого общества). Один и тот же информант может использовать более одного варианта освоенного слова (*я / знаете ли / имела большой э́ксидан; я / говорю / имею э́ксидент / несчастный случай если сказать по-вашему* // ← accident — здесь можно предположить одновременное влияние английского [æksident] и французского [aksidã] произнесения этого слова).

Дети тех, кто владеет подобной русской речью, говорят обычно иначе, поскольку (нередко самостоятельно, читая произведения русской классической литературы) стремились выучить «правильный» русский язык, преподаваемый в русских приходских школах, на славянских отделениях канадских университетов. Такой же язык они слышали от образованных эмигрантов разных «волн».

IV.1. Современная русская речь духоборов, самой старой эмиграции из России в Канаду, представляет особый интерес, как представля-

ет интерес и их история в этой североамериканской стране [Окулевич, 1952; Russian, 1983].

В 1899 году несколько тысяч членов духоборческой общины, возникшей во второй половине XVII века, отвергающей православные обряды и таинства, священников, монахов, обожествляющей своих руководителей, преследовавшейся властями России за неподчинение и отказ от военной службы, были отпущены за границу «на собственный счет» и с условием «никогда не возвращаться в пределы империи». Те, кто сочувствовал духоборам (например, квакеры, чьи взгляды сходны с духоборческими), добились для них разрешения английского правительства поселиться в Канаде — там указом от 6 декабря 1898 года им были обещаны земля, свобода вероисповедания и освобождение от воинской службы. Им помогли деньгами (в том числе и Лев Толстой, пожертвовавший тридцать тысяч рублей). И в январе в Галифакс пришли два парохода с духоборами Тифлисской, Карской и Елизаветпольской губерний, а в июле прибыли еще более тысячи человек, уехавших из России сначала на Кипр.

Канадцы отвели духоборам землю в провинции Саскачеван. Трудоспособные мужчины отправились на заработки (строительство железных дорог), а женщины, впрягшись по десять-двенадцать пар в плуг, распахивали целину, строили вместе со стариками и детьми дома, выполняли всю черную работу... Селились селами, давая им русские названия (например, Терпение, Освобождение, Вознесение, Хлебодаровка), и единолично. Через несколько лет пребывания в Канаде начались конфликты с властями, земли были отняты, община разорена. Тогда большая часть духоборов переселилась на купленные в провинции Британская Колумбия земли, чтобы жить «коммунально», т. е. общинниками. Оставшиеся стали «независимцами».

В первую мировую войну духоборы были освобождены от воинской повинности, и после окончания войны в местах поселения духоборов возвратившиеся канадские солдаты организовали против духоборов активное движение — за то, что оставались в войну дома и богатели... В 1930-е годы община духоборов также пережила тяжелый период... Ее разорению способствовали и поджоги общинного имущества т. н. свободниками («сынами свободы»), теми духоборами, которые, поверив, что «если у тебя отнимают верхнюю одежду, отдай и нижнюю» и что «богатому нельзя войти в царство небесное», стали по всякому поводу (и без него) раздеваться донага в публичных местах, сжигать школы, народные духоборческие дома, взрывать мосты на железных дорогах...

Сейчас духоборы — это крупная (около тридцати тысяч человек [Tarassof, 1994]) этнокультурная группа, проживающая преимущественно в западных провинциях страны. По мнению этнографов [Tarassof, 1983], из членов религиозной секты они превратились в последователей социального движения, не признающего милитаризм и

внешние церковные атрибуты. Среди духоборов — фермеры, агрономы, бизнесмены, врачи, философы, социологи... , и молодежь использует все преимущества, которые им предоставлены той кросскультурной ситуацией с русско-духоборческой и англо-канадской основами, в которой они живут.

За почти столетнюю жизнь в Канаде русский язык духоборов, который отличался от литературного языка России конца XIX века и который они стремились сохранить и сохранили в чужой стране, изменился под влиянием как англоязычного, так и, в ряде провинций, славянского окружения [Vanek and Darnell, 1971, 1978].

IV.2. Рассмотрим кратко некоторые особенности речи представителя третьего поколения духоборов. Ему 63 года, родился в провинции Саскачеван. Родители его отца и матери приехали в Канаду в 1899 году. Информант имеет канадское университетское образование, диплом по русскому языку, докторскую степень по одной из гуманитарных наук. Он живет в большом городе, неоднократно кратковременно бывал в России. Его недавно умершая мать «*почти не знала писать английский язык*», а тридцатилетние дети по-русски уже не говорят.

В произношении этого информанта есть регионально-просторечные черты, например: *и тоже було́ таки́ случа́и; они были вынуждёны ... сдавать людям; это все на аренду сдаю*[*т'*] *эти дома; их руководитель умёр; пять чи шесть; каж*[*н*]*ый год; у центральных духоборческих местах; тольки, токи* 'только'; *скольки; бо́льный вопрос.* Информант не склоняет числительные (*около шестнадцать духоборцев туда поехали; это будет продолжаться около три года*), может ошибаться в выборе падежной формы (*он приедет в конце феврале*), изменять лишь первое из ряда управляемых слов (*и благодаря матери и отец дедушка и бабушка / я сохранил...*), а существительные в его речи меняют свой средний род на женский (*потом новая поселка там началась; русское население / потом она назад пошла / у турки //*).

Наш информант смешивает паронимы (*политический / политиканский: политиканский архивный материал*), не всегда удачно занимается словообразованием (*тригóдная работа; экстремистная группа среди духоборов; воскресенешная школа тоже есть*). В его речи встречаются лексические особенности, свойственные «староэмигрантскому» языку.

Что касается англицизмов, то они используются, например, таким образом: (о переводе текстов через бюро переводов) *и они это перевели // через свою трансляцию / бюро здесь* (← translation 'перевод'); (о редакторе журнала) *который коррекцию делал на русском языке* (вм. редактировал русские тексты ← correction); (о духоборах) *пение — это самая главная ми́дье через чём они это сохраняют русский язык* (вм. *средство* ← media).

IV.3. Сравнительно многочисленные исследования канадских ученых, в том числе и духоборческого происхождения, дают уникальную

возможность проследить культурно-языковую адаптацию духоборов в Канаде. Так, в начале 1960-х годов была исследована степень освоения английского языка духоборами старше семидесяти лет, родившимися еще в России и не обучавшимися ни в русских, ни в канадских школах. Они с трудом понимали английскую речь, употребляли в разной степени освоенные иностранные слова (*трок, трочóк* 'грузовик' ← truck; *кара* 'автомашина' ← car; *куап* 'кооператив' ← co-op(erative); *хвáрма; кóхвия; кýко* 'какао'; *нóрса, нóрсина работа* ← nurse 'медсестра, сиделка'; (о толщине доски) *инчóвка, двухинчóвка* ← inch 'дюйм'; *они тримирýю[т']* ← to trim 'подрезать' и др.), фразы типа *Ну ты мне свой пай на стол не пхай* (← pie 'пирог') [Harschenin, 1964]. К 1970-м годам под влиянием англоязычного окружения в «духоборческом» языке изменились формы вежливости, термины родства, система обращений [Harschenin, 1964; Vanek and Darnell, 1971].

Однако в 1960-х годах духоборческий язык в Канаде сохранялся — об этом свидетельствуют магнитофонные записи этого периода. Вот несколько фрагментов из них: *полиция сказали: вертайтесь назад; три малютки помёрли от недогляду; потому что война много делает жертвы; если берете с нас верхнюю одёжду / то мы отдаем вам исподнюю //; в длинной черной дорогой пальте; а тольки сказал: этого нема; надо было бечь к царю; доныне мы гонúмые и подозрúмые /* (...) *и сыщики еду[т'] //.*

Исследования языковой компетенции духоборов в 1970-е годы показывают, что русский язык является для них важным средством поддержания самоидентичности, отграничения от не говорящих по-русски соседей. Тогда младшее поколение еще изучает русский язык как родной и широко используемый в политической и общественной жизни духоборов. Продолжает развиваться русская письменная традиция — публикуются русско-англоязычный журнал «Искра» (с 1943 года), произведения самих духоборов об истории их общины. В конце 1970-х годов русский язык еще полностью функционирует в духоборческой среде [Vanek and Darnell, 1978]. Однако с середины этого периода исследователи констатируют активизацию ассимиляции этих «русских канадцев».

К началу 1980-х годов, по свидетельству [Vanek and Darnell, 1978], в русской речи самых старших духоборов, родившихся еще в России, обнаруживаются черты языка XIX века, который считается носителем духоборческих традиций и высоко ценится. То, что большинство старших духоборов одноязычны, побуждает их детей и внуков говорить с ними по-русски. Представители среднего поколения взрослых родились в Канаде и, хотя по возрасту могли бы входить в группу самых старших, уже двуязычны, не ценят «московский русский язык» и не пытаются ему подражать как стандартному языку.

Молодое поколение взрослых духоборов этого периода говорило по-русски, по-разному относилось к языкам т. н. московскому и канадскому духоборческому, в ежедневном быту чаще пользовалось английским языком, но, за редкими исключениями, очень стремилось к тому, чтобы их дети учились говорить по-русски дома. Именно это поколение в 1970-е годы было особенно озабочено судьбой русского языка и русской культуры в духоборческой среде. Четвертое поколение, юноши и девушки, были вовлечены в активные усилия по оживлению русского языка и культуры духоборов, хотели изучать русский язык, который мог им позволить общаться не только с духоборами и жить в согласии со своей духовной верой и канадским окружением. Что касается маленьких представителей пятого поколения этого периода, то их родители старались возложить обязанности по сохранению русского языка у детей на общину.

Тогда же было отмечено, что духоборы всех поколений хорошо осознают все возрастающее влияние англоканадской среды, но относятся к этому по-разному. Одни рассматривают это как культурную дегенерацию и приходят в отчаяние. Другие же видят в гибкости и приспособляемости к новым условиям доказательство жизнеспособности духоборческих традиций, полагая, что следующие поколения останутся «духоборами по-новому» и что английский язык является вполне возможным средством общения между духоборами.

Сейчас, спустя почти двадцать лет после этого исследования канадских ученых, среди духоборов еще есть старики, не знающие английского языка, и много молодежи, не говорящей по-русски. Благодаря контактам с Россией с 1960-х годов и использованию при обучении русскому языку советских учебников [Искра, 1993], молодые духоборы осознают различия между «канадско-духоборческим» языком и русским языком России, рассматривают свою русскую речь как некий «слэнг», отклоняющееся от «стандарта» образование, которое они оценивают весьма положительно. Эта положительная оценка во многом обусловлена влиянием проводимой с 1971 года Федеральным правительством Канады политики оживления культурного самосознания населяющих страну этнических групп (т. н. политики мультикультурализма).

Проблема сохранения русской речи, стоящая перед духоборами, является для них одной из важнейших. Об этом свидетельствует, в частности, юбилейный (к пятидесятилетию основания журнала) номер «Искры», где в рубрике «От редакции» можно прочитать: «Какие же меры мы предприняли в отношении нашей озабоченности о нашей молодежи, о порядках нашей современной жизни, о сохранении среди нас русской речи? Проводим ли мы на деле то, во что мы верим и о чем говорим? Уделили ли мы время и силы, чтобы узнать кто МЫ именно есть и что является самым главным для нашего полного благополучия? (...) Искренне ли мы прислушиваемся к тому, что говорят

нам наши дети? (...) Озабочены ли мы тем, чтобы расширить наши знания других языков, будь это русского, английского или другого, вместе с нашими детьми?» [Искра, 1993].

V. Итак, русская речь в Канаде жива до сих пор. Факторы, от которых зависят особенности речи того или иного «русского канадца», весьма разнообразны, и воздействие их создает достаточно пеструю русскую «языковую картину», которую еще предстоит детально описать.

Однако знакомство с тем, как говорят сейчас «русские канадцы», заставляет обратить внимание, прежде всего, на роль, которую в сохранении русского языка за пределами России играют сознательные, целенаправленные усилия по передаче языка предков из поколения в поколение. Именно эти усилия, которые обусловлены национальным, религиозным, культурным самосознанием русских, помогают преодолевать постоянное и долговременное давление, которое оказывает иноязычная среда, и сохранять вне России то, что является русской речью.

ЛИТЕРАТУРА

Голубева-Монаткина Н. И. Об особенностях русской речи потомков первой русской эмиграции во Франции // Русский язык за рубежом, 1993, № 2.

Она же. Заметки о русских речевых традициях во Франции // Русская словесность, 1993, № 4.

Она же. Грамматические особенности русской речи потомков эмигрантов «первой волны» во Франции // Филологические науки, 1994, № 4 (1994а).

Она же. Русская эмиграция о русском языке // Русская словесность, 1994, № 3 (1994б).

Она же. Лексические особенности русской речи потомков русского зарубежья во Франции // Русистика сегодня, № 1 / 1995.

Искра (Iskra U.S.C.C. / Искра Союза Духовных Общин Христа), 1993, № 1763.

Канада. 1867-1967. Лондон (Онтарио, Канада): Monastery Press, 1967.

Могилянский М. И. Очерк истории Канады. Торонто: Современник, 1976.

Окулевич Г. Русские в Канаде. Торонто, 1952.

Harshenin A. P. English Loanwords in the Doukhobor Dialect:I // Canadian Slavonic Papers, VI, 1964.

Russian Canadians. Their Past and Present (Collected Essays) / T. F. Jeletzky, editor. Ottawa: Borealis Press, 1983.

Tarassof, Kouzma J. Russians of the Greater Vancouver Area // Slavs in Canada. Vol. I. Proc. of the First National Conference on Canadian Slavs. Edmonton, 1966.

Idem. Perspectives on Communication in Transcultural Situations: The Case of the Doukhobors // Multicultural Education Journal, vol. I, № 2, 1983.

Idem. The Spirit Wrestlers // This Country. Canada, 1994, № 4.

The Canadian Global Almanac / J. R. Colombo. General Ed. Macmillan. Canada, 1995.

Vanek A. L. and Regna Darnell. Canadian Doukhobor Russian in Grand Forks, B.C.: Some Social Aspects // Linguistic Diversity in Canadian Society / Ed. by Regna Darnell. Edmonton, Champaign, 1971.

Idem. Doukhobor Russian Language Maintenance // Advances in the Study of Societal Multilingualism // Ed. by Joshua A. Fishman. The Hague, Paris, N.Y.: Mouton, 1978.

Е. А. Земская

ЗАМЕТКИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ РУБЕЖА XIX-XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БУЛГАКОВЫХ)

«Свою поэзию имеют старина и вечность, свою — новость, доносящая до нас торопливый бег времени. Но между этими полюсами находятся документы, вызывающие особое отношение: интимное и историческое одновременно».

Ю. М. Лотман

Изучение истории и микроистории языка привлекало Д. Н. Шмелева на протяжении всей его научной деятельности. Он начал свои исследования, работая над словарем древнерусского языка. Последней темой, над которой работал Д. Н. Шмелев, был проект исторического словаря современного русского языка.

Материалом для этих заметок послужили рукописные тексты, собранные сестрой писателя М. Булгакова Н. А. Булгаковой-Земской[1]. В этой статье я ставлю перед собой скромную задачу — выявить некоторые особенности языка, преимущественно лексики, которые характеризуют рубеж XIX-XX вв., отличая его от языка современного.

Приводимые далее тексты дают материал, рисующий некоторые особенности быта и нравов той эпохи, которые входят как составные части в понятие культуры. Ю. М. Лотман писал: «... быт — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон. Связь этой стороны быта с культурой не требует пояснений. Ведь именно в ней раскрываются те черты, по которым мы обычно узнаем своего и чужого, человека той или иной эпохи, англичанина или испанца» (Лотман, 1994, 12).

Я обращаюсь к социальному слою духовенства, так как своими корнями семья Булгаковых-Покровских (девичья фамилия матери писателя) уходили в сословие священников. Однако я не помещаю

слово «духовенство» в заглавие статьи, ибо многие, уже из поколения, родившегося в конце XIX века, не пошли по дороге отцов, а стали медиками, учителями, учеными, музыкантами, инженерами. Таким образом архив содержит материалы по истории языка, быта и нравов русской интеллигенции, уходящей корнями в духовное сословие.

Д. Н. Шмелев писал: «Типы речи, функциональные разновидности языка — это историческая категория. Поэтому, естественно, на разных этапах развития языка меняется их состав и их соотношение друг с другом. Меняется и их роль в литературном языке, и удельный вес в определении литературной нормы» (Шмелев, 1977, 39). Как я полагаю, характеризуемые ниже источники дают некоторый материал и для проблематики этого рода.

В своих заметках я рассматриваю два документа.

I. Первый документ — письмо, датированное 1892 г., написанное дедушкой и бабушкой будущего писателя М. Булгакова — Михаилом Васильевичем Покровским (1830-1894 гг.) и его женой Анфисой Ивановной. Воспроизвожу это письмо полностью с сохранением орфографии и пунктуации подлинника[2]:

«Маія 4-$^{\text{го}}$ 1892 года г. Карачев

Прелюбезньишіе наши дѣти, Аѳнасий Ивановичь и Варичька, а также и милѣйшей наш внученочикъ, многолѣтствуйте!

Письмо съ карточкою Мишутки мы получили, вдоволь им налюбовались. Внученочик настолько хорошь, что мы цѣны ему представить не можемъ. Ты, Варичка, пишешь, чтобы откровенно написать, не стѣсните ли Вы насъ своимъ пріѣздомъ и необезпокоите ли собственно меня? Да развѣ дѣти могут причинить родителямъ безпокойство, особенно тѣм, которые всегда дышатъ на дѣтей своихъ всецѣлою отеческой любовію; больше радости и довольства Вы ничего нам недоставите своимъ пріѣздомъ; почему всѣ Ваши мысли отложите въ сторону, и какъ только вздумается и представится возможность къ отѣзду, пріѣзжайте, ничто же сумняясь и ничим еще нестесняясь. Аѳанасию Ивановичу нашъ искренній привѣтъ и поздравленіе съ чиномъ Коллежского Совѣтника.

В ожиданіи Вашего къ намъ пріѣзда остаемся родители Ваши:

Михаилъ и Анѳиса
Покровские».

Письмо написано высоким слогом. Особенно характерны начало и конец письма (известно, что эти позиции дают наиболее важные жанровые характеристики текста): Прелюбезнейшие дети наши... *многолетствуйте!* (церковнославянизм, устарелый уже в XIX в., ср. обычные: *желаем вам многих лет жизни; живите многие лета;* еще более просто: *живите долго*). Для высокого слога показательна и постпози-

ция местоимения *наши,* и многие последующие выражения, напр., *всецелою отеческою любовию* (не: *всецелой отеческой любовью*).

Вместе с тем это письмо адресовано родной дочери, оно дышит любовью и лаской[3]. Ср. многочисленные уменьшительные формы — *Мишутка, Варичка, внучоночик.* В письме встречаются и обычные разговорные выражения: *как только вздумается; все Ваши мысли отложите в сторону* и др. Ср. соседство церк.-сл. *ничто же сумняясь* с обычным бытовым: *ничим еще не стесняясь.*

Высота слога, как я думаю, объясняется не только протоиерейским саном о. Михаила, но и торжественностью ситуации: родители, приглашая дочь с первенцем на лето, адресуют письмо и малознакомому зятю, именуя его по имени и отчеству, поздравляют его с чином Коллежского Советника.

Интересно сравнить, как о том же событии сообщает в своих дневниковых записях младшая дочь о. Михаила, которую в семье звали Шурочка:

«1892. Приезд на лето Вари с Мишей».

После написания этого письма М. В. Покровский прожил всего 2 года. Приведу фрагмент из названного в Примечании 3 некролога, озаглавленного «Любимый пастырь», характеризующий о. Михаила: «... в наш век не так часто встречаются такие светлые личности, какою был покойный. Много потрудился он на различных поприщах духовной и общественной деятельности. Но не здесь его главная заслуга. Любовь, уважение и известность приобрел он там, где являлся духовным отцом, учителем и руководителем своей паствы и всех, кто к нему обращался. Здесь главной чертой покойного, лучшею и достойною высокого почтения являлась широта и обилие любви к ближнему. О. Михаил Васильевич был полон неподдельного *благодушия,* приветливости и ласковости ко всем. И его *благодушие* было ключом для него к сердцам прихожан и всех, его знавших. Между ним и его *паствой* установились чисто-отеческие отношения. Он, среди *пасомых,* был как-бы старшим членом семьи и жил с ними одними интересами. Он успел приобрести познание о нравах тех, которыми управлял, и по примеру *Пастыреначальника* Христа поистине знал овец своих и овцы знали его. Обладая при этом в значительной степени даром совета, он тем самым обеспечивал к себе полное доверие и заставлял каждого чувствовать, что он такой руководитель, на которого можно положиться. И сколько добра сделал *почивший,* благодаря основательному знанию характера своей *паствы,* благодаря своей доступности и общительности со всеми, благодаря силе и твердости своего духа, на которую другие могли опереться!»

Этот отрывок по высоте слога близок приведенному выше письму. Здесь и словоформы твор. падежа прилагательных на *-ою* (*лучшею* и *достойною* высокого почтения; отмечу, что в той же фразе выше нахо-

дим словоформы с флексией *-ой: главной чертой*), и постпозиция местоимений, и церковно-славянская лексика и метафорика (*пастырь, паства, пасомые; знал овец своих* и *овцы знали его; почивший; Пастырь-начальник* Христос). Особого внимания заслуживает слово *благодушие*. Даль дает: *Благодушие*. Доброта души, любовное свойство души, милосердие, расположение к общему благу, добру». Значительный семантический сдвиг фиксирует Сл. Уш.: «Мягкость характера, хорошее настроение. *Он отличался неизменным благодушием*».

БАС выделяет два значения: 1. Добродушие, мягкосердечие, доброта [примеры из Тургенева, М.-Печерского, Болотова и др.] < > Душевное спокойствие, хорошее расположение духа. 2. Устар. Великодушие, доблесть. В МАС толкование прикреплено к прилагательному: «*благодушный*. Добродушный, мягкосердечный»; существительное *благодушие* толкуется: Свойство по знач. прилагательного «*благодушный*. Добродушие, мягкосердечие».

Мы видим, что в слове *благодушие* произошел семантический сдвиг, характерный для многих церковнославянизмов: внутренняя форма слова тускнеет, значение компонента *благо-* затемняется. Происходит обмирщение семантики (аналогичное изменение претерпевают кальки с греческого с компонентами *добро-, мало-* типа *добродушие, малодушие*). В некрологе слово *благодушие* употреблено в своем исконном церковном значении.

II. Второй документ — книга в картонном переплете (или, как мы бы теперь сказали, общая тетрадь), аккуратно пронумерованная чернилами с одной стороны листа. На последней странице чернилами сделана запись: «В сей книге содержится девяносто две (92) нумерованных страницы. Свящ. А. Бархатовъ, 16 июля 1896 года».

Кто такой А. А. Бархатов? Почему его тетрадь попала в семейный архив Булгаковых? Андрей Андреевич Бархатов (1867-1916 г.) был мужем Александры Михайловны Покровской (1877-1957), упомянутой выше Шурочки. Вероятно, А. А. Бархатов предназначал книгу для записи церковных расходов и других служебных дел, но, использовав лишь частично[4], отдал ее молодой жене.

Эта тетрадь демонстрирует редкое соединение под одной обложкой различных функциональных стилей и разновидностей литературного языка (о разграничении этих понятий см.: Шмелев 1977, 38-39):

— записки-воспоминания Шурочки Бархатовой, которые мы бы отнесли к письменной форме разговорного литературного языка, содержащей вкрапления книжных элементов;

— официально-деловой документ (прошение священника о помощи прихожанке);

— деловые записи хозяйственного характера;

— текст высокого книжного стиля (жанр проповеди).

Начну с текстов, резко контрастирующих по слогу и более коротких.

а) Фрагмент Рождественской проповеди[5]: «В ту ночь, когда явился в свет Спаситель, была тихая, ясная погода. Казалось, что и небо и земля замерли в торжественном молчании, ожидая великой минуты. Ничто не шевелилось, только растения благоухали сильнее обыкновенного и звезды сияли ярче и радостнее, а небо казалось от этого синее и как-бы дальше отодвинулось от земли. (Вблизи Вифлеема, в открытом поле, окруженные своими стадами, лежали пастухи). И вот наступила эта минута. (Вся природа как бы дрогнула и затрепетала, небо раскрылось и сонм ангелов среди торжественного молчания огласил воздух радостным славословием Бога;) и казалось, что вместе с Ангелами все принимают участие в хвалении Бога. Вся природа ликовала и [*вс*~~*ѣ*~~ — зачеркнуто] спешила принести» (сб. с. 91 — с. 92).

Этот возвышенный текст, как мне кажется, не нуждается в комментариях, представляя собой жанр торжественной поэтической духовной проповеди.

б) Тут же, рядом, на с. 91 помещен черновик прошения, написанный карандашом самим А. А. Бархатовым[6]:

«Председателю
Ком[итета] Карач.[евского] . Благотв[орительного] Общ.[ества] [*Вследств* — зачеркнуто] На запрос комитета [*объ* — зачеркнуто] о проживающей в моем участке Александре Ев[сти? гр...? неразборчиво] Ив[ановой?] [*имею честь* — зачеркнуто] могу ответить, что дом ея крайне ветх и нуждается в капиталь[ном] ремонте. [*Так как* — зачеркнуто] [Поверх двух строчек недоконченная фраза: *В чем же должен состоять ремонт я отказываюсь*] Особенную надобность в поправке имеет крыша. [*а также* — зачеркнуто] Семья состоит из матери, [вдовы лет — зачеркнуто] взрослой дочери, могущей зарабатывать и 12-летней девочки.

Попечит.[ель] 15-го участка А Б [Андрей Бархатов]»

Сухость изложения резко контрастирует с помещенным выше фрагментом проповеди. Вместе с тем А. А. Бархатов стремится избавиться от «высот» канцелярского слога, зачеркивая «*имею честь*... [сообщить?] и оставляя «обыкновенное»: *могу ответить*. Порядок слов, однако, сугубо книжный: *дом ея,* также, как и сама форма *ея*. Книжным можно считать выражение *особенную надобность в поправке имеет*...

Зачеркивает автор и разговорный вариант предлога *объ,* избирая нейтральный *о*.

Из прошения явствует, что священнослужители выполняли в те времена функции попечителей. Ср. толкование Сл. Уш.: попечитель (офиц.) 2. В царской России — должностное лицо (в ведомстве просвещения, призрения и т. п.), руководившее сетью учреждений какого-

либо ведомства на местах или управляющее отдельным учреждением, учебным заведением (дореволюц).

Отметим, что в советское время справку такого рода давало бы домоуправление, ЖЭК, РЭУ, собес или какое-либо подобное учреждение.

в) В начале тетради помещены записи, сделанные карандашом рукою А.А. Бархатовой, под заголовком: «Работы у школьниц общия.

Скатерть из полосок на шпильках трех цветов.

Мешочки для работ на цветной подкладке вязаныя в решеточку» (с. 19).

Далее следуют инфинитивные предложения, содержащие перечень заданий:

«Заготовить образцы всех работ в шкаф: вышитое полотенце, готовый на *сдержке*[*7] мешочек, скатерть из кружков и полосок, квадрат красивый из ковра.

Связать такую же как у Кати скатерть из темнокрасной или *крем*[*] *бумаги.*[*]

Вышить подушку для алтаря как у Андр[юши] на кушетке.

Самой начать все четыре стороны по первому ряду фон [знаки препинания отсутствуют]

Сделать две звезды из бумаги [далее тщательно зачеркнуты две строки]» (с. 19 и об.).

На этом деловые записи кончаются.

г) Наиболее значительная часть тетради (стр. 25-69) содержит текст совсем другого рода: дневниковые записки, которые, может быть, точнее было бы назвать свежими воспоминаниями. Они написаны карандашом женой священника А. Бархатова — А. М. Покровской (Шурочкой). На стр. 25-32 об. помещены погодные записи за 1890-1900 годы. Указан только год, более мелкие даты отсутствуют. Разным годам посвящены воспоминания разной степени подробности (от нескольких строк до двух страниц). Наибольший интерес, на мой взгляд, представляет запись, озаглавленная: «5 марта 1901 года — Отчет в прошедшем», которая занимает 37 листов (с. 33-69 об.). Записки написаны карандашом, почерком разной четкости. Несомненно, что не в один день, и обрываются на полуфразе: «... не входила в подробности наших». Очевидно, что они писались уже не девочкой. Даты написания нет, вероятно в 10-е годы XX в. Напомню, что муж автора Записок скончался в 1916 г. По тону Записок ясно, что писала их не вдова, а молодая жена. Написаны они очень увлекательно и живо рисуют атмосферу семейной жизни в доме протоиерея о. Михаила. Автор рассказывает о семейных нравах, своем учении в прогимназии, пожаре, детских и юношеских играх, болезнях и свадьбах. Перед нами встает картина жизни Карачевского священника, у которого было 9 детей (шесть сыновей и три дочери; одна из них — Варвара, мать писателя М. А. Булгакова; младшая — автор Записок). В кругу этих людей не

было таких понятий как дворянская честь, дуэль, шпага — символ чести и под. (см. Лотман, 1994), но были свои понятия о чести, духовных ценностях, свои обычаи и традиции.

Шурочка пишет, вспоминая свое детство: «Ничего для меня в то время не могло быть интереснее и поэтичней, чем настроение в доме перед Пасхой и Рождеством, когда ожидали приезда всех братьев. Нас всех детей было 9, но женатого брата и замужней сестры я не считаю, они были отрезанными ломтями, а оставалось 5 братьев, я с сестрой [Варей] и Любой [дочь рано умершего старшего брата]. В нашей семье не было неустойчивости и метания, а наоборот годовой круг совершался одним и тем же порядком, установившимся прочно с известными традициями и обычаями (...)

Много помогало этой определенности то, что прислуга у нас не менялась, а жила долго, совершенно сливалась с интересами и порядками нашей жизни. Меня всегда приводил в восторг беспорядок в доме перед праздниками, когда буквально все перевертывали вверх дном.

Иконы снимались, драпировки все тоже, все чистилось, мылось, вытряхивалось. Всюду стояли лужи мыльной воды, на кроватях складывались стулья вверх дном, выражение лица няни — самое свирепое и вместе самодовольное. В особенности в великую пятницу я любила слушать звон к вечерни и выносу плащаницы. В это время уже приборка оканчивалась и все домашние уходили в церковь, а я забиралась одна куда-нибудь в уголок за нагроможденные стулья и думала. Во всем доме еще стоит *запах сырыми полами**, где-нибудь в соседней комнате няня *двигает столами, стульями**, а тут раздается перезвон — грустный и величественный.

Еще хорош был для меня всегда момент разговения от заутрени: эти у всех как то сияющие лица, смех, разговоры, только я тут не слышна была всегда, но — наблюдала всегда очень внимательно».

В записках часто упоминаются церковные праздники. Кроме названных выше — Святки, Страстная, дни Ангелов членов семьи, Казанская (напомню, что о. Михаил был настоятелем церкви Иконы Казанской Божьей Матери).

Маленький городок Карачев имел только прогимназию. [Сл. Уш.: «прогимназия (дореволюц.) Учебное заведение с неполным гимназическим курсом (4-6 классов)»]. Гимназии были только в Орле. Вообще, Орел был для Карачева столичным городом. Туда не только отсылали детей учиться в гимназии, но и ездили за покупками. Среди записей за 1898 г. читаем: «Поездка в Орел за драповыми *накидками**».

Описывая свое отношение к учению, Шурочка жалуется на сухость, неинтересность преподавания: «Вообще я очень туго развивалась и на учение смотрела, как на необходимое препровождение времени, не ожидая от него для себя никакой пользы. *Причину этому сухому отношению* к образованию я вижу в постановке преподавания предметов. Не умели заинтересовать ни капельки. За весь урок ни одного живого

для души слова, ни одного простого разговора, а только слышится «г-жа Покровская, извольте рассказать о междуцарствии». И вот, благодаря хорошей памяти механически отвечаешь и получаешь 5. Поэтому-то я и любила больше других арифметику, что там не требовалось механической зубрежки, а приходилось рассуждать, делать выводы, додумываться. На задачи я смотрела как на загадки, которые надо разгадать и с интересом отдавалась самому процессу решения. И географию я тоже любила потому, что чувствовала: о чем я учу, то сейчас существует и я могу увидеть, а в особенности мне нравилось описание природы и климата. Я вся фантазией переносилась, то на Кавказские горы, то в Тропические леса, то в Гренландские льды и снега, потому-что я знала, что все это так и сейчас существует, и очень часто любила мечтать о том, как я поеду путешествовать и побываю сама в самых противоположных климатах. Но никогда я не с кем не делилась своими интересами [зачеркнуто: *только когда осенью*]. Да тогда я так ясно и не сознавала причин интереса и безъинтересности к предметам. Теперь я еще вижу причину вообще равнодушия общего к учению. Дело в том, что ведь это же было бы не нормально, чтобы ребенок 11 лет (как я была в третьем классе) мог интересоваться войнами филистимлян, ассирийцев, моавитян и т.п., или венскими конгрессами, или унией, или враждой феодалов, вассалов. Ведь все это можно понять только лет в 15-16, да и то без особенного интереса. <...> я должна быть благодарна Варе, что попала в гимназию. Она настойчиво этого требовала».

Обращаю внимание на фразу: «*госпожа Покровская,* извольте рассказать о междуцарствии». К девочкам — ученицам прогимназии обращались не по имени, имени и отчеству, не по фамилии (как часто бывает в современной школе), но по фамилии с прибавлением слова *госпожа*. Итак, в прогимназии училась не «Шура» (или «Шурочка»), не «Александра Михайловна», не «Покровская», а «*г-жа Покровская*», девочка 11 лет.

Характерна и форма повеления: *извольте*. Сл. Уш. отмечает: «*изволить*... Пов. накл. употребляется также в знач. (...) в) с инф. Для выражения беспрекословного приказания, наставления».

Резким контрастом с учением в прогимназии была жизнь дома. Шурочка рассказывает:

«Но зато какие мирные добрые отношения были в семье! Ссор серьезных я не помню никогда, но споры бывали такие, что можно было подумать, что в доме не только ссорятся, а даже дерутся.

А по утрам иногда поднималась такая возня и драка подушками, что бедной маме приходилось только руками всплескивать при виде разодранных наволочек и ночных рубашек. И все это неистовство сопровождалось таким искренним здоровым хохотом, полным общего добродушного настроения, что мама никогда не могла серьезно рассердиться. Но папы побаивались и когда он бывал дома, то безобразий

таких не допускалось, хотя он не был никогда пугалом для детей, но был строг и беспорядка большого не любил. Как мама так и дети относились к нему с глубоким уважением совершенно искренними, а при нем были более сдержаны, но также открыто и весело говорили и хохотали. Летом целые дни всей семьей проводились в саду. Сад был прекрасный: как только входишь в калитку, то перед глазами открывается перспектива окрестностей города, от калитки видно крутой овраг, засаженный венгерками и малиной, а по ту сторону над оврагом старая беседка, которая несмотря на свою ветхость была любимым местом нашего пребывания и ночлегов братьев. Наш сад в конце соприкасался почти с садом очень уважаемого в городе Прот.[оиерея] Л. У него тоже была очень большая семья, но воспитанная в каких-то странных понятиях о приличии, при чем у них даже неприличным считались разговаривать у себя обыкновенными голосами, а всегда все говорили шепотом. И вот насколько в нашем саду всегда слышалось оживление, хохот, говор, пение и беготня, на столько там всегда стояла ненарушаемая тишина и маму это нередко смущало и она, желая хоть немного подействовать на нас, всегда говорила: ну что подумает о.[тец] Пр.[отоиерей] ведь — это — срам! Но, конечно, это ничуть не [зачеркнуто — заставляло] *сокращало** братьев.

Большая война шла еще между братьями и нянькой, которая была большая любительница огорода и на каждом промежуточке между деревьями и дорожками у ней были насажены огурцы, свекла, капуста, картофель, а так как братья в азарте бегства друг от друга совершенно не помнили куда неслись, то очень часто страдали грядки. При виде новых следов оного на грядках няня только *руками схватывала** и начинала причитать, что «и какие ж это только дети безсовестные! и куда только мать смотрит? Это прямо *злодеи своему дому**». Братья благоразумно удирали всегда от ея нотаций, а иногда спешили до нее загладить скоро руками все следы, чтобы не было заметно, вообще ее боялись гораздо больше, чем мамы. Любимыми играми и занятиями братьев были: городки, *свайка**, пускание змея и игра в *стуколку**. Последняя особенно одно время увлекала всех. Играли на *марки**: нарезали билетики из цветной бумаги и соответственно цвету ставили число рублей, желтые — рубли, зеленые — три рубля и т.д. и делили поровну. По громадной сумме до миллиона. Играли самым серьезным образом и в случае полнейшего банкротства давались векселя. Иногда просиживали ночи. Пускание змея тоже доведено было до виртуозности. Змеи делались из весьма больших листов и пускали на сахарной бичевке. Про чтение я уже не говорю, потому что мы его все страшно любили. [(Я не могу себе представить как мама могла управляться со всеми делами!) текст в скобках легко зачеркнут карандашом.] Когда лето кончалось и братьям надо было уезжать, то начинались их сборы и укладывания. Как мама только управлялась! Братья привозили массу

*худого** белья и все это надо было перечинить, понашить нового и кому сколько давать сообразить и все это делала она сама с нянькой, даже чулки успевала все вышитопать! С отъездом их дом как-то казался пуст, но особенно грустно не бывало, потому что даже как-бы с удовольствием приводили опять все в порядок и отдыхали от летней кутерьмы».

На этом я кончаю цитаты из записок Шурочки Бархатовой и перехожу к своим комментариям.

Общие замечания о языке и слоге «Записок Шурочки Бархатовой» (ЗШБ)[8]

Общее впечатление от ЗШБ — это живой непринужденный рассказ о детстве и юности молодой девушки, о жизни семьи карачевского священника. Рассказ этот писался частями, о чем свидетельствует разница в почерке — более мелкий / более крупный размер букв, более четкий / менее четкий карандаш, большая /меньшая аккуратность и разборчивость письма. В целом в этом тексте исправлений немного. Тщательно зачеркнуто несколько мест, скорее, можно думать, по причинам, касающимся содержания этих фрагментов, чем по причинам стилистического характера.

Встречается повтор в соседних предложениях одинаковых слов. Если бы А. М. Бархатова правила свой текст, работала над ним, она бы эти повторы устранила.

Полагаю, что этот текст может быть охарактеризован как неподготовленный (спонтанный) рассказ-воспоминания о недавнем прошлом, имеющий письменную форму. Можно думать, что при некоторой склонности к рефлексии, самоанализу (о чем свидетельствует содержание ряда фрагментов) автор писал его для себя. Когда попала эта книга в архив, собираемый Н. А. Булгаковой-Земской, я не знаю. Можно предположить, что старшая дочь автора записок после смерти матери в 1957 г. передала эту книгу своей двоюродной сестре Н. А. Булгаковой-Земской (кузины были очень дружны).

При некоторой архаичности языка (лексические и грамматические комментарии см. ниже) этот текст содержит большое количество разговорных слов и выражений, свойственных и языку нашего времени: *кутерьма, худой* ('рваный'), *беготня, возня, пугало, злодей;* уменьшительные образования: *промежуточек;* глаголы: *удирали, неслись* (убегали), *понашить* нового; *управляться, побаивались, завывала* (о пении), *дурачился; туго развивалась.*

К чисто разговорным можно отнести выражения: *разве редко когда; хохотать до упаду, все перевертывали вверх дном, голос не ахти какой.*

Живость языка, использование разговорных и даже более сниженных элементов речи была свойственна всем членам семей Булгаковых-Покровских. Приведу лишь один пример. Жаргонизм *не наводите*

понта употреблен Ваней Булгаковым, мальчиком 10 лет, младшим братом М. А. Булгакова и племянником автора «Записок». Письмо от 23 июня 1912 г., посланное из дачного местечка Буча под Киевом в Кисловодск, начинается церемонно-фамильярным обращением: «*Наимилейшая сестра Надя и прочие "Покровские"!*» и кончается жаргонным выражением: «*Не наводите понта*».

В Сл. Даля, Сл. Уш., БАС и МАС существительное *понт* отсутствует; есть лишь карточные термины *понтер, понтировать*. Слово *понт* включают различные современные словари жаргона, однако выражение *наводить понт* они не дают. Существительное *понт,* несомненно связанное с карточной игрой, многозначно. Среди прочих оно имеет значения: выгода, прибыль; обман, хитрость; напускной вид (см. например: Елистратов, 1994). Можно предположить, что выражение *не наводите понта,* обращенное мальчиком к сестрам, старшим его на 8-10 лет, могло обозначать: 'не воображайте', 'не выпендривайтесь передо мной'.

Не меньшую разговорность, чем лексика, Запискам придает типический для разговорной речи порядок слов, который не так часто встречается в письменной речи. Подробнее о разговорных особенностях порядка слов в ЗШБ см. (Земская, 1996).

Интересны способы передачи на письме прямой речи, типичные для разговорного языка. Шурочка начинает конструкцию косвенной речи («... няня... начинала причитать, что ...»), но не переводит прямую речь в косвенную, а полностью сохраняет ее, лишь помещая в кавычки: ... что «и какие ж это только дети безсовестные! и куда только мать *смотрит*? *Это прямо злодеи своему дому*». В словах няни так и слышится живая речь. Отмечу повторение начальной частицы *и,* повторение *только,* частицу *прямо*. Выражение *И куда только мать смотрит?* имеет, по моим наблюдениям, характер устойчивой формулы порицания — упрека-негодования, широко употребительной и в наши дни. Кроме слова *мать* в этом сочетании могут быть употреблены слова *отец* или *родители,* а также *милиция, правительство* и под.

Лексика

В этом разделе я рассматриваю преимущественно слова, в той или иной степени устарелые по отношению к языку последней четверти XX в.

В проанализированных материалах имеется значительное количество слов, вышедших из употребления или резко его сокративших. Многочисленны случаи актуализации в современном языке значений, занимавших на рубеже XIX — XX вв. далеко не первое место в семантической структуре слова (см. ниже *худой, шпилька*). Среди слов устарелых есть и церковные (*многолетствуйте!* см. выше), и бытовые (*бук*

и др.), которые сохранились в современном просторечии. Отметим, что некоторые лексические единицы встречаются только в текстах высоких, книжных, но не употребительны в бытовых (*сей*).

Рассмотрим некоторые из слов подробнее.

Название конкретных предметов

Шпилька. В современном языке это прежде всего «приспособление для закалывания волос». Даль начинает толкование этого слова иначе: «спица, остроконечный прут» и лишь позднее отмечает современное первое значение. Сл.Уш. значения «спица» не дает.

Отмечу, что в наши дни изменения моды — женских причесок, характера стрижки волос, — вероятно, приведут к уменьшению употребления предмета «шпилька», а за ним последует и слово. Сохранится ли переносное значение 'колкость' (ср. *подпускать шпильки*), не ясно. В качестве приспособления для закалывания волос чаще используется отглагольное существительное *заколка.*

Сдержка. Даль дает: «*сдёржка* — действие по гл. *сдергать* — паворoз, очкур, веревочка, ремешок, снурочек, на котором собрана кромка занавеси, одежды или кошеля, для сдёргивания, соединения сборками; вздержка».

Сл. Уш. слово *сдержка* не помещает. Он фиксирует: *вздёржка* (спец.) То, что вдергивают: то же, что *вдёжка* (в I знач.); *продёржка;* «вдёжка и (простореч. вздёжка). Спец. 1. Игла, которой вдевают, продёргивают шнурок или тесемку для стягивания материи. 2. Самый шнурок или тесёмка, вдетые с этой целью».

О слове *вздержка* сказано: «2. неправ. вместо вдержка».

Однако при 2 значении глагола *сдернуть* — *сдергивать* указано: «стянуть, затянув продетым у края шнурком (простореч.). С. кисет».

В БАС при слове *сдержка* дано лишь значение 'сдержанность'. У глагола *сдергивать* как простореч. отмечено то же значение и с тем же примером, которое дает Сл. Уш.

Варианты *вздёржка, сдержка, вдежка* употребительны в современном просторечии, преимущественно в речи лиц старшего поколения, чаще у лиц, связанных с шитьем. Так называют и резинку, вдеваемую в трусы.

Бумага — в значении 'бумажные нитки' (хлопковые; в отличие от шерстяных или шелковых).

Сл. Уш.: «*бумага*^{2} — Хлопок как материал или в изделиях. Б. для штопки. Ткань из шерсти с бумагой».

В БАС это значение дано при слове *бумага* без помет как четвертое: «Пряжа из хлопка, т.е. семянного пуха растения хлопчатник [пример из Гончарова «Обломов»]. *Хлопчатая бумага* — то же, что хлопок».

В первой половине XX в. выражения типа *бумажное платье, бумажные чулки* были вполне употребительны, они обозначали «простые» изделия — не шелковые, шерстяные и т. п. Ср. более позднее *хлопчатобумажный*, давшее широко известное сокращение *х/б* (хабэ). По мере отказа от синтетики и повышения ценности изделий из хлопка слово *бумажный*, в этом значении, связанное устойчивыми ассоциациями с понятием «недорогой», «простой», устаревает. Соответствующие реалии стали называть словами *хлопок*, позднее заимствованием *коттон* (произносится по-разному: под влиянием фр. коттóн, англ. кóттон). Слова *бумага* и *бумажный* в этом значении вышли из употребления. Выражение типа *чистый хлопок* или *стопроцентный коттон* — высокая оценка (т.е. не содержит синтетики).

Так, изменения моды, развитие техники, бытовые и культурные перемены (хлопок не вреден для здоровья — ходячая истина нашего времени) влияют на историю слов.

Накидка. Сл. Уш.: «2. Верхняя одежда без рукавов, вроде плаща. 3. Дневное покрывало для подушек». МАС повторяет: «Верхняя одежда без рукавов», можно думать, что *драповые накидки*, упомянутые в ЗШБ, — это скорее род верхней одежды, чем покрывало. По моим наблюдениям, слово *накидка* в этом значении почти не употребительно. Ср. *пончо*.

Бук. Это слово встречается в таком контексте: (речь идет об игре «гигантские шаги») «... не обходилось без катастроф: один раз я со всего размаху сорвалась в чугун..., другой раз Люба, раскручиваясь на гигантских, оборвалась прямо *в бук* от белья, так что я и Катя первый момент не могли понять, куда она исчезла». Даль дает: «*Бук* — деревянная посудина, кадка (бочка), в которой парят белье». В Сл. Уш. с пометок *обл.* находим: «Щелок, в котором вываривают белье. // Кадка для бучения». Аналогичным образом толкует это слово БАС, но никакой пометой не снабжает. МАС этого слова не помещает.

Названия игр

Почему я выбрала для изучения эту группу лексики? «Игра — одна из основных форм быта и именно из таких форм, в которых отражается эпоха и ее дух» (Лотман, 1994, 25).

В ЗШБ читаем: «Любимыми играми и занятиями братьев были: городки, свайка, пускание змея и игра в стуколку». Многие из этих игр вышли или выходят из жизни:

Свайка. «1. (Только ед.) Название игры, состоящей в том, что толстый гвоздь с большой шляпкой нужно броском вонзить в землю, попав в середину лежащего на земле кольца» (Сл. Уш.). Характерно дополнение, которое делает МАС: «Народная русская игра».

Стукалка. Даль дает два написания: «*стуколка* и *стукалка*. Азартная карточная игра». Аналогичное толкование повторяет Сл. Уш.: «Род азартной карточной игры». МАС это слово не включает. Пояснение этой игре дает Шурочка Бархатова: «Последняя игра [стуколка] особенно увлекала всех. Играли на марки: нарезали билетики из цветной бумаги и соответственно цвету ставили числа рублей, желтые — рубли, зеленые — три рубля и т.д. и делили поровну. По громадной сумме до миллиона. Играли самым серьезным образом и в случае полнейшего банкротства давались векселя. Иногда просиживали ночи». Отметим, что на настоящие деньги не играли.

В этом пояснении обращает на себя внимание слова *марка.*

У Даля находим: «*марка* [нем. Mark, Marke], франц. [Marque] знак или заметка, значок, бирка, ярлык; костяшка, заместо денег, для счету». Нет разграничения между различными значениями этого слова, не выделено значение «почтовая марка».

Сл. Уш. фиксирует как четвертое такое значение: «Значок, фишка, жетончик, по которому производится последующая *оплата* чего-н.». БАС выделяет это значение как особое (второе), «2. Значок, жетон, по которому производится последующая оплата чего [в буфете, трактире]». У этого значения выделяется оттенок: // Значок для подсчета выигрыша в карточной игре [пример из: Гоголь, «Старосв. помещики»].

В качестве первого БАС дает значение: «Знак оплаты почтовых и некоторых других сборов».

В современном русском языке в значении, использованном Шурочкой Бархатовой, слово *марка* не употребляют. Ср. МАС: «*устар.* значок для подсчета выигрыша в карточной или бильярдной игре»; дается тот же пример из «Старосветских помещиков» Гоголя.

Блошки. Среди игр в ЗШБ упоминаются *блошки.* Сл. Уш.: «*блошка* (разг.) 1. Уменьш. к *блоха.* 2. Только мн. Костяные кружочки, которые подпрыгивают при нажимании на мягкой поверхности (служат детской игрой)». Аналогичное толкование повторяет МАС. Даль это значение не указывает.

В семьях Покровских — Булгаковых в эту игру с детьми играли и взрослые. Каждый играющий получал блошки одного цвета. Каждый высыпал на середину стола равное число блошек. Игра состояла в том, чтобы, нажимая одну из своих блошек, напрыгнуть на блошку другого игрока, которую следовало забрать. Если твоя блошка не напрыгнула, она оставалась на столе. Выигрывал тот, кто набирал наибольшее количество блошек. В блошки играли и в 30-е гг. Хорошо помню эту игру в доме Земских.

Гимнастика. Шурочка пишет о братьях: «Сперва устроили столярный станок, на котором работали общими силами, *устроили гимнастику,* поразбросали по саду скамеечки, далее сами устроили биллиард;

выстругали доски, сделали борт и лузы, выстругали кии, а шары отдали выточить».

Конкретно-предметное значение отмечено Далем: «*Гимнастика* ловкосилие? искусство укреплять тело человеческое и делать его сильным, ловким и гибким (...); иногда так называют и самое устройство для упражнений этих, или гимнастическое заведение».

Сл. Уш. этого значения не дает.

«Эпитеты, которыми наделяли Шурочку Бархатову в семье»

Рассмотрение этой группы слов интересно по двум причинам:

1) показывает способы создания экспрессивных наименований; тут и неузуальные производные слова (*костлявка*), и метафорические переносы из мира животных (*цапля, канареечка*) и вещей (*сапог*);

2) отражает смену реалий, актуальных для человеческого сознания в тот или иной период истории; в наши дни выражение *смазной сапог* мало кому известно, оно не может быть использовано как прозвище — наименование человека.

Костлявка. Даль, Сл. Уш., БАС этого существительного не фиксирует. Вероятно, домашнее (семейное) слово, от *костлявый*, которое все указанные словари помещают.

Смазной сапог. Прилагательное *смазной* отмечают Даль, Сл. Уш., БАС и МАС, чаще всего в выражении *смазные сапоги* — смазываемые дегтем, ворванью. Переносного значения ни один из этих словарей не дает. Можно предположить, что как прозвище это сочетание могло указывать на смуглость девочки. У А. М. Бархатовой была смуглая кожа, темные волосы и темнокарие яркие глаза.

Длинноногая цапля — это прозвище находит поддержку и в домашнем слове *костлявка*.

Три приведенные выше наименования Шурочка считает обидными, выделяя как ласковое: *Моя канареечка*. Шурочка рассказывает: «Я любила петь и все завывала, так как голос у меня был не ахти какой. И вот как-то я бегала, занимаясь своими делами, и сама все пела. Случайно столкнулась с папой и, конечно, замолкла, а он вслед крикнул: «Ах ты, *моя канареечка*, все поешь?».

Видимо, значение сравнения с поющей маленькой птичкой заложено в слове *канареечка*. Даль: «*Канарейка*. Певчая пташка. *Девица эта поёт, как канарейка*». Сл. Уш., БАС и МАС подобных примеров не дают.

Иные тематические группы

Худой. В ЗШБ — в сочетании *худое белье*. Сл. Уш. как 3-е значение помещает: худой — «Разг. Дырявый, с изъянами, испорченный». Первое значение: «тощий».

Даль располагает значения в ином порядке: «*Худой* — неладный, негодный, дурной, плохой, нехороший: в чем или в ком недостатки, пороки, порча // изношенный, ветхий, дырявый». И лишь далее помещает современное первое значение: « // Худой, кто худ телом, худощавый, сухощавый, поджарый и бледный, хилый, болезненный на вид, опалый»; примеров этого значения Даль не дает.

Крем. В ЗШБ употреблено в сочетании *крем бумага*. По семантике соответствует современному *кремовый* (со значением цвета). Это значение впервые зафиксировано в словаре Академии 1916 г. (по данным БАС). Сл. Уш. дает: *кремовый* 2) бледно-желтый, белый с оранжевым оттенком. При слове *крем* цветовое значение не указано.

Таким образом, *крем* — аналитическое прилагательное[9], вытесненное словом *кремовый*, ср. *беж — бежевый*. Выражение *связать скатерть из темно-красной или крем бумаги* мы бы передали так: «из хлопчато-бумажных ниток темнокрасного или кремового цвета». Напомню строки Маяковского: (И в небе цвета) *крем* / (Вставал суровый) Кремль» (Как делать стихи).

По моим воспоминаниям, сочетание *цвéта крем* было употребительно в 30-е гг. XX в. преимущественно по отношению к одежде бледно-желтого с розоватым оттенком цвета.

Следует подчеркнуть препозитивное положение этого аналитического прилагательного в ЗШБ: *Крем бумага*. Постпозиция встречается чаще: *пальто беж, шинель хаки*.

Сократить — сокращать кого, перен. В ЗШБ: «Ну, конечно, это увещевания мамы ничуть *не сокращало* братьев". Сл. Уш. толкует это значение так: «4. перен. кого-что. Лишить свободы действий в каком-н. отношении, заставить замолчать, поставить на место (простореч. фам.). Этого ловкача... можно *сократить* (Боборыкин)», Даль этого значения не отмечает. В БАС находим «6. Простореч. Укрощать, смирять, обуздывать». Примеры из Мамина-Сибиряка, Ан. Толстого и др. МАС также характеризует это значение как просторечное. Отметим, что указанное в Сл. Уш. управление (что) вряд ли применимо к сочетаемости глагола *сокращать* в данном переносном значении.

Схватывать руками. В ЗШБ находим это сочетание в контексте, позволяющем его понять синонимично современному *всплескивать руками*. Речь идет о жесте, выражающем крайнее огорчение. В использованных в этой статье словарях это выражение не отмечено.

Фонетические наблюдения немногочисленны. Авторы рассмотренных текстов соблюдали достаточно хорошо правила орфографии того времени.

Обращает на себя внимание отражение йканья, что по всей вероятности, объясняется тем, что Покровские жили на юге России — в Орловской губернии. Так, в уменьшительно-ласкательных производных

все пишут только и. О. Михаил: *внучоночик, Варичька;* В. М. Покровская-Булгакова: *Надичка;* Шурочка: *Варичка.* Написание Варечка и под. не встретилось.

Отражение естественного разговорного произношения — упрощение групп из трех согласных, включающих *т,* можно видеть в написании *асма* (ЗШБ), вм. *астма.* Ср. современное произношение *по́зно* (поздно), уже ставшее орфоэпической нормой. В разговорной речи: *студенка* и под. [10]

Грамматические наблюдения

В ЗШБ последовательно употребляется форма местоимения 3 лица женск. рода *ея* (в соответствии с совр. *её*), служащая для различения словоформ род. п. (*ея*) и вин. п. (*ее*).

В Сл. Уш. к словарной статье *ея* находим «Примечание: произношение *ея* вм. *её,* и до реформы 1917 г., было допустимо лишь в таких редких случаях, как при чтении вышеприведенных стихов» [«На крик испуганный *ея* (рифма к *семья!*) Ребят дворовая семья Сбежалась шумно. Пушкин]. Несомненно, что произношение *ея* Шурочка постоянно слышала в церкви, в домашних молитвах и чтениях. Соответствовало ли это написание ее произношению, для нас не ясно.

Отметим глагол, имеющий в современном языке аффикс *-ся,* в ЗШБ употребленный без *-ся: отчаявать* (в знач. 'отчаиваться'): «Три дня прошли мучительно, то у всех вдруг являлась надежда, что брат выздоровеет, то опять начинали *отчаявать* и плакать». Возможно, что это церковное влияние. Даль дает: «отчаять, отчая(и)вать кого, довести до отчаяния, безнадежить, лишить последней веры и надежды. // Церк. *отчаиваться,* терять вовсе всю надежду. -ся впадать в уныние, безнадежность, терять надежду на что-либо, унывать...» В Сл. Уш. и БАС помещены только *отчаяться, отчаиваться.*

Слово *каттаракт* (с двумя т) Шурочка Бархатова употребляет в мужском роде. Даль эту родовую принадлежность отмечает как первую. Среди других значений слова *катаракт* дает: « // Слепота от потускнения глазного хрусталика или *катаракта,* ж». Сл. Уш.: «*катар(р)акт,* м. То же, что *катаракта.* (Мед. устар.)».

В ЗШБ нередки случаи управления, отличающие язык рубежа XIX-XX вв. от современного. Это касается и приглагольного, и присубстантивного управления. В качестве общей тенденции можно отметить следующее: в соответствии с современным употреблением род. падежа при существительном и вин. падежа при глаголе используются дат. и твор. падежи. Рассмотрим несколько случаев.

Причина чему. В ЗШБ читаем: «Причину этому сухому отношению к образованию...» При слове *причина* Сл. Уш., БАС и МАС дают только род. падеж. Примеров употребления дат. падежа при существи-

тельном *причина* эти словари не содержат. Даль среди иллюстраций помещает: «*Всему есть причина. Всему своя причина*».

В Сл. П. при слове *причина* отмечено два управления — *причина чего* и *причина чему:* «При его рождении повредили ему ногу и лорд Байрон полагал *тому причиною* стыдливость или упрямство своей матери. Ж1, 123.3. Он долго дулся на упрямого президента и был *причиною тому,* что де Бросс не попал в Академию. Ж2,78.21» (т.III, 787).

Я полагаю, что дат. пад. при слове *причина* возможен лишь для слов обобщенной семантики (*все, это, то*). Такие сочетания архаичны, но не режут наш слух. Как кажется, в сочетаниях, включающих препозитивное *все, это, то,* возможен лишь дат. пад. Сочетания *всего причина, этого причина, того причина,* на мой взгляд, не узуальны.

Мне представляется, что сохранению подобных конструкций способствует позиция начала высказывания, которая лишает эти словоформы тесной зависимости от существительного *причина.* Подобные словоформы относятся ко всему предложению, конкретизируя общую семантику причинности. Дат. пад. естествен и в соединении с бытийными глаголами *есть, имеется.* Ср. *Тому есть причина. Вашему поведению есть причина? Твоему отчаянию имеется / есть причина,* я это знаю. Ср. управление в конструкциях со словом *объяснение.*

Аналогичное управление было свойственно и существительному *пример.* Напомню известные строки Крылова: «*Тому* в истории мы тьму *примеров* слышим» («Волк и ягненок»).

Сочетание, отмеченное в ЗШБ (см. пример выше), на мой слух, звучит как более устарелое, чем только что рассмотренные, но и оно не выходит за рамки понятной человеку конца XX в. и, возможно, даже приятной ему книжной литературности с оттенком архаичности.

В конструкциях с соотносительным местоимением *то* в главной части сложного предложения наблюдаем иную картину: старое *причина тому, что* вытесняется конструкцией с род. пад. *причина того, что.*

Злодей чему. Шурочка Бархатова так передает слова няни, ругающей мальчиков — ее братьев: «Это прямо злодеи своему дому». Сл. Уш. снабжает слово *злодей* пометой бран. шутл. Ни этот словарь, ни БАС и МАС сочетания с дат. пад. не фиксируют. У Пушкина находим сочетание *чей злодей:* А вы, мои друзья, Литва и Русь, вы братские знамена Поднявшие на общего врага, На *моего коварного злодея*... (Борис Годунов); Я увижу, на кого он походит, Так, наверно, отца его узнаю и Убью *своего злодея* (Песни западных Славян)», см. (Сл. П., I, 141).

Сочетание *чей злодей* корреспондирует с сочетанием *злодей кому:* и то, и другое указывают адресата злодея.

Дат. п. при существительном *злодей* отмечается в памятнике XVI в.: Мирский человек аще отрежет себе детородный уд да отлучен будет за

три лета яко *злодей своему животу*. Корм. Балаш., 33 об. XVI в. (СРЯ XI-XVII вв., 6, 21).

Несомненно, что дат. пад. при существительном *злодей* является отражением его отглагольного происхождения. Ср. *делать зло кому*. Вполне допустим дат. пад., как я полагаю, и при производных словах *злодейство, злодействовать кому* даже в наше время.

Рассмотрим еще два случая управления из ЗШБ:

а) запах сырыми полами;

б) няня двигала столами и стульями.

Очевидно, что эти случаи различны, но оба они обращают на себя внимание современного читателя.

Твор. пад. при отглагольном сущ. *запах* не свойственен языку нашего времени. Норма современного языка: *пахнуть-запахнуть чем, запах чего.*

Глагол *двигать* в прямом (не переносном!) (ср. перен. Им двигало чувство зависти) значении в сочетании с твор. пад. передает иное значение, чем обычное *двигать что* (*двигать столы*). В Словаре (Апресян, Палл 1982) это значение толкуется так: «*двигать чем <в разных направлениях или не сходя с места>*», тогда как *двигать что* обозначает движение в одном направлении.

Это сочетание нормативно, но не является частотным. «Обычное» сочетание *двигать чем* предполагает название органов человека. Даль толкует это значение как 'шевелить': «*Двигать руками, ногами*». Аналогично в Сл. Уш.: «3. чем Шевелить, производить движения. Двигать пальцами». БАС, кроме указанного значения 'шевелить' (об органах человека), отмечает сочетаемость с твор. пад. при втором значении гл. *двигать* за знаком «ромб»: «Перех. и неперех. Руководить кем, чем-л.; побуждать кого-л. к чему-л. ... Им [Писаревым] двигала полезная идея (Курочкин); Нет, не они [деньги] двигали им [Чичиковым] (Гоголь)».

Не давая толкования этому значению (или оттенку), его отмечает и Даль, помещая, пример: «*Кто движет или двигает народами?*» В БАС находим кроме того выражение *двигать горами.* БАС фиксирует сочетаемость с твор. п. и при другом значении: «4. Перех. и неперех. Производить движения чем-либо, шевелить». Примеры из Б. Горбатова (*двигать горшками в печи*), А. К. Толстого и Пушкина: Стану в смиреньи Черпать забвенье И для друзей Резвой рукою *Двигать струною* Арфы Моей. Пушк. Измены».

В употреблении твор. пад. при глаголе *двигать* в значении 'производить беспорядочное передвижение какого-либо неодушевленного предмета' я ощущаю, если так можно выразиться, «двустилистичность»: воспринимаясь как слегка сниженный (ср. *двигать горшками в печи*), он тяготеет к архаически высокому (*двигать народами;* ср. церковную реминисценцию *двигать горами*). Сам контекст, в котором употреблено это выражение, «двустилистичен» — он и торжественно-

приподнятый и бытовой. Вот этот контекст: «В особенности в великую пятницу я любила слушать звон к вечерне и выносу плащаницы. В это время уже приборка заканчивалась и все домашние уходили в церковь, а я забиралась куда-нибудь в уголок за нагроможденные стулья и думала. Во всем доме еще стоит запах сырыми полами, где-нибудь в соседней комнате няня двигает столами, стульями, а тут раздается перезвон — величественный и печальный».

Исследование «Записок Шурочки Бархатовой» можно было бы расширить и углубить, но сделать это не позволяет размер статьи[11]. Надеюсь, что мои скромные наблюдения могли бы быть интересны Дмитрию Николаевичу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н.А.Булгакова-Земская (1893-1971) раньше других оценила талантливость брата. В ее воспоминаниях о брате, гимназисте старших классов, есть фраза: «В конце 1912 года он [Михаил] дал мне прочесть свои первые рассказы и тогда впервые сказал мне твердо: «Вот увидишь, я буду писателем» (см.: Земская 1988, 60).

Будучи филологом по образованию, Н. А. Земская, единственная из всех членов семьи, бережно хранила документы разного рода и пронесла их через годы революции, гражданской и Отечественной войн, время эвакуации. Собранный ею архив содержит письма отца и матери писателя, письма его самого, его сестер и братьев, дневниковые записи и тексты иного рода (см. например: Земская, 1988). Эти материалы охватывают временно́й период, начиная с конца XIX в. до 60-х гг. XX в. Это — интересные памятники эпохи.

[2] Это письмо — первый из хранящихся в архиве письменный отклик на рождение М. А. Булгакова. Письмо послано из г. Карачева, где М. В. Покровский был протоиереем Казанской Карачевской церкви, в Киев, куда А. И. Булгаков (1859-1907) увез его дочь, свою жену, В. М. Покровскую (1869-1922). Письмо явно ответное. По-видимому, дочь спрашивала у родителей, может ли она приехать к ним на лето с годовалым ребенком.

[3] Доброту и ласковость о. Михаила подчеркивает автор хранящегося в архиве некролога, написанного по кончине протоиерея М. В. Покровского. К сожалению, сохранились только вырезанные из книги небольшого формата страницы, на которых нет ни фамилии автора, ни каких-либо указаний на год и название издания. На стр. 13-16 под цифрой III под заголовком «Любимый пастырь» напечатан некролог. В конце стр. 16 под цифрой IV помещено начало текста, озаглавленного «Из церковно-приходской памятки».

[4] Из тетради аккуратно вырезаны стр. 1-17 и 48-54. По остаткам страниц можно судить, что на них записывались церковные расходы. В цитатах из этой книги я использую современную орфографию, сохраняя лишь те особенности, которые отражают произношение или иные черты языка. Пунктуацию сохраняю полностью. В квадратных скобках помещаю свои пояснения или предположительные прочтения.

[5] Написано карандашом аккуратным почерком, по всей вероятности А. М. Бархатовой, которая помогала мужу. Текст не закончен. Фразы, взятые в

скобки, можно думать, отражают поиски А. А. Бархатова при составлении проповеди.

[6] В тексте много зачеркиваний, многие слова даны в сокращении. Свои прочтения заключаю в квадратные скобки.

[7] Здесь и далее знаком * «звездочка» отмечены слова и словоформы, которые рассматриваются ниже в специальных разделах.

[8] Полный текст «Записок Шурочки Бархатовой» (с комментариями) подготовлен мною для публикации. Далее при ссылках на этот источник принято сокращение: ЗШБ.

[9] Понятие «аналитическое прилагательное» ввел М. В. Панов. См.: Панов, 1971.

[10] См. наблюдения Г. А. Бариновой в Русская разговорная речь, 1973, 87-88.

[11] Благодарю М. С. Гринберга и Л. В. Евдокимову за помощь при прочтении неясных фрагментов текста и ценные советы. М. М. Гринберга благодарю за помощь в работе со словарями.

СОКРАЩЕНИЯ

БАС — Словарь современного русского литературного языка, т. 1-17, М.-Л., 1948-65.

Даль — Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, 3 изд., т. 1-4, 1903.

МАС — Словарь русского языка, т. 1-4, изд. 2, М. 1981.

об. — оборот страницы.

Сл. П. — Словарь языка Пушкина, т. 1-4, М., 1956-1961.

Сл. РЯ XI-XVII — Словарь русского языка XI-XVII вв. М., «Наука», 1979, т. 6.

Сл. Уш. — Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова, т. 1-4. М., 1934-1940.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю. Д., Палл Э. Русский глагол — венгерский глагол. Словарь управления и сочетаемости, т. 1-2. Будапешт, 1982.

Елистратов В. С. Словарь московского арго. М., «Русские словари», 1994.

Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979.

Земская Е. А. Из семейного архива. Материалы из собрания Н. А. Булгаковой-Земской // Воспоминания о Михаиле Булгакове, М. «Сов. писатель», 1988.

Земская Е. А. Письменные жанры неофициальной речи как материал для изучения разговорного языка (Наблюдения над порядком слов). // Словарь. Грамматика. Текст. ИРЯ РАН, М., 1996.

Лаптева О. А. О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1966, № 2.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — нач. XIX века). СПб., 1994.

Панов М. В. Об аналитических прилагательных // Фонетика, фонология. Грамматика. М., 1971.

Русская разговорная речь. М., «Наука», 1973.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., «Наука», 1977.

М. М. Копыленко

СОЦИАЛЬНОЕ И ЭТНИЧЕСКОЕ В ЯЗЫКЕ (ОЧЕРК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

Примем, вслед за Л. Б. Никольским [Никольский, 1976, 7, 58-60], что социолингвистика — одна из трех (наряду с психолингвистикой и этнолингвистикой) «менталистских» линвистических дисциплин, противостоящих «интралингвистике»[1]. Ясно, что упомянутые три дисциплины не могут не иметь сфер соприкосновения. Более того, виднейшие американские социолингвисты Дж. Фишман [Fishman, 1970, 6] и Дж. Гринберг [Greenberg, 1971, 7] не без оснований считают, что современная социолингвистика является логическим продолжением этнолингвистики, основы которой заложили Ф. Боас и Э. Сепир (см. также [Fishman, 1970, 26-27]).

Поскольку в задачи социолингвистики входит «1) изучение з а в и с и м о с т и языка, его структуры от общества, иначе говоря, социальной обусловленности языковых явлений; 2) изучение общественных ф у н к ц и й языка, его роли в обществе, в о з д е й с т в и я на общество» [Филин, 1982, 131][2] [выделено нами — М.К.], то этнолингвистика должна выявить этноязыковую дифференциацию упомянутых зависимостей, функций, воздействия. Рассмотрим с этой точки зрения ряд типологий, разработанных социолингвистами.

В. А. Аврорин и вслед за ним В. Д. Бондалетов показали следующим образом сущность функций (общих и частных), форм существования, сред и сфер употребления языка: «функция — это цель, форма существования — это вид орудия, среда — это условие, а сфера — это область применения этого орудия» [Аврорин, 1975, 83; Бондалетов, 1987, 89].

В. Д. Бондалетов относит к формам существования языка: «1) литературный язык; 2) народно-разговорный язык; 3) койне (наддиалектное образование, интердиалект); 4) просторечие; 5) язык-пиджин; 6) креольский язык; 7) территориальные диалекты; 8) некоторые типы социальных диалектов» [Бондалетов, 1987, 45-46]. Позволительно поставить вопрос: в каких формах существования в большей мере отражены этнические признаки носителей языка, а в каких в меньшей мере? Гипотетически (поскольку исследования в этом плане не прово-

дились) к первой группе можно отнести формы 2), 4), 5), 6), 7), 8), а ко второй 1) и 3).

Аналогичную гипотезу можно предложить относительно сфер общения. По В. А. Аврорину [Аврорин, 1975] (см. также [Бондалетов, 1987, 89]) различаются: 1) сфера хозяйственной деятельности; 2) сфера общественно-политической деятельности; 3) сфера быта; 4) сфера организованного обучения; 5) сфера художественной литературы; 6) сфера массовой коммуникации; 7) сфера эстетического воздействия; 8) сфера устного народного творчества; 9) сфера науки; 10) сфера всех видов делопроизводства; 11) сфера личной переписки; 12) сфера религиозного культа.

По-видимому, идиоэтничные особенности языка сильнее проявляются в 3), 5), 6), 7), 8), 11) сферах и сглаживаются во 2), 4), 9), 10), 12) сферах.

Коснемся и сред общения, которые у В. А. Аврорина [Аврорин, 1975] (см. также [Бондалетов, 1987, 90]) различаются следующим образом: 1) семейное общение; 2) общение внутри производственного коллектива; 3) общение внутри социальной группы; 4) общение внутри населенного пункта или ограниченного региона; 5) общение при временно организованном средоточии людей; 6) общение внутри целого народа, независимо от его численности; 7) межнациональное общение; 8) общечеловеческое общение. Очевидно, что идиоэтничные черты проявляются резче, явственнее в 1), 2), 3), 4), 6) средах и сглаживаются, нивелируются в 5), 7), 8).

Такого же рода дифференциацию можно провести в области общественных функций и сфер языка, постулируемых Ю. Д. Дешериевым [Дешериев, 1977, 92-93], сфер языка, разграничиваемых Л. Б. Никольским [Никольский, 1976, 37].

Подобным образом различаются, по нашему мнению, профессионализмы и термины. Первые в гораздо большей степени идиоэтничны, чем вторые. Поскольку и поныне встречаются «профессионально специализированные этносы» («например, в Африке: этническая группа бороро — пастухи, сорко — рыболовы, туареги — корзинщики, диула — профессионально-этническая группа бродячих торговцев» [Бондалетов, 1987, 71]), то различаются в профессиональном отношении и формы существования используемых этими этническими группами языков.

В наибольшей мере идиоэтнично, как нам представляется, просторечие: в нем отражается присущее данному народу специфическое восприятие тех или иных понятий, стремление своеобразно оценить, охарактеризовать (обычно шутливо, иронично) устоявшиеся представления о реалиях повседневного быта.

См., например, переходящие или уже перешедшие в разряд историзмов русские «советизмы»: подснежник 'лицо, занимающее юридически одну должность, а фактически другую, не предусмотренную

штатным расписанием'; спутник агитатора 'пробочник'; сообразить на троих 'купить вскладчину и распить втроем обычно в неподобающем месте бутылку спиртного'; Мне это остопятидесятилетело 'порядком надоело, осточертело' (отзвук юбилейной шумихи, связанной со 150-тилетием со дня рождения К. Маркса, отмечавшегося в 1968 году).

См. также окказиональные: узники 58-й: «Оставшиеся в живых» узники 58-й, потомки «баев» и «кулаков», обратились с открытым письмом к президенту республики Н. А. Назарбаеву. В обращении содержится просьба реабилитировать всех незаконно репрессированных казахстанцев и возместить им материальный и моральный ущерб [...]» [Комсомольская правда, № 43 (21053), 10-13 марта 1995 г., с. 7]; «Маслята» это отнюдь не тещины грибочки, а фирмы, торгующие моторным маслом. И если вы хотите спать спокойно, а ездить далеко, не скупитесь и подарите двигателю вашей машины радость обновления — желательно синтетическую и импортного происхождения» [Там же с. 14][3].

Ср., например, интерпретируемые и анализируемые Т. Т. Примбетовым в различных аспектах казахские просторечные обозначения: көк жорға 'голубой иноходец', көк мойын 'голубая шея' вм. арак 'водка'; бөшкебай приблизит. 'бочка бочкой' вм. семіз 'тучный', шойнақ приблизит. 'колченогий' вм. ақсақ 'хромой' [Пірімбетов, 1986] (см. также [Пірімбетов, 1986], [Лавыш, 1984], [Миллер, 1972], [Нуркенова, 1988], [Копыленко, 1976], [Копыленко, 1992] и др.).

До сих пор почти совершенно неисследованной остается идиоэтничная природа инвектив (брани) (См. об этом, например, [Рюриков, 1993]). См., у В. И. Жельвиса [Жельвис, 1988, 98-99]: «Общеизвестно, что если в основе немецкоязычной инвективной стратегии лежат скатологические [τοσχωρ, σχατός — экскременты, навоз. М.К.] оскорбления, то англоязычные культуры предпочитают в той же роли пользоваться сексуальными символами, итальянская культура особенно охотно прибегает к богохульству и т. п. Одно из самых сильных оскорблений в арабском мире — «Собака!» — в большинстве европейских культур стоит по силе эмоционального воздействия много ниже других инвектив». Далее автор подробно рассматривает весьма своеобразную инвективную стратегию японцев, затрагивает также специфику инвектив у яванцев и вьетнамцев.

Большим своеобразием в этническом отношении отличаются детерминанты речевого поведения, к числу которых относятся отправители и получатели информации, «поскольку от их социального положения и социальной роли зависит построение той или иной социально значимой разновидности, либо разновидностей высказывания (при социальном, возрастном неравенстве участников коммуникативного акта, в некоторых языках — при половых различиях между коммуникантами)» [Никольский, 1976, 125] и ситуация, в которой происходит

коммуникативный акт. Формальный и неформальный характер ситуации обусловливает коррективы, вносимые в высказывания.

Детерминанты речевого поведения нередко называют речевым этикетом. Он изучен явно недостаточно, хотя и лучше, чем предшествовавшие в нашем изложении формы взаимодействия этнического и социального в языке и речи. См., например, диссертацию В.В.Андриянова [Андриянов, 1976], в которой на основе изучения большого числа разнообразных речевых актов, относящихся к деятельности русско-французских переводчиков, разработаны ролевые предписания их невербального и вербального поведения по типам ситуаций. Автор подробно анализирует национальную специфику ролевого общения. Дедуктивно найденная диссертантом дедуктивно модель ролевой деятельности позволила ему удачно соединить объективное и субъективное в характере деятельности переводчиков.

Речевым этикетом определяется использование разговорных формул. Каждый язык обладает определенным набором этих воспроизводимых высказываний, которыми изобилует речь повседневного обихода в повторяющихся ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, удивление, восхищение и т. д.). См. диссертацию М.К.Кармысовой [Кармысова, 1989], в которой детально изучена специфика речевых формул русского и французского языков.

Лучше других изучены фатические речевые формулы, употребляемые для установления, поддержания и завершения речевого взаимодействия. Термин «фатическое общение» введен в научный обиход в 1935 г. Б. Малиновским [Malinowski, 1935], в дальнейшем фатические разговорные формулы изучались Р. Якобсоном [Jakobson, 1960], С. М. Эрвин-Трипп [Эрвин-Трипп, 1975], Д. Х. Хаймсом [Hymes, 1962; Хаймс, 1975] и другими исследователями. Теоретические аспекты фатического общения разработаны на материале русского языка Л.М.Козловской [Козловская, 1983], на материале казахского языка — К. Ш. Кажгалиевой [Кажгалиева, 1991; Кажгалиева, 1991]. Упомянутые авторы уделили надлежащее внимание этнической специфике изучавшихся ими речевых формул; специально в сопоставительном плане они исследованы уже упомянутой М. К. Кармысовой [Кармысова, 1989] (русские и французские), Б. Х. Рахматиллаевой [Рахматиллаева, 1988] (русские и узбекские), Ф. Р. Ахметжановой и В. А. Кудрявцевой [Ахметжанова, Кудрявцева, 1992] (русские и казахские, наряду с другими речевыми формулами), М. М. Копыленко, З. К. Ахметжановой, Т. У. Жолтаевой и др. [Копыленко, Ахметжанова, Жолтаева и др., 1990] (русские и казахские), Ш. Сафаровым [Сафаров, 1991] (русские и таджикские). Желательно углубление такого рода исследований и значительное расширение круга привлекаемых к сопоставительному анализу языков. (См., например, [Peal, Lambert, 1962], [Henning, 1972], [Hymes, 1962]).

Л. Б. Никольский [Никольский, 1976, 110-111] приводит интересные факты влияния языковой политики на изменение системы языка. (См. об этом также у И. Ф. Протченко [Протченко, 1985]).

К числу других проявлений взаимодействия социальных и этнических факторов в функционировании языка отнесем отмеченное Дж.Гамперцем предпочтение родному языку при выражении этнических особенностей культуры членами двуязычных социумов [Гамперц, 1975] (см. также [Хасанов, 1992]), Д. Х. Хаймсом — роль речи на родном языке в социализации, т.е. в приобретении ребенком бытовых, культурных, профессиональных навыков [Хаймс, 1975, 77-95], С. Г. Аббудом — проявление национального характера в антропонимике и в ее функционировании [Аббуд, 1994]).

Разумеется, это все примеры, представляющие лишь малую часть взаимозависимости социального и этнического в языке и в речи, которая должна стать объектом приложения дружных усилий специалистов по социо- и этнолингвистике.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «... интралингвистика считает язык гомогенным в социальном плане, а социолингвистика отвлекается от его структурной гетерогенности («составленности» языка и его подсистем из разноуровневых элементов)» [Никольский, 1976, 60].

[2] С этим взглядом Ф. П. Филина на предмет социолингвистики в целом согласуются концепции В. А. Аврорина [Аврорин, 1974; Аврорин, 1975], Л.Б.Никольского [Никольский, 1976], А. Д. Швейцера [Швейцер, 1976], А. Д. Швейцера и Л. Б. Никольского [Швейцер и Никольский, 1978], Ю. Д. Дешериева [Дешериев, 1977], авторов сборника [Теоретические проблемы..., 1981], В. Д. Бондалетова [Бондалетов, 1987], У. Лабова [Лабов, 1976].

[3] Регулярное значение арготизма маслята — 'патроны'.

ЛИТЕРАТУРА

Аббуд Садик Гумер. Русское имя в современной публичной речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1994.

Аврорин В. А. О предмете социальной лингвистики // Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания: (тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний). М., 1974.

Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка: К вопросу о предмете социолингвистики. Л.: Наука, 1975.

Андриянов В. В. Психолингвистические аспекты устного перевода как вида речевой деятельности: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1976 [Машинопись].

Ахметжанова Ф. Р., Кудрявцева В. А. Формы речевого этикета в казахском и русском языках. Усть-Каменогорск, 1992.

Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика. М., 1987.

Гамперц Дж. Дж. Типы языковых обществ // Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М., 1975.

Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика: К основам общей теории. М.: Наука, 1977.

Жельвис В. И. Инвективная стратегия как национально-специфическая характеристика // Этнопсихолингвистика. М., 1988.

Кажгалиева К. Ш. Национально-культурная специфика фатической речевой коммуникации в казахском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1991.
Кажгалиева К. Ш. Национально-культурная специфика фатической речевой коммуникации в казахском языке // Известия АН КазССР. Серия филологическая, 1991, № 1.
Кармысова М. К. Разговорные формулы русского и французского языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
Козловская Л. А. Фатическая функция языка: Социолингвистический и структурно-грамматический аспекты: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1983.
Копыленко М. М. О семантической природе молодежного жаргона // Социально-лингвистические исследования. М., 1976.
Копыленко М. М. Просторечные глаголы: (ономасиологический очерк) // Исследования по семантике: семантические единицы и их парадигмы. Уфа, 1992.
Копыленко М. М., Ахметжанова З. К., Жолтаева Т. У., Кисамединова Л. М., Ергалиева Ж.Е. Казахское слово в русских художественных текстах. Алма-Ата: Гылым, 1990.
Лабов У. Единство социолингвистики // Социально-лингвистические исследования. М., 1976.
Лавыш Т. А. Национально-исторический колорит в тексте перевода // Романское и германское языкознание. Минск, 1984. Вып. 44.
Миллер А. А. Стилистически сниженная лексика и ее отражение в двуязычных словарях: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1972.
Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика: (теория и проблемы). М.: Наука, 1976.
Нуркенова С. С. Проблемы передачи стилистически сниженной лексики и фразеологии: (на материале русских переводов англо-американских художественных текстов). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1988.
(Пиримбетов) Пірімбетов Т. Т. Қазақ тіліндегі қарапайым создер туралы т сінік жэне онын кейбір жасау жолдары // Қазақ ССР Гылым академиясынын хабаршысы, 1986, № 6.
Протченко И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи: Социолингвистический аспект. М.: наука, 1985.
Рахматиллаева Е.Х. Формулы этикета со значением привлечения внимания в русском и узбекском языках // Актуальные проблемы общей семантики русского языка. Ташкент, 1988.
Рюриков Ю. Русский «любострой» и русский мат // Книжное обозрение, № 33, 20 авг. 1993.
Сафаров Ш. Учет этнокультурной специфики речевых поступков при переводе // Перевод как моделирование и моделирование перевода. Тверь, 1991.
Теоретические проблемы социальной лингвистики. М.: Наука, 1981.
Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания. М.: Наука, 1982.
Хаймс Д. Х. Этнография речи // Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
Хасанов Б. Социально-лингвистические проблемы функционирования казахского языка в республике Казахстан: АДД, Алма-Ата. 1992.
Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. М.: Наука, 1976.
Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. М.: Наука, 1976.
Эрвин-Трипп С. М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия. // Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М., 1975.
Fishman J. A. Introduction. The Sociology of Language. // Readings in the Sociology of Language / ed. J.A.Fishman. N.Y., 1970.
Greenberg J.H. Linguistics and Ethnology // Language, Culture and Communication. Stanford, 1971.
Henning G. A contrastive analysis of Persian with American Culture and Semantics. U.C.L.A., 1972.
Hymes D. Models of the Interaction of Language and social Life // Directions in sociolinguistics / Eds. J.J.Gumperz and D.Hymes, Holt, Rinehart and Winston. N.Y., 1972.
Hymes D. The ethnography of speaking // Anthropology and Human Behavior / ed. by Th. Gladwin and W.C.Sturtevant. Washington, 1962.
Jakobson R. Concluding statement: linguistics and poetics // Style in Language. Cambridge and N.Y., 1960.
Malinowski B. Coral gardens and their magic. II. The language of magic and gardening. L., 1935.
Peal E., Lambert W.E. The Relation of Bilingualism to Intelligence // Psychological monographs. Washington, 1962.

С. Е. Никитина

О МНОГОЗНАЧНОСТИ, ДИФФУЗИИ ЗНАЧЕНИЙ И СИНОНИМИИ В ТЕЗАУРУСЕ ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА

В книге «Проблемы семантического анализа лексики» Д. Н. Шмелев высказывает ряд теоретических положений относительно многозначности слова, иллюстрируя их многочисленными образцами русских литературных текстов. Утверждения, им высказанные, оказываются особенно убедительными, когда обращаешься к народному языковому сознанию. Цель данной статьи — рассмотреть некоторые положения Д. Н. Шмелева применительно к фольклорному материалу и показать, как вопросы многозначности и синонимии решаются в процессе тезаурусного описания фольклорного слова.

Начнем с вопроса о семантическом тождестве слова, которое Д.Н.Шмелев связывал с его звуковым тождеством: «Именно языковая данность, то, что перед нами одна звуковая единица, и является решающим доводом в пользу того, чтобы считать ее одним словом... У нас нет никаких оснований заранее считать каждую номинативную функцию одной и той же единицы значением различных слов. Наоборот, нам нужно доказать, что какие-то значения, несмотря на то, что они выражаются той же материальной единицей, принадлежат не одному слову, а разным словам, т. е. омонимам» (Шмелев 1973, 75).

В народном сознании очень сильна тенденция видеть сходство по смыслу не только в тождественных, но и сходно звучащих словах: на этом построена народная этимология, переходящая иногда в этимологическую магию [Н.И. и С.М. Толстые 1988]. Очевидно, что при таком отношении к слову народное сознание не должно принимать омонимии, особенно там, где исторически омонимы имеют общий источник.

Так, на синхронном уровне слово *коса,* представляемое во всех словарях как омонимичное, в народном сознании таковым не является. Вот фрагмент из сочинения — рассказа о словах — человека, любительски занимающегося описанием внутренней формы слов и сравнивающего три *косы* — девичью, песчаную и сельскохозяйственную.

«Совсем разные образы вызывают эти словосочетания в сознании слушающего. А что же общего у них, кроме звуков К-О-С-А — это что-то, во-первых, длинное, во-вторых, узкое, в-третьих, с одной стороны сходящее «на нет», т. е. становящееся к концу все уже и уже и, в-четвертых, это длинное, тонкое, узкое и сходящее «на нет» обязательно прикреплено вторым, более широким концом, к чему-то довольно солидному по сравнению с «косой» — к берегу, к девичьей голове, к ручке.

Как видим, суть-то у всех трех «кос» одна, но смысл меняется неузнаваемо в зависимости от слов, стоящих рядом».

Если мы обратимся к автоматическим словарям словоформ, полученным на текстах духовных стихов и причитаний (более 230000 словоупотреблений, основная база данных находится в Машинном фонде ИРЯ РАН), то увидим, что там омонимов практически нет, хотя, конечно, есть омоформы типа дорогóй — дорóгой. Нет омонимов и в опубликованных частотных словарях языка былин [Фольклорная лексикография 1994, 1995].

Многозначность фольклорного слова также достаточно специфична. С одной стороны, фольклорное слово стремится к однозначности в силу указанной выше причины — тенденции народного сознания видеть в одной звуковой форме один смысл. С другой стороны, существует несколько факторов, обусловливающих многослойность фольклорных единиц. Наиболее очевидный из них — глубокая семиотичность фольклорного мира. Она проявляется и в том, что многие слова являются членами важнейших семиотических оппозиций (например, сад и лес как представители «своего» и «чужого» мира в свадьбе, камень как элемент, связывающий «тот» и «этот» свет) или символами конкретных реалий (например, символика названий невесты или покойника). Очевидны также жанровые проекции общей фольклорной картины мира, которые сказываются на значении и употреблении слов в текстах разных жанров — как в их прямых, непосредственных значениях, так и в символических.

Существенно также, что многие слова, особенно прилагательные, включают в свою семантику оценочность, иногда «забивающую» первое, прямое значение (такие прилагательные, как *новый* в значении 'хороший', *алый* и *лазоревый* в значении 'красивый' [Хроленко, 1992], а иногда сосуществующие с ним. Чаще всего различные виды коннотаций связаны с колористическими прилагательными — таковы, например, прилагательные «черный» или «зеленый». Так, слово «черный» может обозначать цвет: *черный бархат, черные брови,* однако в словосочетании *черный ворон* оно имеет коннотацию «зловещность». *Черный* в сочетаниях *черное платье / риза* имеет коннотации печали и отрешения от мира, например, в духовных стихах: *Иди в пустыню дальнюю, / Постригися в ризу черную.* Ср.: *Черное платье богомольное* в свадебных причитаниях.

Общие символические противопоставления *черный / белый, черный / цветный* отчетливо выражены в духовных стихах: *Скидавай, человече, платье цветное, / Надевай, человече, ризу черную,* где *цветное* противопоставлено *черному* как веселое, мирское аскетическому, иноческому. Если в духовных стихах в некоторых контекстах *черное* противопоставляется *белому* как грех чистоте (нагрешившему в мыслях *черноризцу* является ангел в *белых* ризах), то в свадебных причитаниях *черное платье богомольное* становится в один ряд с *белым платьем умиральным.*

Принципиально важным для понимания семантики языка фольклора и структуры фольклорных текстов оказывается введенное Д.Н.Шмелевым понятие диффузности: «Семантическая структура целого ряда слов характеризуется тем, что отдельные значения, отчетливо разграничиваемые друг от друга в определенных позициях, в других позициях оказываются совместимыми, выступающими нераздельно... В поэзии такое совмещение значений, в частности, создает эффект смысловой емкости» [Шмелев 1973, 1, 77]. Понятие диффузности стало существенным инструментом описания диалектного слова [Оссовецкий, 1982], о семантической неопределенности фольклорного слова писал А. Т. Хроленко [Хроленко 1992].

Диффузность значения фольклорного слова проявляется в двух разновидностях. Первый тип диффузности — размытость значения слова независимо от того, многозначно оно или нет. Эта диффузность обусловлена включением слова в квазисинонимический ряд, где наряду с полными словарными синонимами оказываются слова, достаточно далекие друг от друга, но встречающиеся рядом или в параллельных конструкциях, участвующие в фундаментальном механизме производства фольклорного текста — повторе, создающем эффект усиления:

По широкой было славной улице,
По проезжей-то было по дорожечке
Выезжал-то майор да полковничек (КЛ, 67),

где пары *широкая — проезжая, улица — дорожечка, майор — полковничек* являются квазисинонимами. Диффузность такого типа рождена стремлением мифологического фольклорного сознания к отождествлению разных элементов мира и, следовательно, разных элементов языка — отсюда длинные ряды эквивалентностей.

Это явление неоднократно описывалось [Хроленко, 1992, Невская, 1993] и получило название парадигматичности фольклорного слова. Длинный синонимический ряд, опрокинутый в текст, т. е. реализующийся в синтагматике, расшатывает определенность значения, делает, как это показал А. Т. Хороленко, любое слово из ряда представителем всей парадигмы, отсюда размытость семантических границ, диффузия в синонимическом ряду.

Такую диффузность можно назвать внешней: она выходит за пределы слова, распространяется на значения разных слов условно-синонимического ряда, начиная с двандва типа *правда-истина, путь-дороженька, пора-времечко, счастье-талан* и т. д. и переходя на слова, составляющие однородные члены или встречающиеся в параллельных конструкциях: *допрошусь я у соседушек, удоведуюсь.*

Другой тип диффузии, а именно о нем и пишет Д. Н. Шмелев, — взаимопроникновение значений внутри многозначного слова, когда значения, различающиеся в одних контекстах, не различаются в других, выступая нераздельно. Диффузность этого типа можно назвать внутренней: она распространяется на некоторые или даже на все значения многозначного фольклорного слова и связана, на наш взгляд, с наличием либо так называемого главного значения слова, либо глубинного семиотического / символического значения, объединяющего своим присутствием значения другого уровня, или с тем и другим вместе.

Д. Н. Шмелев так писал о главном значении: «В главном значении слова ... следует видеть не какое-то общее значение, но такое значение, которое наиболее обусловлено парадигматически и наименее обусловлено синтагматически» (Шмелев, 1973, 212). Рассматривая слово *дорога,* которое в словаре Д. Н. Ушакова имеет пять значений, Д. Н. Шмелев выделяет первое значение 'полоса земли, предназначенная для передвижения' как главное, так как оно имеет отчетливое парадигматическое противопоставление — *тропинка,* которого нет у других значений этого слова, а именно, 2) 'место, по которому можно пройти или проехать', 3) 'путешествие, поездка', 4) 'направление, маршрут', 5) 'средства достижения цели, в том числе карьера, жизненный путь'. С дорогой в первом смысле, пишет автор, «можно делать все, что можно делать с реальным, обозначаемым данным словом предметом», в отличие от других значений, синтагматически обусловленных (Шмелев, 1973, 213).

Обратимся и мы к дороге, только к фольклорной, и рассмотрим, как устроено это многозначное слово в разных жанрах фольклора. Способом описания будет служить словарная статья тезауруса языка фольклора, структура которой представлена в [Никитина, 1993] и которую мы должны здесь кратко охарактеризовать. Статья состоит из четырех частей. Первая включает информацию о массиве текстов, на материале которых делается описание слова, о его частоте, грамматических характеристиках, словообразовании, о фонетических и морфологических вариантах. Кроме того, в этой части дается краткое толкование слова, если это необходимо, а именно в случае, когда слово многозначно и эти значения невозможно различить с помощью синонимов во второй части словарной статьи, или слово имеет символическое / семиотическое значение, требующее пояснения.

Вторая часть словарной статьи — тезаурусная, — аналог анкеты, на которую «отвечает» заглавное слово при помощи слов или словосочетаний того же языка. Таким способом строится семантическая экспликация слова. Тезаурус насчитывает в настоящее время около сорока пунктов — названий типичных для фольклорных текстов семантических отношений — парадигматических и синтагматических, статических и динамических (событийных), равнозначных и иерархических. В нашем описании все они называются тезаурусными функциями, которые для разных слов принимают разные значения. Очевидно, что для каждого слова релевантна только часть из общего количества функций.

За тезаурусной частью следует иллюстративная. Примеры даются к каждому заполненному пункту словарной статьи, но не к каждому значению функции, которых может быть очень много.

Тезаурусную часть можно сравнить с сетью, которую забрасывают в текст и которая улавливает семантически важные связи слова. Однако почти вся интерпретация полученного исследователем материала при этом остается за бортом. Ее представляет последняя часть словарной статьи — комментарий, включающий как технические, так и содержательные замечания. Содержательный комментарий может быть внесен в начало.

Итак, мы будем описывать многозначные слова. Естественно, встает вопрос о соответствии числа словарных статей количеству разных значений слова, о представлении информации, общей для разных значений. Когда значения диффузны, то имеется альтернатива в описании: можно а) составлять для разных значений слова разные словарные статьи с выделением специальной зоны совмещения значений или б) строить одну словарную статью, где в пункте «толкование» будут перечислены все значения словарной единицы, а в тезаурусной части значения функций (парадигматические и синтагматические партнеры заглавного слова) помечены индексами соответствующих значений/толкований заголовочного слова. Когда главное значение очевидно, а остальные от него зависимы, второй путь кажется достаточно обоснованным. Однако он имеет свои неудобства, прежде всего, — отсутствие наглядности, которую демонстрирует первый способ. Пока мы используем оба пути, и выбор конкретного типа словарного описания зависит от степени диффузности описываемого слова.

Мы рассмотрим употребление слов *дорога* и *путь* преимущественно в трех фольклорных жанрах — былинах, причитаниях (похоронных и свадебных) и духовных стихах.

Во всех трех жанрах эти слова называют очень важный элемент фольклорной модели мира или, вернее, соответствующих жанровых проекций этой модели (о мифологии пути см. [Топоров 1982, с. 352-353. Дорога в причитаниях связывает два мира — это мир живых и мир мертвых в похоронном обряде [Невская, 1993], «свой» и «чужой» мир

в свадьбе, где изменение статуса, переход невесты в иное состояние приравнивается к смерти. Дорога в былинах — место, где богатырь совершает свои подвиги, что также меняет его статус. Слова *дорога* и *путь* подобны видимой верхушке айсберга — концепта дороги. Он вбирает в себя все представления, связанные с переломными моментами в человеческой жизни, и при описании требует исследования многих других элементов и ситуаций фольклорной картины мира. Я ограничусь только рассмотрением прямых номинаций этого концепта.

Во всех жанрах слово *дорога* имеет одинаковые варианты — *дорожка, дороженька, дорожечка.* Общими для всех трех жанров являются два значения: 1) 'протяженность в пространстве, имеющая направленность и предназначенная для передвижения', 2) 'жизненный путь/выбор/судьба'. В рассмотренных текстах былин, духовных стихов, рекрутских и похоронных причитаний дорога имеет еще и значение 'путешествие', метонимически связанное с первым значением.

Первое значение является главным. Оно имеет синоним — *путь1,* однако во всех жанрах, кроме духовных стихов, этот синоним в подавляющем количестве употреблений практически сросся со словом *дорога,* образовав либо двандва *путь-дорога / дорожка / дороженька,* либо встречаясь рядом и почти не имея собственной сочетаемости, кроме предлогов: *при пути, при дорожке широкой.*

В былинах в качестве синонима употребляется также слово *росстань:* Илья Муромец подъезжает ко камешку:

От камешка три росстани,
Три росстани, три дороженьки,
Три дорожки путистые (*ПСР 11, 131*).

В главном своем значении дорога имеет противопоставление — *тропинка, тропиночка* — в причитаниях — и в свадебных, и в похоронных.

Нет проезду на ступистых лошадушках,
Нет проходу во темных лесах дремучих,
Почтовой ямской широкой нет дороженьки,
Только малая единая тропиночка... (*ПСК, 142*).

Тропинка может быть и контекстуальным синонимом: во фразе *да проторила дороженьку, да протоптала тропиноцьку* слово *тропиноцька* участвует в смысловом повторе.

В свадебных причитаниях *дороженька* противопоставлена, кроме *тропиноцьки,* еще и *ториноцьке* и *лазиноцьке:*

Ты ходил-то, лукавый сват,
Ты не путем, не дороженькой,
Ты свиняцьей тропиноцькой,

Ты кошацьей да лазиноцькой (СС, 130).

В духовных стихах и причитаниях *дорога* противопоставлена *бездорожице*:

И пошли они (калики — С.Н.) по чисту полю,
Не дорогою — бездорожицею (Вар., 142).

В рекрутских причитаниях и песнях дорога противопоставлена темным лесам:

Что бежал-то я, добрый молодец, не путем-дорогой,
А бежал я, добрый молодец, темными лесами (КЛ, 105).

Именно главное значение слова *дорога* реализует семиотический смысл дороги как перехода между мирами.

(То же распределение в значениях же видим, например, в слове *воля,* где главное прямое значение — 'девичий головной убор' — реализует еще и символическое значение 'девственность', связанное с ним 'девичья жизнь' и 'девичья свобода' и имеет парадигматических партнеров — синоним *дивья красота,* обладающий тем же символическим значением, а также синонимы *хазова перевязочка, бисерна присадочка,* символическим значением не обладающие.)

В подавляющем количестве контекстов традиционных светских фольклорных жанров слово *дорога* реализует именно первое, главное, пространственное значение. На его пространственные параметры указывают и эпитеты (в тезаурусе заполняется функция «внутренний атрибут»): *широкая* (самый частый), *прямая, торная, проезжая, большая, почтовая ямская,* в былинах она называется *крестовой* и даже *путистой.* В былинах же весьма значимо противопоставление *прямоезжей дорожки* и *окольной* — по длине пути и количеству преград, так как именно на прямоезжей дороженьке герой совершает главные подвиги. Длина же пути может измеряться как в пространственных, так и во временных единицах: она может быть длиною в тысячу верст или по ней можно ехать три года. В свадебных причитаниях *прямая* и *торная* дорога противопоставлена *косым* и *кривым:*

Чюла-слышала молода:
Што ходит чуж-чуженин
По кривым-то дороженькам
Ко милым-то подруженькам (СС, 40).

Дорога может иметь форму, и в этом употреблении слово *дорога* отвечает первому значению в словарях: 'узкая полоса земли, предназначенная для передвижения'. Она имеет *ширину* и *долину* («внутренний атрибут»), *край, перепутье* («части/компоненты») на котором лежит камень *латырь,* на ней могут быть *кресты, калиновы мосточки*

(элементы универсума, для которых дорога выступает как локус), в свадебных причитаниях она *огорожена березками и обсажена цветочками* («внешний атрибут»). Однако ее оформленность факультативна, а обязательна лишь направленность в пространстве: в похоронных причитаниях говорится:

Мне с которой ждать тебя сторонушки,
На кою глядеть путь широку дороженьку,
По утрышку во раздолье, во чисто поле,
Аль в полдень мне глядеть во сине море,
Аль по вечеру победной на зеленый луг (*ПСК, 132*),

и здесь, конечно, никакой «узкой полосы» нет. Дорога может быть *протоптана* и *проезжена,* а может *заколодеть* и *замураветь,* ее можно *заложить* и *засечь,* или, наоборот, *проторить* («действие — объект»). В былинах по дороге, главным образом, *едут,* в причитаниях тоже *едут* и *идут,* однако на ней не менее часто *стоят, уливаются горючими слезами, задумываются* («действие — локус»), ибо дорога здесь — вечное расставание, путь в другой мир.

На дороге происходят судьбоносные встречи: в былинах Илья встречается с супротивниками, например, с Соловьем разбойником, в стихах молодец встречается с горем, в лирических песнях девушка встречается или расстается с молодцем (функции «лицо/предмет — локус»).

Дорога имеет направление (функция «назначение»). Былинная дорога ведет чаще всего *ко Киеву*. Дороги похоронных причитаний — обычно их три — могут вести соответственно *во улочки, во церкву* и *на могилу*. Три дороги свадебных причитаний могут вести *во церкву, во леса* и *в моря,* а могут иметь другое назначение:

Первая путь-дороженька —
Идти богу молиться,
А другая путь-дороженька —
Идти гулять-красоваться,
А третья путь-дороженька —
Идти в теплую парушу,
Во теплую да подвенечную (*СС, 120*).

Постепенно и незаметно свадебная дорога в пространстве, обсаженная березами и цветами, превращается в жизненный путь, в жизненный выбор, в судьбу. Это понятно, потому что пространство свадьбы — это проекция ритуальных ценностей на физический, вещный мир.

Дорога как место в пространстве и как выбор, возможность соединяются в таком, например, тексте:

Так разодвиньтесь, соседушки,

И со стороны, люди добрые,
Дайте путь да дороженьку
Походить да погулятии
В остальные во последние (*Вол.св. 54*),

где *дорога* является контекстуальным синонимом слова *воля* в значении «свобода/возможность»:

Мне-ко дай-ко ты, батюшко,
Мне воли-то привольные
На всю ноцьку-то темную,
От свету да и до свету
Походить да погулятии (*СС, 150*)

Сходную ситуацию с дорогой можно наблюдать в былинах. Илья Муромец по прямоезжей дороженьке доезжает до камешка, откуда идут три дороженьки: в одной быть богату, в другой женату, в третьей убиту. Три широкие торные дорожки — три судьбы. Значение 'жизненный путь/судьба' оказывается неотделимым от пространственного значения, принципиально диффузным.

Третье значение слова *дорога* в фольклорных текстах — 'путешествие', имеющее временную протяженность, маркируется предлогом В (отличие от пространственного НА): *Тут во пути во дороженьке / Сустигала их ночка темная.*

В рекрутских песнях это значение слова *дорога* является основным наряду с пространственным и имеет синоним — *поход.* Солдаты *Да во поход идут, во дорожечку / Да не во дальнюю, во печальнюю* (КЛ, 79). Походы — это солдатская судьба, а потому дорога сближается с долей: ею, как и долей, *наделяют:*

Не по-прежнему отец с матерью сына любят,
Соживают-то добра молодца с подворья
Наделяют-то доброго молодца путь-дорожкой (*КД, 73*).

Во временном значении слова *дорога* также обнаруживаются связи с пространственными истоками: дорога как путешествие может иметь при себе эпитет *широкая:* в былинах богатырю предлагают *поотдохнуть с широкия дороженьки.* Конечно, этот эпитет здесь десемантизирован — так же, как в ситуации широкой дороженьки в синем море, или *непробойной дороженьки* в рекрутских плачах, по которой *никто не хаживал, никто следику не кладывал,* и все равно она *широкая.* Однако сам факт распространения пространственного эпитета говорит о диффузии главного значения во все остальные.

Пространственное и временное значение одновременно реализуются в словосочетаниях *отправлять(ся), снаряжать(ся), провожать в путь-дороженькку,* которые характерны для всех фольклорных жан-

ров и за которыми стоит очень много концептуально важного для понимания дороги. Здесь эти словосочетания не рассматриваются.

Дорога духовного стиха устроена сходно с дорогой светского фольклора. Это слово имеет пространственное значение, например, в позднем стихе про боярыню Морозову, написанном под впечатлением суриковской картины: *Снег белый украсил светлицы, / Дорогу покрыл пеленой.* Братья Иосифа Прекрасного говорят о нем отцу: *А мы яво не видали, / А ризу яво находили промежду двух дорог* (заметим, что перепутье является отмеченным локусом и одновременно частью дороги во всех фольклорных жанрах и шире — в народном сознании: вспомним, что на перепутье — перекрестке гадают, произносят заговор).

Дорога может иметь конечную точку в пространстве, например, вести *ко граду к Иерусалиму.*

Пространственные параметры присутствуют и в переносном значении слова *дорога* — 'жизненный выбор, судьба', в том числе, и посмертная, причем в отличие от светского фольклора, дорог здесь не три, а две:

Две пути-дорожки широки и долги,
По тем по дорожкам идут многи люди,
Первая дорожка — в царство небесное,
Другая дорожка — во вечную муку (СДС).

Если *дорога* в светском фольклоре вбирает в себя *путь,* то в духовных стихах она явно ему уступает. Здесь слово *путь* — синоним слова *дорога* во всех значениях более частотен, более семантически насыщен. В тексте свадебных причитаний на 73000 словоупотреблений частота слова *дорожка* с морфологическими вариантами равна 44, частота слова *путь* — 8, кроме того, двандва *путь-дорожка* встречается 22 раза и ведет себя точно как слово *дорожка,* в том числе — в согласовании по женскому роду. Иначе, в свадебных причитаниях слово *дорога* встречается более чем в два раза чаще, чем *путь* (62/30). В духовных стихах наоборот: слово *путь* встречается в два раза чаще, чем слово *дорога* (соответственно 92 и 45 раз на 107000 словоупотреблений).

У слова *путь* тоже три значения: 1) 'пространственная направленная протяженность', 2) 'жизненный выбор, духовное направление жизни', 3) 'путешествие'. В отличие от текстов светского фольклора второе значение явно преобладает. Именно этот путь может быть *правый, прямой, истинный и спасенный, тесный, узкий, тернистый, смиренный, прискорбный, тягостный, жесток, но свят,* с одной стороны, и *бесславный, злой, дерзкий* — с другой: *Мысли новы возбуждают пути правого искать* (СДС), *Спамятует молодец спасенный путь* (Вар. 178) ср. *Но я избрала путь бесславный, / Меня манил порочный свет* (СДС). Именно на этот путь *направляют, наставляют,* его *открывают и указуют: В царство небесное, в мир утешения / Путь мне прямой укажи* (СДС).

Соответственно конечной точкой/назначением пути может быть *Египет,* град *Иерусалим, убогая хижина, царский двор* — для первого значения — и *истина, спасение, смерть* — для второго: *Покажи мне путь к спасению, / Ты сей путь мой сам направи* (СДС).

Итак, если для светского традиционного фольклора синоним слова *дорога — путь* во всех значениях может не иметь самостоятельных полных словарных статей, а лишь отсылки к основному слову, то в словаре духовных стихов оба слова имеют достаточно обширные описания.

Возникает вопрос: нельзя ли измерять смысловую близость синонимов, пользуясь числом совпадающих значений функций, т. е. последовательно сопоставляя содержимое совпадающих заполненных пунктов словарных статей синонимов? (Воспользоваться предложенными Ю. Д. Апресяном [Апресян, 1994] понятиями семантической содержательности и семантической ценности мы не можем ввиду отсутствия в нашем описании толкования на строгом и иерархизованном метаязыке). Нельзя ли таким же образом измерять близость употребления одного и того же слова в разных жанрах или степень диффузии значений многозначного слова внутри одного жанра? Однако простого подсчета совпадений или несовпадений явно недостаточно. Здесь надо учитывать довольно много разных факторов, определяющих для каждого заголовочного слова как семантическую значимость лексем, с ним связанных, так и значимость самих функций. Например, для различения прямого и переносного значений слов *дорога* и *путь* (пространственной направленности или жизненного выбора) наиболее существенной является функция «назначение/конечная точка». Куда приведет путь-дорога — в Киев или к богатству? В том и в другом случае в былинах она может быть *широкой* и *прямоезжей,* вполне «пространственной» дорогой. В духовных стихах различия в тех же значениях для слова *путь* определеннее, и о них можно судить не только по заполнению пункта «назначение», но и «внутренний атрибут/эпитет»: для пространственного пути эпитетов очень мало, зато жизненный путь ими изобилует (см. выше).

Что же касается синонимов, то различия в словарных описаниях могут обусловливаться не различием в значениях, но некоторой дистрибуцией контекстов, в свою очередь определяемой в какой-то степени стилистическими различиями. Это особенно очевидно для духовных стихов, создаваемых на протяжении многих веков вплоть до XX века и вбирающих в себя особенности устного фольклорного и письменного книжного стилей.

Ниже предлагается словарная статья ДОРОЖКА, составленная на текстах свадебных причитаний. В ней совмещается два значения, из которых второе — 'жизненный путь/судьба' как самостоятельное не встречается. Словарная статья дается без комментария (до некоторой степени он был изложен выше), а иллюстрации сведены к минимуму,

поскольку часть из них также была приведена выше. Слова — значения функций даются в алфавитном порядке, схема словарной статьи приведена полностью, т. е. со всеми пунктами, в том числе и незаполненными.

Заглавное слово (А): ДОРОЖКА
Количество словоупотреблений: 62
Машинный массив: 73000 словоупотреблений.
Грамматическая информация (число, род, падежные варианты, модель управления): мн.; Д-и, ж.р.; Д. к, на, в, Д+инф.
Словообразование: *дороженька, дорожечка, дорожный*
Толкование: 1) ориентированная пространственная протяженность, предназначенная для передвижения; 2) жизненный выбор, судьба
Фонетические / морфологические варианты: *дороженька, дорожечка*

Тезаурус:

1. Синонимы: *путь-дорожка, путь-дороженька, путь, тропиноцька*
1а. Синонимы-метафоры:
2. Изофункциональные слова:
3. Антонимы/оппозиты/корреляты: *лазиноцька, ториноцька, тропиноцька*
4. Гиперонимы:
5. Гипонимы:
6. Множество (А — главный элемент множества):
7. Главный элемент множества (А — множество):
8. Части (А — целое): *край*
9. Целое (А — часть):
10. Носитель признака (А — внутренний атрибут, признак):
11. Внутренний атрибут/признак (А — носитель):
    а) эпитет: *большие, косые, кривые, пецельная, проезжая, прямая, торная, широкая*
    б) неотчуждаемая принадлежность: *долина, ширина*
12. Поссессор (А — внешний атрибут, отчуждаемая принадлежность):
13. Внешний атрибут (А — поссессор): *березынька, цветочки*
14. Мера, число, количество (А — элемент универсума): *первая, вторая, третья, три*
15. Элемент универсума (А — мера, число, количество):
16. Локус (А — лицо/предмет): *чистое поле*
17. Лицо/предмет (А — локус): *батюшка, белы лебеди, высок терем, голос, защита, конь, красота, матушка, сестрица, следоцьки, чужчуженин, я молодешенька* (невеста), *ямщицок*
18. Субъект (А — действие, состояние, эмоции):
    а) фактический:
    б) потенциальный (А имеет ирреальную модальность):

19. Действие, состояние, эмоции (А — субъект, фактический или потенциальный): *лежит*
20. Адресат (А — действие):
21. Действие (А — адресат):
22. Объект (А — действие):
23. Действие (А — объект): *гляжу на, дайте, заложить, засеку, обсажена цветоцками, огорожена березками, освещай, проезжена, протоптана, проторить, укоротил (дорожку батюшка)*
24. Инструмент/способ (А — действие):
25. Действие (А — инструмент/способ):
26. Локус (А — действие):
27. Действие (А — локус): *дожидаться, думу думала, катись (красота по дорожке), становись, не хаживати, ходить*
28. Источник/причина/каузатор (А — следствие/созданное):
29. Следствие/созданное (А — источник...):
30. Назначение/функция/цель (А — лицо/предмет/действие): *к высокому терему, во леса, во моря, на родимую сторонушку, к теплому гнездышку, во теплую парушу, во церкву во Егорьевску; ходить, гулять да красоватися*
31. Метаморфоза (А — исходное лицо/предмет):
32. Исходное лицо/предмет (А — метаморфоза):
33 Ассоциативный комплекс: *улица, сторонушка*
34. Сравнение/параллелизм (А — объект сравнения): *сторонушка*
35. Сравнение/параллелизм (А — образ сравнения):
36. Почтительная номинация (А — лицо):
37. Индивидуальные функции:

Иллюстрации:

Стоит наш-от высок терем
При путе, при дороженьке,
При дорожке широкою (СС, 57).

Ты садись, моя да девья красота,
Край пути садись да край дорожечки,
На белу баску да на березыньку (РЛ., 236).

Засеки-тко да путь дорожечку,
Выше лесу да дремучего (Р.Л., 233).

ЛИТЕРАТУРА

Апресян Ю. Д. О языке толкований и семантических примитивах // Изв. АН., серия лит-ры и языка, 1994, № 4.
Невская Л. Г. Балто-славянское причитание. Реконструкция семантической структуры. М., 1993
Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993
Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных говоров. М., 1982

Толстой Н. И., Толстая С. М. Народная этимология и структура славянского ритуального текста // X съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1988
Топоров В.Н. Путь // Мифы народов мира. М., 1982.
Фольклорная лексикография, 1, 2, 3, Курск, 1994; 4, 5, Курск, 1995
Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. Курск, 1992
Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973

Цитируемые тексты — источники:
Вар. — Варенцов В. Сборник русских духовных стихов., СПб., 1860
Вол.св. — Вологодская свадьба. Вологда, 1986
КР — Крестьянская лирика. Л., 1935
ЛРС — Лирика русской свадьбы. Л., 1977
ПСК — Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. М., 1872
ПСР — Песни, собранные Рыбниковым. Т. 1, 2. Петрозаводск, 1990
СДС — Старообрядческие духовные стихи. Архив автора.
СС — Северная свадьба. Л., 1985

Б. С. Шварцкопф

«Я ПОСТАВИЛ КАВЫЧКИ ПОТОМУ, ЧТО...»

Кавычки занимают особое место среди знаков препинания. Этот парный выделительный знак — в отличие от других знаков препинания — не связан с каким-либо определенным синтаксическим объектом или результатом членения текста (он может выделять любое слово, словосочетание, предложение...), не связан с какой-либо определенной позицией (он может стоять в начале, середине, конце членимого объекта), но, главное, он многофункционален. С последним обстоятельством и связана способность кавычек выступать в качестве оценки речи. Дело в том, что — наряду с четко регулируемым обязательным употреблением (при прямой речи, для выделения цитат и условных наименований) — многочисленные случаи факультативного употребления кавычек, представляющиеся внешне довольно пестрой массой, могут, однако, рассматриваться как широкая сфера оценки пишущим письменного слова (см. [Шварцкопф 1970, 302-303; Шварцкопф 1974; Шварцкопф 1988, 182-183]). Эта сфера вбирает в себя разноплановое употребление, отмечаемое в «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 г. и в последующих пособиях по русской пунктуации: употребление слов и выражений и не в своем обычном значении, и иронически, и в условном значении, и неологизмов и архаизмов, и малоупотребительных слов [Правила 1956 г., § 193; Розенталь 1984, § 60].

При всей разнородности перечисленных выше случаев они объединены общими для кавычек как знаков препинания семасиологическими функциями — выделительной и предупредительной [Макарова 1969, 12 и след.], а кроме того, им могут быть свойственны функции модальная [Ильиш 1948, 285; Макарова 1969, 16] и метаязыковая [Шварцкопф 1970, 281]. Именно опора на указанные функции позволила свести разнородные по характеру необязательные случаи употребления кавычек к четырем основным группам, различающимся по принципиальным основаниям для выделения слов и выражений. Это: (I) кульминативная группа: слово/выражение выделяется в тексте для привлечения к нему внимания читающего; (II) переносная группа: выделяется слово/выражение, имеющее метафорическое, метонимическое значение,

передающее сравнение; (III) модальная группа: выделяется слово/выражение, выражающее иронию или отрицательную оценку передаваемого понятия/реалии, обозначающее ощущение неточности или условности номинации; (IV) метаязыковая группа: кавычки выступают как способ оценки употребляемых языковых средств, обозначения чуждости средства стилистическому контексту или лексикону пишущего [Шварцкопф 1974, 201-205; Шварцкопф 1996] .

Когда пишущий ставит слово/выражение в кавычки (какая из перечисленных групп не имелась бы в виду), он вкладывает в это свой речевой опыт и свое понимание данного контекста. Читателю же самому приходится выводить из контекста значение кавычек в данном случае. Причем, как правило, читающий практически вовсе не ставит перед собой осознанной цели реконструкции смысловых отношений, выражаемых кавычками: критерий верного восприятия кавычек в тексте — соответствующее замыслу пишущего понимание прочтенного текста. Если содержание контекста понято читающим правильно, это значит, что и значение кавычек в этом тексте воспринято им — имплицитно и бессознательно.

Таким образом, основное свойство кавычек сводится к маркированности слова/выражения в письменном тексте — но без указания на функциональную характеристику кавычек в рассматриваемом контексте. Как заметил Б. А. Успенский: «... лингвистический смысл кавычек заключается, прежде всего, в указании того, что взятое в кавычки слово используется в каком-то другом (чужом, метафорическом [и не только в метафорическом. — *Б.Ш.*]) смысле, нежели буквальный или общепринятый, причем не указывается, в каком именно» [Успенский 1967, 103]. Поэтому совершенно естественными представляются те случаи, когда пишущий использует факультативные кавычки — и здесь же формулирует их значение, стремится объяснить, почему он поставил здесь кавычки и какой смысл хотел вложить в это.

Это может касаться употребления кавычек обязательных: 1) выделения цитат и 2) выделения условных наименований. Например:

1) Автор предупреждает: если сведет вас судьба с танцмейстером из наших прибалтийских республик, то знайте, что «вы столкнулись с коммивояжером одной из самых реакционных в современной бытовой хореографии — фирмой Алекса Моора». Это я фразу в кавычки взяла — цитирую (Комс. правда, 15 сент. 1966); Этот мир, реальный и грубый, страстный и драматичный, породил во мне какой-то «новый орган для его восприятия». Я закавычил в конце фразы слова Гете, который как-то сказал, что «каждый новый предмет, зорко увиденный, порождает в нас новый орган для его восприятия»... (Ю. Скоп. Роман со стрельбой).

2) Ближайшим результатом этого пожелания была моя встреча с «Кронштадтом». Разумеется, не с крепостью на острове Котлин, ко-

лыбелью русского флота, а с боевым кораблем, носящим славное имя (Знамя. 1975. № 6. С. 107). И наоборот: — Вы помните Челленджера? — спросил Михаил Александрович. — «Челленджер»? Корабль? — Нет, нет, речь идет о Челленджере без кавычек. Океанографический корвет английского флота тут не при чем. Я говорю о Джордже Челленджере (А. Акимов. В глубь земли).

Чаще же встречается аргументация факультативных кавычек в тексте.

Группа I (кавычки служат для привлечения к слову/выражению внимания читающего): Есть еще одна сфера речевой информации, которая, грубо говоря, связана в устной речи с ритмикой и интонацией, т. е. не с фонемами и их вариативами, а с просодическими элементами речи; в письменной же речи этому «соответствует» (сознательно беру это слово в кавычки) пунктуация (А. А. Реформатский. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем); Однако в своем политическом завещании Гитлер сделал попытку продлить существование фашистского режима, назначив новое правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Деницем. ... В распоряжении нового германского «правительства» — я и здесь и в дальнейшем ставлю это слово в кавычки — для продолжения войны имелись еще весьма значительные по численности силы (И. С. Конев. Сорок пятый); Между тем Шарий начинает «разминку». Это слово умышленно взято в кавычки — какого напряжения она стоит! Шарий толкает сначала 90 кг, потом 105, 135 и постепенно доводит вес штанги до 180 кг (Правда, 22 сент. 1975).

Группа II (кавычки отмечают переносное значение/употребление языкового средства): ... Обращаясь к народу, П. Зайчневский (в прокламации «Молодая Россия». — *Б.Ш.*), бросая клич «В топоры!», берет его в кавычки. Это идиоматическое выражение вовсе не имеет буквального значения, не является призывом хвататься за топоры. Смысл боевого клича ясен: «К оружию!» (Вопросы литературы, 1968, № 4, с. 7); Мы обращаемся теперь ко всем товарищам с просьбой о всякой поддержке. Мы будем вести орган при условии, чтобы он был органом русского движения, а никоим образом не заграничного кружка. Для этого необходима прежде всего и больше всего самая энергичная «*литературная*» поддержка, вернее, литературное участие из России. Я подчеркиваю и ставлю в кавычках слово «литературная», чтобы обратить сразу внимание на особый смысл его и предостеречь от недоразумения, очень обычного и страшно вредного для дела. Это недоразумение, будто именно литераторы и только литераторы (в профессиональном смысле этого слова) способны с успехом участвовать в органе; напротив, орган будет живым и жизненным тогда, когда на пяток руководящих и постоянно пишущих литераторов — пятьсот и пять тысяч работников не литераторов (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, с. 106); «Быта» в книге непривычно много; но я наме-

ренно беру слово «быт» в кавычки. Оккупационный быт равнозначен жизни во всей ее полноте. В нем нет той вялой, необязательной житейской канители, от которой мы вправе были бы отвернуться. ... Какой же это быт?! В нем и нравственные муки, и часы отчаяния, источник мужества и глубоких размышлений, в нем настоящая, трудная доброта, и самопожертвование, и неизбежная борьба за существование, и зреющий гнев (Лит. газета, 22 ноября 1966).

Употребление факультативных кавычек группы II может сопровождаться буквальным «переводом» выделенного слова: В ожидании «лучшей» (то есть штормовой) погоды и ночной темноты мы решили тогда свернуть в ближайшую пустую бухту... (А. Микоян. Бакинское подполье при английской оккупации); Да, Енгибаров может себе позволить такие положения ног и рук, корпуса и головы, которые немыслимы для «нормальной», то есть нетренированной человеческой личности... (Театр. 1966. № 6. С. 90).

Группа III (кавычки служат для выражения иронии, отрицательного отношения к понятию/реалии, условности, неточности номинации): Надо «всего лишь» эту современность увидеть. Могу пояснить свою закавыченную иронию: «всего лишь» и есть самое трудное (Ст. Рассадин — Юность. 1976. № 7. С. 70)[1]; ... настоящие драгоценности могут быть приняты за фальшивые: это новелла (Мопассана. — *Б.Ш.*) «Драгоценности». Жена и муж живут счастливо. Жена превосходно и очень экономно ведет хозяйство, у нее один недостаток — любовь к фальшивым драгоценностям. ... Жена умирает. Муж в горе. ... Он начинает нуждаться и решается продать за гроши «фальшивые драгоценности». Он приносит к ювелиру стекляшки, их рассматривают, у него спрашивают документы, адрес. Он узнает, что драгоценности настоящие (В. Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы); Он отчислил наиболее «пожилых» (беру это слово в кавычки потому, что в спорте понятия о молодости и старости очень условны и своеобразны)... (Б. Майоров — Октябрь. 1969. № 12. С. 158); Естественно, я привел лишь небольшие фрагменты из этого отзыва, но они достаточно полно характеризуют атмосферу тех лет в области «руководства литературой и искусством». Беру здесь в кавычки потому, что считаю, что литература и искусство должны развиваться без «руководства» (М. Шатров — Хронограф-89, М., 1989).

Ср.: В фильме Ромма это событие как бы поставлено в кавычки, в иронический контекст... (Искусство кино. 1968. № 10. С. 42).

Группа IV (кавычки выражают метаязыковую оценку пишущим языковых средств): Литературный процесс, музыкальный процесс — понятия, ставшие общеупотребительными, они привычны сегодня и школьникам. А вот «кинематографический процесс» еще приходится брать в кавычки: звучит как-то претенциозно, не правда ли? (Искусство кино. 1967. № 11. С. 22); И, наконец, моя последняя поэма «Стена» (1965), в которой я склонен усматривать новые тенденции

своего творчества. Это прежде всего стремление к своего рода «всеобщему» характеру, старание опереться на «глобальный» опыт человечества (прошу прощения — это звучит чересчур громогласно, я намеренно беру некоторые слова в кавычки) (Ю. Марцинкявичюс — Вопросы литературы. 1966. № 10. С. 150); [поэзия Бернса]... явилась счастливейшей возможностью приложения его (Маршака. — *Б.Ш.*) особого «переводческого» дара. Я умышленно ставлю это слово в кавычках. Маршак много переводил, переводы составляют, пожалуй, большую половину его стихотворного наследия. Но он не любил слова «перевод», особенно «переводчик», всячески избегал их и обычно свои новые переводы называл новыми стихами, когда читал их при встрече с друзьями (А. Твардовский. О поэзии Маршака); Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским (Г. Адамович — Опыты, кн. I, Нью-Йорк, 1953, с. 102).

Ср.: Тургенев сто лет назад в «Бежином луге» счел необходимым взять в кавычки глагол «шуршать» и, кроме того, сделать к нему пояснительное добавление: «как говорится у нас», то есть в наших местах, в Орловской губернии. «Камыши точно, раздвигаясь, "шуршали", как говорится у нас». Значит, в первой половине XIX века в русском литературном языке еще не было общепринятым выражение «камыши шуршат» (К. Федин. Как мы пишем. М., 1966, с. 15).

Иногда кавычки в тексте сопровождаются их словесной аргументацией в сносках: (II) ... как заставить и можно ли заставить ученика, «играющего хорошо»[2], играть, как художник, то есть заразительно, «доходчиво», «необыкновенно» (в смысле отличия от среднего стандарта)... — [2] Кавычки означают, что он играет не очень хорошо (Г. Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры, гл. 1); (III) «Положение конницы «товарища»[1] Буденного, прижатой с северо-востока и с севера нашими частями к болотистому, солончаковому, еще плохо замерзшему Сивашу, могло оказаться бесконечно тяжелым» [цитата из мемуаров Врангеля] — [1] Врангель иронизирует, беря слово товарищ в кавычки. Мемуары он писал за границей, в спокойной обстановке. А тогда, в Крыму, когда его били, ему было не до иронии (С. М. Буденный. Пройденный путь, кн. 3, ч. 1, гл. 2, 5).

Как следует из представленного перечня аргументаций кавычек в тексте, тенденция в сознании пишущего: сделать очевидными для читающего основания постановки кавычек — охватывает в принципе все типы и группы кавычек, как обязательные, так и факультативные с их обилием разнородных оттенков. Если судить по картотеке автора, наиболее распространенными в печати являются аргументы для кавычек группы III (модальной), а тенденция к словесной аргументации

кавычек в современной печатной практике характерна главным образом для публицистических текстов.

Следует учитывать также возможность пересечения и взаимодействия оснований при постановке кавычек. Так, в приводимом ниже примере можно было бы ожидать аргументации плана группы IV (разговорный характер образования *молодежка* = молодежная тематика), а аргументация в тексте затрагивает план группы III (модальный): Отношение депутатов от демблока к «молодежке» (беру это слово в кавычки, ибо молодежная тематика в газете по существу на задворках. — *В.Д.*) объясняет нагнетание страстей вокруг областной газеты... (Правда. 16 авг. 1990).

Любопытно, что аргументация в пользу постановки кавычек возможна и при отсутствии кавычек в самом тексте: В отличие от красных и белых шиповников с ярко окрашенными сочными плодами у желтых — плоды темно-бурые, почти деревянистые. Между прочим, с точки зрения ботаника, мы допустили ошибку, не взяв в кавычки слова «плоды» и «ягоды». Ведь у шиповника плоды ложные: они возникают вовсе не из тех частей цветка, из которых возникают плоды настоящие. Истинные его плоды — это прочные односемянные зернышки-орешки, погруженные в развившуюся из цветоложа и завязи мякоть (Г.Сележинский. Розовый венок Ойкумены). Ср.: У театра много сторонников, у него есть и противники, отнюдь не только из числа рутинеров, да и слово «противник» в этом случае надо взять в кавычки (Театр. 1966. № 1. С. 5).

Все проанализированные нами до сих пор примеры работали в одном направлении — как аргументация пишущим постановки кавычек в тексте. Однако наши материалы свидетельствуют о том, что аргументация пишущего может идти и в противоположном направлении — как рассуждение в пользу ненужности кавычек в тексте. Например: ЭВМ не так уж редко диктует свою волю человеку. Слово в о л я я не беру в кавычки, хотя речь идет о машине, и я должен быть осторожнее. Но я не делаю этого, потому что конфликт между машиной и человеком вовсе не похож на тот конфликт, который имеет место между обыкновенным механическим помощником человека и человеком (Дружба народов. 1974. № 1. С. 171); ... меня лично произведение (сценарий А. Володина «Звонят, откройте дверь!» — *Б.Ш.*) заставило задуматься о новом соотношении официальных и неофициальных начал в нашей сегодняшней жизни. (Слово *официальный* я здесь не ставлю в кавычки, а беру его в серьезном и самом уважительном значении.) (Вопросы литературы. 1967. № 1. С. 42).

Аргументация против постановки кавычек возможна и при их наличии в тексте: Вот такое всеобщее «озверение» случилось на прошлой неделе в ЦДЛ. А вообще-то слово «озверение» можно было бы и не брать в кавычки, ибо обстановку на пленуме (VII пленум СП СССР.

— *Б.Ш.*) назвать человеческой, увы, трудно (Сов. культура, 1 дек. 1990).

Сам тот факт, что употребление факультативных кавычек (группы I-IV), по существу, строго не кодифицировано (в отличие от обязательных кавычек), создает для пишущего ситуацию, когда его решение: ставить кавычки или не ставить? — обусловлено не «правилом» (предписанием), а «правом» (возможностью) пишущего выбрать то, что соответствует его речевому опыту, его пониманию текста. И эта ситуация выбора способствует колебанию пишущего, которое может быть и эксплицитно выражено в тексте, в частности, в виде формулы «хочется взять в кавычки». Типичный пример — при употреблении поэтического штампа:

Любы глазу родные привычки, —
Он просторы вдыхал не всегда ль!
И так хочется взять в кавычки
«Нивы», «небо» и «даль»
(*В. Брюсов. «Любы глазу родные привычки...», 1922*).

То, что постановка факультативных кавычек органически связана для пишущего с выбором, а сами кавычки выступают, по Б. А. Успенскому, как «джокер» (как знак любого из возможных здесь смысловых отношений!), — оба эти обстоятельства создают условия, толкающие пишущего к формулированию оснований постановки кавычек, для их эксплицитной — словесной — аргументации в тексте. Это такой процесс речевого мышления в ходе письма, когда, по словам Г. О. Винокура, пишущий «принужден д у м а т ь о своем языке, в ы б и р а т ь слова и выражения, т. е. действовать с т и л и с т и ч е с к и» [Винокур 1929, 168-169].

Факультативные кавычки можно, вслед за А. А. Реформатским, рассматривать (наряду со шрифтами и способами набора) как один из эквивалентных способов актуализации графики, как «дополнительный графический признак, который бы мог послужить д о б а в о ч н о й з а щ и т о й смысловых соотношений перед восприятием читателя» [Реформатский 1933, 110-112]. Следовательно, рассмотренные в статье случаи есть не что иное, как двойная (но не избыточная!) защита слова или выражения: первичная (графическая) защита — сам факт постановки кавычек; вторичная (словесное рассуждение) — аргументация кавычек в тексте.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Уместно напомнить здесь о замечании, сделанном И. А. Бодуэном де Куртенэ в рукописи 1913 г.: «Предполагается тоже особый знак иронии, но пока безуспешно» [Бодуэн де Куртенэ 1963, с. 239]. Как любезно сообщил автору А.Д.Хаютин, специальный знак для «обозначения иронического намерения» ?

(повернутый вправо вопросительный знак) действительно предложен во французской лингвистике (автор предложения — Alcanter de Brahm) [Damourette 1939, с. 128]. Любопытно отметить, что «опрокинутый вопросительный знак» был предложен Д. С. Лихачевым в качестве специального графического «знака сомнения» («знака предположительности», «знака гипотетичности») в научном описании [Лихачев 1983, с. 117-118].

ЛИТЕРАТУРА

Бодуэн де Куртенэ И. А. Знаки препинания // Избранные труды по общему языкознанию. Том II. М., 1963.

Винокур Г. Культура языка. Изд. 2-е. М., 1929.

Ильиш Б. А. Современный английский язык. Изд. 2-е. М., 1948.

Лихачев Д. С. Текстология / На материале русской литературы X-XVII вв. Изд. 2-е. Л., 1983.

Макарова Р. В. Основные вопросы графики современного русского языка. Автореферат канд. дисс. М., 1969.

Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.

Реформатский А. А. (при участии М. М. Каушанского). Техническая редакция книги. Теория и методика работы. М., 1933.

Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации. Для работников печати. М., 1984.

Успенский Б. А. «Грамматическая правильность» и понимание // Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Кяэрику, 15-25 сентября 1967. Тезисы докладов. Тарту, 1967.

Шварцкопф Б. С. Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970.

Шварцкопф Б. С. О факультативных случаях употребления кавычек // Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974.

Шварцкопф Б. С. Оценки речи как объект лексикографирования // Словарные категории. Сборник статей. М., 1988.

Шварцкопф Б.С. Изучение оценко речи как метод исследования в области культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения, гл. 16. М., 1996.

Damourette J. Traité moderne de pounctuation. Paris, 1939.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора 5

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СЕМАНТИКА. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 7

Ю.Д.Апресян. В какой мере можно формализовать понятие синонимии? 9

Н.Д.Арутюнова. Модальные и семантические операторы 22

Ю.А.Бельчиков, Г.Я.Солганик. О лексикографических изданиях адресной направленности 41

О.П.Ермакова. Об иронии и метафоре 48

С.И.Камелова. О механизме формирования переносных значений 58

Л.П.Крысин. Лексикографическое представление иноязычного слова: типы грамматической информации 65

В.В.Лопатин. О некоторых нормативно-стилистических проблемах орфографического словаря 72

И.И.Макеева. Глаголы с префиксом по- в древнейших восточнославянских переводах 78

О.Н.Селиверстова. К вопросу о семантической структуре языковой единицы (на примере слов *у* и *рядом*) 92

И.С.Улуханов. О совмещении значений морфем 105

Е.В.Урысон. Несостоявшаяся полисемия (типы толкований с союзом ‘или’) 113

Е.Н.Филимонова. Семантические преобразования иноязычных слов в русских текстах (на материале кореизмов в русской переводной и оригинальной литературе) 122

Эр. Хан-Пира. Продуктивный и контрпродуктивный 132

СИНТАКСИС 135

Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев. Возражение под видом согласия 137

Г.А.Золотова. О связанных моделях русского предложения 148

О.А.Лаптева. К обсуждению теории русского литературного языка и моделированию его структуры 155

Е.В.Падучева, В.А.Успенский. Биноминативное предложение: проблема согласования связки 170

Е.Н.Ширяев. Конкуренция предложений бытия и характеризации в разных языковых сферах 183

ИРЯ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. В. В. ВИНОГРАДОВА
www.rustang.ru

СТИЛИСТИКА. АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. 191
Е.Э.Бабаева. Кентавр (стихотворение «Музыка» в контексте поэтического мира К.Вагинова) 193
Е.И.Голанова. Слово и образ 208
В.П.Григорьев. Два идиостиля: Хлебников и Мандельштам. Подступы к теме. III 214
Е.В.Какорина. Стилистические заметки о современном политическом дискурсе 226
Н.А.Кожевникова. Из истории языка советской литературы 243
Е.В.Красильникова. Еще раз о цвете у И.Анненского 251
И.Б.Левонтина. Текущий кристалл (о читательском восприятии поэтического языка XIX в.) 259
Т.М.Николаева. А мы швейцару: «Отворите двери! (в развитие идей Дмитрия Николаевича Шмелева о цельности семантики лексемы) 270
О.В.Синёва. Мотивы в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» 277
В.Н.Топоров. Ветхий дом и *дикий сад:* образ утраченного счастья (страничка из истории русской поэзии) 290

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 319
Н.И.Голубева-Монаткина. Язык и культура (о русской эмигрантской речи в Канаде) 321
Е.А.Земская. Заметки о русском языке, культуре и быте рубежа XIX-XX вв. (по материалам семейного архива Булгаковых) 333
М.М.Копыленко. Социальное и этническое в языке (очерк взаимодействия) 354
С.Е.Никитина. О многозначности, диффузии значений и синонимии в тезаурусе языка фольклора 360
Б.С.Шварцкопф. «Я поставил кавычки потому, что...» 374

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ



ОБЛИК СЛОВА
Сборник статей

Редактор Е. А. Гришина
Компьютерный набор С.Костров

Книга издана при участии издательства «Русские словари»

Лицензия ЛР № 062224 от 4 февраля 1993 г.

84×108 1/32. 06.24,0.
Тираж 2 000. Заказ № 312.

Адрес для переписки: Москва 119530 а/я 90
Телефон/факс: (095) 201 22 76

АО „Астра семь"
121019, Москва, Филипповский пер., 13.

5.60